

ИЗВЕСТИЯ

Уральского федерального
университета

Серия 2
Гуманитарные науки

2023. Т. 25

№ 4

IZVESTIA

Ural Federal University
Journal

Series 2
Humanities and Arts

2023. Vol. 25

No. 4

Серия 2

Гуманитарные науки

Журнал основан в 1920 г.

Серия «Гуманитарные науки» выходит с 1999 г. 4 раза в год

Учредитель: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Издатель: Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77-48320 от 27 января 2012 г.

Входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Журнал индексируется в БД:

Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index;
DOAJ; European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS);
Russian Science Citation Index (RSCI); Ulrich's Periodicals Directory;
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

В журнале публикуются научные статьи по всеобщей и отечественной истории, этнографии и антропологии, историографии и источниковедению, по русскому языку и теории языка, сравнительно-историческому, типологическому и сопоставительному языкознанию (на материале германских, романских, славянских и финно-угорских языков), по отечественному и зарубежному литературоведению и фольклору, по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и архитектуре, теории и истории искусства, а также рецензии на новые, наиболее значимые научные издания по этим областям. Все поступающие материалы рецензируются. Публикация в журнале осуществляется на некоммерческой основе.

Е-mail: izvestia.2@yandex.ru

Сайт: <http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2>

Адрес редакции: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51

«Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки»



Все материалы журнала доступны по лицензии
Creative Commons «Attribution-NonCommercial» 4.0 Всемирная
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

© Уральский федеральный университет, 2023

Ural Federal University Journal

Series 2
Humanities and Arts

The Journal was founded in 1920
Series *Humanities and Arts* has been issued quarterly since 1999

Founded by Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
19, Mira Str., 620002 Ekaterinburg, Russia

Publisher: Ural University Press
4, Turgenev Str., 620000 Ekaterinburg, Russia

The Journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media.
Mass media registration certificate PI FS77-48320 as of January 27, 2012.

The Journal is included in the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK)
list of leading peer-reviewed academic journals prescribed for the publication of research
results for scholars seeking advanced academic degrees.

The Journal is indexed in:
Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index;
DOAJ; European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS);
Russian Science Citation Index (RSCI); Ulrich's Periodicals Directory;
Science Index (eLibrary)

The Journal publishes academic articles in the fields of World and Russian History, Ethnography
and Anthropology, Historiography and Source Studies, Russian Language and Language Theory,
Historical, Typological and Comparative Linguistics (based on the material of the Germanic,
Romance, Slavic, and Finno-Ugric languages), on Russian and World Literary Studies and
Folklore, Fine Arts, Decorative and Applied Arts and Architecture, Theory and History of Art,
as well as reviews of new, most significant academic publications in these areas. The Journal uses
double-blind peer review. The Journal does not charge authors or their respective institutions
a paper submission, processing, or publication fee.

Email: izvestia.2@yandex.ru

<http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2>

Editorial Office Address: 51, Lenin Ave., 620000 Ekaterinburg, Russia
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts



Journal content is licensed under
a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

© Ural Federal University, 2023

Главный редактор

К. Д. Бугров, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Институт истории и археологии УрО РАН; Уральский федеральный университет)

Заместитель главного редактора

Т. В. Куц, д-р ист. наук, проф. (Россия, Москва, Институт всеобщей истории РАН; Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. П. Алексеев, канд. иск., доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

А. А. Бахтерева, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет; Москва, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН)

Л. А. Будрина, канд. иск., доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Е. М. Главацкая, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

А. В. Гладышев, д-р ист. наук, проф. (Россия, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского)

Е. В. Дзюба, д-р филол. наук, проф. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

А. Ю. Казарян, д-р иск., акад. РААСН, почетный член РАХ (Россия, Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет)

О. В. Калугина, д-р иск., член правления АИС (Россия, Москва, Российский государственный гуманитарный университет)

Е. Ю. Козьмина, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Ю. В. Матвеева, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

А. М. Плотникова, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Е. К. Созина, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Институт истории и археологии УрО РАН; Уральский федеральный университет)

В. В. Тихонов, д-р ист. наук, вед. науч. сотр. (Россия, Москва, Институт российской истории РАН)

О. Р. Хромов, д-р иск., акад. РАХ (Россия, Москва, Московский государственный художественный академический институт им. В. И. Сурикова)

А. В. Шамаев, канд. ист. наук, доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Т. Е. Автухович, д-р филол. наук, проф. (Республика Беларусь, Гродно, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы)

А. Е. Аникин, д-р филол. наук, акад. РАН (Россия, Новосибирск, Институт филологии СО РАН)

Л. И. Бородкин, д-р ист. наук, чл.-корр. РАН (Россия, Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)

Дж. Боулт, PhD (Art Studies), проф. (США, Лос-Анджелес, Университет Южной Калифорнии)

М. А. Бусев, канд. иск., чл.-корр. РАХ (Россия, Москва, Государственный институт искусствознания)

П. Бушкович, PhD (History), проф. (США, Нью-Хейвен, Йельский университет)

А. Варда, Dr. Hab. (Philology), проф. (Польша, Лодзь, Лодзинский университет)

С. А. Кибальник, д-р филол. наук, проф. (Россия, Санкт-Петербург, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербургский государственный университет)

Т. Краус, д-р ист. наук, проф. (Венгрия, Будапешт, Университет Лоранда Этвеша)

К. Кроо, д-р филол. наук, проф. (Венгрия, Будапешт, Университет Лоранда Этвеша)

М. Н. Липовецкий, д-р филол. наук, проф. (США, Нью-Йорк, Колумбийский университет)

А. Мустайоки, PhD (Philology), проф. (Финляндия, Хельсинки, Хельсинкский университет)

И. А. Ндэй, д-р филол. наук, проф. (Польша, Ольштын, Варминско-Мазурский университет)

М. Перри, M. A. (History), проф. (Великобритания, Бирмингем, Бирмингемский университет)

Х. Рюсс, Dr. Hab. (History), проф. (Германия, Мюнстер, Мюнстерский университет)

Ф. Сенешаль, д-р иск., проф. (Франция, Амьен, Университет Пикардии имени Жюля Верна)

Г. Торвальдсен, PhD (History), проф. (Норвегия, Тромсё, Университет Тромсё — Арктический университет Норвегии)

А. В. Чудинов, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. (Россия, Москва, Институт всеобщей истории РАН)

Ответственный секретарь

Н. В. Мосеева (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Editor-in-Chief

K. D. Bugrov, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Ekaterinburg, Institute of History and Archaeology, UB RAS; Ural Federal University)

Deputy Editor

T. V. Kushch, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Moscow, Institute of World History, RAS; Ekaterinburg, Ural Federal University)

EDITORIAL BOARD

- E. P. Alekseev**, PhD (Art Studies), Associate Professor (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)
A. A. Bakhtereva, PhD (Philology), Senior Researcher (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University; Moscow, V. V. Vinogradov Russian Language Institute, RAS)
L. A. Budrina, PhD (Art Studies), Associate Professor (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)
E. V. Dziuba, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, St Petersburg, Peter the Great St Petersburg Polytechnic University)
A. V. Gladyshev, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Saratov, N. G. Chernyshevsky Saratov National Research State University)
E. M. Glavatskaya, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)
O. V. Kalugina, Dr. Hab. (Art Studies), Member of the Board of the Association of Art Historians (Russia, Moscow, Russian State University for the Humanities)
A. Yu. Kazaryan, Dr. Hab. (Art Studies), Full Member of RAACS, Honorary Member of RAA (Russia, Moscow, Moscow State University of Civil Engineering)
O. R. Khromov, Dr. Hab. (Art Studies), Full Member of RAA (Russia, Moscow, V. I. Surikov Moscow State Academic Art Institute)
E. Yu. Kozmina, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)
Yu. V. Matveeva, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)
A. M. Plotnikova, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)
A. V. Shamanaev, PhD (History), Associate Professor (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)
E. K. Sozina, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Ekaterinburg, Institute of History and Archaeology, UB RAS; Ural Federal University)
V. V. Tikhonov, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Moscow, Institute of Russian History, RAS)

EDITORIAL COUNCIL

- A. E. Anikin**, Dr. Hab. (Philology), Full Member of RAS (Russia, Novosibirsk, Institute of Philology, SB RAS)
T. E. Avtukhovich, Dr. Hab. (Philology), Professor (Republic of Belarus, Grodno, Yanka Kupala State University of Grodno)
L. I. Borodkin, Dr. Hab. (History), Corresponding Member of RAS (Russia, Moscow, Moscow State University)
J. Bowlt, PhD (Art Studies), Professor (USA, Los Angeles, University of Southern California)
M. A. Busev, PhD (Art Studies), Corresponding Member of RAA (Russia, Moscow, State Institute for Art Studies)
P. Bushkovitch, PhD (History), Professor (USA, New Haven, Yale University)
S. A. Kibalnik, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, St Petersburg, Institute of Russian Literature (Pushkin House), RAS, St Petersburg State University)
T. Krausz, Dr. Hab. (History), Professor (Hungary, Budapest, Eötvös Lorand University)
K. Kroo, Dr. Hab. (Philology), Professor (Hungary, Budapest, Eötvös Lorand University)
M. N. Lipovetsky, Dr. Hab. (Philology), Professor (USA, New York, Columbia University)
A. Mustajoki, PhD (Philology), Professor (Finland, Helsinki, University of Helsinki)
I. A. Ndiaye, Dr. Hab. (Philology), Professor (Poland, Olsztyn, University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
M. Perrie, M. A. (History), Professor (UK, Birmingham, University of Birmingham)
H. Rüß, Dr. Hab. (History), Professor (Germany, Münster, University of Münster)
P. Sénéchal, Dr. Hab. (Art Studies), Professor (France, Amiens, University of Picardie Jules Verne)
A. V. Tchoudinov, Dr. Hab. (History), Chief Researcher (Russia, Moscow, Institute of World History, RAS)
G. Thorvaldsen, PhD (History), Professor (Norway, Tromsø, UiT The Arctic University of Norway)
A. Warda, Dr. Hab. (Philology), Professor (Poland, Lodz, University of Lodz)

Managing Editor

N. V. Moseeva (Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University)

СОДЕРЖАНИЕ

УРАЛЬСКИЕ ГОРОДА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

- Янковская Г. А.* Юбилей города и становление «периферийных столиц» в СССР 9
- Яхно О. Н.* Екатеринбург на рубеже XIX–XX вв.: традиции и новации в организации городского пространства 23
- Главацкая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А.* Женское «одиночество» в Пермской губернии во второй половине XIX — начале XX в. 40
- Бахарев Д. С.* Модернизационные факторы снижения младенческой смертности в Пермской губернии в конце XIX — начале XX в. 59

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ XX—XXI вв.

- Амелина А. В.* Теоретический аспект изучения литературной утопии и антиутопии (к проблеме идентификации жанров) 77
- Ковтун Е. Н.* Полемика о Мире Полудня: А. и Б. Стругацкие vs М. и С. Дяченко.... 92
- Серебрякова Е. Г.* «Зияющие высоты» А. А. Зиновьева как модель философской антиутопии 108
- Адельгейм И. Е.* Антиутопия П. Червиньского «Международ» в контексте молодой польской прозы начала XXI в. 119
- Прудюс И. Г.* Черты антиутопии в графическом романе П. Кристена и С. Вердые «Оруэлл» 136

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛАСТИ В ИСТОРИИ РОССИИ

- Накишова М. Т.* Роль личного фактора в системе управления петровского Санкт-Петербурга (на примере строительства постоянных дворов в 1722–1723 гг.)..... 152
- Тимофеев Д. В.* Механика правительственного реформизма: записка губернского предводителя Н. А. Майкова и практика корректировки законодательства о дворянских выборах в России первой трети XIX в. 170
- Черникова Н. В.* Министерство императорского двора в царствование Александра III (на материалах дневника кн. В. С. Оболенского)..... 186
- Гильминтинов Р. Р.* «Принять затраты как исключение»: общественные издержки в сфере советского землепользования на примере конфликтов вокруг реконструкции Бачатского разреза в конце 1960-х — 1970-е гг. 200

ЯЗЫК НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

- Черных А. В., Русинова И. И.* Названия святочных ряженных в русских говорах Пермского края 218
- Иванова Е. Э.* К изучению горной мифологии Урала: мифонимы, мотивированные социальной лексикой..... 234
- Кучко В. С.* Многоликий сердолик: история названий камня в русской языковой традиции 251
- Муллонен И. И.* Карельское антропонимное наследие в русском Заонежье..... 264
- Бахтерева А. А.* Терминология землевладения и типы поселений в ойконимии Белозерья..... 283

TABLE OF CONTENTS

URAL CITIES IN THE HISTORICAL CONTEXT

<i>Yankovskaya, G. A.</i> Provincial Cities' Anniversaries and the Formation of Soviet "Peripheral Capitals"	9
<i>Yakhno, O. N.</i> Ekaterinburg at the Turn of the 20 th Century: Traditions and Innovations in the Organisation of Urban Space	23
<i>Glavatskaya, E. M., Bobitsky, A. V., Zabolotnykh, E. A.</i> Female "Singleness" in the Urals around 1900	40
<i>Bakharev, D. S.</i> Modernisation Factors of Infant Mortality Transition in Late Imperial Perm Province	59

UTOPIA AND DYSTOPIA IN THE LITERATURE OF THE 20th — 21st CENTURIES

<i>Amelina, A. V.</i> Theoretical Aspect of Studying the Literary Utopias and Dystopias of the First Decades of the 20 th Century (on the Genre Identification Problem)	77
<i>Kovtun, E. N.</i> Debating the Noon Universe: A. and B. Strugatsky vs M. and S. Dyachenko	92
<i>Serebryakova, E. G.</i> <i>Yawning Heights</i> by A. A. Zinoviev as a Model of Philosophical Dystopia	108
<i>Adelgeim, I. Ye.</i> P. Czerwiński's Dystopia <i>International</i> in the Context of the Young Polish Prose of the Early 21 st Century	119
<i>Prudius, I. G.</i> Features of Dystopia in P. Christen and S. Verdier's Graphic Novel <i>Orwell</i>	136

SOCIAL MECHANISMS OF POWER IN THE HISTORY OF RUSSIA

<i>Nakishova, M. T.</i> Role of the Personal Factor in the St Petersburg Government System under Peter the Great (with Reference to Inn Construction in 1722–1723)	152
<i>Timofeev, D. V.</i> Mechanics of Government Reformism: A Note by Provincial Leader N. A. Maikov and the Practice of Adjusting the Legislation on Noblemen's Elections in Russia in the First Third of the 19 th Century	170
<i>Chernikova, N. V.</i> Ministry of the Imperial Court under Alexander III (with Reference to Prince V. S. Obolensky's Diary)	186
<i>Gilmintinov, R. R.</i> "Accept Costs as an Exception": Social Costs in Soviet Land Management with Reference to Conflicts around the Reconstruction of the Bachatsky Surface Mine in the Late 1960s — 1970s	200

LANGUAGE OF FOLK CULTURE

<i>Chernykh, A. V., Rusinova, I. I.</i> Names of Yuletide Mummers in the Russian Subdialects of Perm Krai	218
<i>Ivanova, E. E.</i> On Studying the Mountain Mythonymy of the Urals: Mythonyms Motivated by Social Vocabulary	234
<i>Kuchko, V. S.</i> Many-Faced Carnelian: The History of the Names of the Stone in the Russian Language Tradition	251
<i>Mullonen, I. I.</i> Karelian Anthroponymic Heritage in Russian Zaonezhye	264
<i>Bakhtereva, A. A.</i> Terminology of Land Ownership and Types of Settlements in the Oikonymy of Belozerye	283

УРАЛЬСКИЕ ГОРОДА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

URAL CITIES IN THE HISTORICAL CONTEXT

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.057
УДК 394.46 + 911.375(09) +
+ 94(470.53-25) + 94(470.54-25)

Г. А. Янковская
*Пермский государственный национальный
исследовательский университет*
Пермь, Россия

ЮБИЛЕЙ ГОРОДА И СТАНОВЛЕНИЕ «ПЕРИФЕРИЙНЫХ СТОЛИЦ» В СССР

В статье анализируется ряд аспектов социально-экономического и политического использования юбилейных дат с целью ускорения развития территории-юбиляра. Хотя первоначально сама мысль о юбилее в молодом советском государстве выглядела абсурдно, юбилейные традиции СССР формируются в конце 1920-х — 1930-е гг., когда повсеместно праздновались трех-, пяти-, десяти-, пятнадцати-, двадцатилетия со дня учреждения организаций, предприятий; а персональные юбилеи — по времени работы в каком-то учреждении, по времени занятия данной специальностью, по возрасту и другим поводам. Рассматриваются политические решения советской / российской власти по регулированию «юбилейного вопроса». С конца 1940-х гг. юбилей города мог быть политической кампанией, способом символической мобилизации и накопления ресурсов. С другой стороны, празднование юбилеев города вызывало всплеск историко-культурного активизма на местах, способствовало формированию краеведческих сообществ, стимулировало формирование местной идентичности. Модельным для становления юбилеев советских областных центров является резонансный кейс «спора историков» о дате основания г. Перми. Предложена новая интерпретация полемики между Ф. С. Горовым и Б. Н. Назаровским на рубеже 1960–1970-х гг. и становления советского формата публичной истории. Первый советский полномасштабный юбилей Перми (как и ряда других городов) продемонстрировал свой потенциал социально-экономической технологии развития городов и наращивания ими символического капитала провинциальной / региональной столичности. Эти тенденции особенно наглядно проявились в российской истории в первой четверти XXI в. Празднования юбилеев городов формируют своеобразную темпоральность ключевых дат, дают импульс развития символической компоненте столичности.

Ключевые слова: юбилей города; политика юбилеев; Пермь; Екатеринбург; Ф. С. Горовой; Б. Н. Назаровский; публичная история; периферийные столицы

Благодарности

Издание подготовлено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 20-49-590004 «Добровольные общества и низовые историко-культурные инициативы: трансформации позднесоветских социальных институтов и форм активности во второй половине 1980-х – 1990-е годы (региональный аспект)».

Цитирование: Янковская Г. А. Юбилей города и становление «периферийных столиц» в СССР // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 9–22. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.057>

Поступила в редакцию: 31.08.2023

Принята к печати: 30.11.2023

Galina A. Yankovskaya

Perm State University

Perm, Russia

PROVINCIAL CITIES' ANNIVERSARIES AND THE FORMATION OF SOVIET "PERIPHERAL CAPITALS"

This article analyses some aspects of the socioeconomic and political uses of anniversaries in the Soviet and contemporary Russian history to boost the development of the territory. Initially, the desire of the young Soviet state to sever all ties with the past made the “anniversary question” almost absurd. Soviet anniversary traditions formed in the late 1920s–1930s when the 3rd, 5th, 10th, 15th, and 20th anniversaries of organisations and enterprises were celebrated everywhere. The article also mentions personal anniversaries, which celebrated the time of work in a particular institution, or in a particular specialty and other reasons. Additionally, the author considers the political decisions of the Soviet / Russian authorities on the regulation of the “anniversary question”. Starting with the late 1940s, the anniversary of a city could be a political campaign, a way of symbolic mobilisation and accumulation of resources. On the other hand, cities’ anniversaries caused a surge in local historical and cultural activism, contributed to the formation of local lore communities, and stimulated the formation of local identity. Particular attention is paid to the resonant “dispute of historians” considering the date of foundation of the city of Perm at the turn of the 1970s, which is personified in the controversy between F. S. Gorovoy and B. N. Nazarovsky becoming a model for the establishment of anniversaries of local centres. A new interpretation of the above polemic is proposed in the context of the Soviet public history formation. The first full-scale anniversary of Perm (as well as a few other Soviet cities) demonstrated its potential as a socioeconomic technology and stimulated urban development and accumulation of the provincial / regional capital. The celebration of anniversaries forms a specific temporality of key dates and gives an impetus to the development of the symbolic component of metropolitan identity.

Key words: city's anniversary; Perm; Ekaterinburg; F. S. Gorovoy; B. N. Nazarovsky; public history; peripheral capitals

Acknowledgements

The study was funded by the *Russian Foundation for Basic Research* and Perm Region, project 20-49-590004 "Voluntary Societies and Grassroots Historical and Cultural Initiatives: Transformations of Late Soviet Social Institutions and Forms of Activity in the Second Half of the 1980s–1990s (Regional Aspect)".

For citation: Yankovskaya, G. A. (2023). Iubilei goroda i stanovlenie "periferiinykh stolits" v SSSR [Provincial Cities' Anniversaries and the Formation of Soviet "Peripheral Capitals"]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 9–22. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.057>

Submitted: 31.08.2023

Accepted: 30.11.2023

За последние десятилетия проблематика юбилея статуировалась в социальном и гуманитарном знании. Юбилеи многократно рассматривались в качестве явлений, влияющих на мемориальную культуру и символическую политику [историографию вопроса см.: Махнырев, 2019; 2020; Цимбаев, 2019; Красильникова, 2019]. В тематической рамке этой статьи особый интерес представляют публикации, связанные с интерпретацией истории юбилеев крупных городских центров Уральского региона и Сибири [Избушева; Красильникова, Наумов], символических факторов в формировании региональных столиц [Окунев, с. 85; Бугров, Емельянов].

Не раз «юбилейные эффекты» оказывались в фокусе внимания научных форумов. Конференция «Юбилеи и другие символические ресурсы территории в практиках академической и публичной истории» (Пермь, ПГНИУ, 2020) включала в свою повестку теоретические и конкретно-исторические вопросы «юбилейной урбанистики». Тематическими приоритетами традиционной конференции «Будущее нашего прошлого», организуемой РГГУ, стали в 2022 г. исследования мемориальной культуры и практик («Юбилеи — историческая память или беспамятство?»). И это далеко не полный перечень событий.

В данной публикации основное внимание будет уделено дискуссионным вопросам нормативного регулирования и обоснования дат юбилеев городов в советской и постсоветской истории, а также символических и политэкономических компонентов годовщин городов, претендующих на статус региональных / периферийных столиц.

Юбилей с государственной точки зрения: вакханалия праздника vs план и контроль

«Для проведения юбилеев создаются юбилейные комитеты и комиссии, которые разрабатывают обширные мероприятия, приглашают многочисленных

гостей, в том числе и из зарубежных стран, принимают решения о выпуске всякого рода юбилейных медалей, значков, почтовых марок, юбилейных сборников, широко рекламируют юбилеи в печати, устраивают выставки, производят киносъёмки, приобретают за государственный счет подарки юбилярам и гостям, отвлекают многих людей на подготовку юбилейных торжеств. Партийные органы не только не пресекают подобного растранижения государственных и общественных средств, но нередко сами обязывают советские органы выделять значительные денежные суммы на эти цели, хотя в подавляющем большинстве случаев можно было бы посоветовать не проводить того или иного юбилея или отметить его скромно, на личные средства, без затраты средств общественных организаций», — эти формулировки звучали в тексте Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1958 г. «О наведении порядка в праздновании юбилеев». Власть словно подводила черту под ушедшей исторической эпохой. Ведь юбилейный бум был характерной чертой эпохи позднего сталинизма.

Это постановление было пятым в ряду государственных установлений, пытавшихся как-то зарегулировать «юбилейную волну»: впервые советское руководство пыталось поставить празднование дат под контроль правительства, наркоматов и рабоче-крестьянской инспекции еще Постановлением СНК СССР от 1 декабря 1925 г. «О порядке разрешения празднования юбилеев». Через год потребовалось издать еще одно постановление, разъясняющее, как толковать первое. Оба очень кратких документа времен НЭПа носили самый общий характер и должны были разъяснить, каким образом при новом политическом режиме могут отмечаться юбилеи. Ведь в дореволюционной Российской империи юбилеи дат военной истории, юбилеи городов, писателей, университетов, основания государства или царствующей династии праздновались много и часто [Цимбаев, 2012], они играли роль скреп идентификации для российских эмигрантов первой волны [Ковалев].

Советские юбилейные традиции формируются в конце 1920-х – 1930-е гг., когда первые итоги социалистическому эксперименту подводились в связи с десяти- и двадцатилетием Октябрьской революции, пятидесяти- и шестидесятилетием И. Сталина, двадцатилетием РККА и прочими датами истории нового государства. В силу его исключительно молодого возраста повсеместно праздновались трехлетие, пятилетие, десятилетие, пятнадцатилетие, двадцатилетие со дня существования организаций, предприятий, учреждений; а персональные юбилеи — по дате начала работы человека в каком-то учреждении, по возрасту и другим поводам. «Юбилейную вакханалию» призвано было притормозить Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О порядке празднования юбилеев» от 10 апреля 1941 г. Новый нормативный документ должен был навести порядок в этих коммеморативных импровизациях в центре и на местах. Основная идея заключалась в том, чтобы юбилеи организовывались только с разрешения соответствующих правительственных органов, с определенным временным шагом, без раздачи большого количества наград и без привлечения значительных средств.

Через 15 лет власть вынуждена была вернуться к обсуждению этого вопроса. Постановление партии и правительства от 10 мая 1956 г. «О порядке празднования юбилеев» называло ситуацию с празднованием памятных дат не иначе как «порочная практика юбилейных излишеств»: «Установилось ничем не оправданное правило отмечать юбилеи организаций, учреждений и лиц в совершенно произвольные сроки, независимо от заслуг юбиляров перед государством и народом. Партийные и советские органы часто формально подходят к этому вопросу, поддерживая ходатайства различных организаций о проведении юбилеев без всяких к тому оснований, только в связи с теми или иными датами... Становящиеся непрерывными празднества и юбилеи отвлекают работников от выполнения своих задач и порождают безответственное растраниживание государственных средств» [Постановление..., 1956].

Ламентации Постановления напрямую относились к послевоенному десятилетию. В годы войны было не до юбилеев, а вот после 1945 г. государственные торжества в честь памятных дат стали системным компонентом советской жизни. Впервые годовщина (30-летие) Октябрьской революции была оттеснена на второй план событием, не связанным с советской историей, — юбилеем столицы государства. Празднование 800-летия Москвы (1947) было санкционировано политическим руководством страны и отмечалось по самому высокому государственному разряду [Горинов; Махнырев, 2023]. Эти торжества стали первыми в СССР практиками всесоюзного празднования городского юбилея и создали прецедент, которому в дальнейшем активно следовали и другие города.

Представляется, что города-юбиляры в самом общем виде и с большой долей условности можно разделить на три группы. К первой относятся «исторические города», имеющие особое историко-культурное значение, сохранившие историческое и археологическое наследие в значительном объеме и не претендующие на статус региональных столиц. Ко второй — «города империи», которые были основаны в период активного продвижения российского государства на новые территории и формирования центров индустриального развития (Нижний Тагил, Омск, Пермь, Екатеринбург и др.). Соответственно, многие из городов второго типа расположены на отдалении от политических столиц, являются центрами регионов. К третьей группе относятся «молодые города», основанные в советскую эпоху, не претендующие на долгую биографию и статус региональных центров.

Что касается юбилеев исторических городов, то в 1947 г. в колее юбилея Москвы 800 лет со дня основания отметила Вологда, в 1952 г. — Кострома. Ту же дату и в том же году отметили жители Городца. В 1958 г. с серьезным размахом прошли торжества по поводу 850-летия Владимира-на-Клязьме. В целом московский юбилей не мог не пробудить во многих исторических городах интереса к датам их основания, в том числе на уровне местного партийного начальства [Селезнев]. Нередко для ведомств, учреждений и организаций решающим доводом к участию в юбилейных мероприятиях были соображения сугубо экономического порядка: возможность получить государственные заказы, дополнительное

финансирование и доступ к другим ресурсам. Юбилеи использовались для решения задач политической мобилизации. Идеологический фактор играл решающую роль в содержании советской юбилейной риторики и церемоний.

Волна юбилеев «городов империи» в позднем СССР

Рубеж 1960–1970-х гг. отличается особой плотностью советского праздничного календаря. Один за другим отмечались: в 1967 г. — 50 лет Октябрьской революции, в 1968 г. — 50 лет ВЛКСМ, в 1970 г. — 100 лет со дня рождения В. И. Ленина, в 1972 г. — 50 лет образования СССР, 50 лет Всесоюзной пионерской организации и 70 лет Второго съезда РСДРП, в 1975 г. — 70 лет первой русской революции.

Юбилейная избыточность привела к усталости от годовщин советской тематики. Считается, что 100-летний юбилей В. И. Ленина словно подвел черту под авторитетом первого советского вождя, который с этого времени стал неумолимо разрушаться [Тумаркин]. С другой стороны, именно череда масштабных советских юбилеев подстегнула инфраструктурное развитие крупных областных центров, сопровождалась многими ритуальными символическими действиями, которые выполняли консолидирующую функцию, создавали символический контент города с амбициями.

К юбилейной дате 7 ноября 1967 г. по всей стране стремились завершить многие строительные, планировочные городские проекты. К примеру, в областном центре Пермской области был пущен в эксплуатацию Камский мост, который сейчас воспринимается как визитная карточка города. Архитектурно оформился современный облик Октябрьской площади (место парадов, демонстраций и прочих советских публичных ритуалов). Гостиница «Прикамье», также введенная в эксплуатацию в этот год, манифестировала поворот к местной исторической символике, поскольку название отеля реанимировало идею, высказанную еще в 1911 г. географом Кривошековым: именовать территорию, которая составляла собой Пермскую область именно Прикамьем. «Юбилейный» мост был введен в строй в 1967 г. и в Омске, также приобретая значение городской достопримечательности. В Уфе к 1967 г. ввели в строй гостиницу, Дворец спорта, плавательный бассейн, а также крупнейшие памятники города — В. И. Ленину и Салавату Юлаеву. Мосты, спортивные и культурно-досуговые сооружения, гостиницы были построены в юбилейный год и во многих других городах. Таким образом, целый ряд областных столиц приобрели именно в этот короткий момент избыточного празднования советских юбилеев эмблематичные архитектурные доминанты.

Столь же мощный импульс был получен многими «городами империи» в связи с празднованием круглых годовщин своего основания. Юбилей города стал неотъемлемой частью символического порядка в позднем СССР. Он стимулировал интерес к местной истории среди самых разных акторов, отвечая запросу на обоснование локального измерения государственного нарратива

со стороны властных структур. Таким был контекст спора историков о дате основания Перми — одного из «городов империи», отмечавших юбилеи в последние десятилетия советской власти.

Спор историков «по-пермски»

С 1968 по 1973 г., далеко от Москвы, в Перми — столице областного центра Западного Урала — разыгрывалась нешуточная драма, движущим конфликтом которой был спор краеведческого значения и локального масштаба: какой год считать датой основания города — 1723 или 1781?¹ Накал страстей был таков, что и полвека спустя слышны отголоски острейшего противостояния тех лет. Воспоминания участников, сохранившиеся архивные и медийные свидетельства спора пермских академических и публичных историков до сих пор порождают сильные эмоции и привлекают внимание исследователей.

Фабула «датской битвы» в Перми хорошо известна и задокументирована [Быстрых, Захарова]. Традиций празднования юбилея города в советской Перми к тому моменту не сложилось, до 1917 г. городская годовщина отмечалась один раз, когда в 1881 г. «гуляли» 100-летие указа Екатерины II об учреждении города как административного центра губернии. В соседнем Свердловске вопрос был давно официально решен, там началась подготовка к 250-летию, которое приходилось на 1973 г. В этой ситуации в газете «Молодая гвардия» (орган областного комитета ВЛКСМ) только в 1968 г. было опубликовано не менее 10 статей журналистов и краеведов, в которых обосновывалась необходимость удревнить дату основания города, привязав ее к основанию Егошихинского медеплавильного завода.

Основной конфликт для сторонников публично-исторического лагеря заключался в вопросе о том, кто основал город — рабочие или императрица? Чья точка зрения корректна — «дворянская, царистская» или точка зрения советских краеведов, опирающаяся на мнение историков Перми дореволюционного времени? Для другой стороны спора исследовательский вопрос звучал иначе: каковы характеристики поселения городского типа? В полемику были вовлечены представители практически всех институтов, связанных с сохранением памяти и производства исторического знания — университета, областного архива, областного краеведческого музея, — коллеги-историки из Свердловска, представители Академии наук СССР. В споре приняло участие партийное руководство. Он завершился победой «народной» точки зрения на заводскую родословную города. Дебаты вокруг юбилея сформировали мемориальные сообщества, стали настоящей легендой региональной истории, стоили карьеры ректору Пермского университета, повлияли на здоровье и ранний уход из жизни обоих оппонентов.

¹ Другой юбилей ранее нанес удар по местной идентичности: с 1940 по 1957 г. город носил имя советского государственного деятеля В. М. Молотова, что вписывалось в советскую традицию преподносить топонимические подарки к юбилеям политических лидеров.

В канун 300-летнего юбилея Перми в 2023 г. страсти по юбилею полувековой давности вновь актуализированы. Но не с точки зрения оспаривания датировки основания города. Сегодня есть возможность проанализировать мотивацию и стилистику действий главных персон. Так, под пронизательным и ироничным взглядом очевидца событий, историка О. Л. Лейбовича, столкновение ректора Пермского государственного университета Ф. С. Горового и краеведа-пассионария, бывшего редактора областной партийной газеты и областного книжного издательства, пенсионера Б. Н. Назаровского анализируется в рамках перформативного поворота в историографии. В таком ракурсе бои за датировку основания «столицы Западного Урала» соотносятся с ожиданиями общественного мнения [Лейбович, 2022] либо предстают в качестве политически мотивированного спектакля, а сам повод к дискуссии видится с научной точки зрения «ничтожным» [Лейбович, 2023, с. 53].

Так ли это? Есть основания еще раз взглянуть на ту ситуацию и остановиться на ряде узловых моментов, значимых для дискуссии о «споре пермских историков». Было ли столкновение академической науки и общественности чем-то исключительным? Действительно ли датировка основания города — это вопрос микроскопической научной значимости? Уникальна ли апелляция пермских краеведов к власти в спорах историко-культурного характера? Эти вопросы требуют дальнейшего компаративного исследования, но и на данный момент можно утверждать, что бои за датские рубежи — это скорее типичное явление, чем исключение.

Конвенциональный характер дат основания городов не раз демонстрировался в советскую эпоху. В 1957 г. вне хронологии и исключительно по политическим резонам состоялся отмененный в 1953 г. юбилей 250-летия Ленинграда (основанного в 1703 г.). В том же году в соседней для Перми Кировской области отметили 500-летие г. Кирова, а 17 лет спустя, в 1974 г., — праздновали уже его 600-летие (!) [Жаравин]. В метаморфозах датировки основания города решающую роль сыграл известный историк А. В. Эммаусский. Именно он стал одним из идеологов проведения 500-летнего юбилея Кирова в эпоху «оттепели». В 1956–1957 гг. он полагал, что «поскольку в нашей стране принято считать временем возникновения городов первое упоминание о них в достоверных источниках», то есть основания признать датой появления г. Кирова 1457 г., так как под этим годом он впервые упоминается в летописях с именем Хлынов. Но в более поздний период его позиция под влиянием новых сведений и дискуссий меняется. Даты основания смещаются от 1457 г. к 1374 г., несмотря на то, что новая дата связана с не очень славным эпизодом (поход ушкуйников) [Мусихин].

Метания по поводу даты основания исторического города Владимира-на-Клязьме были эпическими по масштабам: в 1958 г. отмечается 850-летие города, а через 37 лет, в 1995 г., — 1000-летие. Около ста лет длится спор о дате основания Казани. Разброс датировок и вовсе охватывает четыре столетия. Еще одна конфликтная ситуация связана с претендовавшим на звание «столицы Сибири» Омском. В конце XIX в. 100-летие города жители Омска впервые отметили

в 1882 г., отталкиваясь от административной реформы и Указа Екатерины II о присвоении Омску статуса города, что не помешало уже в 1916 г. отмечать 200-летний юбилей со дня основания города. От этой даты вели отсчет и советские власти, когда в 1966 г. отмечали 250-летие областной столицы. С 1888 г. и вплоть до сегодняшнего дня историки и общественность спорят о дате основания Краснодара, хотя «цена вопроса» — один год, 1793 или 1794.

Ближайший сосед и «значимый другой» для пермяков — Свердловск-Екатеринбург — также пережил свой спор историков о дате основания города. В отличие от Перми, в Свердловске существовала устоявшаяся конвенция относительно даты основания города, которую с XIX в. связывали со строительством Екатеринбургского завода, которое в 1721 г. начал подготавливать В. Н. Татищев, а в 1723 г. осуществил Г. В. де Геннин (формальный статус города Екатеринбург получил только в 1781 г., но эта дата никогда не считалась заслуживавшей внимания). Однако в 1958 г. профессор Уральского государственного университета М. А. Горловский предпринял попытку переставить акценты, предложив считать годом основания города не 1723 г., а 1721 г.; соответственно, и основание города оказалось бы связано только с В. Н. Татищевым. На стороне Горловского выступал главный редактор газеты «Уральский рабочий» Е. Я. Багреев. Главным же противником этой «ревизии» оказался А. Г. Козлов, специалист Государственного архива Свердловской области. Последовала полемика в местной печати, завершившаяся дискуссией в стенах университета, которому горисполком и горком партии поручили созвать расширенное заседание научного отдела и определить дату основания Екатеринбургa. Совещание состоялось 11 декабря 1958 г., и по его итогам было принято постановление: «Заслушав сообщения М. А. Горловского, А. Г. Козлова, Д. А. Владимирского и ознакомившись с представленными документами, совещание находит, что датой основания города Екатеринбургa-Свердловска надо считать 1723 год. При этом наиболее целесообразной юбилейной датой надо признать пуск Екатеринбургского завода, то есть 18 ноября 1723 года» [Черноухов, Пундани, с. 393–394].

К участнику этого совещания А. Г. Козлову как к безусловному авторитету пермяки обращались за консультацией и получили довольно обескураживающий ответ о том, что искомая дата должна быть соотнесена с первой плавкой заводской меди (январь 1724 г.), а «пермский вариант дискуссии, вероятно, не лучший» [Переписка Н. А. Аликиной..., л. 28 об.].

Таким образом, спор о дате основания Перми необходимо рассматривать в контексте других примеров столкновения академических историков, краеведческой общественности и властей различного уровня по поводу дат основания городов. Продвижение идеи юбилея Перми в 1973 г. свидетельствовало о медиализации исторического знания, его преобразении в «историческую политику», когда масс-медиа становятся основным каналом трансляции образов прошлого и ресурсом рекрутирования сторонников того или иного исторического нарратива. Юбилей города способствовал формированию воображаемых сообществ региональной идентичности, опирающихся на местный патриотизм.

Наконец, эту давнюю битву за юбилей Перми можно рассмотреть и как формат советской публичной истории, в рамках которой реализуется право влияния публики на прошлое, на повестку исторических академических исследований и городской активизм. Монополия университета на производство исторического знания была разрушена, в новой ситуации помимо публики активное участие в формировании властного авторитетного юбилейного дискурса приняли сотрудники областного музея, библиотеки и архивов — неакадемических институтов исторического знания. На эти характеристики надо смотреть сквозь советские линзы — с учетом асимметричности взаимодействия с властью, апелляции к ее административным ресурсам.

Иначе говоря, споры о датировке основания городов — это горячее, разжигающее страсти краеведческого поиска, споры о достоверности источников и гиперсемиотизацию археологических артефактов. Условность дат начальной истории города обусловлена конфликтом интересов многих действующих лиц.

Юбилей города — драйвер развития «периферийных столиц»

Социально-экономическую рациональность, предписывающую видеть в юбилее города шанс его развития, принято соотносить с современной экономикой впечатлений и конкуренцией городов за человеческий капитал [Евтушенко]. Однако схожую логику демонстрируют источники более ранних эпох. Так, 100-летний юбилей г. Сарапула в 1880 г. дал импульс дискуссии о создании новой Прикамской губернии со столицей в Сарапуле [Блинов, 1880]. Иркутск официально ведет свою биографию с 1661 г., а не от более ранних дат, содержащихся в достоверных документальных свидетельствах. Исследователи прямо называют причиной «омоложения» даты основания города в советский период желание местных властей получить дополнительное финансирование под инфраструктурное развитие, которое стало возможным в начале 1960-х гг., но было маловероятным в послевоенном СССР [Сколько лет Иркутску?].

В современной России празднование городского юбилея становится каналом подключения к федеральным ресурсам. На высшем уровне правовым основанием масштабирования городского юбилея служит Указ президента Д. А. Медведева от 4 августа 2010 г. «О рассмотрении предложений и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации» [Указ президента Д. А. Медведева...]. Документ пережил несколько редакций и дополнений, но и сегодня определяет правила, по которым тот или иной город может войти в федеральный юбилейный список и рассчитывать на серьезное финансирование. Обязательным условием служит экспертное заключение, подписанное президентом РАН с подтверждением научной достоверности даты основания города. Юбилей городов входят в число приоритетных тем Российского исторического общества (выделяющего гранты по приоритетной тематике). На 2023 г. в этом списке значится 700-летие крепости Орешек и 300-летие основания Екатеринбурга. В 2024 г. — 1000-летие основания

Суздаля, 950-летие г. Торопца, 650-летие г. Кирова, 450-летие г. Уфы. В 2025 г. в приоритете только одна годовщина — 800-летие основания Юрьевца [Российское историческое общество].

Эту модель празднования городских юбилеев можно назвать проектной и инфраструктурно-ориентированной: «Подготовка к юбилейным торжествам — это и попытки системного осмысления пройденного городом исторического пути, и часть единого непрерывного процесса городского развития, и повод к мобилизации всех внутренних и внешних ресурсов, ориентированных на развитие областного центра. Это в конце концов привлечение новых ресурсов (в том числе и значительных федеральных средств), их точечное и приоритетное использование. В каком-то смысле, подготовка к юбилею — это хорошая возможность решить накопившиеся у города проблемы» [Данилин].

Фактически сегодня празднование городских юбилеев приводит к масштабированию конкуренции региональных столиц. Юбилей города может упаковываться в покровы риторики о культурной памяти, наследии, исторических корнях, но все чаще интересуется власть и общественность с точки зрения решения социально-экономических проблем, привлечения туристического потока и получения бонусов в символической гонке региональных центров за первенство.

Источники

Данилин П. Юбилейные итоги // Центр политического анализа : сайт. URL: <https://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/jubilejnye-itogi>. Дата публикации: 30.05.2016.

Жаравин А. С. Празднование 600-летия города Кирова // Центральный государственный архив Кировской области : сайт. URL: https://gaspiko.cgako.ru/html/28_12_2013 (дата обращения: 12.08.2023).

Переписка Н. А. Аликиной, заведующей партийным архивом Пермского обкома КПСС, с ученым секретарем Научного совета по исторической географии и картографии АН СССР о представлении текста сообщения Б. Н. Назаровского «О некоторых вопросах истории г. Перми» // Пермский государственный архив социально-политической истории — ПермГАСПИ. Ф. 25. Личный фонд Б. Н. Назаровского. Оп. 1. Д. 184.

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О наведении порядка в праздновании юбилеев» от 12.12.1958 № 1361 // Портал Garant.ru. URL: <https://base.garant.ru/1584605/> (дата обращения: 10.03.2023).

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О порядке празднования юбилеев» от 10.05.1956 № 628 // Электронная база данных «Е-Досье — Электронный эколог». URL: https://e-ecolog.ru/docs/AvAcnTHN0giT0eqdfzL?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 10.03.2023).

Российское историческое общество : [сайт]. URL: <https://historyrussia.org/2015-07-31-07-38-09/nashi-priority.html> (дата обращения: 01.11.2023).

Сколько лет Иркутску? Дискуссия о возрасте Иркутского острога // Иркутск Медиа. URL: <https://irkutskmedia.ru/news/1127117/>. Дата публикации: 12.06.2023.

Указ президента Д. А. Медведева от 04.08.2010 № 983 «О рассмотрении предложений и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации» // Официальное интернет-представительство президента Российской Федерации. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/31603> (дата обращения: 10.03.2023).

Исследования

Блинов Н. Н. К столетнему юбилею города Сарапула. О необходимости образования новой Прикамской губернии. Сарапул: Тип. Ф. Т. Пойлова, 1880.

Бугров К. Д., Емельянов Е. П. «Периферийная столица» или общесоюзный центр? Векторы культурного развития Свердловска в 1940–1980-х годах // Вестник Пермского университета. История. 2023. № 3(62). С. 186–200.

Быстрых Т. И., Захарова Н. Ф. 1973 год: 250-летие со дня основания Перми. Хронология юбилея // Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми. Вып. 5 / сост. Т. И. Быстрых. Пермь, 2013. С. 126–206.

Горинев М. М. Москва послевоенная. 1945–1947. Архивные документы и материалы. М.: Мосгосархив, 2000.

Евтушенко А. Г. Юбилей российских городов как важный инструмент функционирования региональных экономик // Вестник МГУКИ. 2012. № 3 (47). С. 91–94.

Избушева А. М. Подготовка и проведение юбилея города в советской истории как способ сохранения и закрепления исторической и культурной памяти // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2015. № 3 (7). С. 24–35.

Ковалев М. В. Исторические праздники русской эмиграции как способ сохранения коллективной культурной памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. М.: РОИИ, 2012. С. 268–287.

Красильникова Е. И. Память региональных отличий: юбилей сибирских городов (1904–1943 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 443. С. 119–131.

Красильникова Е. И., Наумов С. С. Празднование трехсотлетних юбилеев сибирских городов как отражение государственной и региональной политики памяти (1904–2016 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2023. № 82. С. 81–88.

Лейбович О. Л. Исторический проигрыш: Федор Горовой в дискуссии 1968–1972 годов о дате образования Перми // Технологос. 2022. № 4. С. 19–29.

Лейбович О. Л. «Безвестный странный тип в косovorотке...». Борис Назаровский и новая хронология г. Перми // Культурный код. 2023. № 2. С. 53–69.

Махнырев А. Л. 30 и 40 лет Великого Октября: Что отразилось в зеркале юбилеев революции? М.; СПб.: Нестор-История, 2019.

Махнырев А. Л. Куда дул ветер хрущевской оттепели? Взгляд в зеркало двух исторических юбилеев. М.: Нестор-История, 2020.

Махнырев А. Л. 800-летие Москвы: великий праздник после Великой Победы. М.; СПб.: Нестор-История, 2023.

Мусихин А. Л. Вопрос об основании города Кирова в работах А. В. Эммаусского // Петряевские чтения, 2005: материалы науч. конф. Киров, 24–25 февраля 2005 г. / сост. Н. П. Гурьянова. Киров: [б. и.], 2005. С. 120–130.

Окунев И. Ю. Столица и столичность: институт и символический капитал // Философские науки. 2016. № 1. С. 80–87.

Селезнев Ф. А. Празднование 800-летия Городца Волжского в 1952 г.: историографическая предыстория // Матвей Кузьмич Любавский: к 150-летию ученого / ред. Ю. В. Кривошеев. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2013. С. 168–174.

Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб.: Академический проект, 1999.

Цимбаев К. Н. Реконструкция прошлого и конструирование будущего в России XIX века: опыт использования исторических юбилеев в политических целях // Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом / ред. А. Н. Дмитриев. М., 2012. С. 475–498.

Цимбаев К. Н. Истоки юбилейной культуры императорской России // Диалог со временем. 2019. Вып. 67. С. 70–79.

Черноухов А. В., Пундани В. В. К дате основания Екатеринбурга (Эпизод из жизни А. Г. Козлова) // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 10. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. С. 382–384.

References

Blinov, N. N. (1880). *K stoletnemu iubileiu goroda Sarapula. O neobkhodimosti obrazovaniia novoi Prikamskoi gubernii* [The 100th Anniversary of Sarapul. Of the Necessity to Create a New Kama Province]. Sarapul: Tipografiia F. T. Poilova.

Bugrov, K. D., & Emel'yanov, E. P. (2023). "Periferiinaia stolitsa" ili obshchesoiuznyi tsentr? Vektory kul'turnogo razvitiia Sverdlovskia v 1940–1980-kh godakh [A Peripheral Capital or an All-Soviet Centre? Vectors of Cultural Development of Sverdlovsk, 1940s–1980s]. *Vestnik Permskogo universiteta. Istorii*, 3(62), 186–200.

Bystrykh, T. I., & Zakharova, N. F. (2013). 1973 god: 250-letie so dnia osnovaniia Permi. Khronologiia iubileia [1973: The 250th Anniversary of the Foundation of Perm. Chronology of Anniversary]. In T. I. Bystrykh (Ed.), *Smyshliaevskii sbornik: issledovaniia i materialy po istorii i kul'ture Permi* (Vol. 5, pp. 126–206). Perm.

Chernoukhov, A. V., & Pundani, V. V. (2009). K date osnovaniia Ekaterinburga (Epizod iz zhizni A. G. Kozlova) [To the Date of the Foundation of Ekaterinburg (Episode from the Life of A. G. Kozlov)]. *Dokument. Arkhiv. Istorii. Sovremennost'* (Vol. 10, pp. 382–384). Ekaterinburg: Ural University Press.

Evtushenko, A. G. (2012). Iubilei rossiiskikh gorodov kak vazhnyi instrument funktsionirovaniia regional'nykh ekonomik [The Anniversary of Russian Cities as an Important Tool for the Functioning of Regional Economies]. *Vestnik MGUKI*, 3(47), 91–94.

Gorinov, M. M. (2000). *Moskva poslevoennaia. 1945–1947. Arkhivnye dokumenty i materialy* [Post-War Moscow. 1945–1947. Archival Documents and Materials]. Moscow: Mosgosarkhiv.

Izbusheva, A. M. (2015). Podgotovka i provedenie iubileia goroda v sovetskoii istorii kak sposob sokhraneniia i zakrepleniia istoricheskoi i kul'turnoi pamiati [Preparation and Holding of the City's Anniversary in Soviet History as a Way to Preserve and Consolidate Historical and Cultural Memory]. *Vestnik Omskogo universiteta. Serii "Istoricheskie nauki"*, 3(7), 24–35.

Kovalev, M. V. (2012). Istoricheskie prazdniki russkoi emigratsii kak sposob sokhraneniia kollektivnoi kul'turnoi pamiati [Historical Holidays of Russian Emigration as a Way to Preserve Collective Cultural Memory]. In L. P. Repina (Ed.), *Krizisy perelomnykh epokh v istoricheskoi pamiati* [Crises of Turning Points in Historical Memory] (pp. 268–287). Moscow: ROII.

Krasil'nikova, E. I. (2019). Pamiat' regional'nykh otlichii: iubilei sibirskikh gorodov (1904–1943 gg.) [Memory of Regional Differences: Anniversaries of Siberian Cities (1904–1943)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 443, 119–131.

Krasil'nikova, E. I., & Naumov S. S. (2023). Prazdnovanie trekhstoletnikh iubileev sibirskikh gorodov kak otrazhenie gosudarstvennoi i regional'noi politiki pamiati (1904–2016 gg.) [Celebrating the Tercentenary Anniversaries of Siberian Cities as a Reflection of the State and Regional Memory Policy (1904–2016)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istorii*, 82, 81–88.

Leibovich, O. L. (2022). Istoricheskii proigrysh: Fedor Gorovoi v diskussii 1968–1972 godov o date obrazovaniia Permi [Historical Loss: Fyodor Gorovoy in the 1968–1972 Debate about the Date of Perm's Foundation]. *Tekhnologos*, 4, 19–29.

Leibovich, O. L. (2023). "Bezvestnyi strannyi tip v kosovorotke...". Boris Nazarovskii i novaia khronologiia g. Permi ["An Unknown Strange Guy in a Kosovorotka...". Boris Nazarovskiy and the New Chronology of Perm]. *Kul'turnyi kod*, 2, 53–69.

Makhnyrev, A. L. (2019). *30 i 40 let Velikogo Oktiabria: Chto otrazilos' v zerkale iubilee revoliutsii?* [30 and 40 Years of the Great October Revolution: What was Reflected in the Mirror of the Anniversaries of the Revolution?]. Moscow; St Petersburg: Nestor-Istoriia.

Makhnyrev, A. L. (2020). *Kuda dul veter khrushchevskoi ottepei? Vzgljad v zerkalo dvukh istoricheskikh iubileev* [Where did the Wind of Khrushchev's Thaw Blow? A Look into the Mirror of Two Historical Anniversaries]. Moscow: Nestor-Istoriia.

Makhnyrev, A. L. (2023). *800-letie Moskvy: velikii prazdnik posle Velikoi Pobedy* [800th Anniversary of Moscow: A Great Celebration after the Great Victory]. Moscow; St Petersburg: Nestor-Istoriia.

Musikhin, A. L. (2005). Vopros ob osnovanii goroda Kirova v rabotakh A. V. Emmausskogo [The Question of the Founding of the City of Kirov in the Works of A. V. Emmaussky]. In N. P. Gur'yanova (Comp.), *Petriaevskie chteniia, 2005: materialy nauchnoi konferentsii* [Petryaev Readings, 2005: Materials of the Scholarly Conference. Kirov, February 24–25, 2005]. Kirov, 24–25 fevralia 2005 g. (pp. 120–130). Kirov: [s. n.].

Okunev, I. Yu. (2016). Stolitsa i stolichnost': institut i simvolicheskii kapital [Capital and Metropolitanism: Institution and Symbolic Capital]. *Filosofskie nauki*, 1, 80–87.

Seleznev, F. A. (2013). Prazdnovanie 800-letii Gorodtsa Volzhskogo v 1952 g.: istoriograficheskaia predystoriia [Celebration of the 800th Anniversary of Gorodets Volzhsky in 1952: Historiographical Background]. In Yu. V. Krivosheev (Ed.), *Matvei Kuz'mich Liubavskii: k 150-letiiu uchenogo* [Matvei Kuzmych Liubavsky: For the Scholar's 150th Birthday] (pp. 168–174). St Petersburg: St Petersburg University Press.

Tsimbaev, K. N. (2012). Rekonstruktsiia proshlogo i konstruirovaniie budushchego v Rossii XIX veka: opyt ispol'zovaniia istoricheskikh iubileev v politicheskikh tseliakh [Reconstruction of the Past and Construction of the Future in Russia of the 19th Century: Experience of Using Historical Anniversaries for Political Purposes]. In A. N. Dmitriev (Ed.), *Istoricheskaiia kul'tura imperatorskoi Rossii: formirovaniie predstavlenii o proshlom* [Historical Culture of Imperial Russia: Formation of Ideas about the Past] (pp. 475–498). Moscow.

Tsimbaev, K. N. (2019). Istoki iubileinoi kul'tury imperatorskoi Rossii [The Origins of the Jubilee Culture of Imperial Russia]. *Dialog so vremenem*, 67, 70–79.

Tumarkin, N. (1999). *Lenin zhiv! Kul't Lenina v Sovetskoi Rossii* [Lenin is Alive! The Cult of Lenin in Soviet Russia]. St Petersburg: Akademicheskii proekt.

Янковская Галина Александровна

доктор исторических наук, доцент,
зав. кафедрой междисциплинарных
исторических исследований

Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614068, Пермь, ул. Букирева, 15/2
E-mail: yank64@yandex.ru

Yankovskaya, Galina Aleksandrovna

Dr. Hab (History), Associate Professor,
Head of the Department of Interdisciplinary
Historical Studies

Perm State University
15/2 Bukirev St., 614068 Perm, Russia
Email: yank64@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7651-488X>
Scopus AuthorID: 57211532151
WoS ResearcherID: Q-2892-2017

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.058
УДК 94(470.54-25)“19/20” +
+ 316.334.56:711.4 + 39 + 304.3

О. Н. Яхно
Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия

ЕКАТЕРИНБУРГ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Статья посвящена изучению трансформаций городского пространства Екатеринбурга в условиях социально-экономических перемен конца XIX — начала XX в., связанных с развитием транспортной и промышленной инфраструктуры, ростом населения и превращением в «образцовый капиталистический город». Изменения деятельности горожан в экономической, общественно-политической, культурной, образовательной и досуговой сферах требовали соответствующего пространственного, физического оформления. Выделены важнейшие территориальные зоны концентрации (кластеры) зданий и элементов инфраструктуры, начавшие задавать специализацию конкретных частей города. Можно выделить коммерческий и финансовый кластер в западной части, медицинский в северо-западной части и досуговый в восточной части города. Ключевые социальные системы — религиозная и образовательная — имели тенденцию охватывать город целиком. Также отмечается, что в ходе жилой застройки не произошло жесткого размежевания богатых и бедных районов даже в центре города. Сформировавшаяся в рассмотренный период специализация различных частей центра города продолжила оказывать влияние на развитие планировочной структуры Екатеринбурга-Свердловска, закрепляя своеобразное разделение между финансово-коммерческой правобережной и культурно-общественной левобережной частями города. Отмечается слабое экономическое освоение восточной границы Екатеринбурга, северного привокзального района и в особенности южных районов — единственного направления, в котором могла расти жилая застройка. Но рост вел к формированию диспропорций: новые районы оказывались слабо охвачены церковными и учебными учреждениями. Подобные диспропорции относились к числу наиболее крупных вызовов на путях развития крупных городских центров России, являвшихся «локомотивами» позднеимперской модернизации.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Екатеринбург; повседневная жизнь; городское пространство; функциональные кластеры; инфраструктура; жилая среда; образ жизни

Ц и т и р о в а н и е: Яхно О. Н. Екатеринбург на рубеже XIX–XX вв.: традиции и новации в организации городского пространства // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 23–39. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.058>

Поступила в редакцию: 28.04.2023

Принята к печати: 09.11.2023

Olga N. Yakhno

*Institute of History and Archaeology UB RAS
Ekaterinburg, Russia***EKATERINBURG AT THE TURN OF THE 20th CENTURY:
TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE ORGANISATION
OF URBAN SPACE**

This article studies the transformations of the urban space of Ekaterinburg in the conditions of socioeconomic changes in the late nineteenth – early twentieth centuries, associated with the development of transport and industrial infrastructure, population growth, and transformation into a “model capitalist city”. Changes in the activities of citizens in the economic, sociopolitical, cultural, educational, and leisure spheres required appropriate spatial and physical design. The article identifies the most important territorial zones of concentration (clusters) of buildings and infrastructure elements that began to set the specialisation of specific parts of the city. One can distinguish a commercial and financial cluster in the western part, a medical cluster in the northwestern part, and a leisure cluster in the eastern part of the city. The key social systems – religious and educational – tended to encompass the whole city. It is also noted that during the residential development, there was no strict separation of rich and poor districts even in the city centre. The specialisation of different parts of the city centre formed during the period under consideration, continued to influence the development of the planning structure of Ekaterinburg-Sverdlovsk, consolidating a peculiar division between the financial and commercial right-bank and cultural and social left-bank parts of the city. There was little economic development of the eastern border of Ekaterinburg, the northern station area, and especially the southern districts, which was the only direction that could be occupied by residential development. However, the growth led to a disproportion, as there were no religious or educational institutions in the area. Such disproportions were among the most important challenges faced by the large urban centres of Russia, which were the driving force of late Imperial modernisation.

Key words: Ekaterinburg; everyday life; urban space; infrastructure; living environment; lifestyle; functional clusters

For citation: Yakhno, O. N. (2023). Ekaterinburg na rubezhe XIX–XX vv.: traditsii i novatsii v organizatsii gorodskogo prostranstva [Ekaterinburg at the Turn of the 20th Century: Traditions and Innovations in the Organisation of Urban Space]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 23–39. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.058>

*Submitted: 28.04.2023**Accepted: 09.11.2023*

В последние годы наблюдается растущий интерес к изучению истории трансформации городских пространств в России рубежа XIX–XX вв., в том числе и Екатеринбурга [Постников]. В целом, изучению организации городского пространства посвящен достаточно широкий круг работ [Букин, Пискунов;

Зорина, Слукин; Корепанов; Рабинович, Низамутдинова; Худякова]. Настоящая статья имеет целью дать обобщающий анализ проблемы. Изучение городской среды сегодня предполагает понимание ее как комплекса взаимосвязанных материальных и нематериальных условий, влияющих на процессы реализации «разнообразных потребностей населения» [Нотман, с. 106]. Плотность застройки, развитие транспортных коммуникаций и способов распространения информации, территориальное зонирование дают богатый материал для реконструкции экономической, социальной, культурной жизни города в конкретно-исторический период.

Городское пространство Екатеринбурга, как и многих других городов России, претерпело крупные изменения во второй половине XIX — начале XX в., связанные с интенсивным ростом и изменением экономической структуры. В отличие от большинства крупных городов России, Екатеринбург был создан в XVIII в. как завод-крепость, центр управления горной промышленностью Урала. Специфика его развития как административного центра проявлялась в экономике, социальном составе жителей, регулярной организации городского пространства. Хотя в 1857 г. Екатеринбург утратил статус горного города и превратился в обычный уездный «гражданский» город, планировочное наследие горнозаводской эпохи продолжало оказывать влияние на развитие. «Великие реформы» 1860-х гг. открыли новую главу в истории Екатеринбурга, запустив процесс ускоренной капиталистической модернизации.

Географическое пространство развития «столицы Урала» определялось чередованием высот, формировавших так называемый «естественный амфитеатр» [Голобородский, с. 10], доминантами которого выступали Московская, Вознесенская, Обсерваторская горки и реки. Главной водной магистралью Екатеринбурга была р. Исеть, делившая его на левобережную и правобережную части. Она была запружена в четырех местах, образуя Верх-Исетский, Городской, Парковый и Нижнеисетский пруды [Постников]. Кроме плотин, через реку были перекинuty мосты, которых на территории Екатеринбурга к началу XX в. насчитывалось три: Каменный по Покровскому проспекту, Царский — по Александровскому, Симановский — по Северной улице. Притоки Исети, такие как Мельковка, Камышенка (Монастырка), Малаховка и др., оказывали огромное влияние на застройку Екатеринбурга, выступая в роли естественных преград и одновременно хозяйственных водоемов. Водоемы также использовались в качестве места отдыха и развлечений горожан. По берегам реки Исети были разбиты сады, организованы общественные и частные купальни; за порядком на набережных городского пруда следили полицмейстер и приставы, так как «купальщики разоблачаются и лезут в воду, где попало, на виду у массы публики...» [Рудокоп]. К примеру, у Царского моста в 1903 г. мещанин Усачов (бывший городской) устроил купальни с отделениями для мужчин, женщин и детей [Урал, 1903, 20 июня]. Правда, сохранились не совсем лестные описания набережной городского пруда: перила ограждения «сгнили и наполовину вывалились, каменные столбы облезли, кирпичи во многих местах из них

вынуты. Около пруда маленький сквер, который почти без всякого присмотра» [Злоказов, Семенов, с. 513].

Экономика города трансформировалась: прекратили существование казенные механическая фабрика, монетный двор, снизились поступления «шалых денег» от золотодобычи. Основой городской экономики стали легкая и пищевая промышленность, кустарное производство и промыслы, оптовая торговля зерном и скотом. Екатеринбург являлся центром Исетского мукомольного района [Микитюк, 2020, с. 100]; зримым выражением роли города как узла зерновой торговли стало возведение крупных мельниц — Ивановской паровой вальцово-мельницы и мельницы Борчанинова-Первушина. Крупнейшим по числу работников промышленным предприятием Екатеринбурга начала XX в. являлась льнопрядильно-ткацкая фабрика товарищества «Братья Макаровы». Можно констатировать: ориентацию екатеринбургской промышленности на удовлетворение государственного заказа сменила ориентация на потребительский рынок. В. П. Микитюк подчеркивает: «Екатеринбург на рубеже XIX–XX вв. превратился в один из наиболее развитых в торгово-промышленном отношении городов Урала. В 1910 г. в городе насчитывалось 622 лавки и магазина, 44 промышленных предприятия. В 1914 г. в Екатеринбурге действовало 919 торговых точек и 94 промышленных заведения» [Микитюк, 2016, с. 165].

Хозяйственные перемены сопровождались интенсивным ростом населения: за период с 1857 по 1897 г. оно увеличилось с 13 до 43,2 тыс. жителей [Первая всеобщая перепись..., с. 1; Кузьмин, Оруджиева, с. 96], а в 1915 г. достигла 112 тыс. человек [Бахарев, Заболотных, с. 902]. В начале XX в. Екатеринбург вошел в число крупных городов с населением свыше 50 тыс. жителей; согласно общероссийской переписи населения 1897 г. к числу таких городов относился лишь каждый двадцатый город империи [Кошман, с. 58]. Рост населения сопровождался изменением структуры городского сообщества, ростом неравенства в доходах его жителей: значительно увеличился удельный вес социальных слоев и групп, связанных с активно формировавшимся капиталистическим укладом. Как отмечал публицист и краевед В. А. Весновский, «появилась возбужденность, лихорадочная деятельность, нахлынули новые неведомые люди: адвокаты, инженеры, немцы, евреи. На место “первых людей” выходят “винные короли”, торговцы водкой, крупные мукомолы, банковские дельцы и разного рода ловкие аферисты» [Весновский, с. 15]. Преобразилась и структура потребления, — например, смена кулинарных привычек екатеринбуржцев привела к возникновению на рубеже XIX–XX вв. в городе макаронного, конфетного, пивоваренного производства; формируется сегмент демократичного общественного питания — чайных, народных столовых, кухмистерских [Микитюк, Яхно, с. 97–101]. И по численности населения, и по масштабам экономической деятельности Екатеринбург начала XX в. был сопоставим с такими губернскими центрами, как Пермь и Уфа. Наблюдатели, посещавшие Екатеринбург на рубеже столетий, называли его городом «американского склада» [Екатеринбургская неделя].

К началу XX в. Екатеринбург находился в границах улиц Северная (современная Челюскинцев) — Московская — 2-я Восточная (современная Восточная). С запада, севера и востока город был окружен землями Верх-Исетского завода, казны и полосой отчуждения Пермской железной дороги [Екатеринбург, с. 103]; и только на юге оставалось место для роста городской застройки, достигшей 4-й Загородной улицы (современная Щорса) [Зорина, Слукин, с. 24]. В 1878 г. Екатеринбург был связан железной дорогой с Пермью; к началу XX в. город становится крупнейшим железнодорожным узлом. Это в значительной мере изменило географию Екатеринбурга — не только появлением нового Арсеньевского проспекта [Козинец, с. 125], но и созданием условий для роста промышленной зоны. Достаточно сказать, что размещение упомянутых выше мельничных комплексов определялось именно близостью их к железной дороге.

По состоянию на 1889 г. в Екатеринбурге имелось 582 каменных дома, 575 полукаменных и 4335 деревянных; вместе эти жилые помещения формировали 44,8 % от общего числа построек; еще 23,7 % приходилось на домашние бани и 26,2 % — на надворные строения [Город Екатеринбург, с. 76]; к 1904 г. каменных зданий было 602, полукаменных — 587, деревянных — 4834; по числу каменных сооружений Екатеринбург превосходил любое поселение губерний Урала, за исключением Оренбурга [Города России..., с. 162–163]. К 1923 г. в Екатеринбурге (не считая поселка Верх-Исетского завода) имелось 17 177 строений в 4373 владениях [Екатеринбург за 200 лет, с. 269], жилой фонд к началу Первой мировой войны превысил 500 000 кв. м, достигнув показателя примерно в 6,8 кв. м общей площади на одного жителя [Лыжин, с. 78]. Это были почти сплошь одноэтажные строения; двух- и трехэтажных домов насчитывалось менее 1 %. Собственные дома имели около 30 % жителей города, остальные снимали квартиры; на каждый дом в среднем приходилось около 7 человек, на каждую комнату (считая кухни) — 2 человека. Такая плотность расселения была в общем характерна для всех крупных городов Урала. Аренда жилья в Екатеринбурге по состоянию на 1904 г. обходилась заметно дороже, чем в любом другом городе региона, опять-таки исключая Оренбург [Города России..., с. 178]. В то же время в Перми, не говоря уже о других городах губернии, стоимость проживания в аналогичной квартире не превышала 180 руб. [Верхоланцев, с. 11]. Наиболее состоятельные горожане — купцы, промышленники, крупные чиновники, высокооплачиваемые специалисты — в основном предпочитали селиться на центральных улицах, тяготевших к Исети. Именно здесь были сконцентрированы двух- и трехэтажные каменные дома. Зачастую на их первом этаже находились магазины, конторы и т. д., а на верхних — жилые помещения, как правило, это были благоустроенные квартиры с большим количеством комнат, отоплением, водоснабжением и канализацией в здании. Рост деловой активности стимулировал строительство в центральной части города доходных домов.

Богатейшие горожане возводили для себя усадьбы. Усадебная застройка имела общие черты: жилой дом ставился на красной линии улицы, за ним — вспомогательные строения, за ними — сады. Состав строений в усадьбе был

довольно разнообразным, в целом число построек, связанных с домашним производством, сокращалось, хотя у таких групп городского населения, как ремесленники, извозчики, мелкие торговцы, еще долго сохранялись мастерские, конюшни, склады и другие помещения. Сокращение городского двора с течением времени происходило не только за счет освобождения от построек производственного назначения, но и в результате рационализации быта, уменьшения числа и упрощения строений бытового назначения. К 1914 г. в Екатеринбурге насчитывалось 16 гостиниц и 39 постоянных дворов. По внешнему виду лучшей гостиницей в городе была «Американская» — на углу Покровского проспекта и Златоустовской улицы. Популярностью пользовались гостиничные рестораны.

Четкого размежевания богатых и бедных районов города в полной мере не произошло, и даже в центре города здания богачей нередко соседствовали с непрезентабельными домиками малоимущих. На городских окраинах это было обычным явлением. В 1901 г. газета «Уральская жизнь» отмечала, что «...в 1-й Мельковской улице, в стороне пруда есть целый квартал полусгнивших, покосившихся хибарок, тесно примыкающих друг к другу. Хотя по распоряжению управы в таких местах возводить какие-либо постройки нельзя, но... обыватели продолжают укреплять и отстраивать свои ветхие лачуги, являющиеся прекрасным материалом для огня» [Уральская жизнь, 1901, 27 июля]. Окраины имели скверную репутацию, получали хлесткие имена — так, городская пресса фиксирует Амур (Амурскую гору, ныне — Московская горка) и Колмогоровку в западной части Екатеринбурга, в районе Коковинской площади и тюремного замка [Урал, 1903, 20 апр.], Верхний Дунай в районе пересечения Харитоновской и Луговой улиц [Уральский край, 1911, 27 мая], Курейка между дачами Злоказовых и Макаровых [Зауральский край] и др. В южной части возник цыганский поселок, по имени которого, очевидно, была названа обширная Цыганская площадь.

Развитие уличной сети не успевало за ростом населения и расширением жилого пространства. К 1923 г. улично-дорожная система города имела протяженность 175 верст (около 186 км), замощено было при этом около пятой части всех дорог [Екатеринбург за 200 лет, с. 269]. За пределами центра с его мощеными улицами город весной и осенью утопал в грязи, а летом случались чуть ли не пыльные бури; в 1903 г. Екатеринбург получил в прессе характеристику «уральской песочницы» [Урал, 1903, 24 июня]. Электрическое освещение отдельных участков улиц появилось в Екатеринбурге с 1885 г. В 1894 г. была введена в строй городская электростанция, позволившая осветить несколько центральных улиц; в планах даже было введение световой рекламы на уличных экранах на американский манер [Слово Урала]. В 1903 г. на улицах города появился первый автомобиль [Микитюк, 2018, с. 44]. Екатеринбург насчитывал 18 площадей и 12 площадей-пространств без названия. Традиционно они являлись местами торговли и развлечений горожан.

Коммунальная инфраструктура оставалась слабым местом Екатеринбурга. Водопровод в городе отсутствовал; по состоянию на 1913 г. Екатеринбург

снабжался водой из 29 источников [Уральская жизнь, 1913, 12 дек.]. Крупнейшим из них являлся Малаховский ключ. Важным элементом городской среды были общественные сады и парки. Как отмечает Т. Б. Сродных, вплоть до 1860-х гг. озеленение Екатеринбурга носило по преимуществу частновладельческий характер; исключением являлись Верх-Исетский бульвар и бульвар на Главном проспекте [Сродных, с. 48–49]. Однако с 1860-х гг. складывается система общественных скверов, выполнявших как рекреационную, так и санитарно-оздоровительную функцию. В 1914 г. в Екатеринбурге имелось 6 крупных общественных садов и скверов: Харитоновский, Клубный, Железнодорожный (на плотине городского пруда) и Нуровский скверы, скверы Вознесенского и Главного бульваров [Весь Екатеринбург..., с. 147]. Сквер был разбит и у здания вокзала; он стал первым общественным пространством города, в котором появились клумбы. Предполагалось разбить сквер и на Пушкинской улице, но соответствующее решение местных властей так и не было проведено в жизнь [Уральская жизнь, 1912, 5 июня]. Общественные скверы и парки дополняли частные сады, разбитые при многих усадьбах. Особенно славились сады Симановых, Нуровых, Казанцевых.

Средоточием коммерческой и финансовой стройки стала западная часть города, приобретшая торговую функцию еще в XVIII в. — пространства Торговой и Хлебной площадей. На первой располагались торговые ряды; на второй — мясной, обжорный и фруктовый ряды, сенные балаганы, велась мелочная и бакалейная торговля, а по воскресеньям работал птичий рынок, в лавках вдоль Уктусской улицы, выходящих на площадь, торговали железом и «железными товарами». К началу XX в. коммерческих площадей перестало хватать; возник проект сооружения нового Гостиного двора на Торговой площади [Звагельская, 2008, с. 128]. Композиционной доминантой должен был стать Пассаж, который планировали выстроить из железобетона, оснастить водопроводом, канализацией, паровым отоплением, электрическим освещением. В случае осуществления этого проекта в Екатеринбурге появился бы самый крупный и современный торговый комплекс Урала [Звагельская, 2007, с. 112]. Буксовало строительство нового Гостиного двора. В 1916 г. в деловом центре началось сооружение товарной биржи. Кроме того, в районе площади были выстроены здания Городской думы с Городским общественным банком и Русско-Азиатский банк, здание которого было специально спроектировано для осуществления банковских операций. Осталось проектом «грандиозное здание Северного банка на углу Покровского проспекта и Успенской улицы» [Уральский край, 1908, 28 сент.]. К этой же части города тяготели лучшие рестораны города (общим числом 12), размещавшиеся в пределах четырехугольника улиц Усольцевская — Клубная — Водочная — Покровский проспект; большинство их тяготело к улицам Успенской и Пушкинской [Микитюк, Яхно, с. 135]. Именно этот район Д. С. Бахарев и А. В. Бобицкий аттестуют как средоточие деловой жизни Екатеринбурга начала XX в. [Бахарев, Бобицкий, с. 126].

Кластер общественных зданий складывался в восточной части города. Еще в 1847 г. был основан Городской театр. Для него на пересечении Главного

и Вознесенского проспектов построили специальное здание. С конца XIX в. в этом районе формируется культурно-развлекательный центр города. В 1896 г. в городском театре состоялся первый в Екатеринбурге сеанс «синематографа», а с 1912 г. здание начало использоваться только для демонстрации кино. В 1873 г. было открыто Общественное собрание, занявшее здание на углу Вознесенского проспекта и улицы Клубной; с 1880-х гг. при собрании работал сад [Казакова-Апкаримова, с. 112–113]. В 1900 г. было построено здание концертного зала, в 1909 г. — кинематограф «Лоранж», в 1912 г. — кинотеатр «Художественный», в 1915 г. возведено здание Коммерческого собрания, в 1916 г. — здание городской публичной библиотеки им. В. Г. Белинского. Важным событием в культурной жизни Екатеринбурга стало открытие в 1912 г. Нового городского театра, расположенного на Дровяной площади. М. Г. Ростовская-Ковалевская, которая пела на сцене театра, вспоминала, что театр порадовал артистов и зрителей своей красотой и удобством. «Серебристо-серый, он гордо высился на большой площади, и скромные одно-двухэтажные особнячки робко отступали перед ним. Нас привели в восторг специальные гардеробные комнаты, в каждой из которых стоял шкаф для сохранения личных артистических костюмов, гримировальные столики с зеркалом-трельяжем, умывальник с горячей и холодной водой. Комнаты были просторные, в них вмещались софа и стулья» [Злоказов, Семенов, с. 579]. В целом плотность культурной жизни города выросла, что было связано с деятельностью целого ряда крупных общественных организаций — Уральского общества любителей естествознания, Уральского общества любителей изящных искусств и мн. др. Е. Ю. Казакова-Апкаримова отмечает: «Типичным для культурного досуга горожан становилось посещение публичных лекций и выставок, литературных и танцевальных вечеров, концертов и спектаклей, чтение... На основе общности интересов формировалась новая коллективная идентичность» [Казакова-Апкаримова, с. 116]. Новые формы досуга были свойственны прежде всего городской интеллигенции [Кончаковская, с. 95–96].

Медицинский кластер был развернут в северо-западной части города. Здесь, на границе города, находился заводской Верх-Исетский госпиталь, с 1911 г. переданный в аренду Екатеринбургскому земству [Черноухов, с. 54]. В 1906 г. была открыта Глазная лечебница имени А. А. Миславского, в 1910 г. вошла в строй первая в городе детская больница при общине Красного Креста; в 1914 г. — заложена психиатрическая больница. Вместе с тем в городе работала широкая сеть частной медицины — врачей, осуществлявших прием на дому или в маленьких лечебницах (самой известной была лечебница врачей-специалистов, с 1914 г. работавшая в доме Флоринского, на углу Покровского проспекта и Пушкинской улицы), от акушеров и дантистов до гигиенистов и косметологов. Старший врач городской больницы А. Я. Эберле в 1919 г. аттестовал больницу так: «Городская больница... есть сплошное недоразумение, выросшее незаметно для всех в продолжение многих лет... рано или поздно, но крест на эту больницу ставить придется» [Уральская жизнь, 1919, 12 февр.].

В таких сферах, как коммерция, здравоохранение, творчество и досуг, территория города фрагментировалась, приобретая специализацию и образуя кластеры. Напротив, ключевые социальные системы — религиозная и образовательная — имели тенденцию охватывать город целиком. К 1917 г. Екатеринбург «имел развитый православный ландшафт: на его территории, включая Верх-Исетский завод, находилось 30 богослужебных зданий Российской Православной Церкви, в том числе пять приходских церквей, три собора и храмовый комплекс женского монастыря I-го класса, включавший пять церквей и собор» [Бахарев, Главацкая, с. 144]. Однако религиозные здания были размещены неравномерно: важнейшие церкви — Богоявленский и Екатерининский соборы, Александро-Невский собор в Ново-Тихвинском монастыре — были выстроены еще в первой половине XIX в., а последним по времени в дореволюционный период крупным церковным сооружением стала возведенная в 1876 г. Максимилиановская церковь (Большой Златоуст) близ Торговой площади. Крупнейшим же культовым ансамблем являлся Ново-Тихвинский женский монастырь, занимавший юго-западную часть старого планировочного ядра Екатеринбурга. Недалеко от него, на улице Архиерейской, находились управляющие органы Екатеринбургской епархии. М. В. Голобородский отмечает, что к середине XIX в. сформировалась четкая градостроительная структура православного церковного ландшафта в виде двух линий с высотными доминантами на крупных площадях: по Главному проспекту (Торговая площадь с Богоявленским собором — Екатерининская церковь) и по Александровскому проспекту (Щепная площадь с ансамблем Ново-Тихвинского монастыря — Сенная площадь и район Царского моста с комплексом церковных сооружений) [Голобородский, с. 11].

Средние учебные заведения — их общее число к 1910 г. составило 9 — тоже были распределены по территории города неравномерно и тяготели к углам упомянутого выше прямоугольника церквей и площадей. Часть их располагалась в восточной части города, ближе к формирующемуся культурному кластеру; на левобережье Исети, в пределах современных улиц Малышева — Тургенева (Красноармейская) — К. Цеткин, располагались первая женская гимназия, Екатеринбургский учительский институт и Екатеринбургская художественно-промышленная школа. Крупнейший же образовательный кластер разместился на юго-западе, вокруг Щепной площади и вблизи Ново-Тихвинского монастыря — здесь находились комплекс женского епархиального училища, мужское духовное училище, вторая женская гимназия. В 1914 г. было начато строительство здания Горного института к востоку от железнодорожной линии, однако завершено оно не было [Дашкевич, Рукосуев, с. 173]; Горный институт будет развернут на базе образовательного кластера Щепной площади, и это расположение унаследует от него организованный в 1920 г. Уральский университет.

Существенно больший охват имела сеть начальных учебных учреждений. К 1899 г. в Екатеринбурге было 10 начальных училищ и столько же церковно-приходских школ; с 1908 г. сеть училищ начала быстро расти, и уже к 1916 г. их насчитывалось 28. Они имели сквозную нумерацию; старейшие из них

именовались по церквям, поблизости от которых они были открыты (Тихвинская, Крестовоздвиженская, Спасская), а также получали названия в честь российских деятелей культуры, — как правило, писателей: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. А. Крылова, Л. Н. Толстого, Д. Н. Мамина-Сибиряка и др. (исключением оказался почетный гражданин Екатеринбурга генерал Богданович, чье имя носила Тихвинская школа); заложенная в 1912 г. школа получила имя в честь Отечественной войны 1812 г. Для школ строились специализированные здания — деревянные либо каменные; на время стройки школы могли занимать частные дома или усадьбы. И если приходские школы в своем размещении были «привязаны» к церквям, то училища образовывали относительно равномерно распределенную систему. Конечно, крупнейшие каменные школьные здания тяготели к площадям и церквям — такие здания были возведены на Хлебной, Сенной, Щепной, Вознесенской площадях. Однако школы помещали и на городской периферии — так, два капитальных здания были сооружены на улице Московской, одно — на улице Северной близ комплекса городской больницы (Богоявленская школа). С началом Первой мировой войны система школ столкнулась с суровым испытанием — здания учебных заведений изымались под лазареты, школы вновь перемещали в частные дома; ряд учебных зданий навсегда сменил профиль на медицинский (Богоявленская школа, школа имени Отечественной войны 1812 г.). С другой стороны, это привело к еще большему расширению сети училищ — школы были открыты на улице Уктусской (8 Марта) и Спасской (С. Разина), сместив границу охвата на юг и юго-запад. Таким образом, сеть начальных школ полностью охватила город по трем направлениям — северному, восточному и западному. На юге своего рода границей оказалась улица Загородная (Фрунзе) и район Цыганской площади. Слабо был охвачен и северо-восток города за Вознесенской горкой. К 1922 г. в Екатеринбурге (с учетом поселка Верх-Исетского завода) имелось 58 общеобразовательных школ, воспроизводивших дореволюционную систему.

О том, что школы воспринимались как важный элемент развития периферийных городских пространств, говорит тот факт, что в 1912 г. группа жителей Малаховской площади обращалась в городскую управу с просьбой построить на площади школу — не только по той причине, что существующая школа на Сенной площади была чрезмерно удалена от них, но и с расчетом на то, что открытие школы приведет к ликвидации «домов терпимости» (обитатели Малаховской площади предлагали перенести их в южную, вновь осваиваемую часть города — на Цыганскую площадь) [Уральская жизнь, 1912, 14 марта]. В 1913 г. тринадцатая по счету школа была возведена на Малаховской площади. При этом на Цыганской площади школа имени И. С. Тургенева была построена еще в 1909 г.

Система дошкольного образования была в зачаточном состоянии — в 1918 г. было декларировано создание системы «детских площадок»: «Детские площадки, как и детские сады, устраивались до сих пор по инициативе частных лиц и посещались преимущественно детьми имущих классов. Дети трудового народа... почти не попадали туда, им предоставлялось проводить зиму в тесных,

грязных, сырых помещениях, а летом играть на залитых помоями дворах, барахтаться в пыли городских улиц без присмотра» [Уральская жизнь, 1918, 6 июня]. Планировалось организовать четыре «детские площадки»: в Харитоновском саду, на Гимназической набережной, в саду Рязановой при управлении Северо-Восточной Уральской железной дороги, при второй женской гимназии; планировалось организовать дополнительную «площадку» в Цыганской слободе. Хорошо видно: планируемые пять «детских площадок» должны были охватить пять основных районов города.

Д. С. Бахарев и А. В. Бобицкий, анализируя пространственную плотность хозяйственной активности в Екатеринбурге начала XX в., делают вывод: «Довольно слабо экономически освоенными выглядят восточная граница Екатеринбурга, кварталы северного привокзального района и в особенности южных районов» [Бахарев, Бобицкий, с. 127]. Сходную картину дает и анализ размещения крупнейших церковных комплексов и, что особенно важно, начальных училищ. Северо-восточный «угол» Екатеринбурга, расположенный между Вознесенской горкой и железной дорогой, не имел ни церквей, ни начальных школ. Несколько больше повезло юго-восточной части города, где располагалось крупнейшее предприятие Екатеринбурга — льнопрядильно-ткацкая фабрика товарищества «Братья Макаровы»: здесь тоже не было ни крупных церквей, ни школ, однако в относительной близости находился крупнейший социальный узел — комплекс Сенной и Ночлежной площадей. Главной же диспропорцией роста «столицы Урала» следует признать южный район по правому берегу Исети. Самыми южным церковными сооружениями города на 1917 г. являлись Ново-Тихвинский монастырь, Спасская единоверческая церковь и Архиерейская крестовая церковь, расположенные к северу от улицы Болотной (Большакова), в 1900 г. являвшейся границей города. Школьная сеть продвинулась дальше на юг, до района Цыганской площади (современная улица Фрунзе). Однако уже к 1914 г. застройка простиралась до района современной улицы Циолковского — почти километр жилого пространства, не охваченного церковной и учебной инфраструктурой. Именно это южное пространство роста демонстрировало, с какими проблемами столкнулся бы старый Екатеринбург при сохранении интенсивного роста. Городская буржуазия умело перестраивала центральную часть Екатеринбурга, опираясь на унаследованную от эпохи «горного города» социально-пространственную структуру, узлами которой являлись церкви и площади. В пределах этой структуры складывалась та специализация разных частей старого города, которая обрисована выше; можно предполагать, что она получила бы развитие при сохранении такого пути и в послереволюционный период. Рост селитьбы за пределы этой структуры и последующее неизбежное срастание Екатеринбурга с его многочисленными пригородами (прежде всего, поселками Верх-Исетского и Уктусского заводов) стали бы серьезной проблемой для городского самоуправления.

Отображение повседневной жизни растущего Екатеринбурга в целом следовало клише, характерным для описания провинциального города в отечественной

журналистике того времени: в центре внимания находились скука, неблагоустроенность, грязь. Талантливый фельетонист В. П. Чекин — яркая фигура екатеринбургской литературной жизни начала XX в. — с остроумием бичевал недостатки городской коммунальной инфраструктуры; в одном из его фельетонов фигурировал ученый Статистик Статистикович Статистиков, готовивший труд «О скорейшем приобретении на городской счет аэропланов ввиду непроходимости в осеннее, зимнее и весеннее время екатеринбургских улиц» [Клочкова, с. 265]. Едко охарактеризовал Екатеринбург и П. А. Земятченский, почвовед, прибывший в город в 1899 г. в составе экспедиции Д. И. Менделеева: «Правда, город большой, но какой-то унылый, сонный. Как будто он и обустроивается, и как будто разрушается. Особенно неприятное впечатление производит набережная городского пруда, в сущности самой красивой части города... Правда, я был в Екатеринбурге летом, но для большого торгового или промышленного города не должно быть каникул» [Уральская железная промышленность..., с. 348]. Вместе с тем, именно в годы хозяйственного и демографического роста рубежа XIX–XX вв. складывается представление о «столичности» Екатеринбурга [Журавлева, Мельникова, Поршнева, с. 10; Бугров, с. 18]. В 1912 г. город получил в торгово-промышленном справочнике такую характеристику: «Раскинувшись на пространстве в 10 кв. верст, он имеет до 4200 домов. Город освещается электричеством. Имеется телефонная сеть. Водопровода нет и вода берется из городских ключей. Трамвая нет, но мысль о постройке, как и водопровода, есть у городского самоуправления» [Весь Екатеринбург..., с. 106].

Однако столкнуться с вызовом роста пришлось уже не Екатеринбургской городской думе, а Свердловскому городскому совету. Рост города с 1930-х гг. протекал в рамках форсированной индустриализации, приведшей к резкому качественному изменению его основных характеристик как системы поселков с выраженной промышленной специализацией (Большой Свердловск). Тем не менее, сформировавшаяся в рассмотренный период специализация различных частей центра города продолжила оказывать влияние на развитие планировочной структуры Екатеринбурга-Свердловска, закрепляя своеобразное разделение между финансово-коммерческой правобережной и культурно-общественной левобережной частями города.

Источники

Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1919.

Весновский В. А. Весь Екатеринбург. Екатеринбург, 1903.

Весь Екатеринбург и горнопромышленный Урал. Торгово-промышленный справочник. 1912 г. Год издания III / издания Л. Я. Френкель. Екатеринбург : Электро-тип. А. Р. Вельц, 1912.

Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу, с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. Екатеринбург : Тип. «Екатеринбургской недели», 1899.

- Города России в 1904. Пермская губ. СПб. : Типо-лит. Ныркина, 1906.
- Екатеринбург за 200 лет (1723–1923) : сб. ст. / под ред. В. М. Быкова. Екатеринбург : Тип. «Гранит», 1923.
- Екатеринбургская неделя. 1890. № 44.
- Зауральский край. 1915. 30 апр.
- Злоказов Л. Д., Семенов В. Б. Старый Екатеринбург: город глазами очевидцев. Екатеринбург : ИГЕМО «Lithica» : Музей истории Екатеринбурга, 2000.
- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Т. XXXI : Пермская губ. СПб., 1904.
- Рудокон. 1898. 21 июня.
- Слово Урала. 1908. 1 июня.
- Урал. 1903. 20 апр.; 20 июня; 24 июня.
- Уральская железная промышленность в 1899 г., по отчетам о поездке, совершенной с высочайшего соизволения: С. Вуколовым, К. Егоровым, П. Земятченским и Д. Менделеевым, по поручению г-на министра финансов, статс-секретаря С. Ю. Витте. СПб., 1900.
- Уральская жизнь. 1901. 27 июля; 1912. 14 марта; 5 июня; 1913. 12 дек.; 1918. 6 июня; 1919. 12 февр.
- Уральский край. 1908. 28 сент.; 1911. 6 апр.; 27 мая.

Исследования

- Бахарев Д. С., Бобицкий А. В. Экономическое пространство Екатеринбурга в 1914 г. (по материалам городской телефонной сети) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 4. С. 110–128. <https://doi.org/10.15826/izv2.2022.24.4.067>
- Бахарев Д. С., Главацкая Е. М. Развитие православного ландшафта в современном российском мегаполисе (на примере Екатеринбурга) // Религиоведение. 2017. № 4. С. 143–153.
- Бахарев Д. С., Заболотных Е. А. Еще до войны: опыт реконструкции численности населения Екатеринбурга в 1913 г. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2020. Т. 19, № 4. С. 889–904. <https://doi.org/10.22363/2312-8674-2020-19-4-889-904>
- Бугров К. Д. Столичная идентичность и градостроительное развитие Екатеринбурга (конец XIX — начало XXI в.) // Уральский исторический вестник. 2023. № 3(80). С. 17–27. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-3\(80\)-17-27](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-3(80)-17-27)
- Букин В. П., Пискунов В. А. Свердловск. Перспективы развития до 2000 года. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.
- Голобородский М. В. Роль храмов в пространственно-планировочной структуре Екатеринбурга XVIII–XIX вв. // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2010. № 4. С. 9–17.
- Дашкевич Л. А., Рукосуев Е. Ю. Движение за создание высшего технического учебного заведения на Урале в конце XIX — начале XX в. // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2013. № 8. С. 165–174.
- Екатеринбург. Исторические очерки (1723–1998) / отв. ред. В. В. Алексеев. Екатеринбург : Екатеринбург, 1998.
- Журавлева Н. И., Мельникова С. В., Поршнева О. С. Трансформация статуса и имиджа Екатеринбурга-Свердловска в исторической динамике (XVIII–XXI вв.) // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования. 2016. № 1. С. 10–15.
- Звагельская В. Е. Эkleктика в памятниках архитектуры Свердловской области. Екатеринбург : Генри Пуншель, 2007.

Звагельская В. Е. Модерн в памятниках архитектуры Свердловской области. Екатеринбург : Генри Пущель, 2008.

Зорина Л. И., Слукин В. М. Улицы и площади старого Екатеринбурга. Екатеринбург : Баско, 2005.

Казакова-Анкаримова Е. Ю. Общественные собрания в повседневной жизни уральского города во второй половине XIX — начале XX в. // Уральский исторический вестник. 2011. № 1. С. 111–116.

Клочкова Ю. В. Аномалии уральского города в газетных фельетонах Перми и Екатеринбурга начала XX века // Норма и аномалия в славянской и еврейской культурной традиции / отв. ред. О. В. Белова. М. : Институт славяноведения РАН, 2016. С. 258–271.

Козинец Л. А. Каменная летопись города. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.

Кончаковская Н. Б. Повседневность екатеринбургской горожанки из среды интеллигенции в конце XIX — начале XX века (на примере Александры Владимировны Батмановой) // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2019. № 1. С. 82–99.

Корепанов Н. С. Очерки истории Екатеринбурга 1781–1831 гг. Екатеринбург : Баско, 2004.

Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и культурные аспекты. М. : РОССПЭН, 2008.

Кузьмин А. И., Оруджиева А. Г. Историко-демографический портрет Екатеринбурга // Известия Уральского государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 1998. № 9. С. 95–100.

Лыжин С. М. Принципы формирования структуры жилищного фонда крупнейшего города (на примере Екатеринбурга) // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2009. № 2. С. 78–82.

Микитюк В. П. Екатеринбургские предприниматели как агенты позднеимперской модернизации // Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект) / под общ. ред. В. А. Веремко; С. В. Степанов (отв. ред.). СПб. : Ленингр. гос. ун-т, 2016. С. 159–166.

Микитюк В. П. Автотранспорт в г. Екатеринбурге в начале XX в. // Милютинские чтения. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие российской провинции во второй половине XIX — начале XXI века / ред.-сост. А. Е. Новиков. Череповец : Череповецкий гос. ун-т, 2018. С. 43–50.

Микитюк В. П. Съезды мукомолов в Екатеринбурге // Двенадцатые Татищевские чтения / отв. ред. И. В. Побережников. Екатеринбург : Квадрат, 2020. С. 97–103.

Микитюк В. П., Яхно О. Н. Повседневная жизнь Екатеринбурга. Городское застолье. Екатеринбург : Альфа принт, 2021.

Нотман О. В. Городская среда как междисциплинарное понятие // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 12. С. 104–107.

Постников С. П. Историко-культурный ландшафт Екатеринбурга XX века // Архитектон: известия вузов. 2021. № 4(76). URL: https://archvuz.ru/2021_4/11/ (дата обращения: 27.04.2023).

Рабинович Р. И., Низамутдинова Т. М. Улицы Свердловска : справочник. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988.

Сродных Т. Б. Становление системы озеленения Екатеринбурга // Леса России и хозяйство в них. 2009. № 3. С. 48–53.

Худякова М. Ф. Улицы Екатеринбурга. Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2003.

Черноухов Э. А. Верх-Исетский госпиталь в XIX — начале XX вв. // Документ. Архив. История. Современность. 2021. № 21. С. 48–56.

References

- Alekseev, V. V. (Ed.). (1998). *Ekaterinburg. Istoricheskie ocherki (1723–1998)* [Ekaterinburg. Historical Essays (1723–1998)]. Ekaterinburg: Ekaterinburg.
- Bakharev, D. S., & Bobitsky, A. V. (2022). Ekonomicheskoe prostranstvo Ekaterinburga v 1914 g. (po materialam gorodskoi telefonnoi seti) [Economic Space of Ekaterinburg in 1914 (with Reference to the Materials of the City Telephone Network)]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2. Gumanitarnye nauki*, 24(4), 110–128. <https://doi.org/10.15826/izv2.2022.24.4.067>
- Bakharev, D. S., & Glavatskaya, E. M. (2017). Razvitie pravoslavnogo landshafta v sovremennom rossiiskom megapolise (na primere Ekaterinburga) [Development of the Orthodox Landscape in the Modern Russian Megacity (with Reference to Ekaterinburg)]. *Religiovedenie*, 4, 143–153.
- Bakharev, D. S., & Zabolotnykh, E. A. (2020). Eshche do voiny: opyt rekonstruktsii chislennosti naseleniia Ekaterinburga v 1913 g. [Even Before the War: The Experience of Reconstruction of the Population of Yekaterinburg in 1913]. *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Serija: istorija Rossii*, 4, 889–904. <https://doi.org/10.22363/2312-8674-2020-19-4-889-904>
- Bugrov, K. D. (2023). Stolichnaia identichnost' i gradostroitel'noe razvitie Ekaterinburga (konets XIX — nachalo XXI v.) [Capital Identity and Urban Development of Ekaterinburg (Late 19th — Early 21st Centuries)]. *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 3, 17–27. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-3\(80\)-17-27](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-3(80)-17-27)
- Bukin, V. P., & Piskunov, V. A. (1982). *Sverdlovsk. Perspektivy razvitiia do 2000 goda* [Sverdlovsk. Prospects for Development until the Year 2000]. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatelstvo.
- Chernoukhov, E. A. (2021). Verkh-Isetskii gospital' v XIX — nachale XX vv. [Verkh-Isetsy Hospital in the 19th — Early 20th Centuries]. *Dokument. Arkhiv. Istoriia. Sovremennost'*, 21, 48–56.
- Dashkevich, L. A., & Rukosuev, E. Yu. (2013). Dvizhenie za sozdanie vysshego tekhnicheskogo uchebnogo zavedeniia na Urale v kontse XIX — nachale XX v. [Movement for the Creation of Higher Technical Educational Institution in the Urals in the Late 19th — Early 20th Centuries]. *Izvestija vysshih uchebnykh zavedenij. Gornyj zhurnal*, 8, 165–174.
- Goloborodsky, M. V. (2010). Rol' khramov v prostranstvenno-planirovochnoi strukture Ekaterinburga XVIII–XIX vv. [The Role of Temples in the Spatial-Planning Structure of Ekaterinburg in the 18th – 19th Centuries]. *Academic Bulletin of UralNIIproekt RAASN*, 4, 9–17.
- Kazakova-Apkarimova, E. Yu. (2011). Obshchestvennye sobraniia v povsednevnoi zhizni ural'skogo goroda vo vtoroi polovine XIX — nachale XX v. [Public Meetings in the Daily Life of the Ural City in the Second Half of the 19th — Early 20th Centuries]. *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 1, 111–116.
- Khudyakova, M. F. (2003). *Ulitsy Ekaterinburga* [Streets of Ekaterinburg]. Ekaterinburg: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo.
- Klochkova, Yu. V. (2016). Anomalii ural'skogo goroda v gazetnykh fel'etonakh Permi i Ekaterinburga nachala XX veka [Anomalies of the Ural City in Newspaper Feuilletons of Perm and Ekaterinburg in the Early 20th Century]. In O. V. Belova (Ed.), *Norma i anomaliiia v slavianskoi i evreiskoi kul'turnoi traditsii* [Norm and Anomaly in the Slavic and Jewish Cultural Tradition] (pp. 258–271). Moscow: Institut slavianovedeniia RAN.
- Kozinets, L. A. (1989). *Kamennaia letopis' goroda* [Stone Chronicle of the City]. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izd-vo.
- Konchakovskaya, N. B. (2019). Povsednevnost' ekaterinburgskoi gorozhanki iz sredi intelligentsii v kontse XIX — nachale XX veka (na primere Aleksandry Vladimirovny

Batmanovoi) [Everyday Life of Ekaterinburg City Women from the Intelligentsia in the Late 19th – Early 20th Centuries (with Reference to Alexandra Vladimirovna Batmanova)]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, 1, 82–99.

Korepanov, N. S. (2004). *Ocherki istorii Ekaterinburga 1781–1831 gg.* [Essays on the History of Ekaterinburg 1781–1831]. Ekaterinburg: Basko.

Koshman, L. V. (2008). *Gorod i gorodskaja zhizn' v Rossii XIX stoletii: Sotsial'nye i kul'turnye aspekty* [City and Urban Life in Russia of the 19th Century: Social and Cultural Aspects]. Moscow: ROSSPEN.

Kuzmin, A. I., & Orudzhieva, A. G. (1998). Istoriko-demograficheskii portret Ekaterinburga [Historical and Demographic Portrait of Ekaterinburg]. *Izvestiia Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1. Problemy obrazovaniia, nauki i kul'tury*, 9, 95–100.

Lyzhin, S. M. (2009). Printsipy formirovaniia struktury zhilishchnogo fonda krupneishego goroda (na primere Ekaterinburga) [Principles of Forming the Structure of the Housing Fund of the Largest City (with Reference to Ekaterinburg)]. *Akademicheskii vestnik UralNIiproekt RAASN*, 2, 78–82.

Mikityuk, V. P. (2016). Ekaterinburgskie predprinimateli kak agenty pozdneimperskoi modernizatsii [Ekaterinburg Entrepreneurs as Agents of Late Imperial Modernisation]. In A. V. Novikov (Ed.), *Material'nyi faktor i predprinimatel'stvo v povsednevnoi zhizni naseleniia Rossii: istoriia i sovremennost' (regional'nyi aspekt)* [Material Factor and Entrepreneurship in the Everyday Life of the Russian Population: History and Modernity (Regional Aspect)] (pp. 159–166). St Petersburg: Leningrad State University.

Mikityuk, V. P. (2018). Avtotransport v g. Ekaterinburge v nachale XX v. [Motor Transport in Ekaterinburg in the Early 20th Century]. In V. A. Veremenko, & S. V. Stepanov (Eds.), *Miliutinskie chteniia. Sotsial'no-ekonomicheskoe, politicheskoe i kul'turnoe razvitie rossiiskoi provintsiia vo vtoroi polovine XIX – nachale XXI veka* [Milyutin Readings. Socioeconomic, Political and Cultural Development of the Russian Province in the Second Half of 19th – Early 21st Centuries] (pp. 43–50). Cherepovets: Cherepovets State University.

Mikityuk, V. P. (2020). S'ezdy mukomolov v Ekaterinburge [Congresses of Flour Millers in Ekaterinburg]. In I. V. Poberezhnikov (Ed.), *Dvenadtsatye Tatishchevskie chteniia* [Twelfth Tatishchev Readings] (pp. 97–103). Ekaterinburg: Kvadrat.

Mikityuk, V. P., & Yakhno, O. N. (2021). *Povsednevnaia zhizn' Ekaterinburga. Gorodskoe zastol'e* [Everyday Life of Ekaterinburg. City Feast]. Ekaterinburg: Alfa Print.

Notman, O. V. (2021). Gorodskaja sreda kak mezhdistsiplinarnoe poniatie [Urban Environment as an Interdisciplinary Concept]. *Obshchestvo: sotsiologiia, psikhologiia, pedagogika*, 12, 104–107.

Postnikov, S. P. (2021). Istoriko-kul'turnyi landschaft Ekaterinburga XX veka [Historical and Cultural Landscape of Ekaterinburg of the 20th Century]. *Arkhitekton: izvestiia vuzov*, 4. Retrieved from https://archvuz.ru/2021_4/11/

Rabinovich, R. I., & Nizamutdinova, T. M. (1988). *Ulitsy Sverdlovsk: spravochnik* [Streets of Sverdlovsk]. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo.

Srodnykh, T. B. (2009). Stanovlenie sistemy ozeleneniia Ekaterinburga [Establishment of the System of Landscaping of Ekaterinburg]. *Lesa Rossii i khoziaistvo v nikh*, 3, 48–53.

Zhuravleva, N. I., Melnikova, S. V., & Porshneva, O. S. (2016). Transformatsiia statusa i imidzha Ekaterinburga-Sverdlovsk v istoricheskoi dinamike (XVIII–XXI vv.) [Transformation of the Status and Image of Ekaterinburg-Sverdlovsk in Historical Dynamics (18th–21st Centuries)]. *Chelovek v mire kul'tury. Regional'nye kul'turologicheskie issledovaniia*, 1, 10–15.

Zorina, L. I., & Slukin, V. M. (2005). *Ulitsy i ploshchadi starogo Ekaterinburga* [Streets and Squares of Old Ekaterinburg]. Ekaterinburg: Basko.

Zvageľ'skaya, V. E. (2007). *Eklektika v pamiatnikakh arkhitektury Sverdlovskoi oblasti* [Eclecticism in the Architectural Monuments of Sverdlovsk Region]. Ekaterinburg: Genri Pushel.

Zvageľ'skaya, V. E. (2008). *Modern v pamiatnikakh arkhitektury Sverdlovskoi oblasti* [Art Nouveau in Architectural Monuments of Sverdlovsk Region]. Ekaterinburg: Genri Pushel.

Яхно Ольга Николаевна

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской, 16
E-mail: mrsyakhno@mail.ru

Yakhno, Olga Nikolaevna

PhD (History), Senior Researcher
Institute of History and Archaeology UB RAS
16, S. Kovalevskaya St.,
620990 Ekaterinburg, Russia
Email: mrsyakhno@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0009-7981-1394>
Scopus AuthorID: 57208656554

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.059
УДК 94(470.53)“19/20” +
+ 314.122(470.53)-055.2 + 314.57

Е. М. Главацкая

¹*Институт истории и археологии УрО РАН*

²*Уральский федеральный университет*

Екатеринбург, Россия

А. В. Бобицкий

Е. А. Заболотных

Институт истории и археологии УрО РАН

Екатеринбург, Россия

ЖЕНСКОЕ «ОДИНОЧЕСТВО» В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Работа посвящена изучению феномена женского «одиначества», которое определяется как «состояние вне брака», в городах Пермской губернии. Акцент сделан на двух крупнейших городах — Перми и Екатеринбурге в сравнении со всем городским и сельским населением. В качестве источников были использованы результаты городских переписей Перми и Екатеринбурга и общенациональных переписей 1897 и 1926 гг. В ходе исследования был проведен количественный анализ брачного статуса женщин в связи с возрастом, местом проживания, этно-религиозной и сословной принадлежностью, рассчитаны уровень окончательного безбрачия и возраст вступления в брак. Во второй половине XIX в. в Перми и Екатеринбурге наблюдалась стабильность брачной структуры женского населения. Более 50 % от общего числа горожанок и 33,6 % от общего числа жительниц сельской местности в возрасте от 15 лет и старше не состояли в браке: в группе до 30 лет женское «одиначество» определялось тем, что часть девушек не смогла выйти замуж; к 40 годам значительная часть «одиноких» была представлена вдовами, а в группе 40–49-летних они составляли большинство. Развод существенно реже становился причиной женского «одиначества», чем невступление в брак в фертильном возрасте. На различия по уровню женского «одиначества» в городах Пермской губернии влиял приток женской прислуги, косвенно связанное с ним значительное число представителей крестьянского сословия, наличие крупного монастыря. В условиях новой советской действительности отказ от брака как жизненная траектория стал более редким явлением, при этом заметно выросла доля разведенных среди «одиноких».

Ключевые слова: историческая демография; население Урала; женщины; брачная структура; одиначество; переписи населения; Пермь; Екатеринбург

Цитирование: *Главацкая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А.* Женское «одиначество» в Пермской губернии во второй половине XIX — начале XX в. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 40–58. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.059>

Поступила в редакцию: 19.09.2023

Принята к печати: 09.11.2023

Elena M. Glavatskaya

¹*Institute of History and Archaeology UB RAS*

²*Ural Federal University*

Ekaterinburg, Russia

Alexandr V. Bobitsky

Elizaveta A. Zabolotnykh

Institute of History and Archaeology UB RAS

Ekaterinburg, Russia

FEMALE “SINGLENESS” IN THE URALS AROUND 1900

This paper studies female “singleness”, which is defined as the status of being non-married, in the cities of Perm Province. Emphasis is placed on the two largest cities — Perm and Ekaterinburg — compared with the entire urban and rural population. The authors refer to aggregates from the city censuses taken in Perm and Ekaterinburg as well as the national censuses of 1897 and 1926 as the main sources. The study quantitatively analyses women’s marital status in relation to age, place of residence, ethno-religious, and social affiliation, and calculates the rate of women who never married and singulate mean age at marriage. During the second half of the nineteenth century, in Perm and Ekaterinburg, the authors observe stability in the marriage structure among the female population. Over 50% of urban women and 33.6% of rural women aged 15 and older were not married: in the group under 30 years old, female “singleness” was determined by the fact that some girls were unable to marry. By the age of 40, a significant part of those “single” women were widows, and in the age group of 40–49, they made up the majority. Divorce was significantly less likely to be the cause of female “singleness” than non-marriage while still fertile. The differences in the level of female “singleness” in the Perm cities were influenced by the in-migration of female servants, whose background was often rooted in the peasant class, and the presence of a large monastery. During the new Soviet reality, renunciation of marriage as a life trajectory became infrequent, while the proportion of divorced people among those “single” increased noticeably.

Key words: historical demography; population of the Urals; women; marital structure; singleness; population census; Perm; Ekaterinburg

For citation: Glavatskaya, E. M., Bobitsky, A. V., & Zabolotnykh, E. A. (2023). Zhenskoe “odinochestvo” v Permskoi gubernii vo vtoroi polovine XIX — nachale XX v. [Female “Singleness” in the Urals around 1900]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 40–58. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.059>

Submitted: 19.09.2023

Accepted: 09.11.2023

Сюжеты, связанные с семейным положением, являются ключевыми в исторической демографии. Проблема женского «одинокства»¹ находится в контексте модернизации брачно-семейных отношений, деформации брачного рынка, женской эмансипации, раннего овдовения, вероятности повторного брака и т. д. Специфика российской ситуации состояла в том, что для преимущественно аграрного населения был характерен низкий в сравнении с соседними европейскими странами уровень безбрачия. Обязательное и достаточно раннее для женщин вступление в брак с целью продолжения рода было предопределено ценностными установками общества, церкви и государства. Тем не менее, на практике эта была не единственная возможная жизненная траектория, поскольку в силу различных причин часть женщин, особенно в городах, оказывались не состоящими в браке. Это могло быть связано с сознательным решением молодой женщины посвятить себя служению богу; финансовыми сложностями — «казус бесприданницы»; деформированным «брачным рынком»; физической недееспособностью и т. д. Влияние на число не состоявших в законном браке женщин оказывало архаическое законодательство, запрещавшее браки между представителями различных религиозных деноминаций и жестко ограничивавшее возможность развода. Формально не состоявшими в браке могли оказаться и семейные женщины, представительницы старообрядческих сообществ, не имевших священников для совершения таинства брака.

Анализ сведений о населении Европейской России (50 губерний в западной части Российской империи) выявил значительные различия в брачной структуре купечества и мещанства с одной стороны и крестьянства с другой. Эти различия между горожанами и селянами, заметные уже в середине XIX в., к концу века усилились. В то же время рост числа девиц был общей тенденцией [Миронов, с. 177]. На тех же данных показано, что уровень безбрачия городского населения был существенно более высоким, чем сельского [Тольц, с. 140]. Исследование как отдельных городов Сибири, так и всего городского населения сибирских губерний на основе городских переписей показало сходный с Европейской Россией паттерн распределения населения по семейному положению. Он характеризовался значительным различием по доле вдовых среди мужчин и женщин, более низкой долей горожан, состоящих в браке, по сравнению с жителями сельской местности. Кроме того, отмечено большее распространение разводов среди евреев по сравнению с православными [Гончаров, с. 208–211]. Результаты количественного исследования брачного статуса населения городов Урала в позднеимперский период представлены в нескольких работах [Главацкая, Бобицкий, Заболотных, Вишневецкая; Кончаковская, 2023], а сюжеты, связанные с девичеством, были рассмотрены в контексте истории повседневности [Кончаковская, 2019]. Данная работа направлена на углубленное исследование феномена, который условно можно назвать «одинокство»,

¹ В данном случае термин «одинокство» употреблен как синоним «состояния вне брака» и не идентичен понятию «безбрачие» в значении целибат.

а официально — «состояние вне брака». В частности, мы постарались ответить на вопрос, насколько этот феномен был распространен в городах Пермской губернии и какова была его динамика. В задачи исследования также входило выявление основных факторов, влиявших на уровень «одиначества». Поскольку жители губернской столицы — Перми и горнозаводской столицы Урала — Екатеринбург составляли около половины городского населения губернии, а источники по ним представлены в продолжительном хронологическом ряду, то именно их население было выбрано в качестве основного объекта исследования. Состояние вне брака в XIX — начале XX в. не является синонимом одиночества в современном смысле этого слова, поскольку традиция проживания большими семьями отчасти решала проблему социальной защиты и устроенности женщин, оставшихся без мужа или не вышедших замуж. Однако проблема заключалась в том, что «состояние вне брака», добровольное или вынужденное, в конце XIX — начале XX в. создавало серьезные ограничения, лишая женщину права на легальную сексуальную жизнь и материнство. Рождение детей горожанками, не состоявшими в браке, не являлось редкостью. И хотя в городах Пермской губернии доля внебрачных рождений в начале XX в. не превышала 9 %, в Екатеринбурге и Перми этот показатель был заметно выше — 17 % и 16 % от общего числа зарегистрированных рождений соответственно [Главацкая, Заболотных].

В качестве источников были использованы опубликованные результаты городских переписей Перми (1868, 1879 и 1890 гг.) и Екатеринбурга (1873 и 1887 гг.), а также результаты Первой всеобщей переписи населения 1897 г., что позволило рассмотреть проблему «одиначества» в динамике на протяжении нескольких десятилетий и сравнить ситуацию в двух крупнейших городах губернии. Городские переписи начали проводиться на Среднем Урале с 1860-х гг. и продолжались до 1918 г. Несмотря на то, что переписи являлись важнейшим мероприятием в оценке населения, в самой практике их проведения и особенно в процессе разработки полученных данных были заложены проблемы, снижавшие информационный потенциал результатов. В ходе разработки использовались разные принципы группировки по возрасту, что затрудняет анализ изменений по возрастным группам; разработка результатов практически всегда была ограничена одним-двумя интегральными признаками; иногда из анализа выпадали такие базовые характеристики, как возраст и занятия, родной язык и т. д. [Бахарев]. При этом карточки первичного учета после публикации результатов разработки уже не сохраняли.

Всеобщая перепись населения 1897 г. проводилась уже в соответствии со всеми существовавшими тогда в социальной статистике и демографии принципами, и достоверность ее результатов не вызывает серьезных нареканий у специалистов в области исторической демографии. В качестве дополнительного источника мы привлекли результаты Всесоюзной переписи 1926 г., что позволило рассмотреть динамику женского «одиначества» на более продолжительном хронологическом отрезке, а также оценить изменения, произошедшие в российском обществе после Первой мировой и гражданской войн, взглянув

на феномен в новых социально-политических, экономических и бытовых реалиях. Результаты анализа данных переписи 1926 г. касаются только Свердловска (название Екатеринбург с 1923 г.), поскольку сведения о жителях Перми вошли в более крупную категорию учета.

Невступление в брак как долгосрочная траектория

В демографии существует такая количественная характеристика населения, как уровень окончательного безбрачия — оценка доли лиц, оставшихся без брачного партнера по достижении возраста в 50 лет. В действительности первые браки возможны и для лиц старше 50 лет, однако при расчетах ими принято пренебрегать, в том числе из-за того, что немногочисленные первые браки в старших возрастах сопряжены с низкой вероятностью появления детей, что делает сведения о них малоинтересными для демографов, изучающих воспроизводство населения. Поскольку в материалах Первой всеобщей переписи населения данные о брачном статусе имеются только по десятилетним группам (40–49 лет и 50–59 лет), уровень окончательного безбрачия в 1897 г. был определен как среднее арифметическое доли лиц, не состоявших в браке в этих возрастах. По нашим расчетам уровень окончательного безбрачия женщин, т. е. тех, кто никогда не вступал в брак, в Перми составлял 12,3 %, а в Екатеринбурге — 13,5 %. Эти значения немного выше, чем аналогичное, полученное для всего городского населения Пермской губернии — 11,3 %, и значительно выше, чем уровень окончательного безбрачия среди жителей уездов — 4,6 %. Таким образом, невступление в брак как жизненная траектория было в большей степени характерно для горожанок. Что касается мужчин, то они значительно реже избирали полный отказ от брака в качестве жизненной траектории. Доля не женившихся по достижении 50 лет среди них была ниже: в Перми — 9,8 %, в Екатеринбурге 8,4 %, во всех городах — 6,9 %, а в сельской местности — 2,2 %.

К 1926 г., по крайней мере в Свердловске, доля тех, кто ни разу не побывал в браке по достижении 50 лет², снизилась почти в два раза и составила 6,4 % для женщин и 3,1 % для мужчин³. Интересно, что уровень окончательного безбрачия также значительно снизился и в сельской местности — до 2,8 % у женщин и 0,9 % у мужчин (см. табл. 1). Таким образом, в условиях новой советской действительности отказ от брака как жизненная траектория стал более редким явлением.

² В результатах переписи 1926 г. для старших возрастов представлены пятилетние, а не десятилетние данные, поэтому уровень окончательного безбрачия был рассчитан как среднее арифметическое значение доли не состоявших в браке для возрастных групп 45–49 и 50–54.

³ Для чистоты эксперимента мы подсчитали и среднее арифметическое значение для всех возрастных групп диапазона 40–59 лет (40–44, 45–49, 50–54, 55–59), получив аналогичный результат — 6,1 % и 3,7 % соответственно.

Отметим, что к 1926 г. также произошло и «омоложение» брачности, на что указывает снижение расчетного среднего возраста вступления в брак (SMAM) — показателя, отражающего среднее число человеко-лет, прожитых вне брака, к 50 годам. Если в 1897 г. в Перми и Екатеринбурге SMAM для женщин был равен 22,7 и 23,3 года соответственно, а для мужчин — 26,6 и 26,3 года⁴, то в 1926 г. в Свердловске он снизился у женщин до 21,1 года, а у мужчин — до 24,6 лет. В сельской местности расчетный средний возраст вступления в брак также снизился к 1926 г. — до 19,6 лет у женщин и 21,9 лет у мужчин (см. табл. 1). Это могло быть связано с миграцией крестьянского населения, вступавшего в брак раньше, в Свердловск, чья численность населения к 1926 г. выросла до 136 420 чел.

Таблица 1

SMAM и уровень окончательного безбрачия, 1897 и 1926 гг.*

Территория	Год	SMAM, лет		Окончательное безбрачие, %	
		женщины	мужчины	женщины	мужчины
Пермь	1897	22,7	26,6	12,3	9,8
Екатеринбург	1897	23,3	26,3	13,5	8,4
Все города	1897	22,6	25,7	11,3	6,9
Екатеринбургский уезд	1897	20,2	23,3	4,8	2,6
Свердловск	1926	21,1	24,6	6,1**	3,7**
Свердловский округ	1926	19,6	21,9	2,8**	0,9**

* Сост. по: [Первая всеобщая перепись..., с. 34–36; Всесоюзная перепись..., с. 83].

** Среднее арифметическое для возрастных групп 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 лет⁵.

Развод как причина «одиночества»

В конце XIX в. разводы в среде православного населения были редкостью, однако результаты всеобщей переписи 1897 г., в отличие от более ранних городских переписей Перми и Екатеринбурга, содержат сведения о немногочисленных разведенных. Так, в Перми в разводе было 18 мужчин и 41 женщина, в Екатеринбурге — 19 и 28 соответственно. Всего среди горожан губернии в разводе были 60 мужчин и 109 женщин, а в уездах — 578 мужчин и 996 женщин. В процентном

⁴ Наши расчеты отличаются от сделанных ранее [см. Glavatskaya, Bobitsky, Zabolotnykh, Vishnevskaya; Главацкая, Бобицкий, Заболотных, Вишневецкая; Кончаковская, 2023] в силу того, что в указанных работах в сумму человеко-лет, прожитых вне брака, по всей видимости, были включены данные и о лицах старше 50 лет.

⁵ Для возрастных групп 45–49 и 50–54 года: в Свердловске у женщин — 6,4 %, у мужчин — 3,1 %; в сельской местности Свердловского округа — 2,6 % и 0,8 % соответственно.

отношении в Перми на момент переписи в разводе были 0,08 % от общего числа мужчин и 0,18 % от общего числа женщин, в Екатеринбурге — 0,09 % и 0,12 %, во всех городах — 0,06 % и 0,13 %, а в уездах — 0,04 % и 0,07 % соответственно. Большинство разведенных относилось к возрастной группе 30–39 лет, при этом доля разведенных среди горожан была выше, чем среди сельских жителей, а среди женщин выше, чем среди мужчин (см. табл. 2).

Таблица 2

Разведенные и состоявшие в браке в городах Пермской губернии, 1897 г.*

Возраст	Разведенные				В браке			
	муж.	жен.	итого	соотношение полов	муж.	жен.	итого	соотношение полов
15–16	0	0	0	—	0	59	59	0
17–19	1	1	2	1,0	235	1240	1475	0,2
20–29	2	30	32	0,1	9366	9618	18984	1,0
30–39	22	43	65	0,5	13411	9103	22514	1,5
40–49	15	26	41	0,6	9710	5865	15575	1,7
50–59	2	6	8	0,3	5144	3063	8207	1,7
60+	8	3	11	2,7	3471	1595	5066	2,2
Неизв.	0	0	0	—	13	10	23	1,3
Итого	60	109	169	0,5	41350	30553	71903	1,4

* Сост. по: [Первая всеобщая перепись..., с. 34].

Семейный кодекс 1918 г. сделал развод общедоступным, брак мог быть расторгнут немедленно по обоюдному согласию супругов и даже по заявлению одного из них. Кодекс 1926 г. еще более упростил процедуру: спорные разводы оформлялись через органы ЗАГСа, а для регистрации развода достаточно было обращения одного из супругов [Вишневский, с. 87–88], что не могло не вызвать рост доли разведенных среди населения. В Свердловске в 1926 г. в ходе переписи были учтены 335 мужчин в разводе (0,72 % от всего мужского населения) и 1438 женщин (2,77 % от всего женского населения). В среде жителей села в Свердловском округе доля разведенных также возросла до 0,6 % среди мужчин и 1,56 % среди женщин.

Вдовство как причина «одинокства»

Гораздо более частой причиной «одинокства» женщин во второй половине XIX в. являлось вдовство. Анализ результатов городских переписей 1868, 1873, 1879, 1887, 1890 гг. и всеобщей 1897 г. в Перми и Екатеринбурге

продемонстрировал стабильно более высокую долю вдов среди женщин. Еще заметнее эти различия в материалах переписей Екатеринбурга 1887 и 1897 гг.: в возрастной группе от 15 лет и старше доли вдов среди женщин составляли 22,2 % и 22,1 %, превышая доли вдовцов среди мужчин (5,5 % и 5,2 % соответственно) на 15 п. п.⁶ При том что масштабы вдовства мужчин и женщин серьезно различались, паттерн распределения доли вдовых по возрастам был похожим у обоих полов — более половины всех вдовствующих в Екатеринбурге и Перми приходилось на лиц старше 50 лет. В то же время нельзя не отметить, что уже в возрастной группе 30–39 лет, т. е. еще в возрасте рождения и воспитания детей, счет вдов, согласно данным переписи 1897 г., шел на сотни: 507 (13,7 %) — в Екатеринбурге и 417 (12,9 %) — в Перми⁷. Доля вдов в среде представителей городских сословий (мещан, почетных граждан, купцов с семьями) достигала 16,7 % в Перми и 17,1 % в Екатеринбурге, в то время как среди горожанок сельского состояния (преимущественно крестьянок) вдовы составляли 12,8 % и 14,8 % соответственно. Такое же отличие между сословиями было зафиксировано в данных обо всем городском населении Пермской губернии — вдовы составляли 15,9 % среди женщин городских сословий и 13,4 % среди крестьянок. Что касается населения, проживавшего за пределами городов, то доля вдов среди крестьян была еще ниже — 8,1 %. Доля вдовых среди представительниц городских сословий, проживавших в уездах⁸, также была ниже, чем среди тех, кто жил в городах — 11,7 %. Тем не менее, характер сословных различий аналогичен городскому — среди крестьянок вдовых было меньше.

Можно предположить, что крестьянки, переехавшие в города, чаще оставались вне брака из-за вдовства, чем крестьянки, жившие в уездах. Высока вероятность и того, что именно утрата кормильца и невозможность снова выйти замуж в родном селе выталкивали их в крупные города в поисках источников заработка. Тем не менее, доля вдов среди крестьянок как в сельской местности, так и в городах была ниже, чем в среде представительниц городских сословий. При этом положение овдовевших крестьянок в городах могло быть ощутимо хуже, учитывая серьезные различия по уровню материального достатка, одним из признаков которого было наличие / отсутствие собственного жилья. По результатам переписей Екатеринбурга 1873 и 1887 гг., доля домовладельцев⁹ среди женщин в группе «крестьяне, мастеровые и сельские обыватели» составляла 30,9 % в 1873 г. и 17,3 % — в 1887 г., в то время как среди мещанок она составляла 60,9 % и 49,5 % соответственно. В еще более привилегированном положении были женщины из купеческих семей Екатеринбурга, среди них

⁶ Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись..., с. 36; Город Екатеринбург, с. 82].

⁷ Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись..., с. 35–36].

⁸ Вероятно, к ним относились жители заводских поселений, не включенных в число городов и не вынесенных в отдельную категорию в рамках результатов переписи 1897 г.

⁹ Включая членов семей.

доля домохозяев¹⁰ достигала 72,2 % в 1887 г. Общее снижение доли домохозяев и членов их семей, вероятно, приводило к снижению благосостояния вдов¹¹.

Возраст и структура женского «одиначества»

«Одиначество» в возрастной группе до 30 лет, когда больше половины городских женщин уже были замужем, определялось тем, что часть девушек не смогла выйти замуж, а большинство одиноких женщин от 40 до 49 лет являлись вдовами. Развод существенно реже становился причиной женского одиначества, чем окончательное безбрачие. В среде сельского населения наблюдался аналогичный паттерн с поправкой на более раннюю и близкую к всеобщей брачность. Кроме того, масштаб одиначества мужчин и женщин в сельской местности различался гораздо меньше, чем в городах. Отметим также, что на возрастную группу 30–39 лет приходилась наименьшая доля одиноких среди женщин как в городах, так и в сельской местности (см. рисунок). Женщины, оказавшиеся не в браке (девицы, вдовы и разведенные), в возрасте 15 лет и старше составляли 55,8 % в Екатеринбурге и 55,1 % в Перми; во всех городах губернии — 50,8 %, в уездах — 33,6 %¹². В фертильном возрасте (от 15 до 49 лет) разница между горожанками и жительницами сельской местности еще более заметна: в Екатеринбурге доля «одиноких» составляла 51,5 %, в Перми — 46,4 %, во всех городах — 55,5 %, в уездах — 29,7 %¹³.

К 1926 г. в Свердловске причины «одиначества» изменились: число не вышедших замуж снизилось, а число оказавшихся в разводе возросло, однако основной причиной «одиначества» по достижении возраста 30–39 лет оставалась потеря супруга (см. рисунок)¹⁴.

Структура «одиначества»

Данные переписей, городских и всеобщей 1897 г., показали, что брачная структура населения Екатеринбурга и Перми в конце XIX в. оставалась стабильной (см. табл. 3, 4), что, вероятно, связано со стабильностью стоящих за ней процессов — брачности, разводимости, овдовения. При этом в среде женщин колебания долей состоявших и не состоявших в браке были меньше, чем среди мужчин.

Однако к 1926 г. ситуация заметно изменилась за счет снижения доли девиц и вдов и параллельного роста замужних и разведенных (см. табл. 5).

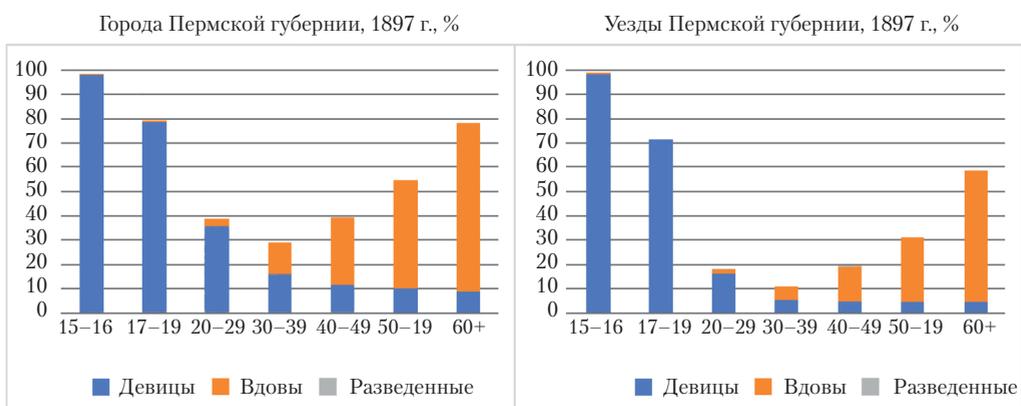
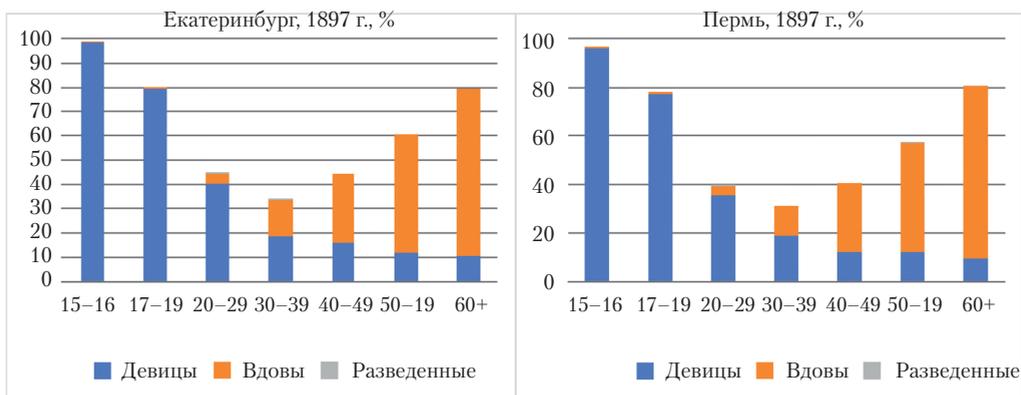
¹⁰ Включая членов семей.

¹¹ Рассчитано по данным: [Город Екатеринбург, с. 60–63, 80].

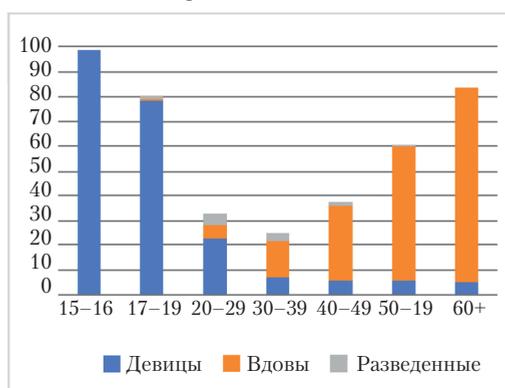
¹² Без учета лиц неизвестного возраста (15 чел. в Екатеринбурге, 13 — в Перми, 39 — во всех городах и 384 — в уездах).

¹³ Без учета лиц неизвестного возраста.

¹⁴ Возраст неизвестен у 19 женщин.



Свердловск, 1926 г., %



Доля «одиноких» женщин в Пермской губернии и в Свердловске, %
Сост. по: [Первая всеобщая перепись..., с. 34–36; Всесоюзная перепись..., с. 83]

“Single” women in Perm province and in Sverdlovsk, %
[Pervaya vseobshchaia perepis' naseleniia Rossiiskoi imperii 1897 g. Permskaia guberniia, p. 34–36; Vsesoiuznaia perepis' naseleniia 1926 goda. Ural'skaia oblast', p. 83]

Таблица 3

Брачная структура женского населения Екатеринбурга, %*

Статус	1873	1887	1897	Среднее	Стандартное отклонение
Не состоящие в браке	52,7	51,5	51,90	52,00	0,48
В браке	32,2	32,6	31,80	32,20	0,35
Вдовы	15,1	15,9	16,00	15,70	0,39
Разведенные	0	0	0,12	0,04	0,06
Нет данных	0	0	0,18	0,06	0,09
Итого	100	100	100	100	0

* Сост. по: [Город Екатеринбург, с. 62–63; с. 82; Первая всеобщая перепись..., с. 36].

Таблица 4

Брачная структура женского населения Перми, %*

Статус	1868	1879	1890	1897	Среднее	Стандартное отклонение
Не состоящие в браке	53,4	48,8	48,2	49,60	50,00	2,00
В браке	31,7	36,0	36,3	35,40	34,80	1,87
Вдовы	15,0	15,2	15,5	14,60	15,10	0,33
Разведенные	0,0	0,0	0,0	0,18	0,05	0,08
Нет данных	0,0	0,0	0,0	0,10	0,00	0,06
Итого	100	100	100	100	100	0

* Сост. по: [О числе..., с. 233; Статистика населения, с. 64–65; Однодневная перепись..., с. 32–38; Первая всеобщая перепись..., с. 35]

Таблица 5

Брачная структура женского населения Екатеринбурга / Свердловска, %*

Статус	Конец XIX в.**	1926	Разница
Не состоящие в браке	52,00	45,60	–6,40
В браке	32,20	38,10	5,90
Вдовы	15,70	14,00	–1,60
Разведенные	0,04	2,02	1,98
Нет данных	0,06	0,25	0,19
Итого	100	100	

* Сост. по: [Город Екатеринбург, с. 62–63, 82; Первая всеобщая перепись..., с. 36; Всеобщая перепись..., с. 83].

** Данные на конец XIX в. — среднее значение, рассчитанное по сведениям переписей 1873, 1887 и 1897 гг.

Снижение доли девиц могло быть следствием стремления побыстрее устроить свою жизнь в не самых благоприятных бытовых условиях с помощью вступления в брак. Что касается роста доли разведенных, то он мог быть результатом того, что модернизация семейного законодательства вывела из тени уже существовавший и фактически не изменившийся своих масштабов феномен добровольного прекращения брака. Увеличение числа разведенных могло быть также отражением изменившейся социальной реальности.

Пермь и Екатеринбург на фоне малых городов

На соотношение разных причин женского «одиначества» в городах Пермской губернии могла влиять специфика половозрастной структуры их населения, которая, в свою очередь, формировалась за счет различных факторов. Одним из них был приток женской прислуги, по большей части состоявшей из незамужних. Так, согласно переписи Екатеринбурга 1873 г., девиц было намного больше среди прислуги, чем в других группах [Бобицкий, с. 35]. Значительное представительство в городе крестьян, уровень брачности которых был заметно выше, чем у мещан, также влиял на структуру женского «одиначества». Повышенная мужская смертность и наличие в городе женского монастыря также могли играть роль. Наконец, влияние оказывали и случайные факторы, сила которых становилась особенно значимой в городах с низкой численностью населения.

Учитывая конфессиональную природу брачного законодательства в Российской империи, мы предположили, что на долю «одиноких» женщин в городах мог влиять этнорелигиозный состав населения. Так, если среди русских женщин доля разведенных составляла всего 0,06 %, то среди евреев, татар и башкир она была заметно выше — 0,52 %, 0,30 % и 0,26 % соответственно¹⁵. Такая картина была очевидным следствием относительной простоты развода в законах для иудеев и мусульман. Из-за малой численности этнорелигиозных меньшинств в городах Пермской губернии нам не удалось подтвердить гипотезу о связи между этническим составом женского населения и долей девиц / вдов / разведенных с помощью корреляционного анализа. Однако мы не считаем случайными выявленные различия между русским, еврейским и татарским населением: доля девиц у русских — 49,8 %, евреев — 55,9 %, татар — 47,3 %; доля вдов у русских — 14,9 %, евреев — 7,5 %, татар — 6,5 %; доля разведенных у русских — 0,12 %, евреев — 0,6 %, татар — 0,29 %; доля лиц неизвестного брачного статуса у русских — 0,13 %, у евреев и татар — 0 %¹⁶. В рамках данного исследования не удалось статистически подтвердить и гипотезу о связи брачной структуры с долей женского населения, имеющего инвалидность. Отметим

¹⁵ Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись..., с. 158–159]

¹⁶ Рассчитано по данным о родном языке и семейном положении: [Первая всеобщая перепись..., с. 158–159].

лишь, что во всех городах в возрастной группе 20 лет и старше в браке состояло лишь около 24 % женщин из всех, имевших инвалидность¹⁷. Возможно, проблема также связана с малочисленностью этой категории населения. В то же время в Перми, где абсолютная (271 чел.) и относительная (1,2 % всех женщин) численность женщин с инвалидностью была наибольшей, этот фактор наверняка давал определенный эффект.

Проанализировав данные о населении городов, мы установили, что среднее значение суммарной доли «одиноких» женщин (девиц, вдов и разведенных) в возрасте от 15 лет составляло 48,8 %. От среднего заметно отличались в положительную сторону два города – Екатеринбург и Соликамск с долей одиноких женщин, равной 55,8 %; в отрицательную – Дедюхин (41,7 %) и Алапаевск (38,4 %). Последние два города в 1897 г. характеризовались экстремально низкой долей представительниц городских сословий во всем женском населении – 18,1 % и 11,1 % соответственно. Для сравнения в Екатеринбурге и Соликамске к городским сословиям относилось 46,8 % и 52,8 % всего женского населения соответственно.

Доля девиц в городах Пермской губернии в 1897 г. в среднем составляла 28 %. По долям девиц в положительную сторону от среднего заметно отличались Соликамск (35,4 %), Ирбит (35 %), Чердынь (34,1 %) и Екатеринбург (33,5 %), в отрицательную – снова Дедюхин (20,5 %) и Алапаевск (19,9 %). По долям вдов в положительную сторону очень сильно отклонялся от среднего (20,6 %) Шадринск (24 %), в отрицательную – Ирбит (17,3 %). По долям разведенных от среднего (0,12 %) сильнее всего отклонялись в положительную сторону Пермь и особенно Ирбит, а в Дедюхине, Далматове и Оханске в ходе переписи не было выявлено ни одной женщины, находившейся в разводе.

Таблица 6

«Одинокие» горожанки в возрасте от 15 лет и старше, 1897 г., %*

Город	«Одинокие»	Девицы	Вдовы	Разведенные
Пермь	51,1	30,9	20,0	0,25
Екатеринбург	55,8	33,5	22,1	0,17
Ирбит	52,6	35,0	17,3	0,36
Кунгур	44,0	24,7	19,3	0,06
Шадринск	50,0	25,9	24,0	0,11
Алапаевск	38,4	19,9	18,5	0,04
Камышлов	48,6	27,6	20,8	0,19
Красноуфимск	44,8	25,3	19,4	0,09
Оса	45,2	26,0	19,1	0,06

¹⁷ Согласно источнику, это «слепые от рождения, ослепшие, глухонемые и умалишенные».

Окончание табл. 6

Город	«Одинокие»	Девушки	Вдовы	Разведенные
Соликамск	55,8	35,4	20,4	0,14
Чердынь	53,1	34,1	18,9	0,08
Верхогурье	50,3	29,3	20,8	0,19
Дедюхин	41,7	20,5	21,2	0
Оханск	46,5	26,5	20,0	0
Далматов	53,4	25,5	27,9	0
Среднее	48,4	28,2	20,1	0,12
Станд. откл.	5,0	4,9	1,6	0,10

* Сост. по: [Первая всеобщая перепись..., с. 35–43].

Мы предполагаем, что Ирбит оказался в числе городов с относительно большой долей девиц и разведенных за счет учета населения *de facto* в условиях миграции, связанной с ярмарочной торговлей. Значительная часть женщин, оказавшихся в Ирбите в момент переписи, могла постоянно проживать в других населенных пунктах. Примечательно, что среди переписанных в городе женщин, профессионально занятых проституцией оказалось 227, которые составили 5,5 % от женского населения в возрасте от 15 лет¹⁸, выведя Ирбит на первое место среди городов губернии как по абсолютному, так и по относительному числу занятых проституцией. Вероятно, большинство из них были учтены как девушки, составив около 15 % их общей численности. Ирбит также был лидером по доле женщин, основным занятием которых в источнике значилось «Деятельность и служба частн. присл., поденщики», — 1319 чел. (21,2 % от всего женского населения), в то время как в двух крупнейших экономических центрах губернии, идущих по этому показателю за Ирбитом, доля неквалифицированной рабочей силы среди женщин не превышала 15 % (3087 чел. — 13,9 % в Перми и 3384 чел. — 14,7 % в Екатеринбурге). Вряд ли в обычное время небольшой город нуждался в таком количестве прислуги.

Аномально высокая доля вдовых в Далматове может быть объяснена влиянием случайных факторов на фоне малого числа жителей (всего 564 жителя, из которых 111 — женщины от 15 лет, в том числе 58 — вдовы) и/или переселением вдов к Далматовскому монастырю, возле которого они могли найти дополнительный заработок, выполняя хозяйственные работы.

Высокая доля девиц в Чердыни и Соликамске, где проживали 693 и 516 не состоящих в браке женщин в возрасте от 15 лет¹⁹, может быть также объяснена случайными факторами на фоне незначительной численности жителей этих городов. Помимо этого, в Соликамске в качестве основного занятия 109 женщин

¹⁸ В Ирбите возраст неизвестен у 6 женщин.¹⁹ В Чердыни и Соликамске неизвестен возраст одной женщины.

(5,2 % от всего женского населения) было указано «Богослужение православного исповедания» с пометкой «Лица, имеющие самостоятельные занятия», что, с учетом обстоятельств, скорее всего означало принадлежность к монашеству. В Екатеринбурге богослужением профессионально занималась 521 женщина (2,3 % от общего числа), скорее всего, насельницы Ново-Тихвинского женского монастыря. Приблизительно такой же процент женщин, занятых богослужением, был зарегистрирован в небольшом Верхотурье — 2,5 % (всего 35 чел.) и Кунгуре — 2,4 % (173 чел.). По сословному составу оба города были менее «крестьянскими», чем Екатеринбург и Пермь, в которой доля профессионально занимавшихся богослужением женщин была существенно ниже — 197 чел., или 0,9 % от общего числа женщин.

Алапаевск с Дедюхиным, как уже было показано выше, с точки зрения сословной структуры скорее напоминали большие деревни, чем города. С этим можно связать низкую долю девиц в составе их жительниц, поскольку крестьянки выходили замуж раньше.

Если создать пул поселений, где количество «одиноких» женщин превышало 1000 чел., исключив из него нетипичный, в силу проводившейся в нем ярмарки, Ирбит, то в него войдут шесть городов: столичные Екатеринбург и Пермь, а также Шадринск, Камышлов, Кунгур и Алапаевск. Действительно много «одиноких» женщин было в Екатеринбурге — 55,8 %, он же выделялся и по доле девиц — 33,5 %, в то время как по доле вдовых от среднего уровня сильно отклонялся Шадринск — 24 %, а по доле разведенных — Пермь — 0,25 %. В отрицательную сторону от среднего по всем трем параметрам отклонялся Алапаевск — «одинокие» женщины составляли 38,4 % (при среднем значении для пула равном 48 % и стандартном отклонении в 5,5 п. п.), девицы — 19,9 % (при среднем 27,1 % и стандартном отклонении в 4,4 п. п.), вдовы — 18,5 % (при среднем 20,8 % и стандартном отклонении в 1,8 п. п.), разведенные — 0,04 % (при среднем 0,14 % и стандартном отклонении в 0,07 п. п.)²⁰.

Вероятно, относительно высокое число одиноких женщин в Перми и Екатеринбурге можно объяснить сочетанием нескольких факторов, в том числе притоком женщин, искавших дополнительный заработок в этих крупнейших городах, высокой долей представительниц городских сословий в составе, наличием этнорелигиозных меньшинств (особенно в Перми) и женского монастыря (особенно в Екатеринбурге).

Заключение

Феномен женского «одиначества» — состояния вне брака, добровольного или вынужденного, развивался по трем траекториям — отказ от брака, вдовство и развод. В Перми и Екатеринбурге доля «одиноких» женщин в возрасте от 15 лет в 1897 г. превышала 50 %, при этом брачная структура этих городов

²⁰ Рассчитано по данным: [Первая всеобщая перепись..., с. 35–36, 39, 43].

была стабильной на протяжении второй половины XIX в. Результаты Всесоюзной переписи населения 1926 г. продемонстрировали серьезные изменения в брачной структуре Свердловска (Екатеринбурга) — доля не вышедших замуж снизилась, а доля оказавшихся в разводе возросла. Тем не менее, основной причиной «одиначества» по достижении возраста 30–39 лет оставалась потеря супруга.

Невступление в брак как жизненная траектория было в большей степени характерно для горожанок. По нашим подсчетам, доля женщин, никогда не вступавших в брак, была самой высокой в Екатеринбурге — 13,5 %, для всего городского населения губернии она составляла 11,3 %, что существенно превышало уровень окончательного безбрачия среди жителей сельской местности — 4,6 %. При этом мужчины значительно реже избирали полный отказ от брака в качестве жизненной траектории. В условиях новой советской действительности отказ от брака как жизненная траектория стал еще более редким явлением как в городах, так и в сельской местности. Более того, к 1926 г. произошло омоложение брачности в Свердловске, что могло быть связано с миграцией в город крестьянского населения, вступавшего в брак раньше.

Развод как жизненная траектория в большей степени был распространен среди горожанок в возрасте от 30 до 39 лет, однако не оказывал значительного влияния на число «одиноких» в конце XIX в. Доля разведенных выросла к 1926 г., и наибольший процент разведенных приходился уже на возрастную группу 20–29 лет.

Вдовство являлось гораздо более частой причиной «одиначества» горожанок во второй половине XIX в. Крупные города Пермь и Екатеринбург демонстрировали стабильное, доходившее до 15 п. п., различие между мужчинами и женщинами по доле вдовых. При этом среди городских вдов было больше представительниц именно городских сословий. Крестьянки, переселившиеся в города, чаще оставались вне брака из-за вдовства, чем те, что проживали в уездах. Возможно, именно потеря мужа толкала их на поиск источников заработка в крупные города. При этом положение овдовевших крестьянок в городах могло быть ощутимо хуже, чем у мещанок, многие из которых имели собственное жилье.

На различия в уровне женского «одиначества» влияли сословная структура населения, привлекательность города для молодых мигранток, работавших прислугой, наличие крупного женского монастыря. Нам не удалось подтвердить гипотезу о связи между этнорелигиозным составом населения и долей девиц / вдовых / разведенных женщин с помощью корреляционного анализа из-за малой численности меньшинств в городах. Однако мы не считаем различия между самыми крупными этнорелигиозными группами случайными. Вероятно, по той же причине малочисленности не удалось статистически подтвердить и гипотезу о связи брачной структуры с долей женского населения, имеющего инвалидность.

Источники

Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область : [таблицы]. Отд. 3. Семейное состояние. Место рождения и продолжительность проживания. Увечность / ЦСУ СССР, Отд. переписи ; Госплан СССР, Экономико-стат. сектор. М. : Изд. ЦСУ СССР, 1930. С. 75–233. Отд. оттиск из изд.: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 38. М., 1930.

Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу, с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. С планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей / сост. И. И. Симанов. Екатеринбург : Тип. «Екатеринбургской недели», 1889.

Однодневная перепись жителей губернского города Перми, произведенная 7-го апреля 1890 года. Пермь : Тип. наследников П. Ф. Каменского, 1892.

О числе жителей города Перми // Пермские губернские ведомости. 1869. № 54.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Пермская губерния / под ред. Н. А. Тройницкого. СПб. : ЦСК МВД, 1904. Т. 31.

Статистика населения г. Перми // Пермские губернские ведомости. 1880. № 13.

Исследования

Бахарев Д. С. Переписи городов Пермской губернии 1860-х — 1918 гг.: опыт описания и каталогизации // Уральский исторический вестник. 2023. № 2(79). С. 6–15. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-2\(79\)-6-15](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-2(79)-6-15)

Бобицкий А. В. Население Екатеринбурга по результатам однодневной переписи 1873 г.: опыт и перспективы использования источника // Парадигмы и модели демографического развития : сб. ст. XII Уральского демографического форума : в 2 т. Т. I / под ред. О. А. Козловой и др. Екатеринбург, 2021. С. 31–38.

Вишневский А. Г. Демографическая модернизация России: 1900–2000. М. : Новое изд-во, 2006.

Главацкая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А., Вишневская А. В. Брачность в Екатеринбурге начала XX в.: квантитативный анализ // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2019. Т. 21, № 3(190). С. 104–121. <https://doi.org/10.15826/izv2.2019.21.3.050>

Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. Внебрачная рождаемость на Урале в конце XIX — начале XX в. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 4. С. 89–109. <https://doi.org/10.15826/izv2.2022.24.4.066>

Гончаров Ю. М. Семья горожан Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX в.: между традицией и модернизацией. Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2002.

Кончаковская Н. Б. Девичество горожанок Перми и Екатеринбурга в конце XIX — начале XX в. (в контексте повседневности) // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 8. С. 32–40.

Кончаковская Н. Б. Брачность в уездных городах Пермской губернии на рубеже XIX–XX вв. по материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2023. № 1(45). С. 106–130.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства : в 2 т. 3-е изд., испр. СПб. : Изд. Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1.

Тольц М. С. Брачность населения России в конце XIX — начале XX в. // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР / под ред. А. Г. Вишневского. М. : Статистика, 1977. С. 138–153.

Glavatskaya E., Bobitsky, A., Zabolotnykh E., Vishnevskaya, A. Chapter 7. Religion and marriage in early 20th century Ekaterinburg, Russia: a microdata analysis // *Nominative Data in Demographic Research in the East and the West* / ed. by E. Glavatskaya, G. Thorvaldsen, G. Fertig, M. Szoltysek. Ekaterinburg: Ural University Press, 2019. P. 138–155.

References

Bakharev, D. S. (2023). Perepisi gorodov Permskoi gubernii 1860-kh – 1918 gg.: opyt opisaniia i katalogizatsii [Censuses of Cities in Perm Province of the 1860s – 1918: An Attempt at Description and Cataloguing]. *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 2 (79), 6–15. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-2\(79\)-6-15](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-2(79)-6-15)

Bobitsky, A. V. (2021). Naselenie Ekaterinburga po rezul'tatam odnodnevnoi perepisi 1873 g.: opyt i perspektivy ispol'zovaniia istochnika [Population of Ekaterinburg According to a One-Day Census of 1873: Experience and Prospects of Using the Source]. In O. A. Kozlova et al. (Eds.), *Paradigmy i modeli demograficheskogo razvitiia: sbornik statej XII Ural'skogo demograficheskogo foruma* [Paradigms and Models of Demographic Development: Collection of Articles of the XII Ural Demographic Forum] (Vol. I, pp. 31–38). Ekaterinburg.

Glavatskaya, E. M., Bobitsky, A. V., Zabolotnykh, E. A., & Vishnevskaya, A. V. (2019a). Brachnost' v Ekaterinburge nachala XX v.: kvantitativnyi analiz [Nuptiality in Early 20th Century Ekaterinburg: Quantitative Analysis]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 21, 3 (190), 104–121. <https://doi.org/10.15826/izv2.2019.21.3.050>

Glavatskaya, E., Bobitsky, A., Zabolotnykh, E., & Vishnevskaya, A. (2019b). Chapter 7. Religion and Marriage in Early 20th Century Ekaterinburg, Russia: A Microdata Analysis. In E. Glavatskaya, G. Thorvaldsen, G. Fertig, & M. Szoltysek (Eds.), *Nominative Data in Demographic Research in the East and the West* (pp. 138–155). Ekaterinburg: Ural University Press.

Glavatskaya, E. M., & Zabolotnykh, E. A. (2022). Vnebrachnaia rozhdaiemost' na Urale v kontse XIX – nachale XX v. [Illegitimate Fertility in the Urals During the Late 19th and Early 20th Centuries]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 24(4), 89–109. <https://doi.org/10.15826/izv2.2022.24.4.066>

Goncharov, Yu. M. (2002). *Sem'ia gorozhan Zapadnoi Sibiri vo vtoroi polovine XIX – nachale XX v.: mezhdu traditsiei i modernizatsiei* [Western Siberian Urban Family in the Late 19th – Early 20th Centuries: Between Tradition and Modernisation]. Barnaul: Altai University Press.

Konchakovskaya, N. B. (2019). Devichestvo gorozhanok Permi i Ekaterinburga v kontse XIX – nachale XX v. (v kontekste povsednevnosti) [Maidenhood among Townswomen of the Perm Province at the End of 19th – the Early 20th Centuries (in the Context of Everyday Life)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya*, 58, 32–40. <https://doi.org/10.17223/19988613/58/4>

Konchakovskaya, N. B. (2023). Brachnost' v uездnykh gorodakh Permskoi gubernii na rubezhe XIX–XX vv. po materialam Pervoi vseobshchei perepisi naseleniia Rossiiskoi imperii 1897 g. [Marriage in District Cities of Perm Province at the Turn of the 20th Century Based on the Materials of the First Census of the Russian Empire in 1897]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, 1(45), 106–130. <https://doi.org/10.32516/2303-9922.2023.45.7>

Mironov, B. N. (2003). *Sotsial'naia istoriia Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): Genезis lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva* [The Social History of Russia in the Period of the Empire (18th – Early 20th Centuries):

The Genesis of the Individual, the Democratic Family, Civil Society and the Rule of Law] (Vol. 1). St Petersburg: Dmitri Bulanin.

Tolz, M. S. (1977). *Brachnost' naseleniia Rossii v kontse XIX — nachale XX v.* [Marriages of the Population of Russia in the Late 19th and Early 20th Centuries]. In A. G. Vishnevsky (Ed.), *Brachnost', rozhdadnost', smertnost' v Rossii i v SSSR* [Marriage, Fertility, and Mortality in Russia and the USSR] (pp. 138–153). Moscow: Statistika.

Vishnevsky, A. G. (2006). *Demograficheskaia modernizatsiia Rossii: 1900–2000* [Demographic Modernisation of Russia: 1900–2000]. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

Главацкая Елена Михайловна

доктор исторических наук

¹ главный научный сотрудник

Институт истории и археологии УрО РАН
620108, Екатеринбург, ул. Ковалевской, 16;

² профессор кафедры археологии
и этнологии

Уральский федеральный университет

620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51

E-mail: elena.glavatskaya@urfu.ru

Glavatskaya, Elena Mikhailovna

Dr. Hab. (History)

¹ Chief Research Fellow

Institute of History and Archaeology
UB RAS

16, S. Kovalevskaya St.,
620108 Ekaterinburg, Russia;

² Professor, Department of Archaeology
and Ethnology

Ural Federal University

51, Lenin Ave., 620000 Ekaterinburg, Russia

Email: elena.glavatskaya@urfu.ru

<https://orcid.org/0000-0001-7013-5013>

Scopus AuthorID: 55587715900

Бобицкий Александр Владимирович

научный сотрудник

Институт истории и археологии УрО РАН
620108, Екатеринбург, ул. Ковалевской, 16

E-mail: bobitskiy.alexander.101@yandex.ru

Bobitsky, Alexandr Vladimirovich

Research Fellow

Institute of History and Archaeology
UB RAS

16, S. Kovalevskaya St.,
620108 Ekaterinburg, Russia

Email: bobitskiy.alexander.101@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-2541-7078>

WoS ResearcherID: U-2296-2019

Заболотных Елизавета Александровна

научный сотрудник

Институт истории и археологии УрО РАН
620108, Екатеринбург, ул. Ковалевской, 16

E-mail: ezabolotnych@gmail.com

Zabolotnykh, Elizaveta Aleksandrovna

Research Fellow

Institute of History and Archaeology
UB RAS

16, S. Kovalevskaya St., 620108 Ekaterinburg,
Russia

Email: ezabolotnych@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1002-8723>

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.060
УДК 930 + 314.122(470.5)-053.3 +
+ 314.48-0.53.3 + 94(470.5):314.9

Д. С. Бахарев
Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Статья посвящена исследованию городской младенческой смертности в пореформенной Пермской губернии. В рамках работы была реконструирована динамика смертности грудных детей в городах и селах Среднего Урала, выделены паттерны отдельных городов и определены факторы эволюции. В число источников вошли опубликованная государственная и земская статистика, делопроизводственная документация медицинских учреждений и общественных организаций, православные метрические книги Екатеринбурга. Методическую базу составили общие демографические индексы, приемы описательной статистики, коэффициенты сезонности и анализ динамических рядов. В середине XIX в. горнозаводской Урал имел экстремально экстенсивный режим воспроизводства населения и самый высокий в Европейской России уровень младенческой смертности. После старта Великих реформ демографический порядок Пермской губернии начал модернизироваться. Частью этого процесса стало самое резкое в империи снижение младенческой смертности в начале XX в. Раньше и быстрее смертность грудных детей начала падать в городах Среднего Урала. Малые города имели показатели чуть лучше сельских, Пермь и Екатеринбург демонстрировали значительное снижение с лидерством последнего. Главными факторами изменений младенческой смертности стали диверсификация экономической занятости, ослабление этнорелигиозных норм и создание медицинской инфраструктуры. Все три фактора были выражены в сглаживании демографического календаря, увеличении крестильно-родильного интервала, росте популярности искусственного вскармливания с использованием прогрессивных приспособлений — стеклянного рожка и резиновой соски; и распространении практики родов и лечения грудных детей с участием профессиональных врачей. Наиболее ярко все факторы проявили себя в экономической столице региона — Екатеринбурге.

К л ю ч е в ы е с л о в а: историческая демография; младенческая смертность; демографическая модернизация; пореформенная Россия; Пермская губерния; население Урала; города Урала

Ц и т и р о в а н и е: *Бахарев Д. С.* Модернизационные факторы снижения младенческой смертности в Пермской губернии в конце XIX — начале XX в. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 59–76. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.060>

Поступила в редакцию: 19.09.2023

Принята к печати: 09.11.2023

Dmitry S. Bakharev*Institute of History and Archaeology UB RAS
Ekaterinburg, Russia***MODERNISATION FACTORS
OF INFANT MORTALITY TRANSITION
IN LATE IMPERIAL PERM PROVINCE**

This article studies urban infant mortality in the post-reform period of Perm Province. The work reconstructs the dynamics of infant mortality in cities and villages of the Middle Urals, highlighting the patterns of individual cities and identified factors of evolution. It is based on published state and zemstvo statistics, archival documents from medical institutions and public organisations, as well as Orthodox Church parish records from Ekaterinburg. Methodologically, the work relies on general demographic indices, descriptive statistics techniques, seasonality coefficients, and dynamic series analysis. During the first half of the nineteenth century, the mining Urals had extremely high birth and death rates and the highest infant mortality rate in European Russia. The Great Reforms launched the demographic transition in the region, resulting, among other things, in the Empire's most significant infant mortality decline in the early twentieth century. The earliest and fastest infant mortality decline took place in cities. Small towns had slightly better rates than rural areas, while Perm and especially Ekaterinburg had significant reductions. The main reasons behind the changes in infant mortality were economic employment diversification, the weakening of ethno-religious traditions, and the creation of medical infrastructure. In daily life, these factors manifested in the smoothing of demographic seasonality, increased period between birth and baptism, the introduction of artificial nourishment with the help of glass feeding bottles and rubber comforters, and moving childbirths and infant care to hospitals. Ekaterinburg, the economic capital of the region, was the place where these factors had the best effect.

Key words: historical demography; infant mortality; demographic transition; post-reform Russia; Perm Province; Ural population; Ural cities

For citation: Bakharev, D. S. (2023). Modernizatsionnye faktory snizheniia mladencheskoi smertnosti v Permskoi gubernii v kontse XIX — nachale XX v. [Modernisation Factors of Infant Mortality Transition in Late Imperial Perm Province]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 59–76. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.060>

*Submitted: 19.09.2023**Accepted: 09.11.2023*

Интенсивная модернизация, охватившая Российскую империю с началом Великих реформ, имела множество аспектов — социально-экономический, политический, культурный, технологический и иные. Важной частью модернизационного процесса стало начало демографического перехода. Медленно, но верно вслед за экономикой и культурой трансформировался

и режим воспроизводства населения — от традиционного к современному. При этом огромная империя не могла избежать территориальной вариативности демографических изменений. Пермская губерния — один из самых исследованных историками модернизации регионов позднеимперской России [см.: Акторы...], однако именно аспект развития населения горнозаводского Урала остался слабо освещен в историографии [см. отдельные работы: Алферова; Мазур]. Значимость заполнения этого пробела связана также с нетипичным демографическим портретом Пермской губернии, важным отличием которой от других регионов империи был экстремально экстенсивный режим воспроизводства, т. е. чрезвычайно высокая рождаемость и смертность, в том числе младенческая.

Представленная статья направлена на изучение городской младенческой смертности в пореформенной Пермской губернии. Учитывая размер и значимость различных городов губернии, в рамках исследования они были разделены на три объекта научного наблюдения — Пермь, Екатеринбург и совокупность «малых» городов. Для сравнения и воссоздания контекста были привлечены сельские данные, отдельное внимание было уделено Екатеринбургу — экономической столице региона, вмещавшей не меньше четверти городского населения губернии. В рамках исследования была реконструирована динамика младенческой смертности в городах и селах губернии; выделены специфические паттерны отдельных городов; определены факторы эволюции младенческой смертности. Источниковую базу составила опубликованная государственная и земская статистика, метрические книги православных приходов Екатеринбурга и опубликованная делопроизводственная документация медицинских учреждений и общественных организаций. Методическую базу составили общие демографические индексы, приемы описательной статистики, коэффициенты сезонности и анализ динамических рядов.

Во второй половине XIX в. вследствие становления государственной статистики населения европейские политики и интеллигенция впервые составили четкое представление о демографических портретах разных стран. Младенческая смертность — легко вычисляемая и интерпретируемая — быстро стала одним из ключевых сравнительных демографических индикаторов. Россия по ее уровню занимала худшее место среди государств Европы и Нового Света. Мало того, если в XIX в. еще были страны, имевшие сопоставимые с российскими индексы смертности грудных детей, то к началу XX в. они значительно улучшили свои показатели, в то время как Россия демонстрировала чрезвычайно скромные темпы демографической модернизации (см. табл. 1). Исследование причин этой стагнации как современниками, так и нынешними специалистами указывает на характерный для русских крестьян короткий период грудного вскармливания как на главный фактор [см., например: Соколов, Гребенщиков; Натхов, Василенок]; также упоминаются низкий уровень санитарно-гигиенических норм, общая бедность и изнурительный труд.

Таблица 1

**Младенческая смертность в Европе и России
во второй половине XIX – начале XX в., ‰***

Страна	1885	1900	1912	Губерния	1867– 1881	1886– 1897	1908– 1910
Россия**	270	252	241	Пермская	438	437	320
Австрия***	255	231	181	Московская	406	366	299
Германия****	226	229	147	Нижегородская	397	410	340
Италия	194	174	128	Владимирская	388	363	305
Испания	192	204	138	Вятская	383	371	325
Румыния	170	197	216	Ярославская	349	306	280
Финляндия	162	153	109	Костромская	349	341	314
Франция	161	160	105	Петербургская	345	341	267
Бельгия	150	172	120	Олонецкая	344	321	321
Шотландия	121	128	105	Тверская	340	328	307

* Сост. по: [Рашин, с. 195–196; Смертность младенцев..., с. I; Mitchell, p. 120–127].

** 50 губерний Европейской России.

*** Цислейтания без Ломбардии и Венето.

**** За 1885 и 1900 гг. — Бавария, Саксония, Баден, Вюртемберг и Пруссия, за 1912 г. — Германская империя.

Пермская губерния подошла к середине XIX в. с самым экстенсивным режимом воспроизводства в Российской империи¹ — колоссальными брачностью, рождаемостью и смертностью, в том числе младенческой. Причины подобной специфики, возможно, следует искать в особенностях колонизации Урала (в XVII–XVIII вв., с консервацией позднесредневекового демографического режима) и экстраординарной нагрузке на крестьян по обеспечению продовольствием рабочих горных заводов (в некоторые периоды истории Урала до половины населения не относилось к аграрно-производительному, что является беспрецедентным показателем для традиционного общества). В полной мере демографическая экстенсивность была характерна и для городского населения Среднего Урала. Городской паттерн воспроизводства в Пермской губернии, так же как и в Европе (до начала XIX в.), и в России в целом (до середины XIX в.), имел крайне расточительный характер по причине огромной смертности, обусловленной антисанитарными условиями, промышленным загрязнением, наси-

¹ Вероятно, даже по сравнению с сибирскими губерниями: см. [Зверев, с. 139–148].

лием и административной концентрацией смертей [Pounds, p. 371–378; Миронов, с. 835–841]. Однако все изменилось с началом Великих реформ Александра II: введение местного самоуправления, развитие экономики, культуры и медицины запустили на горнозаводском Урале процесс демографической модернизации, которая, во-первых, вызвала самый быстрый в России спад младенческой смертности (см. табл. 1), а во-вторых, коренным образом трансформировала демографию города, результатом чего уже к концу XIX в. стало обновление городского паттерна воспроизводства — превращение его в более рациональный и экономный по сравнению с сельским (см. табл. 2).

Таблица 2

**Демографические характеристики населения Пермской губернии
во второй половине XIX в.***

Демографическая характеристика	1858		1885		1897	
	город	село	город	село	город	село
Численность, абс.**	86 825	1 959 747	134 201	2 515 372	179 339	2 814 963
Браков на 1 000 нас.***	11,7	10,3	8,9	8,7	8,2	10,1
Рождений на 1 000 нас.	63,8	52,4	50,8	54,8	42,9	58,0
Смертей на 1 000 нас.	64,3	45,7	51,3	44,2	37,2	43,6

* Сост. по: [Мозель, с. 298–315; Статистические таблицы..., с. 182; Сборник сведений..., с. 6; Первая Всеобщая перепись..., с. 1; Календарь Пермской губернии..., с. 42–43; Памятная книжка..., с. 42–43; Адрес-календарь..., 1898, Отдел III, с. 2–3; Адрес-календарь..., 1899, с. 128–129; Адрес-календарь..., 1900, Отдел III, с. 4–5; Движение населения в Европейской России, 1890, с. 8, 36–37, 144].

** Данные о численности населения взяты из результатов административно-полицейских обследований 1858–1859 и 1884–1885 гг. и переписи населения 1897 г.

*** При расчете всех коэффициентов в качестве абсолютного числа браков, рождений и смертей взята скользящая средняя по трем значениям с центрированием посередине интервала.

Неудивительно, что упомянутое стремительное снижение младенческой смертности на Урале наиболее ярко проявилось в городах, особенно в Перми и Екатеринбурге, составлявших около половины городского населения региона. Смертность грудных детей здесь не просто снижалась быстрее, чем в сельской местности, а оформилась в отдельный, городской, тип: разница между городом и селом наблюдалась не только в уровне (372‰ против 399‰ за период 1867–1915 гг.), но и в направлении колебаний (коэффициент Пирсона 0,56) (см. рис. 1, а). Особое внимание обращает на себя взлет сельской младенческой смертности во втором десятилетии XX в., вызванный, вероятно, падением урожайности на Урале, удорожанием земской медицины и Первой мировой войной.

Визуальный анализ динамики отдельно в селах, малых городах, Перми и Екатеринбурге показал, что младенческая смертность в сельской местности хотя и снижалась, но имела изменчивый, зависимый от аграрного хозяйства характер (см. рис. 1, б). Малые города в среднем демонстрировали лишь несколько меньшие и несколько более стабильные по сравнению с селом показатели. Наиболее серьезный рост выживаемости грудных детей происходил в двух главных городах губернии, Перми и Екатеринбурге, с неоспоримым лидерством Екатеринбурга и большой изменчивостью в Перми.

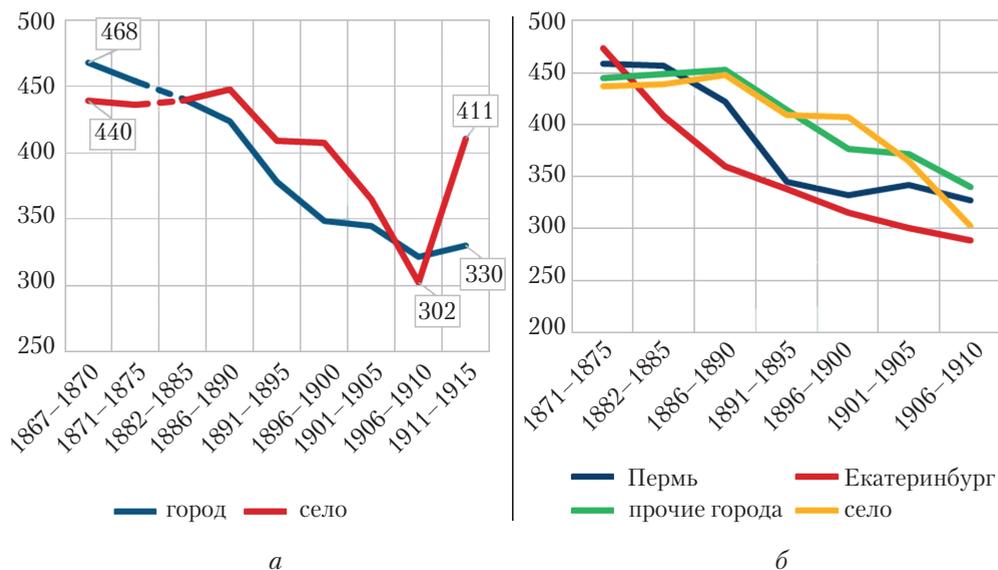


Рис. 1. Младенческая смертность в Пермской губернии, %

Сост. по: [Движение населения в Европейской России, за 1867... 1914 гг.; Санитарный обзор Пермской губернии за 1911... 1915 гг.]. Для рис. 1, а данные за 1876–1881 гг. отсутствуют

Fig. 1. Infant mortality in Perm Province, %

For: [Demographic Processes in European Russia 1867–1914; Sanitary Review of Perm Province 1911–1915]. In fig.1, a data for 1876–1881 is unavailable

Главным механизмом воспроизводства городского демографического паттерна, сложившегося в условиях модернизации, являлось сочетание многоукладной экономики, культурной среды и социальной инфраструктуры. Основными индикаторами модернизации младенческой смертности были: изменение демографического календаря, трансформация практик ухода за детьми, рост доступности профессиональной медицины.

Одним из параметров, отражающих процесс модернизации воспроизводства населения, является демографический календарь. Помесячная сезонность событий жизненного цикла — классическое направление анализа демографических данных, имеющее подробную историографию [см., например: Авдеев, Блюм,

Троицкая; Vinnik]. В российской традиции наиболее обстоятельно с теоретической точки зрения к изучению сезонности событий жизненного цикла подошел сибирский исследователь В. А. Зверев [2014, с. 112–124].

Познавательный смысл построения демографического календаря заключается в определении его волатильности, которая служит мерой модернизации общества. Особенно ярко эта функция проявляется в сравнении сельского и городского демографических календарей. Характерные для деревни резкие помесечные колебания числа браков и рождений говорят о существовании социальной регуляции первых, т. е. о наличии сильных этнорелигиозных институтов. Колебания младенческой смертности в свою очередь были результатом недиверсифицированной и зависимой от природных условий аграрной экономики, проявлявшейся в сезонной материнской занятости и недородах, а также нестабильных брачного и репродуктивного календарей, которые нередко формировали пики рождаемости в климатически и хозяйственно неблагоприятные для выживаемости младенцев периоды. Городской календарь гораздо меньше зависел от климата и религиозных предписаний, что позволяло смягчать пики младенческой смертности в течение года.

В рамках представленного исследования был воссоздан календарь младенческой смертности для городов и сел Пермской губернии за 1891–1895 и 1911–1915 гг. Конкретными инструментами выступили помесечный коэффициент сезонности² и стандартное отклонение коэффициента сезонности³. Построение динамики сезонных коэффициентов для рубежа XIX–XX вв. дало неоднозначную картину (см. рис. 2).

Динамика сезонных коэффициентов сельского населения в конце XIX в. предсказуемо оказалась резче по сравнению с городской, отражая большую зависимость от природы и социальную зарегулированность. Через 20 лет оба демографических календаря серьезно изменились, и если городской приобрел более сглаженный характер, что можно трактовать как признак модернизации, то сельский неожиданно стал еще менее устойчивым. Данное явление можно связать с эффектом урбанизации: наиболее прогрессивное с демографической точки зрения население, в том числе модернизовавшиеся крестьяне, переселялось в города, что создавало статистическую картину замершей в развитии сельской местности. Также свою роль могли сыграть климат и начавшаяся Первая мировая война с мобилизацией, затронувшей в первую очередь крестьян.

² Получен следующим образом: коэффициент сезонности = $\frac{\text{число смертей за месяц}}{\text{число дней в месяце}} / \frac{\text{число смертей за год}}{365,25}$. Из-за агрегированности данных источника были использованы помесечные и погодные числа смертей суммарно сразу за 5 лет, в качестве числа дней в феврале взято 28,25, а в качестве среднегодового числа дней — 365,25. См. примеры использования этого показателя в вариациях: [Сарафанов; Vinnik]. В западной традиции показатель известен как RND (*relative numbers of deaths*), см.: [Budnik, Liczbińska].

³ Использовал В. А. Зверев для другой версии сезонного коэффициента, см.: [2014, с. 118].

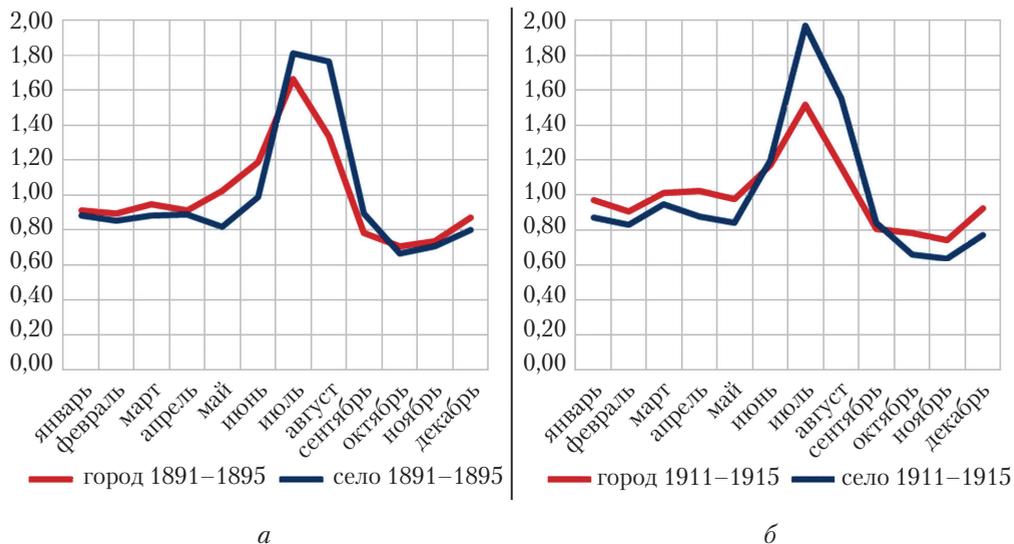


Рис. 2. Коэффициенты сезонности младенческой смертности в Пермской губернии в конце XIX – начале XX в.*

Сост. по: [Движение населения Пермской губернии с 1882 г. по 1901 г. Ч. 1–12; Санитарный обзор Пермской губернии за 1911... 1915 гг.]

* Данные за 1891–1895 гг. только по православным; для Перми, Верхотурья, Камышлова, Оханска, Кунгура – по всем приходам, для Екатеринбургa – только по Богоявленскому, Вознесенскому, Свято-Духовскому, для Шадринска – по Спасо-Преображенскому, для Соликамска – по Свято-Троицкому, для Осы – по Успенскому, для Ирбита – по Богоявленскому, для Красноуфимска – по Свято-Троицкому, для Чердыни данных нет

Fig. 2. Relative numbers of infant deaths in late 19th – early 20th century Perm Province*

For: [Demographic Processes in Perm Province 1882–1901 (Vols. 1–12); Sanitary Review of Perm Province 1911–1915]

* 1891–1895 data is available only for Orthodox population; in Perm, Verkhoturys, Kamyshev, Okhansk, Kungur – for all parishes; in Ekaterinburg – for Epiphany, Ascension and Holy Spirit Parishes; in Shadrinsk – for Transfiguration Parish; in Solikamsk – for Trinity Parish; in Osa – for Dormition Parish; in Irbit – for Epiphany Parish; in Krasnoufimsk – for Trinity Parish; data for Cherdyn is unavailable

Расчет стандартных отклонений сезонных коэффициентов младенческой смертности позволил получить численное выражение сезонной волатильности вымирания грудных детей, в том числе по отдельным городам для конца XIX в. (см. табл. 3).

Постепенное снижение амплитуды сезонности младенческой смертности в данном контексте можно объяснить экономическим профилем региона. Логичным выглядит лидирующее положение городов – административных центров аграрных уездов, таких как Камышловский, Ирбитский, Оханский, в то время как центры аграрно-заводских и заводских уездов – Екатеринбургского, Кунгурского и Соликамского – демонстрировали большую стабильность демографического порядка. Удивительной выглядит высокая, близкая

к сельской волатильность младенческой смертности в Перми — крупнейшем городе региона в этот период. Хотя источник не позволяет взглянуть на динамику амплитуды в 1911–1915 гг. с такой же географической подробностью, как в 1891–1895 гг., однако суммарные сельский и городской показатели повторяют выводы из визуализации динамики сезонных коэффициентов: в начале XX в. городское население Среднего Урала значительно модернизировало сезонный компонент своего паттерна младенческой смертности, в то время как его сельский аналог архаизировался.

Таблица 3

Стандартное отклонение коэффициентов сезонности младенческой смертности для Пермской губернии в конце XIX — начале XX в.*

	1891–1895	1911–1915
Камышлов	0,43	—
Ирбит	0,42	—
Оханск	0,41	—
Села	0,36	0,38
Оса	0,36	—
Пермь	0,32	—
Шадринск	0,32	—
Верхотурье	0,30	—
Все города	0,26	0,20
<i>Малые города</i>	0,26	—
Красноуфимск	0,26	—
Екатеринбург	0,20	—
Кунгур	0,20	—
Соликамск	0,19	—

* Сост. по: [Движение населения Пермской губернии с 1882 г. по 1901 г. Ч. 1–12; Санитарный обзор Пермской губернии за 1911... 1915 гг.].

Важным фактором младенческой смертности в имперской России были традиционные для русского населения практики ухода за младенцами, которые отличались либо отсутствием, либо экстремально коротким периодом грудного вскармливания и невысокими гигиеническими стандартами. Также в этот ряд можно добавить нечасто упоминаемый, но важный факт повсеместного и обязательного раннего крещения. Такая традиция ухода за младенцами в полной мере была характерна для Урала — как для сельской местности [Шагов, с. 510–512], так и для города [Серебренников, с. 108]. Правда, большая часть известных нам

свидетельств имеет обобщенный нарративный характер. Исключением является исследование Н. А. Русских, земского врача Пригородного участка Екатеринбургского уезда, который в 1890 г. специально исследовал практики кормления грудных детей на Урале. Он изготовил специальные карточки-анкеты, каждая из которых заполнялась на грудного ребенка его матерью под руководством врача и включала короткую паспортичку и ряд вопросов о кормлении ребенка [Русских, с. 78].

С помощью других земских врачей Н. А. Русских собрал 240 валидных карточек (без учета неполных, неразборчивых и на детей старше 1 года), из которых 68 пришлись на Екатеринбург и 172 — на 71 поселение Екатеринбургского уезда. Матери, заполнившие карточки, за всю жизнь родили 1 105 детей, т. е. указанные ими практики кормления можно условно экстраполировать на вчетверо большее число детей. Результаты исследования показали два различных подхода к детскому питанию [Русских, с. 79–82]. Сельские жительницы в подавляющем большинстве предпочитали кормить детей грудью, тогда как горожанки выбирали этот путь лишь в $\frac{2}{3}$ случаев⁴. Это можно связать с локализацией занятости: крестьянская женская работа в основном вращалась вокруг домашнего хозяйства, в то время как в городе дом и работа могли быть разделены большим расстоянием, что делало искусственное питание неизбежностью. Своеобразной компенсацией было использование горожанками максимально прогрессивных методов искусственного вскармливания — стеклянных рожков и резиновых сосок, на которые в Екатеринбурге в 1890 г. перешли почти $\frac{2}{3}$ опрошенных матерей. Сельская округа продолжала массово использовать архаичные приспособления — коровий рог и отрезанный коровий сосок, гигиену которых невозможно поддерживать даже при большом желании.

Еще одним компонентом русских этнических практик ухода за детьми было православное раннее погружное крещение, аналогов которому не наблюдалось ни у одной, в том числе христианской, конфессии Урала. Стремление русских во что бы то ни стало окрестить новорожденного как можно быстрее было связано с народно-религиозными представлениями об ужасной участи детской души в случае смерти до крещения [Кабакова]. Зарубежные исследования, однако, указывают, что даже в более мягком климате чрезмерно ранние крещения, особенно зимой, значительно понижали шансы младенца на выживание [Minello, Dalla-Zuanna, Alfani]. На российской почве с XVIII в. регулярно высказывались предположения о вреде зимнего погружного крещения [Ломоносов, с. 604–605; Гундобин, с. 10]. Чтобы статистически оценить этот фактор, нами был проведен квартильный анализ корпуса детских смертей «Регистра населения Урала»: для 7 814 записей о крещениях, зафиксированных в метрических книгах православной Вознесенской церкви Екатеринбурга с 1889 по 1917 г., был вычислен родильно-крестильный интервал; полученная выборка математическим алгоритмом разделена

⁴ Важным аспектом в контексте грудного вскармливания является его продолжительность, но, хотя в обследовании Н. А. Русских и был такой вопрос, ответы на него в итоговой публикации не дифференцированы на «городские» и «сельские».

на квартили (четверти)⁵ в соответствии с вычисленным интервалом; среди 2 720 младенческих смертей, зафиксированных в приходе, определены окрещенные тут же младенцы (2 266); эти сведения связаны с крестильными записями; для каждой из четвертей посчитан коэффициент младенческой смертности (см. табл. 4).

Таблица 4

**Младенческая смертность в приходе православной Вознесенской церкви
Екатеринбурга в зависимости от сроков крещения за 1889–1917 гг.,
по квартилям***

Родильно-крестильный интервал, дни	Умерло на 1 000 родившихся
1	317
2	232
3–6	191
> 6	138

* Сост. по: [Регистр населения Урала].

Следует отметить, что показатель для детей, крещенных в первый день своей жизни, несколько завышен, — вероятно, такое быстрое крещение частью выполнялось для очень слабых младенцев, которые, по мнению современников, не должны были прожить долго, или даже для мертворожденных, которых из-за культурных стереотипов старались записать крещеными. Однако даже при учете этого факта градация индексов в последующих трех квартилях очевидно указывает на вероятную сильную связь между очень ранним крещением и уровнем младенческой смертности, когда неокрепший детский организм подвергался экстремальному охлаждению и риску заражения инфекциями.

Учитывая это, важным фактом становится стабильное повышение возраста крещаемого — с 3,7 до 5,2 дня, которое наблюдалось в одном из крупнейших православных приходов Екатеринбурга — Вознесенском — с 1880-х до конца 1910-х гг. [Bakharev, Glavatskaya, p. 216]. Это могло быть как результатом постепенной бытовой секуляризации, так и растущей нагрузки на клир, который на протяжении всего исследуемого периода сохранял одинаковую численность при ежегодном увеличении числа обрядов [Бахарев, Главацкая, с. 88]. В любом случае конечный результат выразался в постепенной модернизации бытовых обрядовых практик и снижении младенческой смертности.

Другим важным фактором младенческой смертности в городах Среднего Урала была медицинская инфраструктура, ориентированная на родовспоможение и детскую медицину. Развитие этой инфраструктуры полностью определялось денежными инвестициями. В Пермской губернии лишь два города имели

⁵ Из-за крайне низкой дисперсии интервалов между рождением и крещением размер квартилей, которые теоретически должны были быть равными, довольно сильно различался, однако оставался достаточным для репрезентативности: первый квартиль — 1 496, второй квартиль — 2 604, третий квартиль — 1 860, четвертый квартиль — 1 666 записей.

возможность тратить большие деньги на здравоохранение — Пермь и Екатеринбург. В столице губернии с 1880 г. практиковала нанятая городом акушерка, посещающая рожениц на дому, в 1898 г. открыт родильный покой в Александровской земской больнице, а в 1906 г. — покой при общине Красного Креста [Лядова, с. 132]. Однако и штат, и количество коек для рожениц в Перми исчислялись единицами и вряд ли могли сильно влиять на демографию такого большого города. Специализированных медицинских учреждений для детей в дореволюционной Перми так и не появилось.

Иная ситуация была в Екатеринбурге, где местные органы самоуправления расходовали на здравоохранение существенно больше средств. С 1877 г. здесь функционировал полноценный родильный дом, где принималась значительная часть родов в городе. Для сравнения: в 1904 г. в Перми городской акушеркой было принято 105 родов, т. е. около 4 % всех родов в городе за год, а в екатеринбургском родильном доме — 1 074, т. е. около 55 %. Реконструкция динамики соотношения рождаемости внутри и за пределами роддома продемонстрировала довольно впечатляющую для дореволюционной России картину (см. рис. 3).

Комментируя возрастающий поток рожениц в Екатеринбургском роддоме, его штатный врач Б. И. Котелянский писал: «Прежде в Екатеринбургский родильный дом главным образом поступали или потому, что голову преклонить некуда (прислуга), или потому, что стыд загонял (незамужние), — теперь же преобладают обеспеченные хозяйки и замужние женщины; процент мещанок (более культурного элемента) возрастает тоже заметно относительно иногородних. Позволю себе высказать, что явление это вытекает из возрастающего доверия к учреждению; в умах публики успело уже, по-видимому, выработаться убеждение, что учреждение это — благодаря известным приспособлениям и ведению дела — как бы гарантирует благоприятный исход родов» [Котелянский, с. 71].

Схожая ситуация была и с детской медициной. В 1910 г. в Екатеринбурге была основана Детская больница Общества Красного Креста, которая каждый год прирастала сотнями и тысячами пациентов: в 1910 г. численность первичных амбулаторных больных составила 1 308 человек, а к 1913 г. она достигла уже 4 787 человек [Хирин, 1914, с. 3]. Новое учреждение было ориентировано на всех детей, но именно младенцы были самой крупной категорией пациентов: за 1912–1913 гг. больница амбулаторно приняла 8 343 больных ребенка, из которых 3 174, т. е. 38 %, были в возрасте до 1 года. Разумеется, многих маленьких пациентов родители привозили из других населенных пунктов специально; их доля доходила до 42 %. Однако за 1912–1913 гг. в Екатеринбурге родилось лишь 5 618 детей и, по всей видимости, значительная их часть побывала на приеме в больнице Красного Креста. Главный врач больницы Д. В. Хирин так описывал различие местных и пришлых пациентов: «Из уезда едут с действительно тяжелыми и хроническими заболеваниями; городские же жители обращаются с самыми небольшими заболеваниями, а иногда и просто для совета о питании и правильном уходе за ребенком» [Там же, с. 10]. Реконструкция сезонной посещаемости подтвердила гипотезу о влиянии Детской больницы на смертность грудных детей (см. рис. 4).

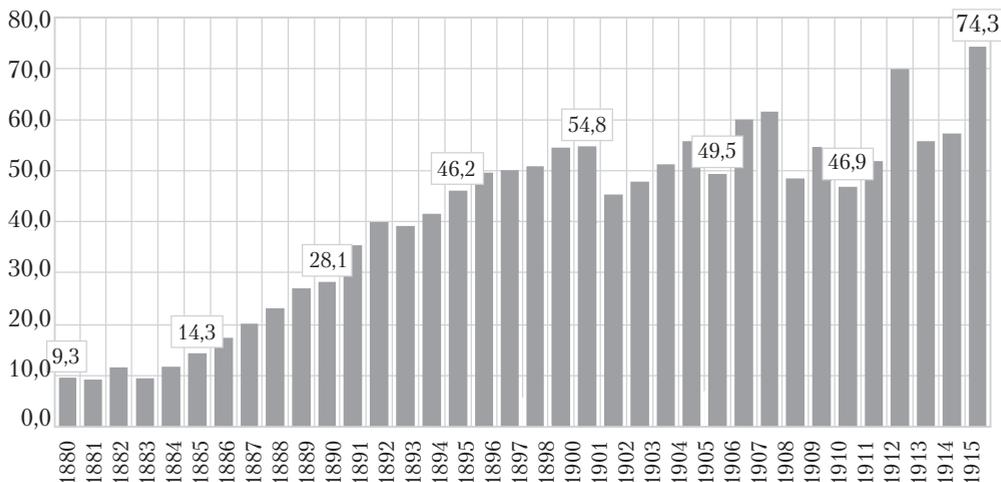


Рис. 3. Доля рождений в роддоме от общей рождаемости в Екатеринбурге в конце XIX – начале XX в., %*

* Сост. по: [Малескриптов, с. 468–470; Движение населения в Европейской России 1882–1910 гг.; Санитарный обзор Пермской губернии за 1911... 1915 гг.; Перетц, с. 99].

Fig. 3. Births in Ekaterinburg Maternity Hospital as compared to all births in late 19th – early 20th century Ekaterinburg, %*

* For: [Maleskriptov, p. 468–470; Demographic Processes in European Russia 1882–1910; Sanitary Review of Perm Province 1911–1915; Peretts, p. 99]

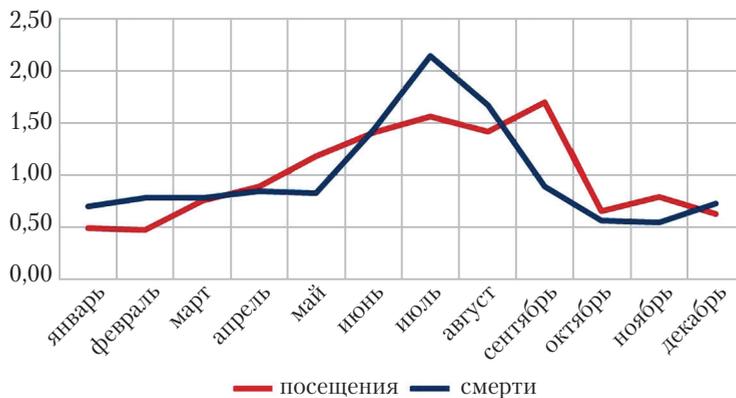


Рис. 4. Коэффициенты сезонности амбулаторных приемов пациентов в возрасте до 1 года в Детской больнице Общества Красного Креста в Екатеринбурге и младенческой смертности в городах Пермской губернии, 1912–1913 гг.*

* Сост. по: [Хирин, 1913, с. 8; 1914, с. 9; Санитарный обзор Пермской губернии за 1912–1913 гг.].

Fig. 4. Seasonality coefficients of outpatient appointments for patients under 1 year of age at the Children’s Hospital of the Red Cross Society in Ekaterinburg and infant deaths in Perm provincial towns 1912–1913*

* For: [Khirin, 1913, p. 8; 1914, p. 9; Sanitary Review of Perm Province 1912–1913]

Помесячная динамика посещения больницы родителями с грудными детьми продемонстрировала заметное сходство с сезонностью младенческой смертности. Д. В. Хирин комментировал ежемесячное распределение больных следующим образом: «...особенно [младенцев] было много в летние месяцы... когда наблюдались массовые заболевания желудочно-кишечными катарами. Такое же преобладание заболеваний раннего детского возраста встречалось и в прошлые годы» [Хирин, 1913, с. 8]. Другими словами, родители в Екатеринбурге чутко реагировали на младенческие болезни, начав массово обращаться к профессиональной медицине, как только город предоставил им такую возможность. Вероятно, Детская больница была способна существенно смягчать пики младенческой смертности, однако короткий срок ее существования не позволяет утверждать этого со всей определенностью.

Темпы демографической модернизации Пермской губернии после Великих реформ во многом опережали общероссийские в первую очередь за счет прежней экстремальной экстенсивности режима воспроизводства и, как следствие, большого резерва для его рационализации. Младенческая смертность была одним из ключевых направлений этого процесса. Спад смертности грудных детей имел специфику внутри региона: сельская местность постепенно снижала показатели, остававшиеся, впрочем, крайне нестабильными; малые города имели чуть меньший и более устойчивый уровень смертности грудных детей; наиболее впечатляющее снижение продемонстрировали Пермь и Екатеринбург, причем екатеринбургская динамика характеризовалась большей поступательностью. Главными факторами спада младенческой смертности в городах стали городская разноплановая экономическая занятость, ослабевание этнорелигиозных норм и создание медицинской инфраструктуры; наиболее явно комбинированный эффект всех трех факторов проявился в Екатеринбурге.

Трансформация младенческой смертности в городах Пермской губернии довольно сильно отличалась от своего аналога в Западной и Северной Европе. Последний состоял в первую очередь в длительном, растянувшемся на столетия повышении доходов и уровня образования населения, улучшении материнского и детского питания, снижении трудовой нагрузки на беременных и рожениц, концентрации внимания семьи и всего общества на ребенке и вопросах его выживания; лишь в XIX в. к этим факторам добавились разрушение традиции и создание медицинской инфраструктуры. Уральский и, вполне возможно, российский тип модернизации городского демографического порядка подразумевал, что в запаздывавшей в экономическом развитии среде резко запускались наиболее прогрессивные институциональные процессы — разрушение традиционных норм демографического календаря и крещения, внедрение искусственного вскармливания, организация медицинской инфраструктуры, включавшей профессиональное родовспоможение и педиатрию.

Источники

Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии ... [по годам] / под ред. Р. Попова. Пермь : Типо-лит. губ. прав., 1898–1900.

Гундобин Н. П. Детская смертность в России и меры борьбы с нею. СПб. : Лит.-мед. журн. д-ра Окса, 1906.

Движение населения в Европейской России. Статистические таблицы ... [по годам]. СПб., 1872–1914.

Движение населения Пермской губернии с 1882 по 1901 г. Ч. 1–12 ... [по уездам]. Пермь : Тип. губ. зем. управы, 1903–1906.

Календарь Пермской губернии на 1886 год. Год четвертый / под ред. Р. Румы. Пермь : Типо-лит. губ. прав., 1885.

Котелянский Б. И. Краткий очерк деятельности акушерского отделения Екатеринбургского родильного дома за двухлетний период (1887–1889 гг.) // Записки Уральского медицинского общества в г. Екатеринбурге. I год. Пермь : Тип. губ. зем. упр., 1891. С. 70–74.

Ломоносов М. В. О размножении и сохранении российского народа // Избранные философские произведения / под ред. Г. С. Васецкого. М. : Госполитиздат, 1950. С. 598–614.

Малескриптов. Что говорят метрические книги про г. Екатеринбург? // Екатеринбургская неделя. 1884. № 27. С. 468–470

Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Пермская губерния. Ч. 1. СПб. : Тип. Ф. Персона, 1864.

Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1888 год / под ред. А. И. Прозоровского. Пермь : Типо-лит. губ. прав., 1887.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 31 : Пермская губерния / под ред. Н. А. Тройницкого. СПб. : ЦСК МВД, 1904. [4], XII.

Перетц В. Г. Медицинский обзор 50-летней деятельности Свердловского акушерско-гинекологического института // Уральский медицинский журнал. 1928. № 1. С. 97–113.

Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.) : стат. очерки / под ред. С. Г. Струмилина. М. : Госстатиздат, 1956.

Регистр населения Урала // Население Урала (конец XIX — начало XX в.) / Ural Population Project (UraPP) : сайт. URL: <http://urappdata-urgi.urfu.ru/#/> (дата обращения: 27.09.2023).

Русских Н. А. К вопросу о кормлении детей до 1 года // Записки Уральского медицинского общества в г. Екатеринбурге. 1891. I год. С. 75–84.

Санитарный обзор Пермской губернии ... [по годам]. Пермь : Электро-тип. губ. земства, 1915–1918.

Сборник сведений по России за 1884–1885 г. / под ред. Н. А. Тройницкого. СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза» : т-во «Печатня С. П. Яковлева» : МВД, 1887.

Серебренников П. Н. Опыт медико-топографического описания г. Ирбити Пермской губернии: С пл. города и диагр. : дис. ... д-ра мед. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1885.

Смертность младенцев в возрасте от рождения до одного года в 1912 году в Европейской России // Статистика Российской империи. 1918. № 95. С. VI, 62.

Соколов Д. А., Гребенщиков В. И. Смертность в России и борьба с ней: доклад в соединенном собрании Общества русских врачей. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1901.

Статистические таблицы Российской империи. Вып. 2 : Наличное население империи за 1858 год / под ред. А. Бушена. СПб. : Тип. К. Вульфа, 1863.

Хирин Д. Медицинский отчет по Детской больнице Общества Красного Креста в г. Екатеринбург за 1912 год. Екатеринбург : Тип. т-ва «Урал. край», 1913.

Хурин Д. Медицинский отчет по Детской больнице Общества Красного Креста в г. Екатеринбург за 1913 год. Екатеринбург : Тип. т-ва «Урал. край», 1914.

Шагов М. А. Кисловская волость Екатеринбургского уезда (Санитарно-бытовое описание) // Врачебно-санитарная хроника Пермской губернии. 1914. № 9. С. 479–521.

Mitchell B. R. International Historical Statistics, Europe: 1750–1993. 4th ed. Indianapolis : Macmillan, 1998.

Исследования

Авдеев А., Блюм А., Троицкая И. Сезонный фактор в демографии российского крестьянства в первой половине 19 века: брачность, рождаемость, младенческая смертность // Российский демографический журнал. 2002. № 1. С. 37–45.

Акторы российской имперской модернизации (XVIII — начало XX в.): региональное измерение / под ред. И. В. Побережникова. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2016.

Алферова Е. Ю. Уральский город пореформенного времени: тенденции демографического развития // Проблемы социально-политической истории Урала в XIX — начале XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / отв. ред. Т. А. Андреева. Челябинск : ЧелГУ, 1991. С. 68–80.

Бахарев Д. С., Главатская Е. М. Причины детской смертности в Екатеринбурге на рубеже XIX–XX вв.: опыт классификации // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2020. Т. 22, № 2 (198). С. 79–96. <https://doi.org/10.15826/izv2.2020.22.2.024>

Зверев В. А. Люди детные: воспроизводство населения сибирской деревни в конце имперского периода. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2014.

Кабакова Г. И. Дети некрещеные // Славянские древности : этнолингв. словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М. : Ин-т славяноведения РАН, 1995. Т. 2. С. 86–88.

Лядова В. В. Некоторые аспекты развития городской медицины Перми в последней трети XIX — начале XX в. // История медицины и образования города Перми — три века служения людям : материалы науч.-практ. конф. (Пермь, 30 октября 2019 г.) / редкол.: Н. А. Невоструев, М. Г. Нечаев, А. А. Маткин. Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2019. С. 127–135.

Мазур Л. Н. Особенности демографического развития Екатеринбурга в конце XIX — начале XXI в. // Уральский исторический вестник. 2022. Т. 76, № 3. С. 131–143. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2022-3\(76\)-131-143](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2022-3(76)-131-143)

Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну : в 3 т. Т. 1. СПб. : Дмитрий Буланин, 2014.

Натхов Т. В., Василенок Н. А. Младенческая смертность в пореформенной России: динамика, региональные различия и роль традиционных норм // Историческая информатика. 2020. № 3. С. 71–88. <https://doi.org/10.7256/2585-7797.2020.3.33356>

Сарафанов Д. Е. Сезонность младенческой смертности в Барнауле во второй половине XIX — начале XX в. (по материалам метрических книг) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2020. Т. 22, № 2 (198). С. 59–78. <https://doi.org/10.15826/izv2.2020.22.2.023>

Bakharev D., Glavatskaya E. Chapter 11. Infant mortality in the late 19th and early 20th century Urals: macro and micro analyses // Nominative Data in Demographic Research in the East and the West / E. Glavatskaya, G. Thorvaldsen, G. Fertig, M. Szoltysek (Eds.). Ekaterinburg : Ural Univ. Press, 2019. P. 202–219.

Budnik A., Liczbińska G. Biological and Cultural Causes of Seasonality of Deaths in Historical Populations from Poland // Collegium Antropologicum. 2015. Vol. 39, No 3. P. 491–499.

Minello A., Dalla-Zuanna G., Alfani G. First signs of transition: The parallel decline of early baptism and early mortality in the province of Padua (northeast Italy), 1816–1870 // *Demographic Research*. 2017. Vol. 36. P. 759–802.

Pounds N.J. G. An historical geography of Europe. Cambridge ; New York : Cambridge Univ. Press, 1990.

Vinnik M. V. Seasonal variation in mortality in the city of Barnaul based on the Pokrovsky parish registers (1877–1897) // *Population and Economics*. 2022. Vol. 6, No 2. P. 120–130.

References

Alferova, E. Yu. (1991). Ural'skii gorod poreformennogo vremeni: tendentsii demograficheskogo razvitiia [Post-reform Ural City: Trends of Demographic Development]. In T. A. Andreeva (Ed.), *Problemy sotsial'no-politicheskoi istorii Urala v XIX – nachale XX vv.* [Social and Economic History Problems of the 19th – Early 20th Century Urals] (pp. 68–80). Chelyabinsk: ChelGU.

Avdeev, A., Blum, A., & Troitskaya, I. (2002). Sezonnii faktor v demografii rossiiskogo krest'ianstva v pervoi polovine XIX veka: brachnost', rozhdaemost', mladencheskaia smertnost' [The Seasonal Factor of Russian Peasant Demography in the First Half of the 19th Century: Marriages, Births, Infant Deaths]. *Rossiiskii demograficheskii zhurnal*, 1, 35–45.

Bakharev, D. S., & Glavatskaya, E. M. (2020). Prichiny detskoj smertnosti v Ekaterinburge na rubezhe XIX–XX vv.: opyt klassifikatsii [Causes of Child Mortality in Yekaterinburg at the Turn of the 20th Century: Classification Experience]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 22, 2(198), 79–96. <https://doi.org/10.15826/izv2.2020.22.2.024>

Bakharev, D., & Glavatskaya, E. (2019). Chapter 11. Infant Mortality in the Late 19th and Early 20th Century Urals: Macro and Micro Analyses. In E. Glavatskaya, G. Thorvaldsen, G. Fertig, & M. Szoltysek (Eds.), *Nominative Data in Demographic Research in the East and the West* (pp. 202–2019). Ekaterinburg: Ural University Press.

Budnik, A., & Liczbińska, G. (2015). Biological and Cultural Causes of Seasonality of Deaths in Historical Populations from Poland. *Collegium Antropologicum*, 3, 491–499.

Kabakova, G. I. (1995). Deti nekreshchenye [Unbaptized Children]. In N. I. Tolstoi (Ed.), *Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar'* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary]. (Vol. 2, pp. 86–88). Moscow: Institut slavianovedeniia RAN.

Lyadova, V. V. (2019). Nekotorye aspekty razvitiia gorodskoi meditsiny Permi v poslednei treti XIX – nachale XX v. [Some Aspect of Perm Medicine's Development in the Late 19th – Early 20th Centuries]. In N. A. Nevostruev, M. G. Nechaev, & A. A. Matkin (Eds.), *Istoriia meditsiny i obrazovaniia goroda Permi – tri veka sluzheniia liudiam* [History of Medicine and Education in Perm: 300 Years of Social Service] (pp. 127–135). Perm: Izd-vo Perm. nats. issled. politekh. un-ta.

Mazur, L. N. (2022). Osobennosti demograficheskogo razvitiia Ekaterinburga v kontse XIX – nachale XXI v. [Peculiarities of Demographic Development of Ekaterinburg in the Late 19th – Early 21st Centuries]. *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 3, 131–143. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2022-3\(76\)-131-143](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2022-3(76)-131-143)

Minello, A., Dalla-Zuanna, G., & Alfani, G. (2017). First Signs of Transition: The Parallel Decline of Early Baptism and Early Mortality in the Province of Padua (Northeast Italy), 1816–1870. *Demographic Research*, 36, 759–802.

Mironov, B. N. (2014). *Rossiiskaia imperiia: ot traditsii k modernu* [Russian Empire: From Tradition to Modernity] (Vol. 1). St Petersburg: Dmitrii Bulanin.

Nathov, T. V., & Vasilenok, N. A. (2020). Mladencheskaia smertnost' v poreformennoi Rossii: dinamika, regional'nye razlichii i rol' traditsionnykh norm [Infant Mortality in Post-Reform

Russia: Dynamics, Regional and Cultural Differences]. *Istoricheskaiia informatika*, 3, 71–88. <https://doi.org/10.7256/2585-7797.2020.3.33356>

Poberezhnikov, I. V. (Ed.). (2016). *Aktory rossiiskoi imperskoi modernizatsii (XVIII – nachalo XX v.): regional'noe izmerenie* [Actors of Russian Imperial Modernisation (18th – Early 20th Centuries): Regional Dimension]. Ekaterinburg: Bank kul'turnoi informatsii.

Pounds, N. J. G. (1990). *An Historical Geography of Europe*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Sarafanov, D. E. (2020). Sezonnost' mladencheskoi smertnosti v Barnaule vo vtoroi polovine XIX – nachale XX v. (po materialam metricheskikh knig) [Seasonality of Infant Mortality in Barnaul in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries (with Reference to Parish Books)]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 22, 2(198), 59–78. <https://doi.org/10.15826/izv2.2020.22.2.023>

Vinnik, M. V. (2022). Seasonal Variation in Mortality in the City of Barnaul Based on the Pokrovsky Parish Registers (1877–1897). *Population and Economics*, 2, 120–130.

Zverev, V. A. (2014). *Liudi detnye: vosproizvodstvo naseleniia sibirskoi derevni v kontse imperskogo perioda* [People with Many Children: The Reproduction of the Population of the Siberian Village at the End of the Imperial Period]. Novosibirsk: NGPU Press.

Бахарев Дмитрий Сергеевич

научный сотрудник

Институт истории и археологии УрО РАН

620990, Екатеринбург,

ул. С. Ковалевской, 16

E-mail: dmitry.s.bakharev@gmail.com

Bakharev, Dmitry Sergeevich

Research Fellow

Institute of History and Archaeology UB RAS

16, S. Kovalevskaya St.,

620990 Ekaterinburg, Russia

Email: dmitry.s.bakharev@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5654-0685>

Scopus AuthorID: 57252642300

WoS ResearcherID: U-7766-2019

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ
В ЛИТЕРАТУРЕ XX–XXI ВВ.
UTOPIA AND DYSTOPIA
IN THE LITERATURE OF THE 20th–21st CENTURIES

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.061
УДК 82.09:801.73 + 82-1/-9 + 1:304.9

А. В. Амелина
Институт славяноведения РАН
Москва, Россия

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЙ УТОПИИ И АНТИУТОПИИ
(к проблеме идентификации жанров)**

В статье рассматриваются теоретические проблемы изучения литературной утопии и антиутопии. Поскольку утопия и антиутопия существуют далеко за пределами художественной литературы, к анализу произведения предлагается подходить как к частному случаю проявления универсальной модели утопического / антиутопического сознания. В первую очередь, в рассматриваемых текстах следует выявлять их элементы с опорой исследования по социальной философии — структура утопического сознания обобщенно представлена в статье, а структура антиутопического — выводится автором статьи по аналогии. Если в произведении наблюдаются признаки утопического или антиутопического сознания, то следующим этапом работы с текстом призвано стать сопоставление его жанровых признаков с устоявшимся жанровым инвариантом, выработанным литературоведами — соответствующие условно универсальные жанровые модели утопии и антиутопии также представлены в статье. Такой подход позволяет, во-первых, обоснованно отнести произведение к (анти)утопиям при наличии признаков (анти)утопического сознания, во-вторых, расширить корпус текстов, которые можно считать утопиями или антиутопиями, и наконец — зафиксировать индивидуальные жанровые признаки и соотнести их с инвариантом. Предлагаемый метод является особенно продуктивным при изучении периода формирования жанра литературной антиутопии, т. е. первых десятилетий XX в., когда в национальных литературах разброс жанровых признаков очень велик, и помогает в полной мере проследить формирование национального инварианта жанра и выявить его национальную специфику. В то же время разрушенный к XX в. жанр «классической утопии» постепенно перерождается и значительно модифицируется под влиянием романной формы, поэтому идентификация и анализ литературной утопии становятся затруднительными — в этой ситуации

© Амелина А. В., 2023



рассмотренное совмещение философского и литературоведческого методов также представляется эффективным.

Ключевые слова: утопия; утопизм; антиутопия; дистопия; утопическое сознание; антиутопическое сознание; литературные жанры

Цитирование: Амелина А. В. Теоретический аспект изучения литературной утопии и антиутопии (к проблеме идентификации жанров) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 77–91. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.061>

Поступила в редакцию: 18.06.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Anna V. Amelina

*Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia*

**THEORETICAL ASPECT OF STUDYING
THE LITERARY UTOPIAS AND DYSTOPIAS
OF THE FIRST DECADES OF THE 20th CENTURY
(on the genre identification problem)**

This article examines the theoretical problems of studying literary utopias and dystopias. Since utopia and dystopia exist far beyond fiction, it is proposed to approach the analysis of a literary work as a particular case of the manifestation of a universal model of utopian/dystopian consciousness. First, in the texts under consideration, their elements should be identified with the support of research in social philosophy – the structure of utopian consciousness is outlined in the article, and the structure of dystopian consciousness is derived by the author of the article by analogy. If a work shows signs of utopian or dystopian consciousness, the next step in working with the text is to compare its genre features with the established genre invariant developed by literary critics. The article also presents the corresponding conditionally universal genre models of utopia and dystopia. This approach allows, firstly, to reasonably attribute the work to utopias and dystopias in the presence of signs of utopian or dystopian consciousness, secondly, to expand the body of texts that can be considered utopias or dystopias, and, finally, to fix individual genre features and correlate them with the corresponding invariant. During the formation of the genre of literary dystopia, i.e. in the first decades of the twentieth century, when the diversity of genre features in national literatures was extensive, this algorithm helps to fully trace the formation of the national invariant of the genre and establish its national specifics. At the same time, destroyed by the twentieth century, the genre of “classical utopia” is reborn and significantly modified under the influence of the novel form, so the identification of literary utopia becomes difficult – in this situation, the combination of philosophical and literary methods considered in the article also seems productive.

Keywords: utopia; utopianism; dystopia; utopian consciousness; dystopian consciousness; literary genres

For citation: Amelina, A. V. (2023). Teoreticheski aspekt izucheniia literaturnoi utopii i antiutopii (k probleme identifikatsii zhanrov) [Theoretical Aspect of Studying the Literary Utopias and Dystopias of the First Decades of the 20th Century (on the Genre Identification Problem)]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 77–91. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.061>

Submitted: 18.06.2023

Accepted: 24.10.2023

Авторы многочисленных исследований по утопии рассматривают ее с разных точек зрения: философской, социологической, психологической, эстетической и др. По такому обилию различных трудов становится очевидно, что данный феномен требует междисциплинарного подхода, при этом связующим звеном призвана выступать философия, способная выстроить универсальную структурную модель этого сложного явления, которая в свою очередь позволит более продуктивно изучать его литературные проявления.

Можно выделить две ипостаси утопии: первая — определенный тип сознания, т. е. тип видения человеком окружающего мира [Баталов, с. 6], вторая — непосредственное воплощение утопического сознания в форме: 1) корпуса текстов, составляющих определенный литературный жанр или жанр социальной мысли (социально-философской трактат, публицистика), а также других форм образного представления идеального общества (архитектура, кино и др.); 2) социального феномена, т. е. практической стороны утопии, связанной с ее реализацией.

Утопия как тип сознания. Отечественными философами, с опорой на труды иностранных ученых, структура утопического сознания довольно подробно и убедительно разработана.

Выделим основные его черты:

1. Утопия ориентирована на общественный идеал, в отличие от науки, которая ищет истину; идеал утопии трансцендентен, он находится за пределами действительного и возможного [Черткова, 1996, с. 162–163], и в отличие от идеала художественного, нравственного и пр., утопический идеал, невзирая на изначальную невозможность, может отождествляться с понятием цели [Там же, с. 175].

2. В утопии происходит тотальное отрицание настоящего (т. е. существующего общественного устройства), вызванное преимущественно разного рода социальными катаклизмами, и наблюдается стремление к социальной гармонии [Там же, с. 158].

3. Утопия проективна — утопист убежден в пластичности мира [Там же, с. 160] и демонстрирует произвольность выбора средств и путей реализации [Сизов, с. 25].

4. Утопия исходит из веры в могущество человека, в способность человека придать миру нужный ему вид, т. е. наделяет его функцией, которой в религии обладает только Бог-творец [Шацкий, с. 148; Павлова, 2004, с. 151].

5. Человек в утопии представлен как исключительно рациональное, поддающееся управлению утопистом существо с превалированием в нем разума [Черткова, 1995, с. 314].

6. Утопия демонстрирует веру в возможности человеческого разума при некритической форме рационализма, она не способна к критическому отношению к своему собственному основанию [Черткова, 1996, с. 170; Кирвель, 2000, с. 86].

7. Утопия стремится не улучшить положение отдельных людей, а осчастливить все человечество [Черткова, 1996, с. 166; 1993, с. 75], интересам отдельной личности утопия предпочитает интерес общественный.

8. Мир утопии — не продолжение настоящего, а его альтернатива [Черткова, 1995, с. 310], с этим связан антиисторизм, в частности, проявляющийся в статичности общества, которое достигло своего идеала, вершины развития; антиисторизм влечет за собой неспособность предсказать последствия утопических проектов [Сизов, с. 17] и предполагает вневременной характер утопии; утопист, как правило, не принимает во внимание переходный этап к утопии [Там же, с. 22].

9. Утопическое сознание предполагает «факторность»: в реальной действительности утопист видит только отрицательные ее стороны, а в идеальном обществе присутствуют только положительные, произвольно выбранные характеристики, которые «работают» на идеал автора утопии [Баталов, с. 21–22].

10. В утопии проявляется наследие мифологического сознания — она основана на стремлении к гармонизации хаоса через политическое насилие [Там же, с. 47].

11. Важную роль в создании утопического конструкта играет образная форма выражения. Даже тогда, когда утопия выступала в виде социального трактата или концепции, она неизменно тяготела к образно-художественному восприятию мира [Кирвель, 1989, с. 27].

12. Поскольку утопия исходит из несовершенного настоящего, несмотря на существование общей универсальной структуры — утопического сознания, утопия является категорией исторической, потому как утопические взгляды становятся понятны только в историческом контексте [Шацкий, с. 45].

13. Утопия тяготеет к эксперименту, сконструированное идеальное общество должно быть, или даже запрограммировано на то, чтобы утопия была проверена на практике, в том числе художественной [Павлова, 2004, с. 46]; вне зависимости от намерений авторов [Черткова, 1996, с. 176], попытка реализовать утопию может быть предпринята в определенных обстоятельствах.

Философские основы изучения антиутопического сознания. Антиутопия, в отличие от утопии, исследована не так хорошо и требует еще значительного осмысления в рамках, прежде всего, философии. Как правило, под антиутопией понимаются преимущественно литературные вариации критики утопии, однако есть ряд работ, где антиутопия так же, как и утопия, рассматривается учеными в качестве отдельного типа сознания [Брега; Черепанова; Лысенко]. С. С. Брега, к примеру, в своей диссертации выделяет основные принципы конструирования антиутопии как типа сознания: рационалистичность, максималистичность,

отрицание всего, что не подходит под утверждаемый антиидеал, догматичность, террористичность, иезуитизм, стирание всех различий в окружающей конкретной действительности. Автор отмечает, что антиутопия, помимо бытования в форме жанров искусства, выступает и как социальная практика, которая может использоваться для контроля массового сознания и влияния на образ государства [Брега, с. 14]. Шацкий, например, признает, что в основе утопии и антиутопии лежит один и тот же способ видения мира [Шацкий, с. 162], и утверждает, что антиутопия может быть представлена и в публицистике (приводит один пример). В связи с вышесказанным остается констатировать, что формы воплощения антиутопии как отдельного типа сознания требуют дальнейшего исследовательского изучения философией.

Под антиутопией часто понимают явления двух видов: изображение антиидеального общества, являющегося результатом развития существующих тенденций современной автору действительности, или критику конкретного утопического проекта [Душенко, с. 144]. Отметим, что в первом случае, по сути, речь идет об отрицании утопии в целом, об утверждении принципиальной невозможности построить счастливое, идеальное общество — существующий социум предстает абсолютным злом, антиидеалом, и антиутопия доводит до абсурда или просто до логической завершенности совокупность тех или иных социальных явлений, представляющихся автору негативными.

Не претендуя на полноту в условиях отсутствия необходимой научной базы и опираясь на основные элементы утопического сознания, попытаемся сравнить его с антиутопическим.

1. Антиутопия вместо опоры на общественный идеал исходит из полного его отрицания (будь то какой-то конкретный или идеал как таковой). Если утопический идеал обладает потенциалом превращения в цель, то антиидеал, напротив, конструируется для того, чтобы никогда не осуществиться.

2. Если утопия полностью отрицает настоящее, создавая ему альтернативу, ориентируемую на будущее, то антиутопия, напротив, отвергает саму возможность счастливого будущего.

3. Если утопия наделяет человека ролью Бога-творца, способного придать миру нужный ему вид, то антиутопия опровергает такие способности человека, демонстрируя стихийность и непредсказуемость развития общества под влиянием действий отдельных неподконтрольных системе лиц.

4. Если в утопии человек представлен как исключительно рациональное управляемое существо, то в антиутопии делается акцент на естественную, чувственную или иногда даже звериную природу человека (о зверином начале в антиутопии см.: [Шишкина, с. 93, 100–101]), которая делает его неуправляемым со стороны рационально построенной системы.

5. Так же, как и утопия, антиутопия в своей критике чужого социального идеала не способна к критическому отношению к своему собственному основанию.

6. Если утопия стремится принести счастье всем людям, объединенным в социум, то антиутопия, напротив, ставит во главу угла счастье, судьбу

отдельной личности (этот пункт, однако, как мы полагаем, возник лишь в процессе эволюции антиутопии).

7. Если утопия антиисторична и статична в своем совершенстве, то антиутопия, напротив, динамична — погружая критикуемый идеал в исторический процесс, она способна предсказать его последствия [см., например: Шишкина, с. 157–158].

8. Если утопист убежден в пластичности, податливости мира, то автор антиутопии, наоборот, фаталистически убежден в тщетности приведения мира к идеалу (ср. противопоставление принципа надежды утопии и принципа отчаяния антиутопии: [Кирвель, 1989, с. 171]).

9. Если в идеальном обществе утописта присутствуют только положительные, произвольно выбранные характеристики, которые «работают» на идеал автора утопии, то в антиутопии, напротив, присутствуют лишь отрицательные черты [Шацкий, с. 160–176]. Тем самым «факторность» присуща и утопии, и антиутопии.

10. Если утопия стремится к гармонизации хаоса через политическое насилие, то антиутопия ниспровергает утопический космос и снова погружает мир в хаос, возвращая его к реальности исторического развития.

11. В утопии важную роль в создании конструкта играет образная форма выражения, в антиутопии эта роль многократно усиливается; учитывая динамизм и историзм антиутопии, ее продуктивное существование за пределами жанров искусства едва ли возможно (вопрос компьютерных игр в этой связи требует отдельного изучения).

12. Антиутопия, как и утопия, безусловно, тоже является исторической категорией и подвержена влиянию эпохи, а потому отражает и конкретные этапы развития человеческой мысли, в частности — она испытывает непосредственное влияние современных ей утопических идей.

13. Если утопия тяготеет к эксперименту и реализации на практике (в том числе в рамках художественной действительности), то антиутопия без этого уже почти не может обойтись, поскольку ее цель — продемонстрировать последствия утопии и дать наглядное изображение антиидеала.

Начало **литературной утопии** исследователи видят в разных эпохах. Одни ученые [см., например: Паниотова, с. 103; Шишкина, с. 11; Лисюткина, с. 101] считают исходной точкой жанра платоновские описания острова Атлантиды, полагая, что в результате кризиса эллинизма происходит разрыв утопической литературной традиции вплоть до Томаса Мора, мы, в свою очередь, добавим, что в античности существовали уже утопические романы-путешествия (например, «Острова солнца» Ямбула), которые с точки зрения жанра оказали влияние как на Мора, так и на более поздних утопистов. Другие исследователи [Шадурский; Павлова, 2004, с. 7–8; и др.] начинают «отсчет» с «Утопии» Мора. Исследователями литературной утопии выделяется ряд ее константных жанровых признаков:

- 1) рамочная композиция «текст в тексте»;
- 2) действие незначительно или сюжет отсутствует;

- 3) риторический диалог имеет сюжетобразующую функцию;
- 4) нарратором выступает реальный житель утопического государства [Павлова, 2004, с. 7];
- 5) утопический мир пространственно изолирован и недоступен, границей может выступать лабиринт, непроходимый лес, обряд инициации [Паниотова, с. 140];
- 6) мотив путешествия в литературной утопии является системообразующим и восходит к мифу о разрушении и возрождении космоса [Павлова, 2004, с. 136];
- 7) жизнь регламентирована и ритуализирована;
- 8) присутствует культ мудрого правителя;
- 9) отсутствуют разработанные характеры и персонажи, главный герой — наблюдатель, путешественник, которого сопровождает проводник (с развитием утопии роль наблюдателя активизируется и превращается в самостоятельное действующее лицо);
- 10) сюжет бесконфликтен, поскольку идеал достигнут;
- 11) превалирует описательность;
- 12) наблюдается особая пространственно-временная организация: время в утопии застыло, оно статично (пп. 7–12 см.: [Ануфриев, с. 42–54]).

Антиутопия сопровождает утопию на протяжении всей истории ее существования, это относится и к художественной литературе. Литературоведы не пришли к единому мнению о том, когда же зародилась **литературная антиутопия**. Если мы рассматриваем любое произведение с антиутопическим наполнением, то такие явления есть уже в античности, а если речь идет о конкретном жанре романа-антиутопии в современном понимании, то мы склонны утверждать, что он зародился лишь в XX в.¹ Первая волна романа-антиутопии наблюдается после Первой мировой войны, в качестве архетипа романа-антиутопии, как правило, приводится «Мы» Е. И. Замятина, он же, в свою очередь, считал своим предшественником и родоначальником жанра Г. Уэллса [см. об этом: Черткова, 2021, с. 34]; антиутопии О. Хаксли в свою очередь рассматривают как полемику с утопиями Уэллса [Кагарлицкий, с. 300; Черняева, Заманова, с. 179], также есть мнение, что романы Уэллса и Лондона начинают закреплять жанр антиутопии с напряженным и печальным финалом [Иванова, с. 399].

Исследователи выделяют характерные константные признаки романа-антиутопии², часть из них он перенял из литературной утопии с той или иной степенью трансформации:

¹ Обзор подходов к изучению литературной антиутопии можно найти здесь: [Покотыло].

² Крупный исследователь антиутопии С. Г. Шишкина в своих работах, основанных на изучении английской литературы, выводит ряд стойких типологических признаков литературной антиутопии, которые, по ее мнению, носят интернациональный характер [Шишкина, с. 199]. Выделяя ниже константные признаки романа-антиутопии, мы опираемся на работы по англо-американской и русской антиутопии, беря эти разновидности, таким образом, за основу жанра как общеевропейского явления, тем не менее, мы признаем неполноту такого подхода.

1) композиция «текст в тексте» часто сохраняется³, нередко наблюдается дневниковая форма; вместо рассказа о путешествии классической позитивной утопии, призванного убедить читателя в достоверности истории, используются разного рода стилизации и иносказания;

2) в отличие от утопии, в антиутопии присутствует ярко выраженный сюжет с ключевыми эпизодами: встречи с любимой, сцена гражданского неповиновения, спор с идейным антагонистом, трагический финал, констатирующий поражение героя, с элементами сюжетной схемы детектива — преследование, погоня, арест, допрос [Сабина, с. 11–12];

3) к моменту формирования жанра риторический диалог в качестве сюжетообразующего элемента себя по большей части изжил, сохраняясь, впрочем, порой в качестве элемента вставного;

4) система нарративов значительно усложняется, появляется повествование от первого лица;

5) сохраняется пространственная изолированность;

6) мотив путешествия сохраняется в качестве системообразующего, однако оценка описываемого мира — однозначно негативная;

7) сохраняются регламентация жизни и ритуализация, однако изображаются они с использованием гротеска, подчеркивающего иррациональность устройства мира [Павлова, 2006, с. 18];

8) вместо мудрого правителя появляется тиран, создавший тоталитарную систему управления;

9) усложняется система персонажей, появляется психологизация изображения главных героев; герои группируются в два лагеря — мощный, вооруженный средствами убеждения и принуждения лагерь защитников режима и немногочисленный, разобщенный лагерь хранителей связи времен, уничтоженной духовной традиции [Сабина, с. 13], лирическая доминанта — женские образы с символическим значением [Там же, с. 19], гид, проводник путешественника является противником идей социума, часто это любимая женщина, у героя нередко бывает двойник [Там же, с. 15];

10) появляется конфликт личности и общества; сюжет отражает формирование личностного самосознания главного героя, вычленение им индивидуального «я» из деперсонифицированного пространства «мы» [Шишкина, с. 216];

11) степень описательности значительно уменьшается;

12) застывшее время описываемого общества противопоставляется динамичному времени главного героя, который словно убыстряет время и разрушает социальную систему [Быстрова, с. 7]; несмотря на унаследованную от утопии относительную статичность, в антиутопии присутствует историзм: действие происходит в государствах, переживших социальные революции или

³ Несмотря на то, что в «архетипном» романе «Мы» дневниковая форма является единственным способом повествования, рамочная композиция остается для антиутопий частым жанровым признаком.

освободительные войны, тоталитарный социум в антиутопии часто находится в состоянии развития [Шишкина, с. 216];

13) историческая коллективная, диахроническая память изъята из топоса антиутопии [Там же, с. 217], минимизируется или подвергается значительной идеологической деформации;

14) описание природы подчеркивает обреченность происходящего, природа нередко враждебна человеку [Там же];

15) идея бессилия разума перед животным началом в человеке становится лейтмотивом в литературных образцах XX столетия [Там же];

16) используется особый язык — новояз, отражающий принципы существования общества.

Приступая к исследованию литературной утопии или антиутопии, мы предлагаем воспринимать их как частный случай, как один из вариантов реализации универсальной модели утопического / антиутопического сознания. Это значит, что идя от общего к частному, мы должны рассматривать в первую очередь текст, который предположительно является (анти)утопией, на предмет присутствия в нем признаков утопического / антиутопического сознания, выделенных в философских трудах, — тем самым мы обоснованно определяем принадлежность произведения к утопии или антиутопии⁴. Такой подход позволяет расширить корпус текстов, которые можно считать утопиями или антиутопиями, за счет выхода за рамки жанровых ограничений, установленных в литературоведческих трудах.

При изучении жанров утопии и антиутопии в рамках определенной национальной литературы мы можем использовать структуру (анти)утопического сознания как критерий отбора, затем зафиксировать индивидуальные жанровые признаки произведений и соотнести их с инвариантными литературоведческими жанровыми моделями, выведенными учеными в качестве относительно универсальных жанровых структур утопии и антиутопии, — и таким образом сформулировать национальный инвариант жанра и выявить его специфику.

Этот подход представляется в особенности продуктивным при рассмотрении периода формирования жанра литературной антиутопии, т. е. первых десятилетий XX в. Проблемой исследования романа-антиутопии начала XX столетия является неустойчивость жанра, в связи с чем и в русской [см., например: Тимофеева], и в изучаемой нами чешской литературе наблюдаются

⁴ На наш взгляд, исходя из практики применения метода, мы можем считать достаточным соответствие текста пунктам 1 из списков признаков утопического и антиутопического сознания и непротиворечие остальным пунктам. Кроме того, проблему представляет также то, насколько выражена и распространена в тексте утопическая или антиутопическая идея. В этой связи мы пришли к выводу, что в тех случаях, когда идея не затрагивает композиции произведения, системы персонажей и других принципиальных жанрообразующих компонентов, то мы говорим об (анти)утопии как о вставном элементе, если же для раскрытия (анти)утопической идеи служат главные жанровые признаки, то в такой ситуации мы рассматриваем все произведение как литературную утопию или антиутопию.

существенные отличия жанровых признаков от признанных архетипических моделей и значительная их вариативность от произведения к произведению. При этом антиутопия в это время существует не только как роман, и если поэтика романа-антиутопии относительно хорошо изучена, то исследований других жанровых проявлений антиутопии как самостоятельных явлений с устойчивой структурой как таковых не существует. С этими проблемами сталкиваются исследователи как русской литературной антиутопии (при обращении к этапам становления романа-антиутопии рассказ, как правило, рассматривается как подготовительная стадия, на которой прорабатываются отдельные мотивы [Коломийцева, с. 2; Ануфриев, с. 126–189]), так и чешской, где разнообразие жанровых форм очень значительно и, наряду с рассказами, здесь присутствуют поэзия и драмы с антиутопическим содержанием (всего в чешской литературе нами зафиксировано в первые десятилетия XX в. несколько десятков антиутопических произведений)⁵. В такой ситуации описанный нами принцип позволяет в полной мере проследить формирование национального инварианта романного жанра, зафиксировать его национальную специфику и жанровые инварианты других форм антиутопии.

Представленный подход также видится востребованным при изучении положительной утопии XX в. Разрушенный к началу столетия жанр «классической утопии» постепенно перерождается и значительно модифицируется под влиянием романной формы, поэтому идентификация и анализ литературной утопии становятся затруднительными. Немногие исследователи обращаются к проблеме взаимовлияния литературной и утопической стороны художественных произведений. Е. Ю. Козьмина отмечает деформацию и утопии, и романа при их столкновении и противостоянии, «утопия, включенная в историческое время, предстает в спародированном, перевернутом виде» [Козьмина, с. 7]. На противоречие утопии и романа указывают также Морсон, утверждая, что если европейский роман хорошо приспособлен для передачи иронических и скептических воззрений, утопия наоборот пригодна для ценностных суждений, в неприемлемой для романа степени [Морсон, с. 63–64], и Т. А. Чернышева [Чернышева, с. 323], отмечая также, что «объективно закрепляется тенденция превратить утопию в роман о будущем, в котором непосредственное изображение Утопии подчинено сюжету, повествующему о судьбе героя или единичном событии» [Там же, с. 324]. В изучаемой нами чешской литературе положительная утопия в первые десятилетия XX в. в чистом виде практически не встречается

⁵ Такое многообразие проявлений утопии и антиутопии в разных жанрах литературоведами обозначается специальными терминами: «метажанр» (опираясь на теоретические работы по жанру Н. Л. Лейдермана [Ануфриев, с. 42]) или «третичный жанр» (по аналогии со «вторичным жанром» М. М. Бахтина [Павлова, 2004, с. 15]). Однако какая-то общая структура этих наджанровых образований исследователями не раскрывается, утверждается лишь ее наличие. В нашей работе мы намеренно не используем подобные термины, поскольку рассматриваем эти наджанровые структуры как относительно универсальные формы проявления (анти)утопического сознания.

(за исключением случая одного жанрового анахронизма), выступая, как правило, вставным элементом более сложных романских форм или основой полухудожественных путевых очерков об СССР. При таком положении вещей рассмотренное сочетание философского и литературоведческого методов также представляется эффективным.

Предполагаем, что долговременное применение совмещения двух подходов, философского и филологического, к изучению литературной (анти)утопии в перспективе, с одной стороны, приведет к модификации предлагаемого литературоведами универсального жанрового инварианта, и, с другой стороны, поднимет новые вопросы, касающиеся корреляции определенных жанровых признаков с теми или иными элементами (анти)утопического сознания в произведении.

Исследования

Ануфриев А. Е. Утопия и антиутопия в русской прозе первой трети XX в.: Эволюция, поэтика : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01. М., 2002.

Баталов Э. Я. В мире утопии: (Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах). М. : Политиздат, 1989.

Брега С. С. Феномен антиутопии в социальных практиках современности: социально-философский анализ : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11. М., 2010.

Быстрова О. В. Русская литературная антиутопия 20-х годов XX века: проблема жанра : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. М., 1996.

Душенко К. В. Научная фантастика: современная утопия или история будущего? // Феномен утопии в общественном сознании и культуре / отв. ред. С. А. Гудимова. М. : ИНИОН РАН, 2021. С. 132–164.

Иванова Т. С. От утопии к антиутопии: становление жанра // Вопросы зарубежной филологии в контексте современных исследований : сб. науч. ст. XXX Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 2021. С. 397–401.

Кагарлицкий Ю. И. Что такое фантастика? М. : Худож. лит., 1974.

Кирвель Ч. С. Утопическое сознание: сущность, социально-политические функции. Минск : Университетское изд-во, 1989.

Кирвель Ч. С. Парадоксы утопического сознания // Философский век. Альманах. Вып. 13 : Российская утопия эпохи Просвещения и традиции мирового утопизма / отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2000. С. 84–93.

Козьмина Е. Ю. Поэтика романа-антиутопии : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08. М., 2005.

Коломийцева Е. Ю. Формирование жанровой проблематики и поэтики литературной антиутопии в художественной прозе русских писателей XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Ставрополь, 2001.

Лисюткина Л. Л. Дискуссия по проблемам утопии в ФРГ. (Обзор) // Социокультурные утопии XX в. Вып. 4 / отв. ред. В. А. Чаликова. М. : ИНИОН РАН, 1987. С. 98–128.

Лысенко О. А. Переход от утопий к антиутопиям // Национальный форум молодых исследователей : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. Б. Черемисин. Петрозаводск : Международный центр научного партнерства «Новая наука», 2019. С. 148–151.

Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы / отв. ред. В. А. Чаликова. М. : Прогресс, 1991. С. 233–251.

Павлова О. А. Метаморфозы литературной утопии: теоретический аспект. Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2004.

Павлова О. А. Русская литературная утопия 1900–1920-х гг. в контексте отечественной культуры: автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01. Волгоград, 2006.

Паниотова Т. С. Утопия в пространстве диалога культур. Ростов н/Д : Изд-во Ростов. ун-та, 2004.

Покотыло М. В. Жанр антиутопии: современная проблемная парадигма // European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. 2012. № 7. С. 167–173.

Сабина О. Б. Жанр антиутопии в английской и американской литературе 30–50-х годов XX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05. М., 1989.

Сизов С. С. Утопия и общественное сознание: философско-социологический анализ. Л. : Изд-во ЛГУ, 1988.

Тимофеева А. В. Жанровое своеобразие романа-антиутопии в русской литературе 60–80-х гг. XX в. : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. М., 1995.

Черепанова Р. С. Утопия и антиутопия: Типология и взаимоотношение // Вестник Челябинского университета. Сер. 1. История. 1999. № 1. С. 96–108.

Чернышева Т. А. Природа фантастики. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984.

Черняева Ю. Г., Заманова И. Ф. Жанры утопии и антиутопии : генезис и развитие // Донецкие чтения 2021 : образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VI Междунар. науч. конф. (Донецк, 26–28 октября 2021 г.). Т. 4 : Филологические науки. Ч. 1 : Иностранная филология / под общ. ред. С. В. Беспаловой. Донецк : ДонНУ, 2021. С. 177–181.

Черткова Е. Л. Утопия как тип сознания // Общественные науки и современность. 1993. № 3. С. 71–81.

Черткова Е. Л. Утопия: ассимиляция будущего или аннигиляция настоящего // Теория познания : в 4 т. Т. 4 / отв. ред. В. А. Лекторский, Т. И. Ойзерман. М. : Мысль, 1995. С. 308–326.

Черткова Е. Л. Специфика утопического сознания и проблема идеала // Идеал, утопия и критическая рефлексия / отв. ред. В. А. Лекторский. М. : Росспэн, 1996. С. 156–187.

Черткова Е. Л. От «государства разума» к «обществу знания». Судьба утопии в современном мире // Утопические проекты в истории культуры : материалы III Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. / отв. ред. Т. С. Паниотова. Ростов н/Д ; Таганрог : Южный федер. ун-т, 2021. С. 29–37.

Шадурский М. И. Литературная утопия от Мора до Хаксли: проблемы жанровой поэтики и семиосферы. М. : Изд-во ЛКИ, 2007.

Шацкий Е. Утопия и традиция. М. : Прогресс, 1990.

Шишкина С. Г. Истоки и трансформации жанра литературной антиутопии в XX веке. Иваново, 2009.

References

Anufriev, A. E. (2002). *Utopiia i antiutopiia v russkoi proze pervoi treti XX v.: Evoliutsiia, poetika* [Utopia and Dystopia in the Russian Prose of the First Third of the 20th Century: Evolution, Poetics] (doctoral dissertation). Moscow.

Batalov, E. Ya. (1989). *V mire utopii: (Piat' dialogov ob utopii, utopicheskom soznanii i utopicheskikh eksperimentakh)* [In the World of Utopia: (Five Dialogues about Utopia, Utopian Consciousness and Utopian Experiments)]. Moscow: Politizdat.

Brega, S. S. (2010). *Fenomen antiutopii v sotsial'nykh praktikakh sovremennosti: sotsial'no-filosofskii analiz* [The Phenomenon of Dystopia in the Social Practices of Our Time: A Socio-Philosophical Analysis] (doctoral dissertation abstract). Moscow.

Bystrova, O. V. (1996). *Russkaia literaturnaia antiutopiia 20-kh godov XX veka: problema zhanra* [Russian Literary Dystopia of the 1920s: The Problem of the Genre] (doctoral dissertation abstract). Moscow.

Cherepanova, R. S. (1999). Utopiia i antiutopiia: Tipologii i vzaimootnoshenie [Utopia and Dystopia: Typology and Relationship]. *Vestnik Cheliabinskogo universiteta. Ser. 1. Istorii, 1*, 96–108.

Chernyaeva, Yu. G., & Zamanova, I. F. (2021). Zhanry utopii i antiutopii: genesis i razvitie [Genres of Utopia and Dystopia: Genesis and Development]. In S. V. Bepalova (Ed.), *Donetskie chteniia 2021: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti: materialy VI Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Donetsk, 26–28 oktiabria 2021 g.)* [Donetsk Readings 2021: Education, Scholarship, Innovation, Culture and Challenges of Our Time. Proceedings of the VI International Scholarly Conference (Donetsk, October 26–28, 2021)] (Vol. 4: Filologicheskie nauki [Philological Studies], Pt. 1 : Inostrannaia filologiia [Foreign Philology], pp. 177–181). Donetsk: DonNU.

Chernysheva, T. A. (1984). *Priroda fantastiki* [Nature of Sci-Fi]. Irkutsk: Irkutsk University Press.

Chertkova, E. L. (1993). Utopiia kak tip soznaniia [Utopia as a Type of Consciousness]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, 3, 71–81.

Chertkova, E. L. (1995). Utopiia: assimiliatsiia budushchego ili annigiliatsiia nastoiashchego [Utopia: Assimilation of the Future or Annihilation of the Present]. In V. A. Lektorsky, & T. I. Oizerman (Eds.), *Teoriia poznaniia* [Theory of Knowledge] (Vol. 4, pp. 308–326). Moscow: Mysl'.

Chertkova, E. L. (1996). Spetsifika utopicheskogo soznaniia i problema ideala [The Specificity of Utopian Consciousness and the Problem of the Ideal]. In V. A. Lektorsky (Ed.), *Ideal, utopiia i kriticheskaiia refleksiiia* [Ideal, Utopia and Critical Reflection] (pp. 156–187). Moscow: Rosspen.

Chertkova, E. L. (2021). Ot “gosudarstva razuma” k “obshchestvu znaniia”. Sud'ba utopii v sovremennom mire [From the “State of Reason” to the “Society of Knowledge”. The Fate of Utopia in the Modern World]. In T. S. Paniotova (Ed.), *Utopicheskie proekty v istorii kul'tury: materialy III Vserossiiskoi (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchnoi konferentsii* [Utopian Projects in the History of Culture: Materials of the III All-Russian Scholarly Conference (with International Participation)] (pp. 29–37). Rostov-on-Don; Taganrog: South Federal University.

Dushenko, K. V. (2021). Nauchnaia fantastika: sovremennaia utopiia ili istoriia budushchego? [Science Fiction: Modern Utopia or a History of the Future?]. In S. A. Gudimova (Ed.), *Fenomen utopii v obshchestvennom soznanii i kul'ture* [The Phenomenon of Utopia in Public Consciousness and Culture] (pp. 132–164). Moscow: INION RAN.

Ivanova, T. S. (2021). Ot utopii k antiutopii: stanovlenie zhanra [From Utopia to Dystopia: The Formation of the Genre]. In N. V. Kormilina, & N. Yu. Shugaeva (Eds.), *Voprosy zarubezhnoi filologii v kontekste sovremennykh issledovani: sbornik nauchnykh statei XXX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Issues of Foreign Philology in the Context of Contemporary Research: Collection of Scholarly Articles of the XXX International Scholarly and Practical Conference] (pp. 397–401). Cheboksary: I. Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University.

Kagarlitsky, Yu. I. (1974). *Chto takoe fantastika?* [What is Science Fiction?] Moscow: Khudozhestvennaia literatura.

Kirvel, Ch. S. (1989). *Utopicheskoe soznanie: sushchnost', sotsial'no-politicheskie funktsii* [Utopian Consciousness: Essence, Socio-Political Functions]. Minsk: University Press.

Kirvel, Ch. S. (2000). Paradoксы utopicheskogo soznaniia [Paradoxes of Utopian Consciousness]. In T. V. Artem'eva, & M. I. Mikeshin (Eds.), *Filosofskii vek. Al'manakh* (Vol. 13: Rossiiskaia utopiia epokhi Prosveshcheniia i traditsii mirovogo utopizma [The Russian Utopia of the Enlightenment and the Traditions of World Utopianism], pp. 84–93). St Petersburg: Sankt-Peterburgskii Tsentр istorii idei.

Kolomiitseva, E. Yu. (2001). *Formirovanie zhanrovoy problematiki i poetiki literaturnoi antiutopii v khudozhestvennoi proze russkikh pisatelei XIX veka* [The Formation of Genre Problems and Poetics of Literary Dystopia in the Artistic Prose of Russian Writers of the 19th Century] (doctoral dissertation abstract). Stavropol.

Koz'mina, E. Yu. (2005). *Poetika romana-antiutopii* [Poetics of the Dystopian Novel] (doctoral dissertation abstract). Moscow.

Lisyutkina, L. L. (1987). Diskussiiа po problemam utopii v FRG. (Obzor) [Discussion on the Problems of Utopia in Germany. (Overview)]. In V. A. Chalikova (Ed.), *Sotsiokul'turnye utopii XX v.* [Sociocultural Utopias of the 20th Century] (Vol. 4, pp. 98–128). Moscow: INION RAN.

Lysenko, O. A. (2019). Perekhod ot utopii k antiutopiiam [The Transition from Utopias to Dystopias]. In A. B. Cheremisin (Ed.), *Natsional'nyi forum molodykh issledovatelei: sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [National Forum of Young Researchers. Collection of Articles of the International Scholarly and Practical Conference] (pp. 148–151). Petrozavodsk: Mezhdunarodnyi tsentr nauchnogo partnerstva “Novaia nauka”.

Morson, G. (1991). Granitsy zhanra [The Boundaries of Genre]. In V. A. Chalikova (Ed.), *Utopiia i utopicheskoe myshlenie: Antologiiа zarubezhnoi literatury* [Utopia and Utopian Thinking: An Anthology of Foreign Literature] (pp. 233–251). Moscow: Progress.

Paniotova, T. S. (2004). *Utopiia v prostranstve dialoga kul'tur* [Utopia in the Space of Cultural Dialogue]. Rostov-on-Don: Rostov University Press.

Pavlova, O. A. (2004). *Metamorfozy literaturnoi utopii: teoreticheskii aspekt* [Metamorphosis of Literary Utopia: Theoretical Aspect]. Volgograd: Volgogradskoe nauchnoe izdatel'stvo.

Pavlova, O. A. (2006). *Russkaia literaturnaia utopiia 1900–1920-kh gg. v kontekste otechestvennoi kul'tury* [Russian Literary Utopia of the 1900s–1920s in the Context of National Culture] (Habilitation dissertation abstract). Volgograd.

Pokotylo, M. V. (2012). Zhanr antiutopii: sovremennaia problemnaia paradigma [Genre of Dystopia: Modern Problematic Paradigm]. *European Social Science Journal = Evropeiskii zhurnal sotsial'nykh nauk*, 7, 167–173.

Sabinina, O. B. (1989). *Zhanr antiutopii v angliiskoi i amerikanskoi literature 30–50-kh godov XX veka* [Genre of Dystopia in the English and American Literature of the 1930s–1950s] (doctoral dissertation abstract). Moscow.

Shadursky, M. I. (2007). *Literaturnaia utopiia ot Mora do Khakslі: problemy zhanrovoy poetiki i semiosfery* [Literary Utopias from More to Huxley: Issues of Genre Poetics and Semiosphere]. Moscow: Izdatel'stvo LKI.

Shishkina, S. G. (2009). *Istoki i transformatsii zhanra literaturnoi antiutopii v XX veke* [Origins and Transformations of the Literary Dystopia Genre in the 20th Century]. Ivanovo.

Sizov, S. S. (1988). *Utopiia i obshchestvennoe soznanie: filosofsko-sotsiologicheskii analiz* [Utopia and Public Consciousness: Philosophical and Sociological Analysis]. Leningrad: Izd-vo LGU.

Szacki, J. (1990). *Utopiia i traditsiia* [Utopia and Tradition]. Moscow: Progress.

Timofeeva, A. V. (1995). *Zhanrovoe svoebrazie romana-antiutopii v russkoi literature 60–80-kh gg. XX v.* [Genre Originality of the Dystopian Novel in the Russian Literature of the 1960s–1980s] (doctoral dissertation abstract). Moscow.

Амелина Анна Вячеславовна
младший научный сотрудник
Институт славяноведения РАН
119334, Москва, Ленинский пр., 32-А
E-mail: Anna.v.amelina@mail.ru

Amelina, Anna Vyacheslavovna
Junior Researcher
Institute of Slavic Studies, Russian Academy
of Sciences
32-A, Leninsky Ave., 119334 Moscow, Russia
Email: Anna.v.amelina@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2700-1076>
WoS ResearcherID: P-7530-2014

**ПОЛЕМИКА О МИРЕ ПОЛУДНЯ:
А. И Б. СТРУГАЦКИЕ VS М. И С. ДЯЧЕНКО**

В статье проводится сопоставительный анализ концепций мира будущего, представленных в повести А. и Б. Стругацких «Полдень, XXII век» (и частично в иных произведениях цикла о Мире Полудня) и романе М. и С. Дяченко «Пандем». Показана общность базовых принципов (бесконечность познания, творческий труд, самореализация личности), лежащих в основе предлагаемых писателями социальных моделей, проанализированы наиболее важные для авторов характеристики «счастливого завтра» (организация общества, системы управления и воспитания подрастающего поколения, космическая экспансия). Одним из главных объектов рассмотрения становится сходство художественных структур повести и романа, представляющих собой «повествование в рассказах» с мозаичной композицией хронологического типа, фиксирующей основные стадии развития изображаемого социума. Показана специфика фантастической посылки (отсутствие ее подробного обоснования в тексте произведений), характерная для социальной фантастики, признанными мастерами которой являются оба творческих дуэта. Выявлены функции сквозных персонажей, скрепляющих отдельные эпизоды, имеющие самостоятельные сюжеты, в единое масштабное полотно, раскрывающее не только общие процессы и глобальные события в мире будущего, но и подробности частной жизни и перипетии личных судеб наших потомков. Подробно проанализированы финалы повести (и шире, цикла о Мире Полудня) и романа, при внешней противоположности (оптимистическое утверждение утопического мира у Стругацких, нарастающий общественный дисбаланс и отказ от проводимого Пандемом социального эксперимента у Дяченко) демонстрирующие, по мнению автора статьи, общность авторских взглядов на судьбы человечества. Содержащиеся в статье наблюдения и выводы призваны показать сходство и различие трактовки многоаспектных утопических и антиутопических социальных моделей в русскоязычной фантастике второй половины XX в. и начала XXI в.

К л ю ч е в ы е с л о в а: советская фантастика; российская фантастика; русскоязычная фантастика; вторая половина XX — начало XXI в.; А. и Б. Стругацкие; М. и С. Дяченко; Мир Полудня; утопия; антиутопия; социальная фантастика

Ц и т и р о в а н и е: *Ковтун Е. Н. Полемика о Мире Полудня: А. и Б. Стругацкие vs М. и С. Дяченко // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 92–107. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.062>*

*Поступила в редакцию: 05.06.2023
Принята к печати: 24.10.2023*

Elena N. Kovtun

*Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia*

DEBATING THE NOON UNIVERSE: A. AND B. STRUGATSKY VS M. AND S. DYACHENKO

This article provides a comparative analysis of the concepts of the world of the future as presented in the story *Noon: 22nd Century* (and partially in other parts of the Noon Universe cycle) by A. and B. Strugatsky and the novel *Pandem* by M. and S. Dyachenko. It discusses the common basic principles (infinity of knowledge, creative work, personal self-realisation) underlying the social models proposed by the writers, analyses salient characteristics of the writers' "happy tomorrow" (society organisation, management system, upbringing of the younger generation, and space expansion). The article pays close attention to the similarity of the artistic structures of the story and the novel, representing an "in-the-story-narrative" with the mosaic composition of chronological type, which shows the main stages of the development of the society depicted. The author enlarges on the fantastic premise (the works under analysis do not give its detailed substantiation), typical of social science fiction, and both duos are recognised masters of it. The author singles out functions of the cross-cutting characters that bind together individual episodes with independent plots into a single large-scale canvas, revealing not only general processes and global events in the world of the future, but also details of private life and the ups and downs of personal destinies of our descendants. Additionally, the author analyses the finale of the story (and more widely, of the cycle about the Noon Universe) and the novel. While externally opposed (an optimistic assertion of the utopian world by the Strugatsky brothers and the growing social imbalance and rejection of the social experiment conducted by *Pandem* in Dyachenkos' work), both works demonstrate common aspects of the writers' views on the fate of humanity. Observations and conclusions reflect similarities and differences in the interpretation of multifaceted utopian and dystopian social models in Russian-language science fiction of the second half of the twentieth century and the early twenty-first century.

Key words: Soviet science fiction; Russian science fiction; Russian-language science fiction; second half of the 20th – early 21st centuries; A. and B. Strugatsky; M. and S. Dyachenko; Noon Universe; utopia; dystopia; social science fiction

For citation: Kovtun, E. N. (2023). Polemika o Mire Poludnia: A. i B. Strugatsky vs M. i S. Dyachenko [Debating the Noon Universe: A. and B. Strugatsky vs M. and S. Dyachenko]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 92–107. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.062>

Submitted: 05.06.2023

Accepted: 24.10.2023

Братья Аркадий (1925–1991) и Борис (1933–2012) Стругацкие и супруги Марина (р. 1968) и Сергей (1945–2022) Дяченко представляют собой, пожалуй, наиболее известные авторские дуэты в истории русскоязычной социальной

фантастики второй половины XX — начала XXI в.¹ Оба дуэта отличает яркое своеобразие творческой манеры, сюжетный динамизм, напряженность нравственно заостренного конфликта, многозначность фантастической образности. Лучшие произведения этих писателей-фантастов демонстрируют масштабную проблематику, связанную с художественным осмыслением судеб человечества как в историческом земном, так и в футуристическом космическом аспекте его существования².

Ряд произведений обоих творческих дуэтов отражает их размышления о социуме и людях будущего. В наследии братьев Стругацких это так называемый цикл о Мире Полудня, который начинает давшая циклу название повесть «Полдень, XXII век»³. Одну из главных ее сюжетных линий составляет знакомство с грядущим планетарным обществом двух космонавтов, покинувших Землю в начале XXI в. и из-за релятивистских эффектов субсветовых скоростей вернувшихся домой в XXII столетии. Описанные в повести принципы организации мира наших потомков Стругацкие позже использовали в других своих произведениях. К циклу о Мире Полудня, как правило, относят повести «Попытка к бегству» (1962), «Далекая Радуга» (1963), «Трудно быть богом» (1964), «Обитаемый остров» (1969), «Жук в муравейнике» (1980), «Волны гасят ветер» (1985) и некоторые иные тексты.

В произведениях, написанных вслед за повестью «Полдень, XXII век», мир будущего уже не является главным объектом авторского внимания. В этих частях цикла он представляет собой скорее привычный и полюбившийся читателю фон, на котором развивается приключенческий сюжет. Основные характеристики данного фона, а также переносимые авторами из книги в книгу литературные персонажи (Максим Каммерер, Рудольф Сикорски, Леонид Горбовский и др.) обеспечивают смысловое единство цикла, сохраняя его концептуальную основу. Однако статичным изображение мира будущего в творчестве Стругацких назвать нельзя. И во входящих в цикл повестях 1960–1970-х гг., и в авторских комментариях к ним присутствуют попытки уточнения и усложнения предложенной писателями социальной модели. Вот почему в дальнейшем мы будем говорить о концепции Мира Полудня, опираясь прежде всего на текст повести «Полдень, XXII век», но при необходимости учитывая и более поздние книги цикла.

¹ Составляющие еще один творческий дуэт Дмитрий Громов (р. 1963) и Олег Ладыженский (р. 1963), пишущие под совместным псевдонимом Г. Л. Олди, более зарекомендовали себя как авторы фэнтези.

² О жизненном и творческом пути писателей см.: [Андреева; Вишневский; Володихин, Прашкевич; Карелин; Назаренко; Скаландис; Харитонов].

³ Повесть существует в нескольких авторских редакциях с частично различающимися заглавиями. Первоначальный вариант опубликован в 1962 г. под названием «Возвращение (Полдень, 22 век)». Издание 1967 г. имело название «Полдень, XXII век (Возвращение)». В данной публикации мы приводим заглавие и цитируем текст по изданию: [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., 1992, т. 2].

В творчестве М. и С. Дяченко можно без труда найти немало отсылок к произведениям их талантливых предшественников. Родственные Стругацким мотивы и идеи присутствуют в романах «Пещера» (1998), «Армагед-дом» (1999), «Долина Совесть» (2001). Но наибольшее содержательное сходство с концепцией Мира Полудня — при полемическом заострении ряда ее постулатов — демонстрирует роман «Пандем» (2003). В нем, как и в повести Стругацких, читатель получает возможность познакомиться со «счастливым завтра» человечества. Различия же кроются, главным образом, в финалах и общей тональности произведений. Если у Стругацких доминирует пафос созидания нового мира, то у Дяченко по мере развития сюжета нарастает пессимистическая нота, сопровождающая постепенный упадок и последующую гибель предложенной в романе социальной конструкции.

В критической литературе [см., например: Назаренко], как и в читательских отзывах на роман⁴, нередко констатация сходства мира будущего, представленного в «Пандеме», с утопическим идеалом Стругацких. При подобных сближениях рецензентов чаще всего интересуют причины вольного или невольного опровержения этого идеала супругами Дяченко. В числе причин указывается, в частности, психологическая и нравственная незрелость человечества, неожиданно осчастливленного «свыше» и не прошедшего самостоятельно трудного пути к высотам гармоничного социума [см., например: Голованов].

В научных работах, посвященных творчеству Стругацких и Дяченко, обсуждаются главным образом философские, социальные и этические аспекты Мира Полудня в обоих его художественных вариантах [см., например: Черняховская; Иванова]. Развернутого же литературоведческого сопоставления указанных выше произведений с учетом специфики породившей их социально-фантастической традиции нам обнаружить не удалось. Между тем подобный анализ мог бы способствовать пониманию особенностей художественного осмысления модели познавательно и творчески ориентированного будущего на разных этапах развития советской и постсоветской фантастики. Вот почему, не претендуя на исчерпывающее изучение заявленной темы, мы попытаемся в данной публикации изложить наши наблюдения над текстами Стругацких и Дяченко и ответить на наиболее значимый, с нашей точки зрения, вопрос: является ли финал романа «Пандем» действительно «приговором» Миру Полудня — по крайней мере в том его облики, каким он виделся Стругацким в 1960-е гг.

Рассматриваемые произведения, повесть «Полдень, XXII век» (далее для простоты изложения мы будем использовать сокращенный вариант названия — «Полдень») и роман «Пандем», демонстрируют значительное сходство художественных структур — настолько заметное, что оно едва ли может оказаться случайным. Оба текста представляют собой «повествование в рассказах», т. е. состоят из отдельных фрагментов-эпизодов, каждый из которых имеет

⁴ См. обсуждение романа «Пандем» на интернет-портале «Лаборатория фантастики» [Марина и Сергей Дяченко «Пандем»...].

самостоятельный микросюжет и свою систему персонажей. Это дает авторам возможность легко менять место действия, перенося его в разные уголки планеты. В результате возникает единое сюжетное полотно, дающее представление не только об общих процессах и масштабных событиях в мире будущего, но и о личных судьбах, частной жизни и повседневных заботах наших потомков. Гармоничное сочетание «глобального» и «единичного» в описании грядущего позволяет писателям избежать сухости изложения и переключения читательского внимания с людей на идеи, т. е. обобщенно-отвлеченное восприятие социального устройства «завтрашнего дня».

Скрепляет же разрозненные эпизоды в единый текст, помимо общности авторского замысла, ряд персонажей, которых читатель встречает на протяжении всего повествования. В «Полдне» это, во-первых, два «пришельца из прошлого», космонавты Сергей Кондратьев и Евгений Славин; во-вторых, четверка учеников Аньюдинской школы — Геннадий Комов, Михаил Сидоров, Александр Костылин и Поль Гнедых. В начале сюжета это подростки, увлеченные романтикой научного поиска. Позже мы видим их молодыми специалистами, выбирающими жизненную дорогу, а в конце повести — зрелыми профессионалами, завершающими многолетнюю карьеру. Наконец, третью группу сквозных персонажей составляют люди, известные читателю по другим текстам Стругацких (например, обаятельный космолетчик Леонид Горбовский). В романе Дяченко сквозными персонажами являются члены семьи главного героя Кима Каманина: его родители и сестры-близнецы Александра и Валерия, а также муж Валерии Александр, супруга Кима Арина и ее брат Костя с женой Дашей — и, наконец, младшие поколения: дети и внуки этих супружеских пар. Кроме того, в число сквозных персонажей входят и несколько знакомых Кима, — например, священник отец Георгий.

При всех отличиях индивидуальных судеб, несомненное сходство центральных персонажей «Полдня» и «Пандема» состоит в том, что все они на глазах читателя постепенно входят в новый мир, а затем растут и меняются вместе с ним. Мало того, сквозные персонажи и у Стругацких, и у Дяченко сами отчасти формируют мир будущего. Комов или Горбовский — совершая научные открытия и приближая человечеству космос. Ким — становясь посредником между Пандемом и людьми и одним из первых сторонников нового общества.

Сопоставляемые тексты схожи и по композиционному строению. Их действие последовательно развивается во времени и имеет четкую хронологическую рубрикацию. «Полдень» состоит из четырех частей, «Пандем» — из семи, озаглавленных (помимо первой и последней) по определенным вехам новой исторической эры («Второй год Пандема», «Одиннадцатый год Пандема» и т. д.). Части произведений соотнесены авторами с основными стадиями развития изображаемой социальной модели. Так, в первой части «Полдня» мы видим своеобразную «предысторию будущего», отнесенную Стругацкими к концу XX — началу XXI в. Во второй и третьей частях повести изображен яркий «полдень» грядущего мира: об этом говорит и название одной из них — «Благоустроенная

планета». Четвертая же часть, озаглавленная «Какими вы будете», обращена в еще более отдаленное грядущее и намечает новый этап существования Мира Полудня. В романе Дяченко первое десятилетие «эры Пандема» описывает формирование нового общества, второе акцентирует наметившиеся в нем противоречия, третье обозначает попытки их исправить — после чего следует отказ Пандема от проводимого им социального эксперимента и возвращение человечества на путь его «естественной» эволюции.

Обращает на себя внимание и примерно одинаковый временной интервал, в который укладывается сюжет каждого из произведений: четыре-пять десятилетий. Если во второй части «Полдня» каждому из Аньюдинской четверки 14 лет, то в финале эти герои предстают перед нами в зрелых годах (у Костылина даже уже имеется правнучка). В романе Дяченко событиям ведется еще более точный счет. В его начале главному герою 32 года, а в эпилоге упоминается уход Кима со службы после 70 лет. Таким образом, и «Полдень», и «Пандем» повествуют примерно о полувеке существования мира будущего — или о сроке, равном активному периоду человеческой жизни.

Наконец, схожей в обоих произведениях представляется лаконичность — или даже отсутствие — мотивировки фантастической гипотезы. В «Полдне» ее обоснование вынесено за пределы текста, что роднит его с классическими формами утопии XVII–XIX вв.⁵ В романе Дяченко фантастическая посылка заключается в появлении на Земле, по достижении человечеством определенного уровня развития, некоего универсального «сверхсущества», создающего единую планетарную цивилизацию; этот сверхразум принимает самоназвание Пандем. Причины и обстоятельства его появления авторами скрыты. Читатель может лишь строить догадки, исходя из нескольких фраз, сказанных Пандемом Киму:

Предположим, что некое существо... Нет, не так. Предположим, что информация, преодолев некий порог, получает способность... Нет. Предположим, что есть такой комплекс свойств — всеведение, вездесущность и всемогущество... [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 21].

Позже выяснением природы и границ возможностей Пандема займутся ученые. Пандем не станет им препятствовать, но и не будет давать подсказок. Ближе к финалу романа исследователи вынуждены констатировать, что в понимании сущности Пандема они не смогли продвинуться ни на шаг. Таким образом, и в финале читатель не осознает природу и причины возникновения сверхразума яснее, нежели в начале повествования. Столь лаконичное обоснование фантастической посылки характерно именно для социальной фантастики, в отличие от ее ближайшей соседки и родственницы — фантастики научной.

⁵ Фантастическая посылка «Полдня» фактически состоит в утверждении неотвратимости научного и социального прогресса, ведущего человечество к коммунистическому будущему, «некоторые детали» которого, как было написано в издательской заявке на повесть, авторы намеревались «показать... “во плоти”» [Стругацкий, с. 61–62].

Это объясняется тем, что в отличие от НФ, социальная фантастика видит своим объектом не технологический прогресс и связанные с ним открытия и изобретения, но прежде всего человека как члена социума и представителя человечества, каковые и рассматриваются на фоне прогресса и в связи с научно-фантастической проблематикой. Однако в свете нашей темы можно отметить, что лаконичность и намеренная завуалированность мотивировки посылки также сближает роман Дяченко с произведениями Стругацких, одними из первых в советской фантастике открывших для себя эффект «отказа от объяснений» [подробнее см.: Стругацкий, с. 89–90].

Но главное, что обращает на себя внимание при параллельном прочтении «Полдня» и «Пандема», — это сходство базовой идеи, положенной писателями в основу создаваемых ими социальных моделей. Оба творческих дуэта пытаются нарисовать коллективный портрет человечества, освобожденного от тягот каждодневной борьбы за существование, идущего по пути непрерывного творческого самосовершенствования. «Мы попытались изобразить мир, в котором человеку предоставлены неограниченные возможности развития духа и неограниченные возможности творческого труда», — говорят Стругацкие в авторском предисловии к «Полдню»⁶. В романе Дяченко суть нового мира во многом аналогично формулирует сам Пандем:

Я хочу — *вместе* с людьми — покоя и счастья. Взрыва творческой энергии. Любви. Прорыва к звездам. Бессмертия. Того, чего достоин человек <...> Чтобы мир был таким, как должно (выделено авторами. — *Е. К.*) [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 35, 46].

Ни у Стругацких, ни у Дяченко нет подробного изложения экономических, геополитических и иных подобных характеристик «счастливого завтра». Об устройстве мира будущего читатель может судить лишь по отдельным деталям, разбросанным по страницам произведений. И в них также можно увидеть сходство. Оба творческих дуэта заостряют лишь несколько важных для них аспектов. В основном они связаны со структурой социума, системой управления и с воспитанием подрастающего поколения. Так, в «полуденном» цикле Стругацких неоднократно упоминается Мировой Совет — высший орган власти⁷, 60 % которого составляют учителя и врачи. Последние в этой версии будущего вообще играют ведущую роль. «Аньюдинская четверка», например, еще в школе узнает о том, что «в мире наибольшим почетом пользуются <...> не космолетчики, не глубоководники и даже не таинственные покорители чудовищ — зоопсихологи, а врачи и учителя» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 2, с. 46].

⁶ В издании 1992 г. данное предисловие опущено. Его текст мы цитируем по [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., 1967].

⁷ А также ряд подчиненных ему административно-научных структур: Академии Здравоохранения и Космобиологии, Совет космогации и др.

Именно на учителей возложена ответственность за воспитание новых граждан, — а следовательно, обеспечение стабильности и развития Мира Полудня. Заботу о подрастающем поколении берет на себя общество (дети с раннего возраста обучаются в интернатах) с помощью когорты специально подготовленных педагогов, каждый из которых является подлинным мастером своего дела. Именно в «Полдне» впервые в развернутом виде представлен стержневой для творчества Стругацких мотив учителя-воспитателя, учителя-наставника и друга, бережно и вдумчиво формирующего детские души.

В романе Дяченко воспитание берет на себя Пандем. Свой педагогический метод он поясняет Киму так:

Что ты скажешь, если персональный педагог, понимающий ребенка лучше, чем ребенок понимает себя, присутствующий рядом в каждый момент его, ребенкиной, жизни, поможет ему разрешить конфликт без драки? Либо в случае надобности «организует» драку так, чтобы вместо членовредительства из нее вышел воспитательный эффект? [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 52].

В первые годы новой жизни Пандем постоянно присутствует в сознании каждого из детей, превращая их взросление в увлекательную обучающую игру. Столь же мягко он корректирует и поведение взрослых. «Я не манипулятор, — много раз повторяет он Киму. — Я собеседник» [Там же]. С каждым Пандем говорит на понятном ему языке, учитывая как интеллектуальный уровень, так и эмоциональный настрой человека. Ему под силу заставить раскаяться и сделать безопасными для общества самых закоренелых негодяев. При столь «личном» подходе к людям, по замыслу Пандема, допустим отказ от существования государств, парламентов, юстиции и силовых структур. «Останутся правительства как система администраторов. Все. Никаких законов не будет, потому что законы уравнивают, а люди — уникальны» [Там же].

И в прочих важных моментах Мир Полудня и мир Пандема очень похожи друг на друга. И там, и там уходят в прошлое инвалидность и тяжелые болезни, возрастает срок человеческой жизни. Каждый имеет возможность свободно выбрать профессию на основе своих склонностей и талантов — а также в любой момент сменить ее по собственному желанию («За эти десять лет я переменял четыре специальности», — заявляет другу Лину Поль Гнедых [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 2, с. 116]). Технологический прогресс обеспечивает людям не просто достаток («Проблема питания перестала существовать так же, как никогда не существовала проблема дыхания» [Там же, с. 125]), но все необходимое для самого утонченного комфорта. Каждый живет, где хочет — и с теми, кто ему дорог. Социальную структуру мира будущего и в повести Стругацких, и в романе Дяченко хорошо характеризуют слова Пандема.

...Жить общинами, замкнутыми и разомкнутыми, жить среди людей, чьи интересы и ценности будут схожи с их собственными. «Вертикальные» общества рядом с «горизонтальными». Традиционные и экспериментальные. Промискуитет

и патриархальная семья — выбирай согласно склонностям и темпераменту. Независимость? Пожалуйста. Соревнование, борьба за место в иерархии? Сколько угодно. Человек не обязан жить там, где родился, и так, как жили его родители. Сообщество как тропический лес, где для самых разных видов находятся экологические ниши... Социум как сбалансированная система, работающая сама по себе [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 127, 130].

Привлекает внимание и сходство жизненных условий, той окружающей среды, которую создает для себя человечество и в Мире Полудня, и в мире Пандема. Это в буквальном смысле очень зеленые миры, где высокие технологии гармонично сочетаются со столь же развитой экологией. «Город тонул в зелени — это Кондратьев видел, пролетая на птерокаре. Зелень заполняла все промежутки между крышами» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 2, с. 75]. А у Дяченко читаем:

На месте бывшей стройки теперь покачивался сосновый лес, и каждое дерево — здоровое, сытое — казалось мачтой под зеленым парусом. Внизу, под лесом, была автоматическая фабрика, и крупная транспортная развязка, и узел коммуникаций; сверху летали дятлы, вились по стволам белки да паслось (в траве, а не в кронах) небольшое стадо диких коров [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 250].

Схожи мнения авторских дуэтов и о дальнейших этапах развития человечества. «Я предполагаю несколько последовательных скачков, — говорит Пандем. — Из которых первый — отмена необходимости смерти, а последний из видимых — переход человечества в иную форму существования» [Там же, с. 130]. У Стругацких ту же идею неуклонного возрастания мощи человека в полушутливой форме озвучивает друг друга Славина Шейла.

У природы слишком много законов <...> и все они нам мешают. Закон природы нельзя преступить <...> И это очень скучно, если подумать. А вот Человек Всемогущий будет просто отменять законы, которые ему неудобны. Возьмет и отменит [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 2, с. 88].

Неотъемлемой частью эволюции не только личности, но и общества в целом становится в обеих книгах покорение космоса. «Преодолеть Пространство, разорвать цепи Времени, подарить своему поколению Чужие Миры» [Там же, с. 31] мечтают в повести Стругацких курсанты Высшей школы космогации — и это так естественно для эпохи создания «Полдня». Но и почти полвека спустя эта мечта не уходит из романа Дяченко. «Мы выйдем на звезды?» — спрашивает Пандема Ким и слышит в ответ: «Разумеется. Мы заселим весь космос» [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 31, 124].

Но главное, практически одинаково трактуется писателями основополагающий принцип мира будущего — творческая самореализация личности. В основе лежит стремление к познанию.

Человек! <...> Сначала он говорит: «Хочу есть». Тогда он еще не человек. А потом он говорит: «Хочу знать». Вот тогда он уже Человек. Ты чувствуешь, который из них с большой буквы? [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 2, с. 36]⁸.

И у Дяченко через несколько лет после прихода Пандема мир по сути превращается в единый научно-исследовательский институт. «Одна большая лаборатория со множеством подразделений и филиалов — вот на что это было похоже» [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 118].

Те же, кто не тянется к науке, реализуют себя в искусстве, переживающем расцвет новых видов и жанров, в совершенствовании собственного тела («Люди-рыбы, живущие в море без акваланга, люди, покрытые шерстью и живущие во льдах» [Там же, с. 119]), во всемирных арт-фестивалях, спортивных и прочих состязаниях, путешествиях, непрерывном самообучении. «Всюду открывались профессиональные училища, строительные техникумы, политехнические институты» [Там же, с. 112].

Разумеется, в своем романе, написанном на четыре десятилетия позже повести Стругацких, Дяченко корректируют многие содержащиеся в ней мысли о будущем. Так, например, в «Полдне» проблема питания решается способом, привычным в XX в. «На планете было около ста тысяч скотоводческих ферм <...> Стадо <...> с утра и до утра обслуживало перерабатывающий комбинат Линии Доставки» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 2, с. 124–125]. В мире Пандема не убивают животных. «Мясо выращивали в синтезаторах — без мозга, без нервов, без глаз <...> это было этически стерильное мясо» [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 134]. А вот пример развития супругами Дяченко идей Стругацких. В «Полдне» шутливо предсказано появление развлечений, воздействующих не только на зрение и слух («Массовые осязалища. И массовые обонялища» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 2, с. 277]). В «Пандеме» же описана передача с развлекательной целью ощущений прямо в мозг: в новом виде искусства аудитории «транслируются <...> (авторские. — Е. К.) эмоции в определенной последовательности» [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 185].

В романе Дяченко, безусловно, подробнее и глубже, чем в повести Стругацких, рассмотрены вопросы грядущего человеческого общения, сложнее и убедительнее показаны характеры наших потомков, шире воссоздано природное и социальное окружение людей будущего. Завтрашний мир предстает перед читателем в гораздо большем обилии деталей: от модных нарядов и причесок (еще и меняющихся со временем), подробностей оформления ландшафтов

⁸ Любопытно, что о новом мире и новом человеке рассуждает в обоих произведениях в основном молодежь — подростки, курсанты, начинающие ученые, наконец недавно возникший и также еще пребывающий в «юношеской» стадии развития Пандем. Это придает искренность и эмоциональную убедительность оценкам, которые в устах более зрелых персонажей могли бы показаться наивными или пафосными. Справедливости ради, впрочем, стоит отметить, что и повзрослевшие герои сохраняют верность идеалам своей юности — хотя в их суждениях уже отсутствует декларативность и отражается жизненный опыт.

и интерьеров — до самых экзотичных увлечений и хобби, разнообразнейших вариантов поведения и образа жизни. Авторы как будто бы добавляют к книге Стругацких собственные главы, создавая «вольное продолжение» летописи Мира Полудня. Перед нами уже не только его расцвет, но и зрелость, «послеполуденная пора» — время новых проблем и свершений. В этом смысле роман может быть прочитан как дань уважения фантастов Дяченко своим замечательным предшественникам⁹.

Однако, при столь несомненном сходстве, социальные модели, описанные двумя творческими дуэтами, имеют противоположный вектор развития. На протяжении сюжета «Полдня» общество будущего взрослеет и крепнет, в него вносятся дополнительные смыслы. В последних главах восторженная «утренняя» тональность первых частей повести приглушается, но общий оптимистический настрой остается неизменным. В финале речь идет о путях развития социума, о начале следующего витка спирали эволюции человечества.

В романе же Дяченко социальная динамика имеет отрицательный характер. На протяжении всех тридцати лет существования нового мира в нем неуклонно нарастает дисбаланс. Вначале человечество как будто бы оправдывает ожидания Пандема: ширится творческий подъем. «Всем чего-то хотелось <...> жизнь наконец-то начиналась <...> кое-кто готов был немедленно лететь на Марс» [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 135]. Хотя и здесь не обходится без диссонансов: «Остались миллионы людей, потерявших профессию, остались тысячи властолюбцев, у которых отобрали власть, а у кого-то — и смысл жизни» [Там же, с. 103]. И все же в первое десятилетие перевешивают плюсы: вернувшееся здоровье, прекращение войн, распахнувшийся перед каждым мир. У бывшего деревенского врача Бориса Григорьевича, например, «старший сын в Мексике <...> дочь в Австралии <...> жена в Канаде» [Там же, с. 100].

Однако далее становится ясно, что громадное количество людей отнюдь не склонно постоянно творчески трудиться. И речь не только об асоциальных маргиналах, не способных к внутреннему развитию. «У некоторого числа вполне нормальных, психически здоровых людей потребность реализации лежит за пределами мастерской, лаборатории и волейбольной площадки», — говорит о крахе планов Пандема один из его исследователей, Никас Отис [Там же, с. 265]. Да и сам объект исследования вынужден признать: «Каждая настоящая

⁹ Объем публикации не позволяет рассмотреть немалое количество и других содержащихся в романе Дяченко отсылок к текстам Стругацких. Читатель, хорошо знающий творчество последних, заметит и упоминание в одном из разговоров Кима с отцом Георгием возможности «посоветовать Пандему» (аналогия с беседой Руматы и Будаха в повести «Трудно быть богом», где речь шла о возможности «посоветовать Богу»), и вопрос Кима в финале, не были ли «тридцать лет Пандема» выдумкой или чьим-то мысленным экспериментом (параллель к ключевому диалогу персонажей задуманного, но так и не написанного Стругацкими романа «Белый ферзь»), и сходство фамилии Логовицу (первого человека, погибшего от рук других людей после ухода Пандема) с фамилией одного из первых люден Логовенко в повести Стругацких «Волны гасят ветер». Можно привести и иные подобные примеры.

личность неповторима, иногда неповторима до неприличия, векторы развития этих самых личностей торчат в стороны, как иголки дикобраза» [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 299].

Материальный комфорт и возможность реализации практически любых стремлений ведет ко все большей дифференциации общества (в нем образуются, в частности, экстремальные «красные слои» — регионы, где возрождаются насилие и жестокость). Эксперименты над человеческим телом практически выходят из-под контроля — чего стоит один только Юджин Травников, энтузиаст модной «натурологии», меняющий «волосной покров по всему телу два раза в сутки» [Там же, с. 302]. Искусство постепенно вырождается в забавы интеллектуалов и зрелища для обывателей. По всей планете ширится движение «беспандемников», осознанно прекративших общение с вездесущим наставником. При этом в рядах «отказников» — не столько уверенные в себе мужчины, воспринимающие Пандема как угрозу и конкурента, сколько выросшие в уюте безвольные инфантилы. «Они хотят быть счастливыми каждую минуту. Они считают, что я должен — обязан — это счастье им предоставить. И обижаются, получив отказ», — говорит о них Пандем [Там же, с. 299]. В конце концов нарастающее в обществе недовольство заставляет Пандема, представляющего собой, в отличие от Монокосма (сверхразума) Стругацких, этически ориентированное существо, покинуть Землю, предоставив человечество его собственной судьбе.

Разумеется, неверным было бы утверждать, что подобные угрозы «миру творческой самореализации» Дяченко увидели первыми. Стругацкие также вполне осознавали уязвимость базовых предпосылок придуманного ими будущего, неоднократно подчеркивая: «Мы <...> строим отнюдь не Мир, который Должен Быть, и уж конечно же не Мир, который Обязательно Когда-нибудь Наступит, — мы строим Мир, в котором НАМ ХОТЕЛОСЬ бы ЖИТЬ и РАБОТАТЬ» (выделено автором. — *Е. К.*) [Стругацкий, с. 72]. Не случайно в их повести «Трудно быть богом» главный герой убежден в неистребимости мещанства¹⁰, повести «Хищные вещи века» (1964) и «Второе нашествие марсиан» (1966) жестко обличают комфортный, но бездуховный быт общества потребления, а в поздних книгах о Мире Полудня возникают ограничивающие свободу личности охранительные структуры, подобные КОМКОНу-2.

Роман Дяченко лишь заострил и расширил круг потенциальных проблем предполагаемого социума, показав прежде всего главную нависшую над ним опасность — превращение в условиях всеобщей безопасности и комфорта подавляющего большинства людей, невзирая на все педагогические ухищрения Пандема, в капризных детей, не желающих самостоятельно ни действовать, ни мыслить. Тех же, кто сохранил независимость суждений и поступков, поджидает

¹⁰ «Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все. Можно поселить их в самых современных <...> домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., 1992, т. 3, с. 164].

иная опасность — одиночество. Постоянный внутренний контакт с Пандемом, понимающим любого лучше, чем кто бы то ни было из людей, заставляет их отвернуться даже от самых близких. Не выдерживает испытания и дружная семья Каманиных: внешне сохраняя родственные отношения, ее члены постепенно все больше отдаляются друг от друга.

Итак, развив базовые принципы утопической модели Стругацких, Дяченко оказались вынуждены констатировать если и не полную ее несостоятельность, то, как минимум, неосуществимость на практике. Подобная мысль неизбежно возникает при первом прочтении романа. Однако при более тщательном знакомстве с сопоставляемыми текстами различие их финалов уже не представляется столь очевидным. Мало того, если у Стругацких принять во внимание весь цикл книг о Мире Полудня, можно, на наш взгляд, говорить о существенном сходстве, если не тождественности, авторских позиций.

У каждого из творческих дуэтов описано итоговое разделение человечества на две неравные группы. В завершающей «полуденный» цикл повести Стругацких «Волны гасят ветер» у части людей в организме обнаруживается и иницируется «третья импульсная система», кардинально изменяющая человеческую природу («Другое сознание, другая физиология... другой облик даже...» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 10, с. 299]). Невероятно расширив свои возможности — вплоть до полной трансформации разума и тела — «людены» (одно из самоназваний данной группы) уходят с Земли, чтобы продолжить существование в космосе. Прочее же человечество остается на родной планете, пережив горечь осознания собственного несовершенства и шок разлуки, которая навсегда разрывает даже самые тесные семейные и дружеские связи.

В романе Дяченко Пандем также отрывает от человечества группу людей¹¹. Это экипаж первого звездного корабля, в составе которого оказывается Виталий, сын Кима Каманина. Герой тоже испытывает боль разлуки: «Я, отец, провожающий сына в неизвестность <...> Я больше никогда его не коснусь...» [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 285]. Присутствует в романе и ощущение оставшимися на Земле своей неполноценности — ведь с участниками экспедиции Пандем намерен пребывать вечно. По остроумному предположению Никаса Отиса, экипаж звездолета составляют люди, выдержавшие испытание «миром комфорта».

Сто шестнадцать человек, мужчин и женщин, все они родились либо при Пандеме, либо незадолго до него. Разные этнические группы, разные типы темперамента <...> Все отлично социализированы. У всех развита способность к волеизъявлению <...> Есть гипотеза, что команда Первой — отобранные Пандемом по известным ему признакам удачные особи, которые где-то там составят удачный социум... [Там же, с. 269].

Таким образом, каждый из авторских дуэтов, сознавая невозможность добровольной «прописки» в «полуденном завтра» всех без исключения людей,

¹¹ Примерно сопоставимо и количество ушедших (433 у Стругацких и 116 у Дяченко), ничтожно малое по сравнению с населением планеты.

выделяет в их числе тех, для кого познание и творческая самореализация действительно являются основополагающими принципами бытия. Они образуют передовой отряд, представляющий землян во вселенной. «Человечество всегда уходило в будущее ростками лучших своих представителей, — говорит в повести «Волны гасят ветер» Леонид Горбовский. — Где это вы видели прогресс без раскола?.. Без тех, кто уходит далеко вперед, и тех, кто остается позади?..» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 10, с. 304]. Ему вторит в мысленном разговоре с Пандемом Ким:

Ты отобрал — и прорастил — пригоршню зерен и теперь забросишь их на космическом корабле куда-то в новую почву... Участники Первой Космической — одни из немногих, сочетающих в себе гармонию жителей рая и жизненную силу подкидышей, которые выросли в джунглях... Значит, в том далеком новом человечестве, которое ты, селекционер, организуешь, будут и мои гены... [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 284].

Сказанное, однако, не означает, что в оставшейся части общества авторы безусловно разочарованы. Напротив, в финалах и цикла Стругацких, и романа Дяченко слышна жизнеутверждающая нота. Из комментариев Каммерера к истории люденов читатель уясняет, что человечество благополучно пережило раскол — и он постепенно стал всего лишь одним из событий прошлого. Мало того, в одной из последних глав повести «Волны гасят ветер» говорится: «Кроме третьей импульсной в организме хомо сапиенс мы обнаружили четвертую низкочастотную и пятую... пока безымянную» [Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н., т. 10, с. 304]. Таким образом, потенциал саморазвития у человечества бесконечен.

В романе Дяченко уход Пандема знаменует для оставшихся на Земле «возвращение к себе». Отчасти это, конечно, возврат к прошлому: в последних главах есть и бунты, и убийства, и пожары. Однако здесь же рождается и надежда на лучшее будущее, которое на сей раз человек построит для себя сам. Недаром в последнем эпизоде, спасая людей из огня, Ким внезапно ощущает вернувшуюся к нему ответственность за других и веру в свои силы.

Я лежу на проседающей груди развалин, задыхаюсь и думаю: а кто их спас <...> Пандем или я?.. И чего мне больше хочется, выжить сейчас — или понять наконец, что его рядом нет? Что все, что я сегодня сделал — сделано мной и только мной? [Дяченко-Ширшова, Дяченко, с. 364].

Наш вывод: ни у Стругацких, при всех изменениях их взглядов в 1970–1980-е гг., ни у Дяченко, при всей драматичности концовки романа, нет отказа от заявленной социальной модели. А есть констатация невозможности достижения «счастливого завтра» одним, пусть и сверхмощным, усилием, раз и навсегда — как воплощения статики, остановки в развитии. Есть вера в человечество и (может быть, не столь быстрый, возможно, полный разочарований и временных отступлений) путь его прогрессивной эволюции. А еще — столь свойственная социальной фантастике со времен О. Степлдона и К. Чапека вера

в Человека с большой буквы, которым станет когда-нибудь каждый из наших потомков.

Отрадно, что тема «творческого будущего» не уходит из фантастической литературы начала XXI в., хотя, говоря языком В. Пелевина, в эту эпоху человечеству снятся совсем другие сны. Мы полагаем, что концепция Мира Полудня, как и мира Пандема, будет и далее привлекать к себе читателей, особенно юных. Тех, что захотят исполнить мечту Виталия Каманина:

Мы будем жить столько, сколько захотим, и так, как сочтем нужным. Мы будем менять все, что наскучит. Мы будем хранить все, что дорого. Посмотрите же наконец на звезды — этот мир наш, мы его заселим, и там, далеко, каждый из нас станет Пандемом... [Там же, с. 292].

Остается лишь верить, что в числе сторонников Мира Полудня окажутся не только те, кто когда-нибудь покинет Землю, но и те, кто останется и определит собой облик (все же счастливого и гармоничного) грядущего.

Источники

Дяченко-Ширшова М. Ю., Дяченко С. С. Пандем: Избранные произведения. М. : Изд-во Эксмо, 2003.

Марина и Сергей Дяченко «Пандем». Отзывы читателей // Лаборатория фантастики : интернет-портал. URL: <https://fantlab.ru/work1052> (дата обращения: 27.05.2023).

Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Собрание сочинений : в 10 т. М. : Текст, 1992.

Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Полдень, XXII век (Возвращение). М. : Детская литература, 1967. URL: https://www.strugatskie.com/wp-content/uploads/2022/12/1961_-_Полдень_XXII_век_без_илл..pdf (дата обращения: 27.05.2023).

Стругацкий Б. Н. Комментарии к пройденному. СПб. : Амфора, 2003.

Исследования

Андреева Ю. И. Триумвират. Творческие биографии писателей-фантастов Генри Лайона Олди, Андрея Валентинова, Марины и Сергея Дяченко. СПб. : АураИнфо ; Красноярск : Изд-во Андрея Буровского, 2013.

Вишневский Б. Аркадий и Борис Стругацкие: Двойная звезда. СПб. : Terra Fantastica, 2003.

Володихин Д. М., Прашкевич Г. М. Братья Стругацкие. М. : Молодая гвардия, 2012.

Голованов А. Пандем — игра в Мир Полудня Стругацких : рецензия. 2020. URL: <https://www.livelib.ru/review/1636465-utopiya-armageddom-pandem-sbornik-marina-i-sergej-dyachenko> (дата обращения: 27.05.2023).

Иванова Е. А. По обе стороны вымысла. Марина и Сергей Дяченко // Вопросы литературы. 2015. № 6. С. 187–201.

Карелин А. Хорошо забытое новое // Мир фантастики. 2003. Вып. 3. С. 6–7.

Назаренко М. И. Реальность чуда (О книгах Марины и Сергея Дяченко). Киев : Мой компьютер ; Винница : Тезис, 2005.

Скаландис А. Братья Стругацкие. М. : АСТ, 2008.

Харитонов Е. Романтики печального образа (заметки о творчестве М. и С. Дяченко) // Если. 2000. № 12. С. 126–130.

Черняховская Ю. С. Братья Стругацки: Письма о будущем. М. : Книжный мир, 2016.

References

Andreeva, Yu. I. (2013). *Triumvirat. Tvorcheskie biografii pisatelei-fantastov Henry Liona Oldi, Andreia Valentinova, Mariny i Sergeia Dyachenko* [The Triumvirate. Artistic Biographies of Science Fiction and Fantasy Writers Henry Lion Oldie, Andrey Valentinov, Marina and Sergey Dyachenko]. St Petersburg: AuraInfo; Krasnoyarsk: Izdatel'stvo Andreia Burovskogo.

Chernyakhovskaya, Yu. S. (2016). *Brat'ia Strugatskie: Pis'ma o budushchem* [The Strugatsky Brothers: Letters about the Future]. Moscow: Knizhnyi mir.

Golovanov, A. (2020). Pandem – igra v Mir Poludnia Strugatskikh: Retsenziia [Pandem – Playing Strugatskys' Noon Universe. Review]. Retrieved from <https://www.livelib.ru/review/1636465-utopiya-armageddom-pandem-sbornik-marina-i-sergej-dyachenko>

Ivanova, E. A. (2015). Po obe storony vymysla. Marina i Sergey Dyachenko [On Both Sides of Fiction. Marina and Sergey Dyachenko]. *Voprosy literatury*, 6, 187–201.

Karelin, A. (2003). Khorosho zabytoe novoe [The Well-Forgotten Novelty]. *Mir fantastiki*, 3, 6–7.

Kharitonov, E. (2000). Romantiki pechal'nogo obraza (zametki o tvorchestve M. i S. Dyachenko) [Sad Romantics (Comments on the Works of M. and S. Dyachenko)]. *Eсли*, 12, 126–130.

Nazarenko, M. I. (2005). *Real'nost' chuda (O knigakh Mariny i Sergeia Dyachenko)* [The Reality of Miracle (About the Books by Marina and Sergey Dyachenko)]. Kyiv: ID Moi komp'iuter; Vinnitsa: Tezis.

Skalandis, A. (2008). *Brat'ia Strugatskie* [The Strugatsky Brothers]. Moscow: AST.

Vishnevsky, B. (2003). *Arkadii i Boris Strugatskie: Dvoinaia zvezda* [Arkady and Boris Strugatsky: The Double Star]. St Petersburg: Terra Fantastica.

Volodikhin, D. M., & Prashkevich, G. M. (2012). *Brat'ia Strugatskie* [The Strugatsky Brothers]. Moscow: Molodaia gvardiia.

Ковтун Елена Николаевна

доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник
отдела истории славянских литератур
Институт славяноведения РАН
119991 Москва, Ленинский проспект, 32-А
E-mail: kovelen@mail.ru

Kovtun, Elena Nikolaevna

Dr. Hab. (Philology), Leading Researcher
Department of the History of Slavic
Literatures
Institute of Slavic Studies,
Russian Academy of Sciences
32-A, Leninsky Ave., 119991 Moscow, Russia
Email: kovelen@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-9457-8556>
Scopus AuthorID: 57210864561
WoS ResearcherID: AIC-8131-2022

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.063

УДК 101.1 + 929 Зиновьев А. А. +
+ 130.2 + 1:572 + 141.2 + 165.8 +
+ 316.334.56:005.21

Е. Г. Серебрякова
*Воронежский государственный
университет*
Воронеж, Россия

«ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ» А. А. ЗИНОВЬЕВА КАК МОДЕЛЬ ФИЛОСОФСКОЙ АНТИУТОПИИ

Статья посвящена анализу антиутопии А. А. Зиновьева «Зияющие высоты». Автор обосновывает тезис о принципиальном отличии философской антиутопии от художественной. По мнению автора, фундаментальное различие коренится в научном и художественном методах познания мира, специфических способах создания философской и художественной картин мира и типах нарратива. Автор художественного текста движется к модели мира от художественного образа, в то время как философская картина мира предполагает концептуальное видение мира и доказательную аргументацию собственной концепции. Это методологическое различие влечет уникальные авторские стратегии, определяющие поэтику и стилистику философского и художественного текстов. Эмоционально-чувственное восприятие мира автором художественного текста определяет тип нарратива, в котором логико-аналитический подход к действительности вторичен в сравнении с образным. Для научного мышления аналитизм и безошибочность умозаключений первичны. Философский подход предполагает целостность, в известном смысле завершенность. Художественная картина мира ориентирована на диалог с читателем, а значит, на дополнительное конструирование семантики текста за счет читательского опыта.

Антиутопия «Зияющие высоты» оценена автором статьи как научный, но не художественный текст. Наблюдение, анализ, гипотеза и предположение выступают инструментом анализа социальной действительности, в которой, по мнению Зиновьева, действуют универсальные законы, общие для любой человеческой общности и общественного строя. Философ переносит в роман научный метод, движется в осмыслении социальных законов от абстрактного к конкретному, т. е. от социума к индивиду. Для оценки законов социальности, обезличивающих человека, Зиновьев использует персонажи-маски. Прием, типичный и для художественного текста, у философа получает особое наполнение. Схематизм образов отражает общий для всех социальных индивидов закон, при котором частное подчиняется общему, психологические и личностные различия нивелированы. Руководствуясь не художественной, а научной логикой, Зиновьев создал особый жанр — философскую антиутопию.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Зиновьев; антиутопия; художественная картина мира; научная картина мира; социальные законы

Ц и т и р о в а н и е: *Серебрякова Е. Г. «Зияющие высоты» А. А. Зиновьева как модель философской антиутопии // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 108–118. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.063>*

Поступила в редакцию: 14.01.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Elena G. Serebryakova
Voronezh State University
Voronezh, Russia

YAWNING HEIGHTS BY A. A. ZINOVIEV AS A MODEL OF A PHILOSOPHICAL DYSTOPIA

This article analyses A. A. Zinoviev's dystopia *Yawning Heights*. The author substantiates the thesis about the fundamental difference between philosophical and artistic dystopias. In the author's opinion, the fundamental difference is rooted in the scientific and artistic methods of cognition of the world, specific ways of creating philosophical and artistic pictures of the world, and types of narrative. The author of a literary text moves towards a model of the world from an artistic image. The philosophical picture of the world presupposes a conceptual vision of the world and evidence-based argumentation of this concept. This methodological difference entails unique author's strategies that determine the poetics and style of philosophical and literary texts. The emotional-sensual perception of the world by the author of a literary text determines the type of narrative in which the logical-analytical approach to reality is secondary in comparison with the figurative one. For scientific thinking, the analyticity and infallibility of conclusions are primary. The philosophical approach presupposes integrity, and in a certain sense completeness. The artistic picture of the world is focused on a dialogue with the reader, and therefore on the additional construction of the semantics of the text through the reader's experience.

The dystopia *Yawning Heights* is evaluated by the author of the article as a scientific but not a literary text. Observation, analysis, hypothesis, and assumption are a tool for analysing social reality, in which, according to Zinoviev, there are universal laws that are common to any human community and social system. The philosopher transfers the scientific method into the novel, moves in the comprehension of social laws from the abstract to the particular, i.e., from society to the individual. Zinoviev uses mask characters to evaluate the laws of sociality that depersonalise a person. The method, which is also typical of a literary text, receives a special interpretation from the philosopher. The schematic character of images reflects a law common to all social individuals, in which the particular is subordinate to the general, and psychological and personal differences are leveled. Zinoviev created a special genre – a philosophical dystopia, which is guided not by artistic, but by scientific logic.

Key words: Zinoviev; dystopia; artistic picture of the world; scientific picture of the world; social phenomena

For citation: Serebryakova, E. G. (2023). "Ziiaishchie vysoty" A. A. Zinov'ieva kak model' filosofskoi antiutopii [*Yawning Heights* by A. A. Zinoviev as a Model of Philosophical Dystopia]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 108–118. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.063>

Submitted: 14.01.2023

Accepted: 24.10.2023

Роман «Зияющие высоты» был написан в 1975 г. К этому времени автор утвердил себя как философ, специалист по неклассической логике, исследователь теоретического мышления и методологии науки, основатель и руководитель московского логического кружка, доктор наук, редактор философского журнала. «Зияющие высоты» стали дебютным романом, продолженным книгами «Светлое будущее» (1978), «В преддверии рая» (1979), «Желтый дом» (1980, 2 тома), «Гомо Советикус» (1982), «Мой дом — моя чужбина» (1982), «Нашей юности полет» (1983) и др. Антиутопия, начиная с первой книги, останется ведущим жанром его творческого наследия.

Жанровая природа антиутопии синкретична. Она соединяет романную форму и философскую проблематику. Однако философские источники (ориентация Е. И. Замятина на идеи Н. А. Бердяева, А. П. Платонова на суждения Н. Ф. Федорова и др.), социально-философская и антропологическая проблематики не меняют ее природы: она остается художественным высказыванием.

Обращение к жанру антиутопии, таким образом, как бы автоматически вводит автора в разряд художников слова, побуждая исследователей творчества А. А. Зиновьева искать литературных предшественников и проводить параллели с писателями. Сравнение с М. Е. Салтыковым-Щедриным, А. П. Платоновым, Дж. Оруэллом стало традиционным [Сухих; Фурсов, с. 46; A Roundtable Aleksandr Zinov'ev], хотя зачастую производится учеными с некоторыми оговорками, например: «*Художественный текст* (здесь и далее выделено нами. — Е. С.) заключен в форму научного исследования. Его нарочито нехудожественный стиль *как бы настраивает* на серьезный, научный лад» [Баландина, с. 169]. Как видим, для исследовательницы очевиден факт принадлежности Зиновьева к литераторам, а романа «Зияющие высоты» — к художественному творчеству.

Не оспаривая мысли о специфическом соединении художественности и научности в наследии Зиновьева, попытаемся найти подходы к анализу его текста, адекватные творческому методу философа. Для этого, на наш взгляд, необходимо учитывать не только сходство, но и сущностные различия между научным и художественным методом познания, специфику философской и художественной картин мира и типа нарратива.

Сходство определяется творческой природой философии и литературы. Однако результатом творческого акта в философии являются не художественные образы, как в литературном тексте, а «бытийственные идеи» [Бердяев, с. 27], задающие общие методологические установки и определяющие специфику научного нарратива. Это сущностное различие формирует уникальную природу философской антиутопии. А. М. Пятигорский говорил об этом так: «Для философа утопия или антиутопия — не литературный жанр, не метод эстетического конструирования и не фантастический социальный или культурный проект», а «особый, специфический (т. е. не универсальный) случай мышления» [Пятигорский]. Ученый отметил принципиальное методологическое отличие: литератор движется к постижению мира от художественного образа, в то время как философ — «от мышления», т. е. от концепции мироустройства к слову.

Методология определяет авторскую стратегию и поэтику текста. Зиновьев определял жанр книги как социологический роман, ставил не литературную, а научную задачу — исследовать наиболее общие законы советской социальности. Его мысль изначально задана, определена в книге. И если в художественном тексте логико-аналитический подход к действительности вторичен в сравнении с эмоционально-чувственным восприятием, то для научного мышления аналитизм и безошибочность умозаключений первичны.

Философский подход предполагает концептуальность, в известном смысле завершенность умозаключения. Художественная картина мира, несмотря на семантическую целостность (непременное условие эстетического высказывания), остается открытой, разомкнутой. Ориентация на диалог с читателем предполагает дополнительное конструирование семантики текста за счет читательского опыта.

Диалог читателя с философом иного свойства. Первостепенной важностью обладает интеллектуальная подготовленность человека к восприятию философских идей, определяющая адекватность прочтения и глубину трактовки. Рефлексивная, критическая позиция в отношении предложенной автором концепции мира доминирует над непосредственно чувственным восприятием, «слияние» читателя с миром, созданным произведением, факультативно.

Апелляция к факту, документу, гарантирующая объективность выводов учебного, в художественном тексте приобретает характер необязательных, вольных отношений. Нас не удивляет, что в сборник И. А. Бродского «Новые стансы к Августе» (1962–1982), посвященный Марине Басмановой, включены стихи, изначально адресованные другим женщинам. И. А. Бунин в романе «Жизнь Арсеньева» (1927–1929) отступил от автобиографической точности, погубив главную героиню. Логика искусства утверждает свою, художественную правду: духовная жизнь человека значительнее его биографии, литературный образ больше прототипа.

Руководствуясь логикой научного исследования, Зиновьев делает инструментом анализа не художественную логику и духовный опыт персонажей, а наблюдение, анализ, гипотезу и предположение. Оперировать научными понятиями: социальный индивид, законы социальности, советский общественный опыт и др.

Место действия романа — Ибанск, город, в котором победил «реальный коммунизм», или «полный “изм”» — «шизофренический мир» [Зиновьев, 1990, с. 3], не способный порождать новые смыслы, но расплзающийся в пространстве, воспроизводящий сам себя: над землей и под ней возникают Над-Ибанск и Под-Ибанск.

В характеристике государства Зиновьев придерживается традиционных для антиутопии оценок: Ибанск герметичен (защищает себя от всякого воздействия извне), статичен (все перемены не имеют качественного значения), агрессивен в адрес любой инаковости, репрессивен в отношении граждан.

Главный объект исследования автора — не государственное устройство, а социальные законы, осмысленные как универсальные, органичные любой человеческой общности и общественному строю.

Философ переносит в роман научный метод, исследованный им в кандидатской диссертации «Метод восхождения от абстрактного к конкретному», посвященной анализу логики «Капитала» К. Маркса. Движение от абстрактного к конкретному в «Зияющих высотах» определяет парадигму авторской мысли: от социальных законов к индивиду.

При этом личность не является для автора центром мироздания, а лишь позволяет подвергнуть глубокому анализу социальные механизмы: «Люди рассматриваются не во всем многообразии их свойств, каковых очень много, а только в тех проявлениях, которые вытекают из факта их принадлежности социальным объединениям» [Гусейнов, с. 250]. Человек для философа — социальный индивид, действующий по закону экзистенциального эгоизма: его поступки обусловлены общественным статусом и подчинены стремлению занять более высокую позицию или, как минимум, сохранить прежнюю. «Отсюда стремление ослабить социальную позицию другого индивида <...>. Так что обычно встречающиеся двуличность, доносы, клевета, подсиживание, предательство суть не отклонение от нормы, а именно норма» [Зиновьев, 1990, с. 118]. В этом видит автор рациональный расчет социального субъекта в повседневно-практической деятельности.

Мораль не способна отменить социальные законы, имеющие объективный характер и действующие как любой естественно-научный закон. Правила нравственного поведения придуманы человеком для защиты от социальности, но ее эффективность если не иллюзорна, то относительна.

Средством подтверждения этих силлогизмов становится система образов романа. Персонажи лишены индивидуальности. Психологические и личностные различия героев нивелированы в силу действия общего для всех закона социальных систем, как определяет его сам автор — закона коммунальности, при котором частное подчиняется общему. Конформизм, предательства друзей, доносительство, легкость смены суждений и ценностных ориентиров осмыслены как проявление закона множественности. Масса представляет собой однородную, инертную толпу — неотличимых друг от друга Ибановых. Культурная элита — творческая и научная интеллигенция — живет и действует по тем же законам в силу их универсальности. Как видим, согласно концепции Зиновьева, на личность давят не столько конкретные общественные силы — отчуждение и овеществление, сколько объективный социальный закон, а значит, преодолеть эту враждебную человеческой природе силу невозможно.

Казалось бы, традиционная в поэтике антиутопии мысль об обезличенности человека в социуме, вытеснении индивидуальных свойств социальной функцией выражена у Зиновьева традиционным для сатирической литературы способом — с помощью образов-масок, наименования которых позволяют угадать прототип: Мазила — Эрнст Неизвестный, Двурушник — Синявский, Правдец — Солженицын, Распашонка — Евтушенко, Мудрец — Мамардашвили и пр. На первый взгляд, аналогичный прием находим у С. Д. Довлатова в «Филиале»: Ковригин — Коржавин, Караваев — Солженицын и т. д. Однако

сопоставление позволяет выявить различие художественной и научной поэтики. Сравним:

- Вы можете разгорячиться и обидеть Ковригина. Не делайте этого.
- Почему же я должен разгорячиться?
- Потому что Ковригин сам вас обидит. А вы, не дай Господь, разгорячитесь и обидите его. Так вот, не делайте этого. <...> Не обижайте его. Даже если Ковригин покроет вас матом. Это у него от застенчивости...

Началось заседание. Слово взял Ковригин. И сразу же оскорбил всех западных славистов. Он сказал:

- Я пишу не для славистов, а для нормальных людей...
- Затем Ковригин оскорбил целый город. Он сказал:
- Иосиф Бродский хоть и ленинградец, но талантливый поэт...
- И наконец Ковригин оскорбил меня. Он сказал:
- Среди нас присутствуют беспринципные журналисты. Кто там поближе, выведите этого господина. Иначе я сам за него возьмусь!

Я сказал в ответ:

- Рискни.
- На меня замахали руками:
- Не реагируйте! Не обижайте Ковригина! Сидите тихо! А еще лучше – выйдите из зала... [Довлатов, т. 4, с. 32].

Довлатов сохраняет индивидуальность образов, сквозь маски проглядывает личностная неповторимость прототипов, их самобытная речь и узнаваемая поведенческая манера.

Зиновьев не предоставляет читателю возможность услышать непосредственный диалог героев, его повествовательный прием — многоголосая несобственно-прямая речь, построенная по модели каламбура, логического «перевертыша»:

Болтун сказал, что есть какие-то объективные законы дезинформации вроде законов тяготения, и Шизофреник, наверняка, что-то придумал на этот счет. Шизофреник сказал, что такие законы есть. Например — тенденция свести к минимуму сведения о плохом и раздуть до максимума сведения о хорошем. А если такового нет, его следует выдумать. Врут не по злему умыслу и не по глупости, а потому, что обман есть наиболее выгодная форма социального поведения. Закон работает сугубо формально и на любом материале. Потому врут даже тогда, когда в этом нет никакой надобности, и даже тогда, когда это вредно, ибо иначе не умеют. Член сказал, что эта теория не объясняет искажений истории. Наоборот, сказал Сотрудник. Людям надо внушать, что раньше всегда и везде было еще хуже. Потому какой-нибудь правдивый пустячок может обнаружить более высокий уровень жизни. Член сказал, что правду о прошлом скрыть нельзя. Есть же неоспоримые материальные свидетельства. Болтун сказал, что это утешение для идиотов. Люди сначала усиленно скрывают правду, а потом не могут узнать ее даже при желании. Единственной опорой памяти о прошлом становятся битые черепки и объедки от мамонтов. А разве это история! История не оставляет следов. Она оставляет лишь последствия, которые не похожи на породившие их обстоятельства [Зиновьев, 1990, с. 6].

Способ раскрытия образов в данном случае определен нехудожественной задачей: выявить механизм формирования поведения людей логикой социальных отношений. Индивидуальные человеческие типы и отношения между ними осмыслены с учетом их глубокой социально-закономерной обусловленности. Поскольку законы социальности носят надперсональный характер, личностная самобытность персонажей игнорируется. Зиновьев акцентирует одноплановость сознания. Голоса и поведенческие манеры героев неразличимы. Действующие лица зачастую дублируют друг друга: Шизофреник — Неврастеник, Крикун — Болтун. В едином семантическом поле располагаются не имена, а социокультурные типажи. Подчиняясь социальному закону коммунальности, персонажи живут, думают, действуют по универсальным моделям и сами становятся схемами. Казалось бы, зачем вводить множество персонажей, тождественных друг другу? Вероятно, здесь работает прием количественной массы доказательств: двадцать аргументов весомее пяти. Чем больше примеров, иллюстрирующих тезисы, тем убедительнее звучит научный вывод.

Основной конфликт художественной антиутопии — столкновение личности и государства — позволяет литератору представить путь духовного сопротивления человека или его нравственную деградацию. Философ сосредоточен на иных вопросах. Зиновьев анализирует систему детерминирования социального индивида. Функция, вытеснившая личность, не навязана властью или социумом, а лишь зафиксирована общественным сознанием. Изначально она избрана самим индивидом и лишь подхвачена микро- и макросообществом.

Сосредоточившись на анализе социальных законов, автор логично пришел к изучению общественного сознания, зафиксированного в разнообразных языковых практиках — от научных до разговорно-повседневных. Зиновьев нивелирует стилистические и лексические различия разнородных текстов. Устная или письменная речь героев, официальное высказывание власти или бытовые реплики персонажей — все выдержано в единообразной манере. Язык не определяется статусом участников коммуникации: низы, творческая и научная элита и власть говорят на усредненном наречии, что подчеркивает личностную неразличимость в едином социальном теле. «Язык <...> — вещный (материальный) способ существования человеческого сознания, <...> средство познания людьми окружающего мира, включая их самих и их жизнедеятельность» [Митрохин, с. 70]. Зиновьев подверг анализу механизм социальных эстафет: вербальные практики определяют социальную память, от одного поколения к другому передаются не словесные формулировки и языковые конструкции, а способы объяснения мира.

Итак, правила коммунальности, т. е. человеческого общежития, видятся Зиновьеву так: «меньше дать и больше взять; меньше риска и больше выгоды; меньше ответственности и больше почета; меньше зависимости от других и больше зависимости других от тебя» [Зиновьев, 1990, с. 26]. Эти социальные законы представлены как надисторические, поскольку сохраняют свое действие на протяжении всей истории человечества, но сами не зависят ни от государства,

ни от религии, морали и права. Напротив, государство, религия, право, мораль зависят от социальных законов и используют их.

Выбрав в качестве методологического приема математическую логику, автор последовательно соблюдал ее правила и исключал всякие нарушения заданной схемы. Представление мира как многомерного, а человеческого характера как противоречивого и сложного, обязательное в художественной прозе, не входят в систему допусков Зиновьева. Он признавался, что производил «упрощения» реальности, исключая компоненты, способные отвлечь от концептуальной идеи: «Для того чтобы построить теорию, нужно производить упрощения. Если упрощения не произведешь, ни одного шага вперед не сделаешь. <...> Человека при анализе его места в обществе и самого того общества, в котором он живет, приходится сводить к такому существу, у которого есть тело и органы управления. Органы управления должны производить определенные действия, чтобы тело сохранялось» [Большаков, с. 34].

Однако, исключив из исходных данных понятие личности, психологическую неоднозначность человека, духовность общества, философ создал одномерную модель мира. По справедливому замечанию одного из коллег философа, «этот мир можно теоретически познать, сделать объектом социологического изучения, но он совершенно лишен теплоты человеческого общения, закрыт для нормальной коммуникации между людьми. <...> Социум предстает в его сочинениях исключительно как объект внешнего наблюдения, в нем нет ничего, с чем можно себя отождествить, посчитать своим и близким» [Коллективный портрет Александра Зиновьева, с. 11]. Так, не нарушив формальной логики, философ отступил от объективности анализа — главного принципа научного исследования, заменив его социальным нигилизмом, вполне органичным, впрочем, поэтике антиутопии.

Нигилистическая трактовка социальности рождена не спецификой жанра, она органична авторской стратегии. Называя побудительные мотивы к литературному творчеству, автор признавался в «неудержимом желании дать “Им” (всему моему социальному окружению) в морду» [Зиновьев, 2005, с. 404], как видим, эстетическим это стремление назвать невозможно. Такая исходная позиция определяет крайнюю категоричность и нигилизм, свойственные поэтике памфлета, сатирической публицистики, антиутопии.

Направленный в «Зияющих высотах» в адрес советского общества, нигилизм сохранился в отношении западного и постсоветского обществ: «Мы и Запад» (1981), «Запад. Феномен западнизма» (1995), «Посткоммунистическая Россия» (1996), «Гибель русского коммунизма» (2001), «Идеология партии будущего» (2003), «Распутье» (2005). И это было подтверждением принципиальной позиции Зиновьева, согласно которой хороших социальных устройств и государственных моделей не бывает. Человек не должен тратить силы на борьбу с системой, главное — выработать принципы индивидуального противостояния ее обезличивающим механизмам. Литературное творчество было для философа способом духовно-нравственного сопротивления, личностным вариантом

автономного существования, обеспечивавшего интеллектуальную, творческую и моральную сохранность.

Добавим, что тотальный негативизм Зиновьева особенно ощутим на фоне общих идейных исканий советских философов-шестидесятников, сохранявших исторический оптимизм и антропоцентризм. И дело тут не в марксистских основаниях мировоззрения. Напротив, философы-шестидесятники стремились реформировать ортодоксальный марксизм за счет домарксистских (например, кантианства — А. Ф. Лосев, М. М. Бахтин; религиозной философии — Г. С. Померанц, этического социализма рубежа XIX–XX вв.) и современных концепций, в частности экзистенциализма — М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. Осмысливали они и «болевы» вопросы марксизма. Э. В. Ильенков, опираясь на принципы истмата, доказал наличие феномена отчуждения в социалистическом обществе. Ученые-этики Л. М. Архангельский, Г. Д. Бендзеладзе, З. А. Бербешкина, Л. Б. Волченко и др. стремились найти в самосознании современника сферы, автономные от идеологии, в частности, обосновывали независимость морали. Словом, философы не только осмысливали конфликты эпохи, но и предлагали стратегии их разрешения.

Личностная стратегия Зиновьева — самореализация в условиях глубокого конфликта с обществом и отчуждения от него — не была уникальной. Напротив, такой вариант зачастую виделся вполне адекватным либеральной интеллигенции, сообществу, ориентированному на порождение смыслов и творчество. Посвятить себя вневременным ценностям истины и идеальных сущностей и таким образом сохранить самоидентичность казалось зачастую единственно верным. Известно, что А. Д. Синявский, оказавшись в лагере, продолжал литературную деятельность, А. С. Есенин-Вольпин в ссылке занимался математической логикой, Ю. Ф. Орлов, основатель Московской Хельсинкской группы, в лагере и ссылке исследовал ядерную физику. Это был опыт духовного сопротивления не только государству, но и социальным обстоятельствам: творчество, наука — интеллектуально-духовные сферы, в которых власть теряла могущество, а личность оставалась сама собой. Именно этот принцип и сформулировал однажды А. А. Зиновьев, декларируя: «Я — суверенное государство» [Кантор, с. 272].

Источники

Довлатов С. Филиал // Довлатов С. Собр. соч. : в 4 т. СПб. : Азбука-классика, 2003. С. 5–133.

Зиновьев А. А. Исповедь отщепенца. М. : Вагриус, 2005.

Зиновьев А. А. Зияющие высоты : в 2 кн. М. : Незав. изд-во ПИК, 1990.

Исследования

Баландина С. В. Специфика жанра литературной антиутопии на материале романа А. Зиновьева «Зияющие высоты» // Известия ВГПУ. 2009. № 10. С. 169–172.

Бердяев Н. А. Смысл творчества. М. : АСТ : Хранитель, 2006.

- Большаков В. Государство из одного человека // Феномен Зиновьева / сост. А. А. Гусейнов, О. М. Зиновьева, К. М. Кантор. М. : Современные тетради, 2002. С. 25–40.
- Гусейнов А. Об Александре Зиновьеве и его социологии // Феномен Зиновьева / сост. А. А. Гусейнов, О. М. Зиновьева, К. М. Кантор. М. : Современные тетради, 2002. С. 243–260.
- Кантор К. Путь к цивилизации — каков он? // Феномен Зиновьева / сост. А. А. Гусейнов, О. М. Зиновьева, К. М. Кантор. М. : Современные тетради, 2002. С. 262–272.
- Коллективный портрет Александра Зиновьева // Вопросы философии. 2013. № 2. С. 3–17.
- Митрохин Л. Н. О феномене А. А. Зиновьева // Вопросы философии. 2007. № 4. С. 62–84.
- Пятигорский А. Утопия как незажившая интрига // Thesaurus. 2015. Т. 4, № 1/2 (7/8). URL: <https://einai.ru/ru/archives/707> (дата обращения: 18.10.2022).
- Сухих О. С. Традиции М. Е. Салтыкова-Щедрина в творчестве А. А. Зиновьева // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 1. С. 289–295.
- Фурсов А. О великом вопрекисте // Феномен Зиновьева / сост. А. А. Гусейнов, О. М. Зиновьева, К. М. Кантор. М. : Современные тетради, 2002. С. 40–65.
- A Roundtable Aleksandr Zinov'ev: The Thinker and the Person // Russian Studies in Philosophy. 2007–2008. Vol. 46, № 3. P. 65–97. URL: https://intellectology.livejournal.com/40193.html?ysclid=lrcic62k4955708345&utm_medium=endless_scroll# (дата обращения: 11.01.2023).

References

- A Roundtable Aleksandr Zinov'ev: The Thinker and the Person (2007–2008). *Russian Studies in Philosophy*, 46(3), 65–97. Retrieved from https://intellectology.livejournal.com/40193html?ysclid=lrcic62k4955708345&utm_medium=endless_scroll#
- Balandina, S. V. (2009). Spetsifika zhanra literaturnoi antiutopii na materiale romana A. Zinov'eva "Ziiaiuschie vysoty" [The Specifics of the Genre of Literary Dystopia Based on the Material of A. Zinoviev's Novel *Yawning Heights*]. *Izvestiya VGPU*, 10, 169–172.
- Berdyayev, N. A. (2006). *Smysl tvorchestva* [The Meaning of Creative Art]. Moscow: AST; Khranitel'.
- Bolshakov, V. (2002). Gosudarstvo iz odnogo cheloveka [The State of One Man]. In A. A. Guseynov, O. M. Zinov'yeva, & K. M. Kantor (Eds.), *Fenomen Zinov'eva* [Zinoviev Phenomenon] (pp. 25–40). Moscow: Sovremennye tetradi.
- Fursov, A. (2002). O velikom voprekiste [On the Great Contraryist]. In A. A. Guseynov, O. M. Zinov'yeva, & K. M. Kantor (Eds.), *Fenomen Zinov'eva* [Zinoviev Phenomenon] (pp. 40–65). Moscow: Sovremennye tetradi.
- Guseynov, A. (2002). Ob Aleksandre Zinov'eve i ego sotsiologii [About Alexander Zinoviev and His Sociology]. In A. A. Guseynov, O. M. Zinov'yeva, & K. M. Kantor (Eds.), *Fenomen Zinov'eva* [Zinoviev Phenomenon] (pp. 243–260). Moscow: Sovremennye tetradi.
- Kantor, K. (2002). Put' k tsivilizatsii — kakov on? [The Path to Civilization — What Is It Like?]. In A. A. Guseynov, O. M. Zinov'yeva, & K. M. Kantor (Eds.), *Fenomen Zinov'eva* [Zinoviev Phenomenon] (pp. 262–272). Moscow: Sovremennye tetradi.
- Kollektivnyi portret Aleksandra Zinov'eva [Collective Portrait of Alexander Zinoviev] (2013). *Voprosy filosofii*, 2, 3–17.
- Mitrokhin, L. N. (2007). O fenomene A. A. Zinov'eva [On the Phenomenon of A. A. Zinoviev]. *Voprosy filosofii*, 4, 62–84.
- Pyatigorsky, A. (2015). Utopiia kak nezazhivshaia intriga [Utopia as an Unhealed Intrigue]. *Thesaurus*, 4(1/2). Retrieved from <https://einai.ru/ru/archives/707>

Sukhikh, O. S. (2010). Traditsii M. E. Saltykova-Shchedrina v tvorchestve A. A. Zinov'eva [Traditions of M. E. Saltykov-Shchedrin in the Work of A. A. Zinoviev]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*, 1, 289–295.

Серебрякова Елена Геннадьевна
доктор культурологии
доцент кафедры истории философии
и культуры
Воронежский государственный
университет
394000, Воронеж,
Университетская площадь, 1
E-mail: Serebrjakova@phipsy.vsu.ru

Serebryakova, Elena Gennadievna
Dr. Hab. (Cultural Studies)
Associate Professor, Department of History
of Philosophy and Culture
Voronezh State University
1, University Square, 394000 Voronezh, Russia
Email: Serebrjakova@phipsy.vsu.ru
<https://orcid.org/0000-0002-5281-8192>

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.064

УДК 821.162.1-1/-9 + 2-265.3 + 398.2 +
+ 130.2 + 821.162.1-313.2 Червинский**И. Е. Адельгейм***Институт славяноведения РАН*
Москва, Россия**АНТИУТОПИЯ П. ЧЕРВИНСКОГО «МЕЖДУНАРОД»
В КОНТЕКСТЕ МОЛОДОЙ ПОЛЬСКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XXI в.**

Статья посвящена анализу романа «Международ» (2011), принадлежащего перу представителя так называемого поколения «пост-ПНР» Петра Червинского, а также характеризует мировосприятие этой генерации в целом и его причины. Смена строя сделала прагматически невостребованной романтику общественного сопротивления, бывшую до сих пор одной из важнейших основ польской ментальности и культуры. Этот не раз подтверждавший свою реальную эффективность инструмент национальной консолидации, утратив очевидную область применения, обратился в орудие насилия, поскольку романтические мифы продолжают присутствовать в польском общественном сознании и подсознании и активно используются властью. Тупик между двумя дискурсами — новым и старым, глобального потребительства и героической мариологии — привел к массово выражаемым молодыми писателями чувству безысходности, страха, собственной ущербности. Текст Червинского рассматривается с перспективы жанров утопии, антиутопии и постантиутопии. Цель исследования — анализ и выявление сверхзадачи иронического переосмысления Червинским внелитературного контекста, доведения им до абсурда слитых воедино идей (сверх)польскости и (сверх)потребительства. В первую очередь роман отсылает к специфике польской ментальности и лишь во вторую оказывается предостережением для любой националистической «акцентуации» общества. Уделяется внимание также языковому аспекту алармизма романа: проза поколения «пост-ПНР», ярким примером которой является анализируемый роман, — реакция и на неудовлетворенность польской реальностью, и на неадекватность этому опыту функционирующих в обществе дискурсов. В результате автор статьи приходит к выводу, что порождение и переживание комического сознания становится для Червинского, как и для других молодых прозаиков этого времени, лишь частично освобождающим опытом.

К л ю ч е в ы е с л о в а: польская литература; польский этос; национальные комплексы; сверхпотребительство; когнитивная травма; антиутопический жанр; ирония; комическое сознание; алармизм; социальный жанр

Ц и т и р о в а н и е: *Адельгейм И. Е.* Антиутопия П. Червинского «Международ» в контексте молодой польской прозы начала XXI в. // *Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки.* 2023. Т. 25, № 4. С. 119–135. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.064>

Поступила в редакцию: 18.06.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Irina Ye. Adelgeim

*Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia*

**P. CZERWIŃSKI'S DYSTOPIA *INTERNATIONAL*
IN THE CONTEXT OF THE YOUNG POLISH PROSE
OF THE EARLY 21st CENTURY**

This article analyses the novel *International* (2011) by Piotr Czerwiński, a representative of the so-called “post-PRL” generation and describes the worldview of this generation as a whole and its reasons. The change of the system rendered the romanticism of social resistance, which had been one of the most important pillars of Polish mentality and culture, pragmatically unclaimed. This tool of national consolidation, which had repeatedly proved its real effectiveness, lost its obvious field of application, and turned into an instrument of violence, because romantic myths continue to be present in Polish public consciousness and the subconscious, and are actively used by the authorities. The deadlock between the two discourses – the new and the old, global consumerism and heroic martyrology – has led to a massively expressed sense of hopelessness, fear, and their own inferiority by young writers. Czerwiński's text is considered from the perspective of the genres of utopia, dystopia, and post-dystopia. The aim of the study is to analyse and identify the supertask of Czerwiński's ironic reinterpretation of the extra-literary context, to bring to absurdity the merged ideas of (super)Polishness and (super)consumerism. First of all, the novel refers to the specificity of the Polish mentality and only secondly is a warning for any nationalist “accentuation” of society. Attention is also paid to the linguistic aspect of the alarmism of the novel: the prose of the “post-PRL” generation, of which the analysed novel is a vivid example, is a reaction both to the dissatisfaction with Polish reality and to the inadequacy of the language functioning in society to this experience. As a result, the author concludes that for Czerwiński, as for other young prose writers of this time, the generation and experience of comic consciousness becomes only partially a liberating experience.

Key words: Polish literature; Polish ethos; national complexes; overconsumption; cognitive trauma; dystopian genre; irony; comic consciousness; alarmism; social genre

For citation: Adelgeim, I. Ye. (2023). Antiutopia P. Chervin'skogo “Mezhdunarod” v kontekste molodoi pol'skoi prozy nachala XXI v. [P. Czerwiński's *Dystopia International* in the Context of the Young Polish Prose of the Early 21st Century]. *Izvestiya Uralskogo federal'nogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 119–135. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.064>

Submitted: 18.06.2023

Accepted: 24.10.2023

Петр Червиньский (род. 1972) принадлежит к поколению «пост-ПНР», неслучайно названному «покалеченным» [Pasterska, s. 387]. Время, важнейшее для формирования личности, пришлось для этих писателей на период распада привычных форм, что привело к ощущению «бездомности в Истории» [Bielik-Robson, s. 401] и размытой идентичности. Смена строя повлекла за собой

прагматическую не востребованность романтики общественного сопротивления, закрепившейся как основа польской ментальности и культуры (трагический исторический опыт породил спасительный в условиях несвободы — во многом компенсаторный и терапевтический — комплекс героически-романтических ценностей, объединяющих нацию). С утратой очевидной области и очевидной необходимости применения эффективный инструмент национальной консолидации сам превратился в инструмент насилия. В результате польский большой нарратив воспринимается молодыми авторами как обременительный фантазм, требующий ритуалов безусловного обожествления («Польский патриотизм заключается, в сущности, в культе патриотизма...» [Bylejakie spory, s. 21]), автокоммуникация и внешняя коммуникация приходят в состояние конфликта, порождая когнитивную травму [Кукулин]. Свидетельство тому — пугающе однородный (но тем более убедительный с точки зрения психологической мотивации) массив молодой прозы начала XXI в. — произведений Петра Червиньского, Кшиштофа Варги, Игнация Карповича, Дороты Масловской, Мариуша Сеневица, Славомира Схуты, Давида Беньковского, Лукаша Орбитовского, Кшиштофа Беськи, Мирослава Нахача, Игоря Остаховича, Сильвии Хутник, Михала Витковского, Радослава Коберского, Ярослава Маслянека, Томаша Пёнтека, Петра Сливиньского, Марты Дзидо, Камиля М. Смялковского и др.

«Сумерки романтической парадигмы» [Янион] отнюдь не означали ее конец. Более того, по остроумному замечанию Л. Яниона, в сумерках-то как раз и рождаются призраки [Там же]. «Террор романтических мифов» [Там же] принял форму «амока», «транса», «сна», подпитываемого «колоссально растиражированной исторической политикой» и «массово заражающего» общество [Rozum w Polsce wysiada]. Тупик между двумя дискурсами — новым, глобального потребительства, и традиционным, связанным с национальным этосом и героической мартирологией, — привел к депрессии, страху, чувству ущербности и ощущению неаутентичности окружающего мира.

Оставшийся невостребованным и не подкрепленным реальным опытом «полный ассортимент национального этоса» воспринимается молодыми писателями как голая «риторика», которой можно разве что «захлебнуться»¹ [Sieniewicz, 2003, s. 127], как «намордник» [Gosk, s. 113], как источник «бело-красной депрессии» [Shuty, s. 155]. Повествователи и герои одержимы желанием сбросить «бремя трупов» [Karpowicz, 2006, s. 128]. «Малютка» (2009) С. Хутник заканчивается иронической аллюзией на программный текст А. Мицкевича — парфразом «Большой импровизации», в котором героиня обвиняет «польские семьи и польские пейзажи», «всосавшее» ее прошлое этой страны, «с его войнами, восстаниями, ссылками и возвращениями», «неизбывными обидами», призывает освободиться от «этой бело-красной страны», избавить тело «от болезненных наростов, не моих, не наших, не нашего поколения» [Chutnik, s. 145, 160].

¹ Перевод с польского языка цитат из художественных произведений сделан автором данной статьи.

«Почему я должен играть в этом идиотском фильме? — вторит ей повествователь «Поругания» (2005) П. Червиньского. — За какие грехи должен страдать от гребаной кровавой истории этой страны? Этого вонючего китча, великой тысячелетней войны?» [Czerwiński, 2005, s. 58]. «Я не желаю быть Оплотом христианства, не желаю быть Броней, защищающей от коммунизма, не желаю быть воплощением Мужества во время обреченного на провал Варшавского восстания; мне бы чего-нибудь попроще — обычный гражданин обычной страны, без исторических комплексов, без мании величия. <...> Не хочу больше быть поляком — одного раза вполне достаточно. <...> Если реинкарнация возможна, то я бы не хотел снова родиться в провинциальной стране, разыгрывающей — без намека на талант, зато весьма вдохновенно — Мессию народов» [Karpowicz, 2008, s. 155], — признается герой романа И. Карповича «Жесты» (2008). Один из молодых персонажей «Бело-красного» (2007) Д. Беньковского устраивает в центре столицы протестный хэппенинг, оплетая бело-красной лентой столбы, дорожные знаки, канализационные люки, автомобили, образуя в результате лабиринт-паутину: «Мы хотели показать, как она не дает покоя, опутывает нас и оплетает, как всех нас сковывает, как мешает свободно жить» [Bieńkowski, s. 197].

Главным нервом и сверхзадачей этой прозы оказывается деконструкция национального этоса, ощущаемого как полностью изношенный, окаменевший. Саркастически подается специфика польской ментальности в целом, нивелируется польский этос, культ самопожертвования на благо отчизны, идея поражения как моральной победы, жестко-иронически обыгрываются национальная мартирология, национальные святые — персоналии, исторические реалии и их мемориализация, национальная символика.

Если сравнить современное — анахроническое — бытование романтической парадигмы с невротическим расстройством, то художественные приемы, к которым прибегают молодые прозаики, являются действенным психотерапевтическим методом, «демонтирующим проблемные дискурсы путем их переосмысливания, обесценивания, оттеснения на бытийную периферию» [Смирнов]. Всевозможные комические манипуляции с дискурсом национального этоса (ирония, сарказм, черный юмор, доведение до абсурда, пародирование и коллажирование дискурсов, создание гротескных персонажей и ситуаций и пр.) отсылают также к другому психотерапевтическому методу — концепции иронично-парадоксальной провокационной психотерапии Фрэнка Фарелли, используемой для лечения депрессии и нервно-психических перенапряжений [Адельгейм, с. 508–545]. Суть ее заключается в формировании у пациента комического сознания, тесно связанного с защитно-приспособительными возможностями отдельной личности, группы и социума в целом, способного служить механизмом восстановления равновесия.

Связанное с проблемой польского этоса комическое в текстах молодых авторов носит самоуничижительный характер, заставляя вспомнить ироническую реплику М. Янион: «Блекнет романтический героизм — прекрасная

мечта социума о самом себе. Может, впрочем, это и есть наша главная беда. <...> Мы больше не можем любить себя согласно нашему идеалу, и никто уже нас не полюбит...» [Янион]. По наблюдениям психологов, именно такого рода ирония и сарказм характерны для депрессивных состояний, поскольку с их помощью происходит защитное отрицание части себя. Эти приемы обладают значительным психотерапевтическим потенциалом, способствуют отстранению от себя объекта, помогают защитить границы личности от насилия насаждаемого дискурса, сохранить самооценку. Это бунт, с одной стороны, позволяющий высвободить вытесненные переживания, с другой — дающий возможность парадоксальной интеграции идентичности.

Вторым «полюсом» современной жизни, вызывающим у молодых польских авторов ощущение безысходности и потребность в саркастическом акцентировании и дистанцировании, является, как уже говорилось, глобальная идеология потребительства. Вместе они нередко порождают развернутые фантазмагорические эпизоды. Введение в реалистическое повествование фантастических допущений, мистики и гротеска — максимально укрупняющих, деформирующих, доводящих до абсурда, остранивающих и отстраняющих — представляется авторам наиболее действенным способом изображения повседневности постсоциалистической Польши: «Реализм изображения общественных язв имеет свои пределы. Этот деградировавший, дьявольский мир, этот реализм <...> требует магии и гротеска» [Nie będzie...].

Одним из самых ярких примеров подобных текстов является фантазмагорический роман Петра Червиньского с иронически отсылающим к истории Речи Посполитой названием «Международ» (2011).

По собственному определению автора, это «пародия на антиутопию» [Czerwiński, 2014, s. 44]. Антиутопия же, в свою очередь, является пародией на утопию или утопическую идею, «зазеркалем утопии» [Янг, с. 320], «перевернутой утопией» [Шестаков, 1990, с. 5], жанром, иронически переосмысливающим ценностные ориентации литературной утопии [Морсон]. По словам Е. Шацкого, антиутопический концепт отрицает определенную форму утопии, «имплицитно подразумевая ее чрезмерность» [Шацкий, с. 160–161].

Роман Червиньского сочетает в себе разные жанровые элементы (зачастую модифицированные). Во-первых, это черты гротескно-фантастической псевдоутопии: описание идеального мира (но только «для поляков»); (частичная) замкнутость «райского» пространства; наличие в системе персонажей уникального инженера-изобретателя.

Во-вторых, это признаки классической антиутопии [Юрьева, с. 73–76]: изменение мировосприятия героя от удовлетворенности мироустройством к разочарованию и бунту против существующего строя; наличие (на определенном этапе повествования) политических и экономических, т. е. обратимых катаклизмов; (национально ориентированный) тоталитаризм устройства общества; противопоставление «здесь» и «там»; конфликт верха и низа (с поправкой на идею сверхкомпенсации национальных комплексов); парадоксальное,

абсурдное порабощение человека избыточным благополучием; отрицание прошлого; противостояние общества и любви; красочность описаний природы, подчеркивающая аномальность происходящего; дневниковая (мемуарная) форма повествования; ритуализация жизни; псевдокарнавал. Можно увидеть и черты дистопии как разновидности антиутопии: абсолютизацию деструктивных тенденций в развитии современной цивилизации, футурологический сценарий возможной катастрофы, остановившееся время, катастрофу в предыстории.

В-третьих, повествовательная рамка романа включает в себя элементы постантиутопии. Е. В. Комовская определяет последнюю как «произведение литературы, устремленное к идеалам прошлого, с перевернутым фантастическим представлением действительности под влиянием различного рода катаклизмов, неподвластных человеку, в результате пространство больше не выхолащивает человеческое в человеке...» [Комовская]. К чертам постантиутопии в романе Червиньского относятся: воспоминания об идеальном мире после необратимого катаклизма; псевдокарнавал безучастности; отсутствие противостояния человека и государства, человека и режима, человека и социума.

Текстообразующей и жанрообразующей категорией является в антиутопической прозе ирония. Обладая функциями парадоксального означивания, присутствуя в явном и в скрытом виде, она становится «методом концептуализации действительности» [Клименко, с. 3], делая антиутопическое повествование идеальной моделью отрицания одного посредством утверждения другого и позволяя антиутопии быть жанром остросоциальным, отсылающим к парадоксально переосмысливаемому внелитературному контексту.

В романе Червиньского до абсурда доводятся слитые воедино идеи (сверх)польскости и (сверх)потребительства. «Международ» можно назвать антипотребительски-антишовинистской антиутопией. В отличие от ряда классических антиутопий XX в., прежде всего «Мы» Е. Замятина, в центре этой абсурдной модели мира в момент ее расцвета — восторг не конформистский, а консьюмеристски-националистический.

Действие в романе перенесено в далекое будущее, где, наконец, торжествует «историческая справедливость»: Польша, благодаря добыче урана, становится супердержавой, располагающейся на двух атоллах в Тихом океане. Эта Международная Республика Новой Польши (или, неофициально, 39-я Речь Посполитая Международов) населена темнокожими поляками, помыкающими иностранцами, которых нищета и безработица заставляют покидать родину и искать счастья на чужбине.

В «Международе» описывается «вожделенное» состояние нации, упоминавшееся в раннем романе Червиньского «Поругание». Если там поляки «мечтали о том, чтобы сходить с ума от скуки, подобно американцам» [Czerwiński, 2005, s. 64], то здесь эта мечта наконец осуществляется в полной мере: «В Польше царило беспечно-болезненное благосостояние» [Czerwiński, 2011, s. 46]. Таким образом, в основе романа — пародия на утопическую идею (на что указывает также ироническая аллюзия на стеклянные дома, изображенные Стефаном

Жеромским в знаковом романе «Канун весны» (1924) в качестве вестников новой польской цивилизации, символа идеальной отчизны).

Значимо, что этот польский рай на земле — не реализация чьей-то идеи, не результат борьбы, он возник словно бы сам собой, как компенсация «свыше» всех прошлых исторических унижений и несчастий. Полякам, которые «распространившись по всему миру», мешали всем и «имели примерно такую же репутацию» [Czerwiński, 2011, s. 25], как два бесполезных атолла, последние и были подарены, однако затем там нашли уран — так начался фантастический (фантазмагорический) расцвет (Новой) Польши. Эта «компенсация» затрагивает даже внешность: «...польская раса считалась самой сексуальной в мире» [Ibid., s. 31]. Таким образом, в романе Червиньского можно увидеть аллюзию на О. Хаксли (новый прекрасный польский мир представляет собой социально-стабильное общество возведенного в культ сверхпотребления), однако орудием его создания послужил не столько научно-технический прогресс (который «застопорился в конце XXI века» [Ibid., s. 39]), сколько цепь обстоятельств (глобальный кризис, расцвет атомной энергетики, радиоактивное заражение территорий), сложившихся — наконец — в пользу Польши.

В лице новой польской нации Червиньский доводит до абсурда степень возможной деградации человечества. Невероятно красивые и невероятно богатые поляки отчаянно предаются безделью: «болезненный недостаток» приводит ко всеобщему «маразму и безделью», при котором единственным развлечением оказывается «интимная жизнь премьер-министра Новой Албании» [Ibid., s. 46]. Образование превращается в видимость, на самом деле даже грамоте учиться полякам необязательно: «Отменили даже дипломные работы, чтобы дать возможность получить высшее образование тем студентам, которые были неграмотны» [Ibid., s. 147]. Они и так, по праву рождения, получают все руководящие должности с гигантскими зарплатами: «...кто будет ходить в школу <...>, если у твоих стариков всегда есть деньги, у тебя всегда есть деньги, у твоих приятелей всегда есть деньги, а другие люди делают за вас абсолютно все. До чего же это была обалденная страна...» [Czerwiński, 2011, s. 15]. Роман, таким образом, «реализует» наиболее инфантильные желания человека и наиболее инфантильные приметы польскости. Неслучайно в начале и конце романа звучит имитация детского лепета: «Агу-агу, ля-ля-ля. Что еще я могу сказать» [Ibid., s. 9].

Главный прием, последовательно используемый Червиньским, — «переворачивание» национальных и исторических комплексов: «бывшие» благополучные в экономическом и социальном плане страны безудержно унижаются, а (Новая) Польша столь же безудержно превозносится.

Так, подчеркивается, что в Новой Польше была достигнута «подлинная демократия» [Ibid., s. 188], до которой не доросли Англия и Америка. Бывший «Запад» нищает, оказываясь у Новой Польши (а также Вануату) в долгах: Америка «стала вассалом Китая и неплатежеспособным должником Польши» [Ibid., s. 23], Новая Польша в счет долгов скупает американские и европейские

культурные ценности — Статую Свободы, Пизанскую башню и пр. Прошлое и настоящее этих стран для новых поляков несущественно: Америка когда-то «кажется, <...> была мощной державой» [Czerwiński, 2011, s. 23]; Великобритания — «отсталая страна на северо-западе Европы, о которой мы мало что знали» [Ibid., s. 48]; преподавателя географии увольняют, потому что он требовал от студента показать, где на карте находится Великобритания — «польские руководящие кадры не нуждаются в столь глубоком знании географии отдаленных и малозначимых регионов мира» [Ibid., s. 185–186].

Английский язык считается «тарабарским»: «...никто его не хотел учить, потому что на южных берегах Тихого океана для нужд торговли, культуры, а также всех прочих, использовался почти исключительно польский. На Кирибати даже новости передавали по-польски <...>, а администрация Бикини пошла еще дальше и провозгласила польский государственным языком» [Ibid., s. 57]. Английские города именуются «Бла-бла-бла-форд, или как там...» [Ibid., s. 58], «Бла-бла-бла-на-Темзе или типа того» [Ibid., s. 81], так как нормальный человек «не в состоянии их выговорить, точно так же, как их имена, фамилии...» — считается даже, что у англичан врожденный дефект речи.

Используются уничижительные номинации знаковых реалий: так, например, Статуя Свободы именуется исключительно «бабой с факелом и в простыне» [Ibid., s. 19], и заполучив ее, поляки устраивают внутри «крупнейший винный магазин» [Ibid., s. 20].

«Переворачивается» и реальный исторический факт — открытие рынка труда Великобритании для поляков в 2004 г.: «...рынок труда в Международной республике Новой Польше официально открыт для граждан Великобритании» [Ibid., s. 50]. Англичанам в Новой Польше уготовлена судьба героя автобиографического романа Червиньского «Ходум vitae» (2009). Точно так же, как ирландские работодатели даже не рассматривали престижный диплом поляка и его пятнадцатилетний опыт работы в международной компании, поляки удивляются: «Почему-то каждый второй англичанин имел кандидатскую степень <...>. Мы не понимали, зачем англичане с таким мазохистским упорством учатся. Ведь у них все равно не было никакого будущего. <...> половина была искусствоведами, этим удавалось довольно быстро найти работу в шахтах, прочие прежде занимались нейрохирургией, а потому теперь благополучно устраивались на ресепшн в трехзвездочные отели» [Ibid., s. 122]; «Джонатан был по образованию микробиологом, и в нашем вузе занимался ликвидацией микроорганизмов в уборной» [Ibid., s. 81]. Англичане за гроши делают в Новой Польше абсолютно все: «...мы были так богаты, что не имело никакого смысла браться за какую бы то ни было работу» [Ibid., s. 44].

Английские автомобили покупают только сами английские гастарбайтеры, англичане неумело подражают польским хитам, французские повара приезжают учиться у польских, а польская еда настолько изысканна, что «даже снобы не всегда знают, как ее есть» [Ibid., s. 125]. Американцы толпятся перед польским посольством в Вашингтоне, польские чиновники кидают монетку, решая, кому

выдать визу, а специальные агенты при помощи лазерных искателей вылавливают нелегальных беженцев.

При этом совершается скрытая и открытая травестация базовых национальных ценностей. Это и непосредственно рефлексии и реплики повествователя, уничижающие польскость: «У поляков имелась дырка от бублика, свекла, ну и, разумеется, независимость» [Czerwiński, 2011, s. 29]; «Поляки, если чего-то и добьются, <...> рано или поздно непременно сами все порушат. Народ-мазохист. Поляки сами себе подставят подножку, шлепнутся мордой в грязь и станут с богобоязненным патриотическим изумлением взирать на стаю грифов, которые, воспользовавшись моментом, тут же соберутся у них над головой. И постоянно ищут виноватого...» [Ibid., s. 223]; «Я — поляк, поляки всегда понимают такие вещи слишком поздно» [Ibid., s. 282]; «Порой мне кажется, что я только притворялся в Польше поляком. Все мы притворялись. <...> Только жлобам не приходилось притворяться, что они поляки. Они были ими до мозга костей за отсутствием головного. Думаю, что это они были настоящей Польшей» [Ibid., s. 206]; англичан приглашают делать «все то, чего не хотелось делать полякам» [Ibid., s. 46] под видом благородного жеста со стороны тех, «кто не раз получал по заднице в прошлые века», «во имя равенства и свободы» [Ibid., s. 48].

Используется и скрытое уничтожение при помощи ложного панегирика. В романе, написанном почти за десять лет до пандемии, английский работник расклеивает в туалетах плакаты с рекомендацией прикрывать рот при чихании. Поляки же «которые не стесняясь, чихали друг другу в лицо», «шокированы этой идиотской пропагандой, столь жестоко попирающей их личную свободу» [Ibid., s. 135], возмущены «дискриминацией поляков в публичном пространстве» [Ibid.]. «Подлинные поляки» начинают сознательно «чихать в лицо каждому, дабы воспрепятствовать этим отвратительным криптофашистским поползновениям» [Ibid.].

К самоуничижительным приемам относится и введение иронических топонимов. Названия городов Новой Польши — это почти сплошь названия глубоко провинциальных населенных пунктов реальной Польши, дополненные эпитетом «новый»: Новые Кельцы (столица), Новая Южная Бялка Татшаньская, Новое Поронино, Новый Вонхоцк, Новое Пясечно, Новый Пацанов, Новый Хамск, Новый Любартов и пр. Названия площадей и улиц иронически отсылают к традиционно мартирологическим: улица мучеников Лимерика вместо распространенных в Польше улиц мучеников Освенцима; площадь площадь Кэша (дословно «Подручной памяти») — аллюзия на всевозможные площади памяти тех или иных исторических событий и деятелей. Упоминается памятник Неизвестному Водопроводчику, а Национальная библиотека носит имя скандального польского политика Анджея Леппера.

Характерно также, что изобретает телепортер (что — вместе с любовной линией, в конечном счете разрушающей благоденствие героя и страны — имеет сюжетобразующие функции) англичанка. А поляки лишь пытаются его украсть, и именно их бесчестное поведение в итоге приводит к окончательному уничтожению Новой Польши.

Самоуничтожение совершается также через инверсию — отрицательные имагологические стереотипы и автостереотипы, относящиеся к полякам и Польше, обращены теперь на англичан: «По Европе ходила грубая шутка, что однажды из Англии уедут все англичане, и последний погасит свет» [Czerwiński, 2011, s. 49]; «...это, похоже, ленивый народ, и, видимо, у них там не принято поддерживать чистоту» [Ibid., s. 50]; в день зарплаты англичане пропивают все деньги — «каждый уважающий себя англичанин считал делом чести хорошенько напиться в пятницу после работы и демонстрировать огромную радость по этому поводу, мочась и блюя на мостовую» [Ibid., s. 86]; склонность «задирать нос перед другими народами — это их общегосударственная мания» [Ibid., s. 56].

Болезненный польский патриотизм, который в любой момент может обернуться шовинизмом, саркастически обличается через сюжетную линию, связанную с кризисом, приводящим к краху Новой Польши. Характерна говорящая фамилия политика, который инициирует волнения, — Бред. «Да здравствует Бред!» [Ibid., s. 245] — написано на плакате. Именно Бреду приходит в голову начать борьбу с «засильем» эмигрантов. «...мы сделали из них проблему номер один, проблему, которой не было, проблему столь абсурдную, что только поляк способен такую себе создать...» [Ibid., s. 176] — горько резюмирует повествователь. Эта сюжетная линия является, с одной стороны, частью иронической инверсии национальных комплексов, с другой — беспощадной аллюзией на болезненную проблему отношения в Польше к Чужому (польско-еврейское прошлое, отношение к эмигрантам в XXI в.). Английские эмигранты воплощают в антиутопическом «новом польском» пространстве Червиньского Чужого, на которого можно свалить все беды («...плохой курс беззаботно объясняли приближающимся сезоном дождей, а сезон дождей — чрезмерным поголовьем чужеземцев» [Ibid., s. 221–222]. «У них было все, кроме проблем <...>. Им некого было ненавидеть, и это стало самой большой их проблемой. Сколько можно такое выдержать?» [Ibid., s. 223] — саркастически вопрошает герой-повествователь.

При изображении «борьбы с англичанами» также используются иронически переосмысленные националистические клише с отсылками к польской и мировой истории: «Не допустим английского потопа! Сила в единстве!» [Ibid., s. 183]; «Польша для поляков» [Ibid.]; «Не позволим превратить себя в рабов в нашей собственной стране!» [Ibid.]; «...следует держаться за свою национальную идентичность и беречь ценности» [Ibid., s. 67]; английский хлеб для тостов официально «запрещен как преступление против истинной польскости» [Ibid., s. 314]; использование иностранного языка на рабочем месте объявляется «преступлением против польской нации» [Ibid., s. 244]; «Запрещено входить англичанам и собакам» [Ibid.]. Червиньский вводит множество трагикомических отсылок уже только к польской истории и при описании борьбы героя и его соратников с диктатурой Бреда (аллюзии на факты и мифы, связанные с польским Сопротивлением во время Второй мировой войны; на лозунги разного времени, включая ПНР; на действия Оранжевой альтернативы — антикоммунистического хэппенингового движения, дискурс которого был подчеркнута

альтернативным по отношению как к официальному, так и к оппозиционному, на польскую мартирологию в целом). Неслучайна рефлексия, касающаяся отношения к истории: туземцы, приплывшие на атолл, куда после всех перипетий попадает герой, утверждают, что история — это болезнь. «Они никогда не поймут, что в нашем мире она служила лекарством» [Czerwiński, 2011, s. 354], — горько замечает повествователь.

Изображенное Червинским пространство наполнено абсурдными деталями мироустройства, абсурдными псевдонормами и псевдоценностями, свидетельствами абсурдного сознания, отсылающими также к современной цивилизации. Доводится до абсурда пресловутое нежелание современного человека читать длинные тексты: сначала книги вживляли в мозг, затем модными стали переписки длинных романов («максимум семь страниц» [Ibid., s. 32]), после них — компиляции («Возникли даже специальные миксеры для книг» [Ibid.]), затем книги стали выпускать только для нужд школьников, с готовыми списками экзаменационных вопросов, а «потом литература исчезла» [Ibid., s. 33]. Единственная бумажная книга в Новой Польше (поскольку бумага к этому времени стала уже «почти исключительно туалетной» [Ibid., s. 138]) — телефонная книга города Кельцы, хранящаяся в Национальной библиотеке. Вводятся воплощающие новые ценности иронические окказионализмы: «Практически никто уже не читал и уж точно не писал никаких книг, а само слово “литератор” изменило смысл и означало человека, способного выпить литр пива-вина и устоять на одной ноге» [Ibid., s. 15].

Повествование ведется с позиции типичного представителя описываемого общества, которого определенные события заставляют стать нонконформистом и бунтовщиком. В этом смысле к роману применима концепция Б. А. Ланина о «вирусном» поведении антиутопических героев: «...антиутопический герой является вирусом в этом теле (которое представляет собой антиутопическое государство. — И. А.), активным инородным организмом. Более того, поначалу одиночка, он способен активно находить сторонников, множить их число. <...> Отсюда стремление государства уничтожить антиутопического героя, извести его наиболее наглядным и поучительным для других способом — ведь не вирус же он на самом деле, а всего лишь человек, возжелавший не государственного, а своего, “частного”, “персонального” счастья. Истребить этот вирус, заведшийся в государственном организме, и есть задача государства» [Ланин, 2014, с. 165]. Роман Червинского, правда, не завершается гибелью героя, однако тот переживает потерю возлюбленной, окончательное крушение представлений о порядочности, а дальнейшие его перспективы туманны.

Используется характерный для антиутопии прием истории рукописи как сюжетной рамки. Сочинительство у Червинского — хотя и не знак неблагонадежности персонажа, но «свидетельство его провоцирующей жанровой роли» [Ланин], деятельность хоть и не запретная, но выделяющая героя («...скорее всего, я последний польский писатель» [Czerwiński, 2011, s. 35]), возвышающая его над остальными персонажами: из уцелевших пяти «последних на свете

живых поляков» [Czerwiński, 2011, s. 12], только он один в состоянии описать для потомков историю своей родины — «последний учебник истории Польши» [Ibid.]. Рукопись не является «средством сотворения иной действительности, построенной по иным законам, нежели те, что правят в обществе, где живет пишущий эту рукопись герой» [Половцев, с. 12], но свидетельствует о стремлении осмыслить процесс и передать человечеству некое послание: «Я хочу вам рассказать о Польше, о моей стране, которая перестала существовать примерно два года назад. А также о событиях, которые к этому привели, и какое я к ним имел отношение» [Czerwiński, 2011, s. 12]. Мотив рукописи как доноса на антиутопическое общество, предупреждения человечеству, своего рода сигнала SOS (неслучайно герой собирает передать рукопись «по старинке», вложив в бутылку и бросив в океан) — также характерный элемент жанра антиутопии.

Роман Червиньского, таким образом, является попыткой иронически, с применением «деформирующего фильтра бреда» [Геллер, Нике], осмыслить издержки польского этоса. В этом смысле хотя к «Международу» применимы выводы о приоритете в антиутопиях общечеловеческого над национальным [Шишкина, с. 201], но в первую очередь произведение отсылает к специфике польской ментальности и лишь во вторую является предостережением для любой националистической «акцентуации» (по аналогии с акцентуацией личности) общества.

«Международ» — трагикомическая (анти)утопия-памфлет, роман-предупреждение. По словам Л. М. Геллера, время антиутопии — это продолжение реализованной когда-то в прошлом утопии и расплата за нее [Геллер, с. 130–131]. Именно так строит повествование Червиньский: (псевдо)утопизм предстает «постоянным и неизбывным соблазном человеческой мысли, ее отрицательным полюсом, заряженным величайшей, хотя и ядовитой энергией» [Флоровский, с. 83]. Национальные комплексы предстают у Червиньского в максимально заостренной гротескной форме антиутопического повествования. Неслучайно в этом смысле посвящение романа — аллюзия на Сенкевича: вместо *ku pokrzepieniu serc* («к укреплению сердец») — *ku popieprzeniu* («к зае...нию сердец»).

Антиутопия — и способ «прожить» страх, и форма социальной диагностики, и инструмент социального алармизма. Именно поэтому «материалом для построения литературой последовательно плохого мира становятся господствующие формы мира ныне здравствующего. Черты исторической и современной культурной действительности авторы антиутопии доводят до крайности, до абсурда. Но антиутопия всегда прежде всего — зоркое видение ситуации и критика во имя будущего развития» [Кисель]. Сохраняя форму дистопического предупреждения и обращенность к будущему, в действительности антиутопические тексты нацелены на (инверсированную) реальность, сегодняшний день. Роман Червиньского еще раз подтверждает предположение Б. А. Ланина о том, что «мы лишь наблюдаем работу внутренних механизмов внутри самого жанра <...>. Сформировавшись в романах Евгения Замятина “Мы” и в “1984”

Джорджа Оруэлла, эти жанровые механизмы наполняются время от времени актуальным политическим содержанием, выраженным в метафорической, символической, образной форме» [Ланин, 2014, с. 164]. Но свидетельствует всё это и о жизнеспособности жанра [Шестаков, 2012] — именно в силу названных выше функций.

Следует отметить также языковой аспект алармизма польского романа. Тексты поколения «пост-ПНР» воплощают реакцию одновременно на неудовлетворенность внелитературной реальностью и на неадекватность этому опыту имеющегося у общества языка. Это фрагментарная и агрессивная смесь дискурсов, построенных на обидах, национальных комплексах, стереотипах, обрывках разных идеологий и массовой культуры — язык всевозможных «анти»: антиглобализма, антикапитализма, антиклерикализма, антикоммунизма, антисемитизма, антирусских стереотипов [Chutnik, s. 29, 60, 79, 94, 50, 68; Masłowska, s. 34–35, 40, 48, 50; Sieniewicz, 2005, s. 196; 2003, s. 233; и др.].

Комическое в этой прозе — «насмешливое, высмеивающее, но не веселое», оно «отрицает, но не утверждает, хоронит, но не возрождает», «подчеркивает ненормальность, но не устраняет ее» [Масленкова, с. 151], демонстрируя отсутствие надежды на освобождение от корсета уродливого дискурса польской современности. Язык должен быть очищен — так можно прочесть один из месседжей романа: в финале «Международа» звучат те же слова, которые его открывают — младенческое «агу-агу». Их произносит туземец на атолле, и они могут значить что угодно.

Тем не менее средства комического в текстах молодых авторов, направленные на табуированные объекты национального дискурса (приближающиеся к своего рода национальному богохульству: учитывая традиции польской романтической парадигмы, подвергаемые осмеянию ее элементы можно считать сильным табу [Жельвис, 2015, с. 92]), погружают авторов в особую инвективную атмосферу [Жельвис, 1995, с. 30]: табу взламывается, а психологический аспект этого механизма заключается в желании говорящего достичь сразу двух противоположных целей — избежать соприкосновения с табуированными понятиями и одновременно с ними соприкоснуться. Таким образом, достигается своего рода катартический выход эмоций. Травма, имеющая когнитивный генезис, необязательно влечет за собой рефлексии и проработку. Л. Фестингер отмечал, что когнитивный диссонанс, в том числе коллективный, переживается первоначально на неотрефлексированном уровне. Здесь мы имеем дело с травмой отрефлексированной, но продолжающейся. Перефразируя И. Кукулина, можно сказать, что это не взрыв, а цепь всхлипов [Кукулин], не одномоментное крушение, а растянутое на десятилетия страдание, связанное с бытованием национального этоса. Страдание, вызванное паразитированием на романтических мифах и превращением идей и духовных символов в инструменты непосредственного насилия. Порождение и переживание в текстах комического сознания становится своего рода перманентным (лишь частично) освобождающим опытом.

Источники

- Bieńkowski D.* Biało-czerwony : powieść. Warszawa : W.A.B., 2007.
Chutnik S. Dwidzia : powieść. Warszawa : Świat Książki, 2009.
Czerwiński P. Pokalanie : powieść. Warszawa : Świat Książki, 2005.
Czerwiński P. Międzynaród : powieść. Warszawa : Świat Książki, 2011.
Karpowicz I. Niehalo : powieść. Wołowiec: Wyd. Czarne, 2006.
Karpowicz I. Gesty : powieść. Kraków: Wyd. Literackie, 2008.
Mastowska D. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną : powieść. Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 2003.
Shuty S. Zwał : powieść. Warszawa : W.A.B., 2004.
Sieniewicz M. Czwarte niebo : powieść. Warszawa : W.A.B., 2003.
Sieniewicz M. Żydówek nie obsługujemy : opowiadania. Warszawa : W.A.B., 2005.

Исследования

- Адельгейм И. Е.* Психология поэтики: Аутопсихотерапевтические функции художественного текста (на материале польской прозы 1990–2010-х гг.). М. : Индрик, 2018. <https://doi.org/10.31168/91674-501-6>
- Геллер Л. М.* Вселенная за пределами догмы. Размышления о советской фантастике. Лондон : ОРІ, 1985.
- Геллер Л., Нике М.* Утопия в России. СПб. : Гиперион, 2003.
- Жельвис В. И.* Некоторые эмоциогенные особенности инвективного общения // Язык и эмоции : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Шаховского. Волгоград : Перемена, 1995. С. 14–24.
- Жельвис В. И.* Богохульство как речевой жанр // Жанры речи. 2015. № 2 (12). С. 90–95.
- Кисель А.* Память человечества // Октябрь. 2009. № 9. С. 166–172.
- Клименко Т. Н.* Типы и текстообразующие функции иронических контекстов (на материале романов-антиутопий) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.24. СПб., 2008.
- Комовская Е. В.* От утопии к антиутопии и постантиутопии (жанровая специфика романа Т. Толстой «Кысь») // Концепт. 2014. № 7. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14184.htm> (дата обращения: 10.06.2023).
- Кукулин И.* Уточнение понятий // Новое литературное обозрение. 2015. № 132. С. 304–314.
- Ланин Б. А.* Антиутопия в литературе русского зарубежья. URL: <https://lektsii.org/14-65436.html> (дата обращения: 25.01.2023).
- Ланин Б. А.* Русская утопия, антиутопия и фантастика в новом социально-культурном контексте // Проблемы современного образования. 2014. № 1. С. 161–169. URL: http://www.rmediu.ru/res/2014_1_15.pdf (дата обращения: 10.06.2023).
- Масленкова Н. А.* «Черный юмор» в контексте иронии и пародии // Ирония и пародия : межвуз. сб. науч. ст. / под ред. С. А. Голубкова, М. А. Перепелкина, В. П. Скобелева. Самара : Самарский ун-т, 2004. С. 147–151.
- Морсон Г.* Границы жанра // Утопия и утопическое мышление : антология зарубежной литературы / сост., общ. ред. и предисл. В. А. Чаликовой. М. : Прогресс, 1991. С. 233–251.
- Половцев Д. О.* Личность и общество в романе Евгения Замятина «Мы» // Витебск : Б-ка журн. «Социальное воспитание», 2014.
- Смирнов С. Н.* Лингвистические интервенции в гуманитарной психотерапии: градации и оксюмороны // Экзистенциальная и гуманистическая психология : [сайт]. URL: <http://hpsy.ru/public/x3972.htm> (дата обращения: 13.01.2023).
- Флоровский Г. В.* Метафизические предпосылки утопизма // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 80–93.

Шацкий Е. Утопии и традиция / пер. с польск. К. В. Душенко, М. И. Леньшина. М. : Прогресс, 1990.

Шестаков В. Эволюция русской литературной утопии // Вечер в 2217. Русская литературная утопия / сост. В. П. Шестаков. М. : Прогресс, 1990. С. 5–21.

Шестаков В. П. Русская утопия в контексте английской утопической традиции // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 4 (9). С. 35–55.

Шишкина С. Г. Литературная антиутопия: к вопросу о границах жанра // Вестник гуманитарного университета ИГХТУ. 2007. Вып. 2. С. 199–208.

Юрьева Л. М. Русская антиутопия в контексте мировой литературы. М. : ИМЛИ им. А. М. Горького, 2005.

Янг М. Возвышение меритократии // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы / сост., общ. ред. В. А. Чаликовой. М. : Прогресс, 1991. С. 317–346.

Янион М. Сумерки парадигмы : фрагмент / пер. Ирины Адельгейм // Звезда. 2018. № 11. С. 242–252.

Bielik-Robson A. Straceni inaczej: dziwni trzydziestoletni i ich kłopoty z samookreśleniem // Wojna pokoleń / red. P. Nowak. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006. S. 45–73.

Bylejakie spory. Rozmowa Janiny Paradowskiej z prof. Bronisławem Jagowskim o polskim kulcie patriotyzmu, ostatniej prezydenturze, dobrych i złych mitach i skrzeczącej nadrzeczywistości // Polityka. 2010. № 20. S. 21.

Czerwiński P. Szacunek dla wszelkiego rebelianctwa jest u mnie rodzinny // Rok w rozmowie. Pisarze krytycznym okiem. Wywiady Jarosława Czechowicza. Poznań : Simple Publishing, 2014. S. 42–48.

Gosk H. „Wychować się w momencie historycznego przełomu to żadna przyjemność...” O postzależnościowych aspektach rzeczywistości przedstawionej w polskiej prozie ostatnich lat // Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy / red. H. Gosk. Warszawa : ELIPSA, 2010. S. 93–113.

Nie będzie nowej „Ziemi obiecanej”. Wywiad z Mariuszem Sieniewiczem // Gazeta Olsztyńska. 31.03.2017. URL: <http://www.wm.pl/index.php?ct=kultura&id=721980> (date of access: 15.01.2023).

Pasterska J. „Jestem Bombel na przystanku”. O projektowaniu autora w młodej prozie na przykładzie „Bombla” Mirosława Nahacza // Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009 / red. Z. Andres, J. Pasterski. T. I. Rzeszów : Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, 2010. S. 382–397.

Rozum w Polsce wysiada. Rozmowa z J. Tokarską-Bakir // Onet wiadomości. 21.09.2014. URL: https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/rozum-w-polsce-wysiada/q9s9y?utm_source=yandex.ru_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&src=undefined&utm_v=2 (date of access: 01.02.2023).

References

Adelgeim I. Ye. (2018). *Psikhologiiia poetiki: Autopsikhoterapevticheskie funktsii khudozhestvennogo teksta (na materiale pol'skoi prozy 1990–2010-kh gg.)* [Psychology of Poetics: Autopsychotherapeutic Functions of Artistic Text (with Reference to the Polish Prose of the 1990s–2010s)]. Moscow: Indrik. <https://doi.org/10.31168/91674-501-6>

Bielik-Robson, A. (2006). Straceni inaczej: dziwni trzydziestoletni i ich kłopoty z samookreśleniem. In P. Nowak (Ed.), *Wojna pokoleń* (pp. 45–73). Warszawa: Prószyński i S-ka.

Bylejakie spory. Rozmowa Janiny Paradowskiej z prof. Bronisławem Jagowskim o polskim kulcie patriotyzmu, ostatniej prezydenturze, dobrych i złych mitach i skrzeczącej nadrzeczywistości (2010). *Polityka*, 20, 21.

Czerwiński, P. (2014). Szacunek dla wszelkiego rebelianctwa jest u mnie rodzinny. In J. Czechowicz (Ed.), *Rok w rozmowie. Pisarze krytycznym okiem. Wywiady Jarosława Czechowicza* (pp. 42–48). Poznań: Simple Publishing.

Florovsky, G. V. (1990). Metafizicheskie predposylki utopizma [The Metaphysical Preconditions of Utopianism]. *Voprosy filosofii*, 10, 80–93.

Geller, L. M. (1985). *Vselennaia za predelami dogmy. Razmyshleniia o sovetskoj fantastike* [Universe Beyond Dogma. Reflections on Soviet Fiction]. London: OPI.

Geller, L., & Nike, M. (2003). *Utopiia v Rossii* [Utopia in Russia]. St Petersburg: Giperion.

Gosk, H. (2010). „Wychować się w momencie historycznego przełomu to żadna przyjemność...” O postzależnościowych aspektach rzeczywistości przedstawionej w polskiej prozie ostatnich lat. In H. Gosk (Ed.), *Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy* (pp. 93–113). Warszawa: ELIPSA.

Jang, M. (1991). Vozvyslenie meritokratii [The Rise of Meritocracy]. In V. A. Chalikova (Ed.), *Utopiia i utopicheskoe myshlenie: antologiiia zarubezhnoi literatury* [Utopia and Utopian Thinking: An Anthology of Foreign Literature] (pp. 317–346). Moscow: Progress.

Janion, M. (2018). Sumerki paradigmy: Fragment [The Twilight of the Paradigm: Fragment]. *Zvezda*, 11, 242–252.

Kisel, A. (2009). Pamiat' chelovechestva [The Memory of Humanity]. *Oktyabr'*, 9, 166–172.

Klimenko, T. N. (2008). *Tipy i tekstoobrazuiushchie funktsii ironicheskikh kontekstov (na materiale romanov-antiutopij)* [Types and Text-Forming Functions of Ironic Contexts (with Reference to Dystopian Novels)] (doctoral dissertation abstract). St Petersburg.

Komovskaya, E. V. (2014). Ot utopii k antiutopii i postantiutopii (zhanrovaia spetsifika romana T. Tolstoi “Kys”) [From Utopia to Dystopia and Post-Dystopia (the Genre Specificity of Tolstaya’s Novel *Kys*)] *Koncept*, 7. Retrieved from <http://e-koncept.ru/2014/14184.htm>

Kukulin, I. (2015). Utochnenie poniatii [Clarification of Concepts]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 132, 304–314.

Lanin, B. A. (2014). Russkaia utopiia, antiutopiia i fantastika v novom sotsial'no-kul'turnom kontekste [Russian Utopia, Dystopia, and Fiction in a New Socio-Cultural Context]. *Problemy sovremennogo obrazovaniia*, 1, 164–169. Retrieved from http://www.pmedu.ru/res/2014_1_15.pdf

Lanin, B. A. *Antiutopiia v literature russkogo zarubezh'ia* [Dystopia in the Literature of the Russian Abroad]. Retrieved from <https://leksii.org/14-65436.html>

Maslenkova, N. A. (2004). “Chernyi iumor” v kontekste ironii i parodii [“Black Humor” in the Context of Irony and Parody]. In S. A. Golubkova, M. A. Perepelkina, & V. P. Skobeleva (Eds.), *Ironiia i parodiia* [Irony and Parody] (pp. 147–151). Samara: Samara University.

Morson, G. (1991). Granitsy zhanra [Genre Boundaries]. In V. A. Chalikova (Ed.), *Utopiia i utopicheskoe myshlenie: antologiiia zarubezhnoi literatury* [Utopia and Utopian Thinking: An Anthology of Foreign Literature] (pp. 233–251). Moscow: Progress.

Nie będzie nowej „Ziemi obiecanej”. Wywiad z Mariuszem Sieniewiczem (2017, March 31). *Gazeta Olsztyńska*. Retrieved from <http://www.wm.pl/index.php?ct=kultura&id=721980>

Pasterska, J. (2010). „Jestem Bombel na przystanku”. O projektowaniu autora w młodej prozie na przykładzie „Bombła” Mirosława Nahacza. In Z. Andres, & J. Pasterski (Eds.), *Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009* (pp. 382–397). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Polovtsev, D. O. (2014). *Lichnost' i obshchestvo v romane Evgeniia Zamiatina “My”* [Personality and Society in Yevgeny Zamyatin’s Novel *We*]. Vitebsk: Biblioteka zhurnala “Sotsial'noe vospitanie”.

Rozum w Polsce wysiada. Rozmowa z J. Tokarską-Bakir (2014, September 21). *Onet wiadomości*. Retrieved from <https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/rozum-w-polsce-wysiada/>

q9s9y?utm_source=yandex.ru_viasg_wiadomosci&utm_medium=referral&utm_campaign=le
o_automatic&srcc=undefined&utm_v=2

Shatsky, E. (1990). *Utopii i traditsiia* [Utopias and Tradition]. Moscow: Progress.

Shestakov, V. (1990). Evoliutsiia russkoi literaturnoi utopii [Evolution of Russian Literary Utopia]. In V. P. Shestakov (Ed.), *Vecher v 2217. Russkaia literaturnaia utopiia* [Evening in 2217. Russian Literary Utopia] (pp. 5–21). Moscow: Progress.

Shestakov, V. P. (2012). Russkaia utopiia v kontekste angliiskoi utopicheskoi traditsii [Russian Utopia in the Context of the English Utopian Tradition]. *International Journal of Cultural Research*, 4 (9), 35–55.

Shishkina, S. G. (2007). Literaturnaia antiutopiia: k voprosu o granitsakh zhanra [Literary Dystopia: On the Question about the Boundaries of the Genre]. *Vestnik gumanitarnogo universiteta IGKhTU*, 2, 199–208.

Smirnov, S. N. Lingvisticheskie interventsii v gumanitarnoi psikhoterapii: gradatsii i oksimorony [Linguistic Interventions in Humanitarian Psychotherapy: Gradations and Oxymorons]. *Ekzistentsial'naia i gumanisticheskaia psikhologiya* [Existential and Humanistic Psychology]. Retrieved from <http://hpsy.ru/public/x3972.htm>

Yur'eva, L. M. (2005). *Russkaia antiutopiia v kontekste mirovoi literatury* [Russian Dystopia in the Context of World Literature]. Moscow: A. M. Gorky Institute of Literature.

Zhelvis V. I. (1995). Nekotorye emotsiogennye osobennosti invektivnogo obshcheniia [Some Emotional Peculiarities of Invective Communication]. In V. I. Shakovsky (Ed.), *Iazyk i emotsii* [Language and Emotion] (pp. 14–24). Volgograd: Peremena.

Zhelvis, V. I. (2015). Bogokhul'stvo kak rechevoi zhanr [Blasphemy as a Speech Genre]. *Zhanny rechi*, 2, 90–95.

Адельгейм Ирина Евгеньевна

доктор филологических наук
ведущий научный сотрудник
Институт славяноведения РАН
119334, Москва, Ленинский проспект, 32-А
E-mail: adelgejm@yandex.ru

Adelgeim, Irina Yevgenyevna

Dr. Hab. (Philology), Leading Researcher
Institute of Slavic Studies,
Russian Academy of Sciences
32-A, Leninsky Ave., 119334 Moscow, Russia
Email: adelgejm@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5208-0848>

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.065

УДК 82-31 + 655.821.521(44) + 130.2 +
+ 140.2 + 821.133.1-3**И. Г. Прудюс***Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева*
Красноярск, Россия

ЧЕРТЫ АНТИУТОПИИ В ГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ П. КРИСТЕНА И С. ВЕРДЬЕ «ОРУЭЛЛ»

Статья посвящена анализу графического романа «Оруэлл» (2019) французских авторов Пьера Кристена и Себастьяна Вердье с точки зрения его жанровой принадлежности — антиутопии. Целью исследования стало определение антиутопических черт произведений данного жанра в XX в. и их трансформации в художественных текстах начала XXI в. В анализируемом романе исследуется история, жизнь, обусловленность жизненной позиции писателя Джорджа Оруэлла в соотнесении с реальностью его самого знаменитого романа — «1984» (1948). В соответствии с заданной целью в качестве методов исследования были выбраны анализ и синтез теоретической информации относительно жанра антиутопии, а также структурно-типологический и сравнительно-сопоставительный методы. В результате анализа были выявлены следующие черты антиутопии в биографическом графическом романе о жизни английского писателя: изображение антигуманистического общества, одиночество и отстраненность Д. Оруэлла как противостояние неидеальному, на его взгляд, окружающему миру, наполненному страхом и отчаянием, борьба писателя с тоталитарным миропорядком, противопоставление насилия и любви. Отличительной особенностью графического романа стало соединение образа Д. Оруэлла с образами героев-бунтарей из его антиутопических произведений, что позволило авторам — П. Кристену и С. Вердье — представить английского писателя как человека, борющегося с неприемлемым для него мироустройством посредством своего творчества. Кроме того, авторы начала XXI в., выводя в центр пророческую, по их мнению, фигуру Д. Оруэлла, подчеркнули преемственность его взглядов в современной литературе, в которой также нередко проявляются антиутопические черты, характеризующие нестабильность настоящего, в котором мы существуем.

К л ю ч е в ы е с л о в а: жанр; графический роман; Джордж Оруэлл; Пьер Кристен; Себастьян Вердье; антиутопия; современная французская литература

Ц и т и р о в а н и е: *Прудюс И. Г.* Черты антиутопии в графическом романе П. Кристена и С. Вердье «Оруэлл» // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 136–151. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.065>

Поступила в редакцию: 20.06.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Irina G. Prudius

*Krasnoyarsk State Pedagogical University
named after V. P. Astafiev
Krasnoyarsk, Russia*

FEATURES OF DYSTOPIA IN P. CHRISTEN AND S. VERDIER'S GRAPHIC NOVEL *ORWELL*

This article analyses the graphic novel *Orwell* (2019) by French authors Pierre Christin and Sebastian Verdier from the point of view of its genre affiliation, i.e. a dystopia. The author aims to reveal the dystopian characteristics of the texts of this genre in the twentieth century and their transformation in the texts of the early twenty-first century. The author of the article presents an analysis of the graphic novel which examines the history, life, and conditionality of the life position of the writer George Orwell in relation to the reality of his most famous novel, *1984* (1948). In accordance with the aim, the author uses the analysis and synthesis of theoretical information regarding dystopia as a genre, as well as structural-typological and comparative methods as research methods. As a result of the analysis, the author reveals the following characteristics of dystopia in the biographical graphic novel about the life of the English writer: the image of the anti-humanistic society which Orwell lived in, his loneliness and detachment as a confrontation with the imperfect surrounding world filled with fear and despair, the writer's fight with a totalitarian world order, and the opposition of violence and love. A distinctive characteristic of the graphic novel was the combination of Orwell's image with the images of rebels from his dystopias which allowed the authors, P. Christen and S. Verdier, to present the English writer as a person struggling with an unacceptable world order with the help of literature. The authors of the early twenty-first century consider Orwell a prophetic figure and bring the writer to the foreground of their graphic novel, thus emphasising the continuity of his views in modern literature which also often shows dystopian features that characterise the instability of the present which we exist in.

Key words: genre; graphic novel; George Orwell; Pierre Christin; Sébastien Verdier; dystopia; contemporary French literature

For citation: Prudius, I. G. (2023). Cherty antiutopii v graficheskom romane P. Kristena i S. Verd'e "Oruell" [Features of Dystopia in P. Christen and S. Verdier's Graphic Novel *Orwell*]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 136–151. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.065>

Submitted: 20.06.2023

Accepted: 24.10.2023

Введение

В XX в. антиутопия становится одним из жанров, с помощью которого авторы пытаются осмыслить катастрофические события как прошлых столетий, так и современного им мира, наполненного неоправданно жестокими и абсурдными событиями. Так, писатели нередко изображают мир, где человеческие

идеалы и ценности разрушаются и где начинают господствовать тоталитарные идеологии. Т. Н. Маркова отмечает следующие особенности жанра антиутопии: «Антиутопия XX века вобрала в себя художественные открытия классического социально-философского и психологического романа: трагедийный конфликт, нравственный выбор героя, философский потенциал» [Маркова, с. 110]. Отметим, что антиутопия, как правило, переосмысливает устоявшиеся каноны утопии, нередко заимствуя структуру и тематику этого жанра. По этой причине существует круг ученых, рассматривающих антиутопию как субжанр утопии (исследования Т. А. Чернышевой [1984], А. Т. Бегалиева [1989], Р. Уильямса [Williams], Х. Гюнтера [1991] и др.), однако другие литературоведы выделяют антиутопию в качестве самостоятельного жанра (работы Э. Я. Баталова [1989], Т. Т. Давыдовой [2016], В. А. Чаликовой [1991], Б. А. Ланина [1993], А. М. Зверева [1989а; 1989б], О. В. Лазаренко [1997] и др.). Согласно Н. В. Ковтун, «антиутопическое содержание раскрывается как в рамках крупных, так и малых эпических форм» [Ковтун, с. 10]. Разнообразие внешних форм антиутопии подчеркивала О. В. Лазаренко: «Жанр антиутопии <...> представлен романом (Е. Замятин “Мы”), повестью (М. Козырев “Ленинград”), рассказом (Е. Зозуля “Гибель Главного Города”), драмой (Л. Лунц “Город Правды”), притчей (В. Соловьев “Краткая повесть об Антихристе)”» [Лазаренко, с. 18]. В начале XXI в. мы находим черты антиутопии в графическом романе, «выросшем» из комикса и получившем широкое распространение в наше время как в зарубежной, так и в отечественной литературе. По мнению автора статьи, графический роман, отличительной особенностью которого является соединение текстового и визуального компонентов, является специфической модификацией не только комикса, но и романа, поскольку наследует его черты (наличие повествования, эволюция главного персонажа, выраженный хронотоп, связь с современностью) и нередко соединяет в себе различные виды этого жанра. Таким образом, цель нашего исследования состоит в выявлении черт антиутопии в такой жанровой форме романа, как графический роман, и, если быть более конкретными, — в биографическом графическом романе французских авторов Пьера Кристена и Себастьяна Вердье «Оруэлл» (Pierre Christin, Sébastien Verdier, *Orwell: Etonien, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jarnidiner, ermite, visionnaire*, 2019).

Писатель, литературовед и журналист Пьер Кристен наиболее известен как автор текстовой части серии французских комиксов «Валериан» (1968–2018), которые он создал совместно с художником Жан-Клодом Мезьером. С Себастьяном Вердье Кристен познакомился в редакции известного французского журнала *Pif*, посвященного комиксам, и в 2019 г. авторы создали биографический графический роман «Оруэлл», где Кристен выступил как сценарист, а Вердье — как иллюстратор, и каждый автор по-своему и своими средствами, вербальными и визуальными, — рассказали историю Эрика Артура Блэра, более известного под псевдонимом Джоржд Оруэлл. Данный графический роман интересен тем, что, уже являясь его субжанром (биографический графический роман) и представляя

собой биографию английского писателя Джорджа Оруэлла, он содержит в себе, по нашему мнению, и жанровые черты антиутопии.

Антиутопические черты в произведении П. Кристена и С. Вердье

Произведение представляет собой последовательное изложение биографии Оруэлла с юного возраста до момента смерти писателя. Это путь от Эрика Блэра к Джорджу Оруэллу, который продемонстрировал «в разных культурно-политических ситуациях свою неместимость в стандарты восприятия» [Мосина, с. 1]. Кристен и Вердье репрезентуют в книге те события из жизни писателя, которые, по их мнению, повлияли на написание романа «1984». Авторы считают данный роман творческим итогом английского писателя, последовательно ведут своего читателя к моменту принятия Оруэллом решения описать несовершенное общество, ограничивающее человека в свободе. Так, Кристен и Вердье отбирают эпизоды из жизни Оруэлла, наполненные трагизмом, чтобы связать его литературное творчество с жизненными событиями. Для большей объективности в репрезентации биографии английского писателя Кристен использует дневники Оруэлла, что Вердье, как автор визуального компонента, подчеркивает специальным шрифтом, отличающимся от шрифта нарративной части. Также следует заметить, что графический роман представлен в черно-белом колоре, однако для обозначения ключевых, по мнению авторов, моментов, Вердье добавляет цветовую палитру, которая парадоксально усиливает пессимизм изображаемых событий.

В данном исследовании мы попытаемся выделить черты антиутопии в произведении Кристена и Вердье. Следует начать с того, что общество, которое претерпевает социальные, экономические, технические и политические преобразования, приводящие к неблагоприятным для человечества событиям, становится основным объектом описания в антиутопиях [Пузанова, с. 147]. В этом обществе всегда есть фигура, которая смотрит на происходящие события незатуманенным взглядом: герой антиутопии — человек с трагической судьбой, желающий противостоять устоям этого общества, несовершенство которого ему очевидно. Причина трагедии такого персонажа, его «духовной или физической гибели заключается в общих принципах организации общества» [Чернышева, с. 173]. Герой не может согласиться с подобными принципами и от этого страдает, а страдание является «ведущей категорией антиутопического текста» [Быстрова, с. 9]. В книге Кристена и Вердье таким страдающим, не принимающим современное ему общество героем оказывается Джордж Оруэлл, которого авторы в начале произведения представляют мальчиком, Эриком Блэром: он уже в детстве был способен видеть несовершенство этого мира.

В начале графического романа Кристен рассуждает о возможной жанровой вариации репрезентации истории Оруэлла:

On pourrait raconter l'histoire en commençant par un hymne impérial à la Kipling puisqu'Eric Blair est né en 1903 au Bengale où son père travaillait au département "Opium"

du gouvernement clonial. On pourrait aussi s'inspirer d'une saga familiale comme *Les Forsythe* de Galsworthy. Mais, si son arrière-grand-père avait possédé des esclaves en Jamaïque, il ne restait plus rien de sa fortune... Un recueil de nouvelles exotiques à la Somerset Maugham, alors, avec un grand-père devenu pasteur en Tasmanie et une mère d'origine française ayant longtemps vécu en Birmanie ?¹ [Christin, Verdier, p. 7–8]

Кристен отвечает самому себе, что Оруэлл в итоге «должен был пойти по пути, все же отличавшемуся от пути великих английских авторов, которые ему предшествовали» («il allait épouser une trajectoire assez différente de celle des grands auteurs anglais l'ayant précédé» [Ibid., p. 9]). Этот путь Кристен и Вердые и будут исследовать в графической биографии. Кристен как автор текста подчеркивает, что юный Блэр пытался уйти от тоскливой реальности с помощью книг (акцент сделан в том числе и на перечислении писателей, с книгами которых Блэр, очевидно, был знаком). Этот аспект усиливается графикой Вердые: мир, окружающий Блэра, нарисован в черно-белых тонах, за исключением моментов, когда будущий писатель читает книгу Герберта Уэллса. Вердые рисует обложку книги в смешении двух цветов — бордового и охры. Так, добавление цвета, с одной стороны, подчеркивает желание мальчика погрузиться в другую, книжную реальность, где фантастика тесно переплетается с действительностью. С другой стороны, эти два цвета, согласно Анни Барон Карве, символизируют сильные эмоции, такие как ярость, страсть, гнев (бордовый), и приближение чего-то неприятного (охра) [Baron-Carvais, p. 42], что отражает будущую судьбу Оруэлла, наполненную трагическими событиями:

En réalité, les goûts littéraires d'un jeune garçon plutôt solitaire les poussaient aussi vers des ouvrages de science-fiction telle *La machine à explorer le temps* de H. G. Wells² [Christin, Verdier, p. 9].

Таким образом, другой путь — это путь от фантастики, от нереализуемых идеалов — к миру антиутопии, к миру своей главной книги «1984».

Путь к написанию главного романа представлен Кристеном и Вердые, начиная с детства Оруэлла. В этом плане интересна антиутопическая черта, обозначенная в статье Р. А. Гальцевой и И. Б. Роднянской: это исключение из антиутопического произведения «родительского принципа», что означает отсутствие родителей у персонажа, таким образом, герой способен «начинать

¹ «Мы могли бы рассказать эту историю, начиная с имперского гимна а-ля Киплинг, поскольку Эрик Блэр родился в 1903 году в Бенгалии, где его отец служил в департаменте “Опиум” колониального правительства. Мы могли бы также вдохновиться семейной сагой типа «Форсайтов» Голсуорси. Однако, хотя его прадед и владел рабами на Ямайке, от его состояния не осталось и гроша... Или, быть может, сборник экзотических рассказов а-ля Сомерсет Моэм, где бы повествовалось о его дедушке — священнике в Тасмании — и матери — французенке, долгое время прожившей в Бирме?» (здесь и далее — перевод текста с французского языка на русский принадлежит автору статьи).

² «В действительности же литературным вкусам довольно одинокого мальчика скорее соответствовали произведения научной фантастики, такие как “Машина времени” Г. Уэллса».

с нуля, разрывая с кровной традицией, обрывая органическую преемственность» [Гальцева, Роднянская, с. 225], что соответствует принципам государственного строя, где он существует. Родители в подаче соавторов у юного Блэра все же есть, однако их образы, особенно образ матери, выведены скорее с отрицательной стороны. Отец в произведении представлен отсутствующим ввиду длительной службы в Индии, вместо отца мы видим только фотографию, нарисованную Вердье, которая становится содержательным элементом³ в образе отца Блэра:

Son père, Richard, qui avait accepté un poste modeste dans le "service" de l'Empire Britannique resta en Inde jusqu'à sa retraite en 1912⁴ [Christin, Verdier, p. 10].

Текстовое описание дополнено рисунком Вердье, который изображает фотографию отца в старинной рамке. Потертости на рамке указывают на то, что Эрик много раз держал ее в руках, думая об отце, а сама рамка, ее старина подчеркивают отдаленность пространства отца от пространства Блэров в Англии. Таким образом, иллюстрация Вердье усиливает мотив одиночества: удаленность отца, физическая и ментальная, показывает отсутствие нравственного ориентира для юного Блэра. Мать Эрика, хоть и жила вместе с ним, но представлена также скорее отсутствующей структурой:

Sa mère, Ida, beaucoup plus jeune menait une vie plutôt mondaine qui la conduisait s'absenter de la maison familiale⁵ [Christin, Verdier, p. 10].

Кристен подчеркивает, что родители Эрика в его жизни фактически отсутствовали:

Bien des années après, Eric Blair allait évoquer une enfance triste et solitaire⁶ [Christin, Verdier, p. 15].

Таким образом, в одиночестве Эрик Блэр формируется как личность.

Авторы графического романа представляют детство Оруэлла как мир, где все перевернуто с ног на голову, что графически подчеркивает Вердье, изображая маленького Эрика, стоящего на голове и видящего мир наоборот. То же самое происходит и в личном мире юного писателя, уже фиксировавшего свои мысли в дневнике, на который опирался Кристен. Отметим, что повествование в антиутопии также часто представлено в форме дневника.

Спасением и отдушиной в жестоком мире для писателя становится его подруга Джасинта Баддиком. Их союз, возвышающийся над черно-белым миром

³ «Фотографии и текст, помещенные в определенный авторский контекст, создают новые смыслы» [Полужктова, с. 101].

⁴ «Его отец, Ричард, занимавший скромный пост на "службе" Британской империи, оставался в Индии до выхода на пенсию в 1912 году».

⁵ «Его мать, Ида, которая была гораздо моложе своего мужа, вела скорее светскую жизнь, поэтому часто не бывала дома».

⁶ «Много лет спустя Эрик Блэр будет вспоминать свое грустное и одинокое детство».

действительности, также можно отнести к чертам антиутопии — это противостояние истинной, живой любви жестокости окружающего мира⁷ [Юрьева]. Эпизоды с Джасинтой проникнуты поэтичностью, молодые люди находятся на лоне природы, они счастливы и забывают о жестокости мира вокруг:

Les meilleurs moments de cette période sont ceux des vacances, en particulier dans le Shropshire, chez les Buddicom hors des vallées verdoyantes rputées pour la pêche au brochet. Eric chasse le lapin pendant que Jacintha ramasse des champignons. Les deux jeunes gens se passionnent pour la faune et la flore⁸ [Christin, Verdier, p. 27].

«Конфликт» с действительностью подчеркивается графическим элементом: ранее Эрик видел мир цветным только в книгах, а теперь он может увидеть и почувствовать цвет на природе рядом с Джасинтой. Вердье снова добавляет цвет: герои изображены рассматривающими зеленые и бордовые листья, что по цветовой гамме указывает на страсть (бордовый), т. е. влюбленность, возникшую между ними, и на «таинственность, нереальность пространства» [Вагон-Сарvais, p. 42], где они находятся (зеленый). В то же время образ природы, как и во многих антиутопиях, своей красочностью подчеркивает обреченность⁹ их отношений на фоне происходящих событий вокруг, что сочетается и с биографией Эрика Блэра, в конце концов вынужденного оставить Джасинту и вступить в ряды Бирманской полиции.

В антиутопии любовь главных персонажей часто является их защитой в мире, где господствует тоталитарный режим. Мотив любви представлен в поэтических взаимоотношениях Оруэлла и его супруги Айлин, его верной подруги на протяжении многих лет. Айлин так же, как и Джасинта, связана с миром природы: одно из первых свиданий происходит на лоне природы, на лошадях, далее герои покупают дом с прекрасным садом и разводят кур и гусей. Однако Оруэлл не может быть внутренне счастлив и спокоен, не участвуя в преобразовании мира, где он живет, поэтому он не может вечно находиться рядом с Айлин.

Одной из черт антиутопии исследователи называют изображение неидеального мира, который Оруэлл нередко описывал в своих произведениях. Центральный персонаж этого мира — герой-бунтарь и одиночка¹⁰ — находится в оппозиции существующему строю. В мире Кристена и Вердье Оруэлл — это их персонаж, этот бунтарь и одиночка, и они изображают его как человека, противостоящего неидеальному миру, который он хотел преобразовать на протяжении всей жизни.

Итак, основным объектом описания в антиутопиях становится общество, «социальная среда» [Ланин, с. 158], враждебные по отношению к человеку.

⁷ Антиутопическая черта, выделенная Л. М. Юрьевой [2005].

⁸ «Лучшие моменты этого периода — в отпуске, особенно в Шропшире, в доме семьи Баддиком, в зеленых долинах, которые прославились клево́м щуки. Эрик охотится на кроликов, а Джасинта собирает грибы. Эти двое страстно увлечены фауной и флорой».

⁹ Антиутопическая черта, выделенная Л. М. Юрьевой [2005].

¹⁰ Антиутопическая черта, выделенная Л. М. Юрьевой [2005].

Несовершенное общество Оруэлл, по мнению авторов, видел на протяжении всей жизни. В книге Кристена и Вердые каждый этап жизни писателя так или иначе связан с таким обществом: в тексте графического романа мы видим пять вариантов социума, содержащих в себе элементы антиутопии.

Первый — это мир школы в Истбурне, куда Оруэлл отправляет учиться его мать, напоминающая стандартного члена тоталитарного общества, когда дает напутствие юному Эрику:

Il faudra que tu travailles plus que les autres et que tu aies une conduite particulièrement irréprochable¹¹ [Christin, Verdier, p. 16].

Школа, которую мать описывает как школу с «блестящей репутацией» («elle [l'école] a une excellente réputation» [Ibid., p. 15]), оказывается местом, где детей фактически подвергают пыткам:

Mme W. Était surnommée Flip. Bien qu'elle affectât la plupart du temps une extrême cordialité... son regard gardait toujours quelque chose d'inquisiteur et d'accusateur. <...> Sambo [un autre professeur] me saisit par la peau du cou, me retourna et commença à me frapper avec la cravache. Cela dura si longtemps... qu'il finit par casser la cravache¹² [Ibid., p. 20–21].

Таким образом, первый, отдельный мир, в который попадает юный Эрик, оказывается миром антиутопии, миром насилия и неисчерпаемой жестокости. В итоге школа сгорает, но мысль о несправедливости мира навсегда поселяется в голове Блэра. Графический элемент, представляющий пожар и соединяющий два цвета — черный (смерть) и оранжевый (напряжение), — отсылает читателя в том числе к сожжению ахейцами Трои, а именно — к картине Иоганна Георга Траутмана, что еще больше усиливает трагизм нахождения мальчика в этом школьном антиутопическом мире.

Далее авторы представляют общество в Бирме, во время пребывания там Оруэлл в 1922 г. Здесь юноша сам совершает акт насилия: он убивает невинное существо, принадлежащее так любимому им миру природы, — слона. В этом эпизоде мы можем выделить еще одну черту антиутопии — порабощение воли человека обществом, обычно тоталитарным [Юрьева], поскольку персонаж теряет индивидуальные черты и становится частью абсурдного механизма:

J'étais là, l'homme blanc armé de son fusil. En apparence, le principal protagoniste de la scène ; en fait une sorte de mannequin, une carcasse vide qui prend des poses. Je n'avais pas envie de tuer l'éléphant. Mais je n'avais pas le choix. La foule se fit soudain

¹¹ «Тебе придется работать усерднее других и вести себя особенно безупречно».

¹² «Мадам В. мы звали Хлыст. Хотя большую часть времени она проявляла крайнее радушие... в ее взгляде всегда сохранялось что-то от обвинителя и даже от инквизитора. <...> Самбо [другой учитель] схватил меня за шкуру, развернул и принялся бить хлыстом. Это длилось так долго... что в итоге хлыст сломался».

silencieuse, immobile, et un profond soupir s'échappa de mille poitrines. Ppaaaaawww!¹³ [Christin, Verdier, p. 31].

Отметим, что звукоподражание *Ppaaaaawww!* написано красным цветом, что, во-первых, в данном случае символизирует кровь животного, а во-вторых, усиливает напряжение — Блэр со страстью, с неистовством убивает слона. В этом эпизоде проявляется и специфическая черта, выделяемая Б. А. Ланиным, это страх как внутренняя атмосфера антиутопии — страх героя, находящегося в обществе, которому он не в силах противостоять:

Je me suis souvent demandé si quelqu'un a un jour compris que ma raison véritable avait été la peur du ridicule¹⁴ [Ibid., p. 33].

Третий вариант представленного социума — это мир Франции в 1929 г., где Оруэлл работал посудомойщиком в отеле на улице Риволи. Кристен и Вердье рисуют мир Франции в гротескно-сатирическом ключе, представляя конфликт героя-одиночки с обществом в лице работников ресторана. В данном эпизоде Кристен использует только дневники Оруэлла: там подробно описана иерархическая система во французском ресторане, где усы могли носить только шеф-повара. Оруэлл описывает два мира: мир кухни ресторана фешенебельного отеля, который походит на социальную лестницу в любой стране, и мир зала ресторана, где обедают только состоятельные люди, что отражает мир аристократии:

Cette affaire de moustache donne quelque idée du subtil système de caste qui régit la vie d'un hotel. Une échelle de préséances aussi rigoureusement définie que dans une armée¹⁵ [Ibid., p. 42].

Четвертый социум, изображенный авторами книги, — это мир Испании времен гражданской войны. Данный эпизод наполнен трагизмом. Оруэлл сам вызывается поехать в Испанию, чтобы «сражаться» и «увидеть все своими глазами, на передовой» («Je ne pars pas à Barcelone pour écrire mais pour me battre. Je veux voir les choses de mes propres yeux et en première ligne» [Ibid., p. 71]). В данном эпизоде можно выделить несколько черт антиутопии. Это репрезентация государства, которое отделено от остального мира, как будто отгорожено огромной стеной [Юрьева]. Такой показана Испания конца 1930-х гг., раздираемая гражданской войной. Филолог Е. С. Долгина выделяет в качестве антиутопической черты представление государства, которое «построено по законам какого-либо

¹³ «Я был там, белый человек с ружьем. С виду — главный протагонист этой сцены, а на деле — что-то вроде манекена, пустой каркас, принимающий позы. Я не хотел убивать слона. Но у меня не было выбора. Толпа вдруг затихла, замерла, и из тысячи легких вырвался глубокий вздох. Бааааах!».

¹⁴ «Я часто спрашивал себя, а понял ли хоть кто-нибудь, что настоящая причина заключалась в том, что я боялся быть осмеянным?».

¹⁵ «Эта история с усами дает некоторое представление о незримой кастовой системе, которая управляет жизнью отеля. Здесь иерархия определена так же остро, как в армии».

реального общественного строя», но одновременно с этим может находиться в «ирреальном пространстве» [Долгина, с. 155]. В графическом романе Кристена и Вердье таким *ирреальным* государством представлен испанский мир.

В этом пространстве мы видим героев-бунтарей, пытающихся бороться со сторонниками Франко. Однако образы этих героев неоднозначны: чтобы быть объективным в изображении событий тех лет, Кристен воссоздает атмосферу в Испании с помощью дневников Оруэлла:

C'était bien la première fois de ma vie que je me trouvais dans une ville où la classe ouvrière avait pris le dessus. Ça et là on voyait des équipes d'ouvriers démolir systématiquement les églises. Les images saintes avaient été brûlées. Personne ne disait plus *señor* ou *don* ni même *usted*: tout le monde se tutoyait, on s'appelait "camarade" et l'on disait *salud* au lieu de *buenos dias*¹⁶ [Christin, Verdier, p. 74].

В данном социуме, с одной стороны, отстаивается свобода рабочего класса, но, с другой стороны, уничтожаются культурные ценности. Мы понимаем, что и в этом обществе провозглашаемые идеалы достигаются посредством насилия, что свойственно антиутопическому обществу. Атмосферу жестокости и царящего хаоса художник Вердье подчеркивает цветовой палитрой: он добавляет красный цвет — цвет флага рабочей партии марксистского единства, который символизирует как борьбу сторонников этой партии, так и пролитую ради этого кровь. Далее Оруэлл начинает даже выдыхать сигаретный дым красного цвета, сам становясь членом этого общества и приверженцем этой партии; красными становятся и написанные им слова в дневнике. В финале этого эпизода Вердье рисует Оруэлла полностью красным, подчеркивая страстность его фигуры и противопоставляя его изначальную веру в принципы партии и реальность, в которой он оказался: он становится одержим войной.

Отметим, что фрагмент, посвященный войне в Испании, в основном состоит из графики, представляющей жестокие сцены нахождения в окопах, ранения и гибели солдат. Кристен и Вердье сосредоточены на изображении бессмысленной войны, где гибнут невинные люди, которых заставили поверить в идеалы, не приносящие самое главное — мир и покой. Из дневниковых записей Кристен оставляет только приведенный выше отрывок и сцену ранения Оруэлла, где он рассказывает, как почувствовал внезапную боль от проникновения пули и лишился чувств. Однако автор текстовой части не добавляет автодокументальные тексты писателя об этой войне, где Оруэлл не только описывает жизнь простых солдат («Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то, верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившись под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны»

¹⁶ «Впервые в жизни я оказался в городе, где к власти пришел рабочий класс. Тут и там мы видели бригады рабочих, сносивших церкви. Иконы были сожжены. Никто больше не говорил *сеньор* или *дон*, никто не обращался на Вы: все называли друг друга «товарищ» и говорили «ты», а также *привет* вместо *добрый день*».

[Оруэлл]), но и формулирует свое отношение к английской интеллигенции, к простому народу и к власти:

Метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война — это ад», а теперь объявившей, что «война — это дело чести» <...> свершилась без промежуточных стадий. Что касается широких масс, их мнения <...> можно регулировать, как струю воды из крана, — все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. <...> Самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испании Франко и нацистам. <...> По сей день остается очень неясным, какие у них были планы, когда они поддерживали Франко; возможно, никаких конкретных не было. Злонамеренны или просто глупы английские правители — вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно [Там же].

Для Оруэлла гражданская война в Испании во многом стала основой его антиутопического дискурса. И целью Кристена и Вердье как писателей начала XXI в., осмысляющих события XX столетия, являлось представление любой войны как чудовищного и бессмысленного события, уносящего жизни людей.

Пятый социум, представленный в книге, — это общество Англии, где мы видим сочетание элементов антиутопии и утопии. Утопический, даже идиллический [Вальянов, с. 58] мир связан с семьей и домом Оруэлла: это жизнь с Айлин и их усыновленным сыном Ричардом, их прекрасный сад, времяпрепровождение на природе, рыбалка, прогулки. Но мир утопии всегда неотделим от мира антиутопии, мы помним про элемент обреченности, связанный с природой: именно в этом идиллическом месте Оруэлл заболевает туберкулезом.

Утопичны и описания Англии, которые Кристен заимствует из дневников Оруэлла. Например, это характеристика английской кухни:

Tout le monde — et même les Anglais — s'accorde à dire que la cuisine anglaise est la plus mauvaise du monde. Eh bien, cela est tout simplement faux. Il existe une multitude de succulentes spécialités. Tout d'abord, les *kippers*, le pudding du Yorkshire, les muffins et les crumpets¹⁷ [Christin, Verdier, p. 104].

Далее в дневниках описано массовое занятие англичанами спортом, а затем Вердье рисует в цвете прекрасный розовый куст:

Au bon vieux temps où rien, dans les grands magasins Woolworth, ne coûtait plus de six pence, un de leurs meilleurs rayons était celui des rosiers. Je suis repassé devant chez moi et le petit rosier, pas plus grand qu'un lance-pierre d'enfant quand je l'avais planté, était devenu un buisson énorme et vigoureux¹⁸ [Ibid., p. 105].

¹⁷ «Все — даже сами англичане — согласны с тем, что английская кухня — худшая в мире. Но это не так. Есть множество вкусных блюд. Прежде всего, копченая рыба, йоркширский пудинг, маффины и пышные оладьи».

¹⁸ «В старые добрые времена, когда ничто в универмагах Вулворта не стоило больше шести пенсов, одним из лучших был отдел, где продавали розы. Оттуда я и принес один маленький розовый кустик, который был не больше детской рогатки, когда я его посадил. Со временем он превратился в огромный мощный куст».

Во-первых, в образе розового куста, который Вердье действительно рисует в розовом цвете, символизирующем мечту, отчетливо заметен образ «старой доброй Англии» — прекрасного мира, где все равны и счастливы. Во-вторых, сопоставляя кухню, спорт и садоводство, Кристен представляет радости обычного простого гражданина, за права которого так ревностно боролся Оруэлл. Однако идеализация этого мира в дальнейшем приводит писателя к разочарованию: надежда на прекрасное будущее, где люди равны и счастливы, и реальность, с которой он каждый раз сталкивался, реальность, где его мечты были разрушены. Т. А. Чернышева считает это закономерностью: «Антиутопия оказывается закономерным следствием исторического развития жанра утопии и возникает из необходимости и переоценки рационалистических схем и концепций, созданных предшествующим развитием утопической мысли» [Чернышева, с. 172].

Также можно заметить и черту, которую выделял А. М. Зверев, — обязательный романский конфликт, который основан на нежелании главного героя признать устои государства, но у него остается возможность отстоять свои убеждения, которые «созданы попыткой сопротивления даже когда по объективным причинам оно кажется немислимым» [Зверев, 1989а, с. 57]. В исследуемом графическом романе в центре конфликта стоит личность реального Оруэлла, которого превращают в героя-бунтаря авторы XXI в. Опираясь на статью из «Литературной энциклопедии терминов и понятий», где антиутопия трактуется как «пародия на жанр утопии либо на утопическую идею» [Литературная энциклопедия терминов и понятий, с. 39], и на мнение В. А. Чаликовой, считающей, что антиутопия — это «карикатура на позитивную утопию, произведение, задавшееся целью высмеять и опорочить саму идею совершенства, утопическую установку вообще» [Чаликова, с. 10], можно сказать, что Кристен и Вердье также иронически критикуют идею о нравственном совершенстве английского общества, которая нередко встречается в литературе.

Пространственно-временная символизация, обозначенная в работе А. Т. Бегалиева [Бегалиев, с. 15], проявляется в том, что герой опережает свое время, а также создает собственное пространство вокруг себя, поэтому его образ становится центральным. Кроме того, фигура Оруэлла соединяется с образами других писателей, упомянутых в книге (Уэллс, Голсуорси, Моэм, Золя) и оказавших влияние на мировую литературу и культуру. По этой же причине образ Оруэлла соединяется в финале и с автором текстовой части графического романа — Пьером Кристеном, который пишет послесловие и отмечает, что хотел как можно тщательнее воссоздать биографию писателя и поэтому буквально «пошел по стопам Оруэлла» («j'ai suivi les traces d'Orwell» [Christin, Verdier, p. 157]).

Выводы

Таким образом, определив черты антиутопии в биографическом графическом романе Кристена и Вердье, мы пришли к выводу о том, что биография английского писателя Джорджа Оруэлла намеренно дополняется антиутопическими

чертами, свойственными его романам. Образ Оруэлла в книге о нем представлен как образ героя-бунтаря и одиночки, противостоящего миру и не теряющего веру в нравственные идеалы до конца жизни, однако эти идеалы один за другим развенчиваются¹⁹. Персонаж Оруэлла пытается найти или же представить правильный, по его мнению, общественный строй. Герой совершает несколько попыток переустройства мира и, когда понимает, что физически мало что может сделать, решает преобразить мир наиболее совершенным для него способом — посредством творчества, что оставляет след в истории человечества. Об этом пишет Кристен уже от своего лица в финале произведения:

Se roman graphique en compagnie de Sébastien Verdier espère être fidèle à celui qui a inspiré toute une partie de mon travail d'anticipation politique²⁰ [Christin, Verdier, p. 157].

Кристен и Вердье, анализируя жизненный и творческий путь Оруэлла, считают катастрофическими события XX в., представленные в графическом романе. В книге основным является черно-белый колор, характеризующий мир как неизменное противостояние добра и зла, а из добавленных цветов преобладает красный, цвет страсти и крови, указывающий на борьбу, которую вел герой. Сочетание этих цветов — черного, белого и красного — ведет читателя к мысли о схематичности, гротесковости изображаемого мира, сделавшего из Оруэлла фигуру, способную нарисовать карикатуру на современный ему социум. В своем комментарии в конце графического романа Кристен пишет, что сейчас состояние общества скорее статично, но все быстротечно в современном мире, о чем писал Оруэлл в дневниках. Так два современных автора создают биографию английского писателя XX столетия в стиле его творческих находок и открытий, указывая на то, что идеи Оруэлла остаются чрезвычайно актуальными и сегодня.

Источники

Оруэлл Дж. Вспоминая войну в Испании / пер. с англ. А. М. Зверева. 1988. URL: https://www.orwell.ru/library/essays/Spanish_War/russian/rsw_1 (дата обращения: 20.06.2023).

Christin P., Verdier S. Orwell : Etonien, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jardiner, ermite, visionnaire. Paris : Dargaud, 2019.

Исследования

Баталов Э. Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. М. : Политиздат, 1989.

Бегалиев А. Т. Современная советская литературная утопия: герой и жанр : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Казахский нац. ун-т. Алма-Ата, 1989.

¹⁹ Данная антиутопическая черта (постепенное разрушение идеалов) выделена А. Н. Воробьевой [2006].

²⁰ «Надеюсь, что этот графический роман, созданный совместно с Себастьяном Вердье, даст должное тому, кто вдохновил меня разобраться в политике».

- Быстрова О. В.* Русская литературная антиутопия 20-х годов XX века: проблема жанра : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Моск. пед. ун-т. М., 1996.
- Вальянов Н. А.* Идиллическое vs утопическое в художественной прозе М. Тарковского // Утопический дискурс в русской культуре конца XIX–XXI веков / науч. ред. Н. В. Ковтун. М. : Флинта, 2021. С. 57–78.
- Воробьева А. Н.* Русская антиутопия XX века в ближних и дальних контекстах. Самара : Изд-во Самарского научного центра РАН, 2006.
- Гальцева Р. А., Роднянская И. Б.* Помеха — человек. Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12. С. 217–230.
- Гюнтер Х.* Жанровые проблемы утопии. «Чевенгур» А. Платонова // Утопия и утопическое мышление / сост. В. А. Чаликова. М. : Прогресс, 1991. С. 252–276.
- Давыдова Т. Т.* Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция (Е. Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.). М. : Флинта, 2016.
- Долгина Е. С.* Жанровые признаки антиутопии в научно-фантастических произведениях зарубежных писателей 1950-х — начала 1970-х гг. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 11. С. 154–158. <https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.11.34/>
- Зверев А. М.* «Когда пробьет последний час природы...» (Антиутопия. XX век) // Вопросы литературы. 1989а. № 1. С. 26–70.
- Зверев А. М.* О Старшем Брате и чреве кита. набросок к портрету Оруэлла // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М. : Прогресс, 1989б. С. 5–21.
- Ковтун Н. В.* Становление русской утопической парадигмы (опыт жанрового анализа) // Философский век. Альманах. Вып. 14 / отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2001. С. 204–223.
- Лазаренко О. В.* Русская литературная антиутопия 1900-х — первой половины 1930-х годов: проблемы жанра : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 1997.
- Ланин Б. А.* Анатомия литературной антиутопии // Общественные науки и современность. 1993. № 5. С. 154–163.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам. М. : НПК «Интелвак», 2001.
- Маркова Т. Н.* Трансформации антиутопии в прозе рубежа XX–XXI веков // Горизонты цивилизации. 2010. № 1. С. 109–119.
- Мосина В. Г.* Проза Джаржда Оруэлла. Творческая эволюция : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Моск. пед. гос. ун-т. М., 2000.
- Полужктова Т. А.* Фототекстуальность как категория поэтики английского романа: жанровая репрезентативность // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2021. Т. 13, № 4. С. 100–110. <https://doi.org/10.17072/2073-6681-2021-4-100-110/>
- Пузанова Е. В.* Особенности антиутопии как жанра литературы // Проблемы и перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, филология, организация работы с молодежью. 2020. № 1. С. 146–152.
- Чаликова В. А.* Предисловие // Утопия и утопическое мышление / сост. В. А. Чаликова. М. : Прогресс, 1991. С. 3–20.
- Чернышева Т. А.* Природа фантастики. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984.
- Юрьева Л. М.* Русская антиутопия в контексте мировой литературы. М. : ИМЛИ РАН, 2005.
- Baron-Carvais A.* La bande dessinée. Paris : Presses Univ. de France, 1994.
- Williams R.* Tenses of imagination: Raymond Williams on science fiction, utopia and dystopia / ed. by A. Milner. Oxford ; Bern ; Berlin : P. Lang [Peter Lang], 2010.

References

- Baron-Carvais, A. (1994). *La bande dessinée*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Batalov, E. Ya. (1989). *V mire utopii: Piat' dialogov ob utopii, utopicheskom soznanii i utopicheskikh eksperimentakh* [In the World of Utopia: Five Dialogues about Utopia, Utopian Consciousness and Utopian Experiments]. Moscow: Politizdat.
- Begaliev, A. T. (1989). *Sovremennaia sovetskaia literaturnaia utopia: geroi i zhanr* [The Modern Soviet Literary Utopia: The Protagonist and the Genre] (doctoral dissertation abstract). Kazakh National University, Alma-Ata.
- Bystrova, O. V. (1996). *Russkaia literaturnaia antiutopiia 20-kh godov XX veka: problema zhanra* [The Russian Literary Dystopia of the 1920s: The Problem of the Genre] (doctoral dissertation abstract). Moscow Pedagogical University, Moscow.
- Chalikova, V. A. (1991). Predislovie [A Preface]. In V. A. Chalikova (Ed.), *Utopiia i utopicheskoe myshlenie* [The Utopia and Utopian Thinking] (pp. 3–20). Moscow: Progress.
- Chernysheva, T. A. (1984). *Priroda fantastiki* [The Nature of Fantasy]. Irkutsk: Irkutsk University Press.
- Davydova, T. T. (2016). *Russkii neorealizm: ideologiya, poetika, tvorcheskaia evoliutsiia (E. Zamiatin, I. Shmelev, M. Prishvin, A. Platonov, M. Bulgakov i dr.)* [The Russian Neorealism: Ideology, Poetics, Creative Evolution (E. Zamyatin, I. Shmelev, M. Prishvin, A. Platonov, M. Bulgakov and others)]. Moscow: Flinta.
- Dolgina, E. S. (2019). Zhanrovye priznaki antiutopii v nauchno-fantasticheskikh proizvedeniakh zarubezhnykh pisatelei 1950-kh – nachala 1970-kh gg. [The Characteristics of the Genre of Dystopia in Science Fiction Works of Foreign Writers of the 1950s – Early 1970s]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, 11, 154–158. <https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.11.34/>
- Gal'tseva, R. A., & Rodnyanskaya, I. B. (1988). Pomekha – chelovek. Opyt veka v zerkale antiutopii [The Hindrance is the Person. The Experience of the Century in the Mirror of Dystopias]. *Novyi mir*, 12, 217–230.
- Günter, H. (1991). Zhanrovye problemy utopii. “Chevengur” A. Platonova [Genre Problems of Utopia. *Chevengur* by A. Platonov]. In V. A. Chalikova (Ed.), *Utopiia i utopicheskoe myshlenie* [The Utopia and Utopian Thinking] (pp. 252–276). Moscow: Progress.
- Kovtun, N. V. (2001). Stanovlenie russkoi utopicheskoi paradigmy (opyt zhanrovogo analiza) [The Formation of the Russian Utopian Paradigm (An Attempt at Genre Analysis)]. In T. V. Artem'eva, & M. I. Mikesheva (Eds.), *Filosofskii vek. Al'manakh* [The Philosophical Century. Almanac] (Iss. 14, pp. 204–223). St Petersburg: Sankt-Peterburgskii Tsentr istorii idei.
- Lanin, B. A. (1993). Anatomii literaturnoi antiutopii [The Anatomy of Literary Dystopia]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, 5, 154–163.
- Lazarenko, O. V. (1997). *Russkaia literaturnaia antiutopiia 1900-kh – pervoi poloviny 1930-kh godov* [The Russian Literary Dystopia of the 1900s – First Half of the 1930s: The Problems of Genre] (doctoral dissertation abstract). Voronezh State University, Voronezh.
- Literaturnaia entsiklopediia terminov i poniatij [The Encyclopedia of Literary Terms and Concepts] (2001). Moscow: NPK “Intelvak”.
- Markova, T. N. (2010). Transformatsii antiutopii v proze rubezha XX–XXI vekov [The Transformations of Dystopia in Prose at the Turn of the 21st Century]. *Gorizonty tsivilizatsii*, 1, 109–119.
- Mosina, V. G. (2000). *Proza Dzhordzha Oruella. Tvorcheskaia evoliutsiia* [George Orwell's Prose. The Artistic Evolution] (doctoral dissertation abstract). Moscow Pedagogical State University, Moscow.

Poluektova, T. A. (2021). Fototekstual'nost' kak kategoriia poetiki angliiskogo romana: zhanrovaia reprezentativnost' [The Phototextuality as a Category of English Novel Poetics: The Representation of Genre]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiiskaia i zarubezhnaia filologiiia*, 13(4), 100–110. <https://doi.org/10.17072/2073-6681-2021-4-100-110/>

Puzanova, E. V. (2020). Osobennosti antiutopii kak zhanra literatury [The Specific Characteristics of Dystopia as a Genre of Literature]. *Problemy i perspektivy sovremennoi gumanitaristiki: pedagogika, metodika prepodavaniia, filologiiia, organizatsiia raboty s molodezh'iu*, 1, 146–152.

Val'ianov, N. A. (2021). Idillichesкое vs utopicheskoe v khudozhestvennoi proze M. Tarkovskogo [Idyllic vs Utopian in M. Tarkovsky's Fictional Prose]. In N. V. Kovtun (Ed.), *Utopicheskii diskurs v russkoi kul'ture kontsa XIX–XXI vekov* [Utopian Discourse in Russian Culture of the Late 19th – 21st Centuries] (pp. 57–78). Moscow: Flinta.

Vorob'eva, A. N. (2006). *Russkaia antiutopiia XX veka v blizhnikh i dal'nikh kontekstakh* [The Russian Dystopia of the 20th Century in Close and Far Contexts]. Samara: Izdatel'stvo Samarskogo nauchnogo tsentra RAN.

Williams, R. (2010). *Tenses of Imagination: Raymond Williams on Science Fiction, Utopia and Dystopia*. Oxford; Bern; Berlin: P. Lang [Peter Lang].

Yur'eva, L. M. (2005). Russkaia antiutopiia v kontekste mirovoi literatury [The Russian Dystopia in the Context of World Literature]. Moscow: IMLI RAN.

Zverev, A. M. (1989a). "Kogda prob'et poslednii chas prirody..." (Antiutopiya. XX vek) ["When the Last Hour of Nature Comes..." (Dystopia. 20th Century)]. *Voprosy literatury*, 1, 26–70.

Zverev, A. M. (1989b). O Starshem Brate i chreve kita. Nabrosok k portretu Oruella [About the Big Brother and the Belly of the Whale. A Sketch for a Portrait of Orwell]. In G. Orwell, "1984" i esse raznykh let [1984 and Essays from Different Years] (pp. 5–21). Moscow: Progress.

Прудиус Ирина Геннадьевна

кандидат филологических наук
доцент кафедры мировой литературы
и методики ее преподавания
Красноярский государственный
педагогический университет
им. В. П. Астафьева
660049, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89
E-mail: m-i-g@yandex.ru

Prudius, Irina Gennadievna

PhD (Philology), Associate Professor
Department of World Literature
and its Teaching Methods
Krasnoyarsk State Pedagogical University
named after V. P. Astafyev
89, Ada Lebedeva St., 660049 Krasnoyarsk,
Russia
Email: m-i-g@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8071-9696>
WoS ResearcherID: JJD-9964-2023

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛАСТИ В ИСТОРИИ РОССИИ

SOCIAL MECHANISMS OF POWER IN THE HISTORY OF RUSSIA

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.066
УДК 351(470.23-25) + 94(470.23-25)“1722/1723” +
+ 929 Петр(470)*1 + 929 Меншиков +
+ 94(470):332.1

М. Т. Накишова
*Уральский
федеральный университет*
Екатеринбург, Россия

РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (на примере строительства постоянных дворов в 1722–1723 гг.)

Данная статья ставит в центр внимания вопрос влияния личностного фактора на процесс выработки, принятия и реализации политических решений в России первой трети XVIII в., в частности в Санкт-Петербурге. Прежде всего указывается, что Санкт-Петербург как новая имперская столица играл двойственную роль в системе управления. С одной стороны, он представлял собой уникальный прецедент, не имевший аналогов; с другой стороны, город выступал плацдармом для проведения управленческих экспериментов, наиболее удачные из которых планировалось распространить на всю территорию государства. В связи с этим на ключевые должности внутри системы управления Санкт-Петербурга назначались наиболее могущественные и доверенные лица, чьи поведенческие стратегии напрямую влияли на процесс реформирования. В качестве примера, который наглядно отражает роль личностного фактора в системе управления, выбран сюжет, касающийся строительства нескольких комплексов казенных постоянных дворов в Санкт-Петербурге в 1722–1723 гг. Показывается, каким образом генерал-губернатор А. Д. Меншиков осуществлял общее руководство строительными мероприятиями, а затем продвигал инициативу по публикации именного указа, запрещавшего частный найм жилья для приезжих в город и принуждавшего их селиться в казенные постоянные дворы. Также прослеживается роль государственных деятелей (А. М. Девиера, П. И. Ягужинского, И. И. Бибикова, П. А. Толстого, А. И. Остермана, Ф. М. Апраксина), развернувших кампанию по противодействию инициативе князя, и реконструируются обстоятельства последовавшей за этим отмены указа. В итоге делается вывод о решающей роли личностного фактора в системе государственного управления, важности наличия или отсутствия

у государственных деятелей ресурса царского доверия и влияния широкой сети социальных связей, позволявших заручиться поддержкой в контексте выработки политически значимых решений.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Санкт-Петербург; генерал-губернатор; комендант; генерал-полицеймейстер; система управления; социальные связи; политическое решение; постоянные дворы; А. Д. Меншиков

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке Уральского гуманитарного института УрФУ (программа «Мой первый грант»).

Ц и т и р о в а н и е: *Накишова М. Т.* Роль личного фактора в системе управления петровского Санкт-Петербурга (на примере строительства постоянных дворов в 1722–1723 гг.) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 152–169. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.066>

Поступила в редакцию: 11.01.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Marina T. Nakishova

Ural Federal University

Ekaterinburg, Russia

ROLE OF THE PERSONAL FACTOR IN THE ST PETERSBURG GOVERNMENT SYSTEM UNDER PETER THE GREAT (with Reference to Inn Construction in 1722–1723)

This article focuses on the role of the personal factor on the process of developing, making, and implementing political decisions in the Russian Empire in the first third of the eighteenth century, and, more particularly, in St Petersburg. First, it is claimed that St Petersburg as the new imperial capital played a dual role in the government system. On the one hand, it represented a unique precedent that was unparalleled; on the other hand, the city acted as a bridgehead for administrative experiments, the most successful of which were planned to be extended to the territory of the entire state. In this regard, the most powerful and trusted persons, whose behavioural strategies directly influenced the reform process, were appointed to key positions within the government system of St Petersburg. The author refers to the construction of several complexes of inns in St Petersburg in 1722–1723 as an example that clearly marks the role of the personal factor in the government system. The article demonstrates how prince A. D. Menshikov, governor-general of St Petersburg Province carried out the general management of construction activities, and then promoted an initiative to publish a royal decree prohibiting private hiring of housing for visitors to the city and forcing them to settle in state inns. The author examines the role of other statesmen (A. M. Devieir, P. I. Yaguzhinsky, I. I. Bibikov, P. A. Tolstoy, A. I. Osterman, F. M. Apraksin), who launched a campaign to counter the prince's

initiative and the circumstances of the subsequent cancellation of the decree. As a result, it is concluded that the personal factor in the system of public administration, the importance of the tsar's trust, and a wide network of social ties that made it possible to enlist support in the context of political decisions played the most significant role.

Key words: St Petersburg; governor-general; commandant; chief general of police; government system; social ties; political decision; inns; A. D. Menshikov

Acknowledgements

The author would like to express deep gratitude to the Ural Institute for the Humanities, UrFU, for funding the research ("My First Grant" Programme).

For citation: Nakishova, M. T. (2023). Rol' lichnostnogo faktora v sisteme upravleniia petrovskogo Sankt-Peterburga (na primere stroitel'stva postoiialykh dvorov v 1722–1723 gg.) [Role of the Personal Factor in the St Petersburg Government System under Peter the Great (with Reference to Inn Construction in 1722–1723)]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 152–169. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.066>

Submitted: 11.01.2023

Accepted: 24.10.2023

История имперской столицы Санкт-Петербурга неизменно связана с именем Петра I и является плодом его государственного гения. Известно, что Санкт-Петербург мыслился российским монархом как современный для того времени, регулярный административный центр. Создание города-парадиза на берегах Невы представлялось делом государственной важности — на это было брошено множество человеческих сил, материальных ресурсов, творческой энергии и идей. При этом целенаправленно приступить к строительству и благоустройству города Петр I смог только после победы в Полтавской битве 1709 г. и завоевания в 1710–1714 гг. Эстляндии, Лифляндии, Карелии и Финляндии. До этого петербургские дела по большей мере лежали на плечах соратников государя, назначенных на должности городского управления, многие из которых так же отлучались из Санкт-Петербурга для участия в боевых действиях и не могли системно вникнуть в местные проблемы. В дальнейшем, по мере завершения Северной войны, военные вопросы отходили на второй план, все больше актуализировались задачи гражданского управления, связанные с созданием эффективно функционирующей системы органов государственной власти. Град Святого Петра при таком раскладе стал одним из важнейших объектов для внедрения нововведений.

С точки зрения истории местного управления Санкт-Петербург петровского периода можно рассматривать с двух взаимосвязанных позиций. С одной стороны, он являлся уникальным прецедентом. Будущую имперскую столицу создавали практически с нуля, на ее территории вводили новые практики повседневной городской и придворной жизни, учреждали новые государственные институты, подобных которым не было ни в одной другой части России.

Так, для Санкт-Петербурга разрабатывались строительные планы, основанные на принципах регулярности. С 1703 г. инициировалось создание нескольких архитектурных проектов для Адмиралтейской и Московской сторон. Поскольку там уже существовала стихийная застройка, которую в какой-то момент было легче оставить, чем сломать полностью, было принято решение построить регулярный город в другом месте. Первоначально взгляд государя упал на о. Котлин, но его географическое положение заставило Петра I отказаться от данной затеи — в военное время о. Котлин был слишком уязвим. В середине 1710-х гг. монарх решил создать образец регулярного города на Васильевском острове, где застройки, кроме дворца генерал-губернатора А. Д. Меншикова, практически не имелось [Агеева, 2009; Николаева]. В 1714 г. Петр I издал указ, запрещающий строительство каменных домов по всей стране, кроме Санкт-Петербурга, а с 1715 г. началась кампания по принудительному переселению наиболее состоятельных представителей дворянства и купечества на территорию Васильевского острова [ПСЗРИ-1, т. IV, № 2848; т. V, № 2951, 3305, 3332, 3348; т. VI, № 3538, 3634, 3673, 3766; т. VII, № 4405, 4505]. Проекты планов василеостровского строительства, чертежи образцовых домов и прочие нормы были разработаны в 1716–1717 гг. архитекторами Д. А. Трезини и Ж.-Б. А. Леблонном.

Особое место Санкт-Петербурга в петровском государстве усиливала и приписываемая ему символическая роль, которая декларировалась в царских указах и идеологических концепциях [Агеева, 1999, с. 53–70]. Город призван был олицетворить просвещенную в ходе реформ Россию, способную завоевать особую «славу» в Европе [Там же, с. 61]. При этом Санкт-Петербург рассматривался Петром I как столица государства, хотя законодательно перенос столичного статуса из Москвы в Санкт-Петербург нигде оформлен не был [Анисимов, с. 71–73]. Первыми на берега Невы перебрались сам монарх и его ближайшее окружение, в которое входили сподвижники государя, руководители центральных учреждений — таким образом возникли «походные» отделения приказов, со временем перехватившие власть у своих московских центров. С 1704 г. в Санкт-Петербурге принимали посланников европейских монархов; в 1712 г. туда переехал Правительствующий Сенат.

С другой стороны, город-парадиз выступал плацдармом для различных нововведений и управленческих экспериментов, которые затем должны были стать нормой для всей страны в целом. Например, на улицах Санкт-Петербурга впервые в России создавалось фонарное освещение наподобие других европейских городов. В 1720 г. был изготовлен и установлен около Зимнего дома Петра I первый образцовый масляный фонарь. Чуть позже фонари появились на Санкт-Петербургском острове возле государственных учреждений, на Адмиралтейском и Васильевском островах [Там же, с. 346]. Фонарные стекла производились на ямбургских заводах генерал-губернатора А. Д. Меншикова, поскольку, по мнению генерал-полицеймейстера А. М. Девиера, занимавшегося их установкой, «чистой стеклянной материи, кроме тех ямбургских заводов, здесь нигде не обретаеця» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 577, л. 100]. В 1723 г. Петр I ввел особый налог

на содержание фонарей [Анисимов, с. 346–347]. После успешного внедрения в повседневную жизнь петербуржцев фонарное освещение было распространено за пределы столицы и стало обычной чертой городского благоустройства.

Другим показательным примером может выступать учреждение в 1718 г. должности генерал-полицеймейстера, которому предписывалось «добрую полицию учредить» и всячески ее поддерживать. В первоначальной инструкции (пунктах) сфера компетенции генерал-полицеймейстера и образовавшейся впоследствии под его руководством Полицеймейстерской канцелярии ограничивалась исключительно территорией столицы. Однако, как утверждает М. И. Сизиков, наличие у должности приставки «генерал» и помещение ее в 5-й класс Табели о рангах, т. е. выше чинов местного значения, свидетельствует о том, что генерал-полицеймейстер рассматривался законодателем как институт центрального управления и, соответственно, со временем должен был распространить свою власть на всю страну [Сизиков, с. 94]. В январе 1722 г. Полицеймейстерская канцелярия появилась в Москве, там был назначен свой руководитель — обер-полицеймейстер М. Т. Греков, который посылал отчеты к А. М. Девиеру и координировал с ним свою деятельность. В том же году по указу, объявленному генерал-полицеймейстером, полиция заводилась на о. Котлин [РГАДА, ф. 1451, оп. 1, д. 20, л. II]. Одновременно происходили попытки законодательно определить подчиненность Главной полицеймейстерской канцелярии в Санкт-Петербурге¹ — 23 июня 1723 г. по указу государя канцелярии предписывалось посылать доношения в Сенат, наравне с другими органами центральной власти и учреждениями с «особым правлением» [Новый памятник законов Империи Российской, ч. 9, отд. I, с. 393].

Надо полагать, исключительным отношением государя к Санкт-Петербургу определялся и тот факт, что на руководящие должности в системе городского управления назначались по преимуществу люди доверенные, проверенные годами службы. В 1703 г. петербургским (на полгода ранее — шлиссельбургским) губернатором стал ближайший друг Петра I А. Д. Меншиков; ингерманландским обер-комендантом в том же году был назначен пользующийся царским доверием Р. В. Брюс; Канцелярию городовых дел в разное время возглавляли проверенные различными миссиями У. А. Сенявин и кн. А. М. Черкасский; во главе Полицеймейстерской канцелярии встал А. М. Девиер, генерал-адъютант государя; Адмиралтейством, являвшимся одним из управленческих доминант города, руководил Ф. М. Апраксин, и т. д. Неординарные управленческие способности данных государственных деятелей и их неподдельная преданность монарху были хорошо известны как Петру I, так и его современникам. Поэтому именно они были выбраны государем для руководства учреждениями, занятыми в нелегком деле создания царской мечты, города-парадиза на берегах Невы. Как представляется, личностные качества петровских соратников непосредственно

¹ После учреждения Полицеймейстерской канцелярии в Москве, канцелярия в Санкт-Петербурге начала именоваться в документах Главной полицеймейстерской.

влияти на ход петербургских дел, а их отношения друг с другом способствовали эффективному или неэффективному решению насущных управленческих задач.

Можно привести не один пример того, каким образом характер социальных связей, сложившихся между руководителями городских органов власти, отражался на процессе выработки, принятия и реализации политических решений. Настоящая статья посвящена подобному частному случаю, имевшему место в 1722–1723 гг. и связанному со строительством нескольких комплексов постоянных дворов на Московской и Санкт-Петербургской (Городовой) сторонах. Данный сюжет был выбран, исходя из двух принципиальных соображений. Во-первых, нельзя не отметить крайнюю насущность жилищной проблемы для Санкт-Петербурга. В столицу с первых же лет ее существования направлялось огромное количество людей, переселявшихся в город по доброй воле или по принуждению, с целью несения службы и получения заработка. Соответственно социальному статусу и финансовым возможностям существовало несколько вариантов размещения — переселение на «вечное жительство», постой (для военных), частный наем жилых помещений и др. Практика использования казенных постоянных дворов внедрялась в качестве решения проблем тех переселенцев, кто не имел в городе собственного дома либо не мог подселиться к знакомым, желавшим оказать радушный прием². Во-вторых, как показывают источники, мероприятия по строительству постоянных дворов в Санкт-Петербурге объединили государственные институты местного и всероссийского масштаба, а также различных государственных деятелей, часть из которых с точки зрения официальной иерархии и субординации не имела ни малейшего отношения к петербургским делам. Поэтому анализ обстоятельств реализации данного строительного проекта позволяет актуализировать исключительную значимость социальных связей, соединявших петровских соратников, и подчеркнуть их решающую роль в процессе выработки политических решений.

Итак, наибольшим личным и должностным влиянием в Санкт-Петербурге пользовался санкт-петербургский губернатор (затем — генерал-губернатор) А. Д. Меншиков. Положение Александра Даниловича в политической иерархии

² Кроме того, у постоянных дворов было несколько значительных преимуществ и для государственных интересов. Прежде всего, подобный вид размещения позволял петербургским властям вести учет прибывших в город в разы эффективнее, нежели при их стихийном подселении в дома к горожанам. В последнем случае владельцам недвижимости в Санкт-Петербурге, согласно инструкции генерал-полицмейстеру 1718 г., необходимо было доносить о любом человеке, приехавшем или уехавшем от них. Подселяться в дома петербуржцев дозволялось только тем, кто имел специальное разрешение, а хозяину необходимо было оформить в Полицеймейстерской канцелярии «жилую запись» с поручительством [Кошелева, 2004б; Семенова, с. 136–137]. Также предполагалось, что постоянные дворы будут приносить какой-то доход казне. Деньги, полученные с постоянных дворов, употреблялись на строительство ветряных мельниц на территории Санкт-Петербурга [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 379, л. 190]. Царским указом от 13 декабря 1723 г. устанавливалось отдавать четвертую часть доходов вместе с посаженными деньгами и «хомутным сбором» в распоряжение Главной полицеймейстерской канцелярии для содержания фонарей и чистки улиц [ПСЗРИ-1, т. VII, № 4391].

во многом определялось его дружескими отношениями с государем. Как отмечают исследователи, близость А. Д. Меншикова к царю была структурообразующим фактором для всей сети его социальных связей, он выступал в качестве посредника, который мог, выбрав «благополучный час», донести до монарха любую информацию в выгодном свете [Анисимов, Базарова, Проскуракова, с. 57]. Поэтому вполне объяснимо, что в 1703 г., когда Ингерманландия подвергалась постоянной военной угрозе, создание города-парадиза не могло быть поручено никому другому, кроме как преданному, ловкому и административно одаренному А. Д. Меншикову.

Несмотря на то, что в течение своего губернаторства А. Д. Меншиков принимал живое участие в военных действиях Северной войны, отправлялся с царскими поручениями в Малую Россию, Ревель и Ригу, подолгу задерживался в Москве, решая свои частные проблемы, он всегда старался держать петербургские дела под контролем [Андреева, 2003; 2005]. Внутри городской и губернской систем управления А. Д. Меншиков умело конструировал социальные связи, проводя своих ставленников на ключевые должности или выстраивая лояльные отношения с другими руководителями. Где бы князь ни находился и как бы ни был занят, он требовал от своих петербургских подчиненных и соратников подробных донесений³.

Глазами и руками кн. А. Д. Меншикова в Санкт-Петербурге в исследуемый период по преимуществу выступали два человека — петербургский комендант Я. Х. Бахмеотов и военный руководитель города кн. М. М. Голицын. Как генерал-губернатор и президент Военной коллегии А. Д. Меншиков являлся непосредственным руководителем петербургского коменданта и имел право назначить на эту должность любого, кого считал достойным [ПСЗРИ-1, т. IV, № 2484]. В течение своего комендантства Я. Х. Бахмеотов отчитывался перед князем по всем направлениям деятельности как внутри крепости, так и на территории города [Накишова, 2022а]. М. М. Голицын был назначен на должность военного руководителя⁴ Санкт-Петербурга в декабре 1721 г.⁵ и получил под свое ведомство управление вооруженными силами, располагавшимися в городе (за исключением Санкт-Петербургской крепости), некоторые строительные

³ Так, в 1719 г. А. Д. Меншиков настойчиво обращался к ингерманландскому обер-коменданту Р. В. Брюсу: «Вашего превосходительства два писания от 17 и от 20 сего июля, ис Питербурха к нам писанные, купно с приложенными при оных надлежащими нам письмами я здесь получил, за которые, також и за прочие уведомления, вашему превосходительству благодарствую и притом предлагаю, дабы и впредь оными нас на каждую неделю по дважды о всем, что у вас чинится будет, известием сообщать не оставляли» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 131, л. 87].

⁴ Данная должность может рассматриваться как чрезвычайная, созданная Петром I на время Персидского похода 1722–1723 гг.

⁵ 11 декабря 1721 г. М. М. Голицын писал к А. Д. Меншикову: «...сего декабря 11 дня по отбытии вашей светлости получил я из Государственной Военной коллегии за подписанием руки вашей светлости и прочих инструкцию, по которой по должности исправлять буду» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 518, л. 62].

работы на территории столицы и в ее округе, общий надзор за близлежащими крепостями. Как показывают материалы корреспонденции, Михаил Михайлович регулярно извещал А. Д. Меншикова о петербургских делах, находящихся в его ведении. При этом стоит подчеркнуть, что после назначения М. М. Голицына в наиболее парадоксальной ситуации оказался Я. Х. Бахмеотов. Ему следовало дублировать отчеты, отосланные напрямую князю, М. М. Голицыну, который со своей стороны передавал полученные от коменданта сведения Александру Даниловичу.

Помимо тесных контактов с Я. Х. Бахмеотовым и М. М. Голицыным А. Д. Меншиков выстраивал другие информационные каналы, посредством которых узнавал о происходящем в столице. Среди княжеских корреспондентов обнаруживаются наиболее влиятельные персоны центральной и местной систем управления: генерал-полицеймейстер А. М. Девиер, кабинет-секретарь Петра I А. В. Макаров, генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, обер-комиссар Канцелярии от строений У. А. Сенявин и пр.⁶ Таким образом, благодаря своим высокопоставленным информантам, генерал-губернатор был хорошо осведомлен о петербургских делах и, более того, имел мощные административные ресурсы для реализации на практике управленческих инициатив.

Одной из новаторских идей А. Д. Меншикова стал проект по созданию в Санкт-Петербурге системы постоянных дворов (домов). В целом практика размещения приезжего населения в постоянных дворах была хорошо известна в столице и до 1722–1723 гг. На территории города существовало несколько видов постоянных дворов, принадлежавших различным собственникам: частные, построенные на средства государственных деятелей, и казенные дома. Согласно С. П. Луппову, одним из первых появился постоянный двор А. Д. Меншикова, который находился за Исаакиевской церковью, ниже Адмиралтейства и использовался для государственных целей — в нем жили иностранные мастеровые, привлекавшиеся к строительным работам в городе [Луппов, с. 34, 92, 94]. Принадлежавшие казне постоянные дворы появились в первое десятилетие существования города. По подворной описи Петербургской стороны за 1713 г. на Санкт-Петербургском (Городовом) острове при входе в Посадскую улицу, напротив Гостиного двора находился постоянный дом, называвшийся «фатерной избой». В нем по распоряжению квартирмейстера можно было найти временный приют до назначения на постой в жилом доме [Луппов, с. 151; Петров, с. 98–99]. Также встречаются упоминания о постоянных дворах, принадлежавших Артиллерийскому ведомству и сдававшихся от него в аренду. П. Н. Петров отмечал, что 6 июня 1723 г. «была замечательная гроза, с вихрем и бурей, которую сломан

⁶ Показательным примером получения А. Д. Меншиковым информации об одном и том же событии из нескольких источников является его интерес к обстоятельствам пребывания в Санкт-Петербурге чрезвычайного посла, мазовецкого воеводы Ст. Хоментовского в 1720 г. [Накишова, 2021]. Подобных случаев в источниках и историографии находится множество.

один из постоянных дворов, построенных в теперешней Литейной части, между Косым Дементьевским переулком, Фонтанкою и Невою» [Петров, с. 220–221].

В 1722–1723 гг. на Санкт-Петербургской и Московской сторонах предполагалось построить не единичные избы, а комплексы постоянных домов, оснащенные всей необходимой инфраструктурой (банями, сараями, лавками и пр.). Согласно указанию А. Д. Меншикова постоянные дворы надлежало возводить «на Санкт-Петербуржском острове по берегу реки Невы, начав от того места, где начать строить Стрешнева мазанки, к Гагаринской пристани» и «на другой стороне близь Синоду... до дому покойного генерала-лейтенанта Брюса (санкт-петербургский обер-комендант Р. В. Брюс. — *М. Н.*)» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 180, л. 380, 463 об.]. Дома, как отмечал А. И. Богданов, «построены были на сваях нарочитыя светлицы и архитектурую преизрядною украшены были, то есть: убиты тесом с карнизами и пилястрами и прочее убранство, а при том и выкрашены» [Богданов, с. 141].

Непосредственно работами на месте руководил санкт-петербургский комендант Я. Х. Бахмеотов, которому А. Д. Меншиков выдал инструкцию, устанавливавшую: строить дворы на берегу р. Невы по чертежу; копры для бития свай требовать у генерал-полицеймейстера А. М. Девиера и обер-комиссара Канцелярии городских дел У. А. Сенявина; на покупку леса и необходимых материалов деньги взять у дьяка Ф. Захарова и принять из Ладоги у майора А. Алябьева; пустующие после отъезда французских строителей дома на Васильевском острове перевозить и употребить под строение⁷; лес покупать за самую дешевую цену; определить к строению батальон Лефортовского полка и батальон Петербургского гарнизона; обо всем рапортовать и, наконец, «поступать как доброму и верному офицеру надлежит» [Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии..., № 1]. Я. Х. Бахмеотов, помимо прочего, подготавливал место для строительства, находил материалы, осуществлял найм групп рабочих и подрядчиков, организовывал деятельность гарнизонных подразделений, занятых в работах, контролировал строительные мероприятия и благоустраивал инфраструктуру, отвечал за ремонт внутренних и подсобных помещений, вел учет затрат и т. д. [Накишова, 2022а]. Как показывают доношения коменданта, несмотря на определенную долю самостоятельности, все свои действия он координировал с генерал-губернатором и не смел приводить в действие ни одно решение, не получив его одобрения.

Более того, А. Д. Меншиков выступал посредником между Я. Х. Бахмеотовым и другими должностными лицами, занятыми в управлении Санкт-Петербургом (М. М. Голицыным, А. М. Девиером, У. А. Сенявиным и др.) в случаях, когда дело находилось на пересечении их сфер компетенции. Так, в 1722 г. князю пришлось вмешаться в конфликт, произошедший между комендантом и генерал-полицеймейстером А. М. Девиером. 4 и 8 октября Я. Х. Бахмеотов

⁷ Эти дома должен был показать Я. Х. Бахмеотову архитектор Д. А. Трезини, которому А. Д. Меншиков дал соответствующие указания [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 180, л. 413 об.].

подал А. Д. Меншикову две жалобы, указывая, что генерал-полицеймейстер требовал у него возвращения фашин, выданных от Главной полицеймейстерской канцелярии для строительства постоянных дворов, и несправедливо передал землю вблизи Литейного канала обер-комиссару У. А. Сенявину [Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии..., № 6, 7]. А. Д. Меншиков сразу же написал А. М. Девиеру с требованием разобраться, аргументируя, что в земле при строительстве постоянных дворов «обстоит большая нужда» и что фашины принадлежали казне, поэтому определять их на счет Полицеймейстерской канцелярии, а следовательно, и требовать к возврату некорректно [Там же, № 8, 9]. Генерал-полицеймейстер, со своей стороны, обвинил в неподобающем поведении коменданта, на чем конфликт был исчерпан [Там же, № 11].

Строительство комплексов постоянных дворов хоть и ставило перед должностными лицами большое количество управленческих задач, оказалось менее значимой проблемой, нежели необходимость сдачи домов внаем или на откуп. Первый вариант предполагал, что постояльцы заселялись в квартиру, пользовались банями и прочей инфраструктурой, при необходимости покупали у коменданта сено и овес для лошадей, а также другие предметы быта. За все предоставленные услуги с них взималась плата. Во втором случае дома отдавались с торга на откуп на определенный срок, и сам откупщик обеспечивал их использование и заселение. Изначально откупщикам предлагалось взять дом на два года, но А. Д. Меншиков усмотрел, что данный срок слишком долг и предложил новый — один год. Этот откупной срок вызвал недовольство [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 379, л. 137; д. 518, л. 131–131 об.]. Так, 22 мая 1723 г. Я. Х. Бахметов передавал князю просьбу греческого купца Г. Галатьянова, желавшего взять на откуп постоялый дом на Санкт-Петербургском острове «против его братии» на два года вместо одного [Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии..., № 19; РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 518, л. 250–250 об.]. В целом, стоит отметить, что откуп постоянных дворов для купцов и других желающих был крайне невыгоден, поскольку дома не пользовались должной популярностью и приносили им скорее убытки, нежели какие-либо доходы [Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии..., № 20]. Также и наем комнат не отличался прибыльностью — комендант в письмах и доношениях постоянно (особенно, в 1722 г.) жаловался генерал-губернатору на пустующие помещения [Там же, № 13, 14; РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 379, л. 116, 129].

Стремясь обеспечить новопостроенные дворы постояльцами, А. Д. Меншиков инициировал издание принудительных указов. В октябре 1722 г. он обратился к генерал-полицеймейстеру А. М. Девиеру, к чьей сфере компетенции относилась публикация указов в Санкт-Петербурге, с указанием: «...предлагаем вашей милости, когда постоялые хотя два или три дома в отделке будут, тогда немедленно извольте опубликовать Его императорского величества указом, которые люди в домех своих имеют постой или отдают для приезжих всякого чину людей для своей прибыли в наймы, и те б люди впредь в домех своих постой не имели и в наймы не отдали, а кто пожелает иметь из найму постой и те б люди

для найму оных постоялых дворов являлись генералу, ковалеру, его сиятельству князю Голицыну» [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 180, л. 493]. Письма с тем же содержанием А. Д. Меншиков отправил Я. Х. Бахмеотову и М. М. Голицыну. Причем первому из них он обещал, если тот приложит свой посильный труд, то будет награжден «Его императорского величества милостью», а последнему добавлял: на случай, если постояльцев в постоялые дома не будет, то «изволите приказать определить на оные постоялые дворы Санкт-Петербурхского гарнизона из обер-афицеров доброго и правдивого человека, придав ему несколько салдат, и дать ему ордер, чтоб оной в те дома купецкие и протчие всякого чину и иностранных людей, кои приезжают в Санкт-Петербурх за своими промыслами и нуждами, пускал жить, коликое время кто похочет жить, из найму в щоту полагать, осведомясь против того, как в Санкт-Петербурхе до сего времени бывало, и оные дома велеть ему содержать в чистоте» [Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии..., № 10; РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 180, л. 492 об.]. Как показывают дальнейшие события, указы о постоялых дворах именем Его императорского величества были опубликованы из Полицеймейстерской канцелярии⁸. Однако проблем это не решило — подобный указ не соблюдался, а откупщиков и съемщиков жилья находилось немного. В феврале 1723 г. А. Д. Меншиков снова писал Я. Х. Бахмеотову и М. М. Голицыну о необходимости подтверждения указов [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 191, л. 53 об.; д. 379, л. 137–138 об.; д. 518, л. 256].

Нерешенные проблемы с окупаемостью постоялых дворов вынудили генерал-губернатора апеллировать напрямую к монарху. Как указывает О. Е. Кошелева, 2 июля 1723 г. на корабле «Святая Екатерина» по пути в Ревель Петр I объявил изустный указ, запрещающий частный найм жилья и принуждавший приезжих селиться в казенные постоялые дома [Кошелева, 2004а, с. 138–140]. Содержание царских указаний было послано А. Д. Меншиковым в письме от 9 июля генерал-полицеймейстеру А. М. Девиеру, который должен был объявить их в городе с барабанным боем. Согласно сведениям князя, государь постановил:

...всем приезжающим в Санкт-Петербурх купецким и всяких чинов людям, кои домов своих не имеют, ставитца из найму в новопостроенных постоялых дворах. А Санкт-Петербурские б жители, кто до сего времени в дома свои постояльцов пускали из найму, впредь отнюдь в домах своих постою не имели. Також у которых людей дворы свои на Васильевском острове построены, и те б люди сами жили в тех своих дворах на Васильевском острове. А ежели кто по сему Его императорского величества высокому указу исполнять не будут и в том те люди от кого доказаны будут, таким людям учинен будет жестокой штраф яко презирателем Его императорского

⁸ 5 ноября 1722 г. Я. Х. Бахмеотов писал А. Д. Меншикову: «и на оное нижайше доношу, о найме новопостроенных постоялых домов указами Его императорского величества ис Канцелярии полицеймейстерских дел публиковано, токмо еще мало для взятья их на откуп являютца, токмо надеюсь, что не без охотников будет» [Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии..., № 13]. М. М. Голицын также отчитывался об указе [РГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 518, л. 163].

величества высокого указа. И для того б Его императорского величества указ во всем Санкт-Питербурхе публиковать по многие дни з барабанным боем, дабы впредь неведением никто не отговаривался. А определенным ис Полицеймейстерской канцелярии по слободам старостам, соцким, десяцким и протчим надзирателем велеть смотреть того накрепко под жестоким за несмотрение наказанием [РГАДА, ф. 248, оп. 18, кн. 1206, л. 240–240 об.].

Как представляется, продвигая подобную законодательную меру, князь упорствовал не столько из-за собственных неоправданных амбиций, сколько исходя из представлений об экономической выгоде: постоянные дворы, на строительство которых были потрачены немалые суммы, должны были приносить казне доход или хотя бы окупить себя. Пока дома стояли без постояльцев и только ветшали, государство несло убытки.

Несмотря на подготовительную деятельность А. Д. Меншикова, содержание указа вызвало широкий резонанс среди государственных деятелей. Уже 11 июля 1723 г. при получении в Сенате доношения из Главной полицеймейстерской канцелярии возник вопрос: распространяется ли запрет частного найма на «афицерских, и шляхетских ж, и штатских же чинов людей, детей, которые обретаются в науках, а в Санкт-Петербурге своих домов оные не имеют, стоят в домех у свойственников и родственников своих, а иные и по знакомству» [РГАДА, ф. 248, оп. 18, кн. 1206, л. 241]. Для уточнения деталей был сделан запрос в Главную полицеймейстерскую канцелярию, в ответ на который доносилось, что в повторном письме от 15 июля А. Д. Меншиков определял: «приезжающие купецкие всякого чина люди, разумеющие такие, которые из России приезжают в Санкт-Питербурх с товарами на время» [Там же, л. 248 об.]. Примечательно, что подобное четкое ограничение социальной группы, на которую должен был распространиться царский указ, появилось лишь в письме от 15 июля, а было объявлено Сенату и того позже — в доношении из Главной полицеймейстерской канцелярии от 30 июля. До этого речь по преимуществу шла о «приезжих всякого чину людях» или «приезжающих в Санкт-Питербурх купецких и всякого чину людях» — группах, включавших в себя значительно более широкое представительство.

Что сподвигло А. Д. Меншикова еще 15 июля 1723 г. договориться с царем о сужении круга лиц, которым запрещалось селиться в домах горожан, не известно. Однако в то время, как последнее письмо шло от князя в Главную полицеймейстерскую канцелярию, а из канцелярии — в Сенат, за спиной Александра Даниловича развернулась активная деятельность по отмене императорского указа. С разной степенью интенсивности в деле оказались замешаны люди, к петербургским делам имевшие опосредованное отношение — П. И. Ягужинский, И. И. Бибииков, гр. П. А. Толстой, А. И. Остерман и гр. Ф. М. Апраксин. О. Е. Кошелева главной движущей силой «оппозиции» называет генерал-полицеймейстера А. М. Девиера, который предположительно первый обратился к П. И. Ягужинскому и И. И. Бибиикову с просьбой оказать

противодействие инициативе князя [Кошелева, 2004а, с. 138–140]. Стоит отметить, что писем генерал-полицеймейстера к названным личностям обнаружить не удалось, более того, имя А. М. Девиера вовсе не встречается среди материалов корреспонденции, отправляемой друг другу остальными участниками событий. В фонде Правительствующего Сената Российского государственного архива древних актов (г. Москва), где сохранились документы по данному делу, обнаружены лишь материалы переписки Главной полицеймейстерской канцелярии с А. Д. Меншиковым и официальные запросы Сената. Поэтому факт вмешательства генерал-полицеймейстера в процесс выработки решения по постоянным дворам может быть установлен только условно. Как представляется, сведения о реальной ситуации с использованием постоянных дворов в Сенате могли узнать только от человека, который был глубоко вовлечен в систему управления Санкт-Петербургом. А. М. Девиер подходил на роль информанта как никто другой, поскольку подчиненное ему полицеймейстерское ведомство контролировало практически все стороны городской жизни: следило за выполнением строительных регламентаций, распределяло городские территории, руководило строительством важных общественных объектов, контролировало торговую и питейную деятельность, поддерживало безопасность в Санкт-Петербурге, участвовало в организации ассамблей и прочих церемоний [Накишова, 2022б].

19 июля 1723 г. генерал-прокурор Сената П. И. Ягужинский и обер-прокурор Сената И. И. Бибилов отправили два полностью идентичных письма: одно — к П. А. Толстому, находившемуся вместе с Петром I в Ревеле, другое — к Ф. М. Апраксину. Они, не зная содержания письма А. Д. Меншикова от 15 июля, просили убедить государя изменить указ о частном найме и приводили следующие аргументы: «обретающиеся у дел шляхетство многие служат без жалованья, а которым жалованье хотя и есть и то малое, которого уже многое время не получают, а ежели оные ис того постою выключены не будут, то может произойти не без великой обиды и напрасных убытков. К тому ж ежели всем как не имеющим дворов, кои без съезду в Санкт-Питербурхе живут, и на время приезжающим, так и выше объявленным харчевым промышленником и ремесленным людям на тех дворах стоять, то не токмо утешение будут иметь, но и вместитца всем невозможно» [РГАДА, ф. 248, оп. 18, кн. 1206, л. 242 об.–243]. Кроме того, упоминалось о невыгодности отмены частного найма для самих городских жителей, поскольку они «строили дворы и лишние покои с немалыми себе убытками для отдачи в наймы», уже заплатили за лишние помещения сборы и в случае публикации указа не смогли бы окупить подобных капиталовложений [Там же, л. 243]. Такие аргументы были более чем справедливы.

Среди сохранившихся материалов не удалось обнаружить никаких сведений о том, каким образом отреагировал на письмо Ф. М. Апраксин. Учитывая его давнее приятельство с А. Д. Меншиковым, нет оснований полагать, что генерал-адмирал развернул активную кампанию по противодействию княжеским начинаниям. В противоположность прослеживается роль П. А. Толстого,

чьи отношения с Александром Даниловичем были крайне неоднозначны и упирались в непримиримые противоречия по другим государственным и частным делам [Лазарев, с. 134–135, 152]. Получив письмо от П. И. Ягужинского, Петр Андреевич подыскал «благополучный час» и передал Петру I аргументы, оспаривавшие инициативу А. Д. Меншикова. Государь принял его сторону. 23 июля 1723 г. с корабля «Москва» на Ревельском рейде П. А. Толстой вместе с А. И. Остерманом уведомляли своих корреспондентов: «А что до протчего содержания того указа и до постоянных дворов надлежит, и в том повелел Его величество произведением удержатца до возвращения своего к вам» [РГАДА, ф. 248, оп. 18, кн. 1206, л. 244–245]. Двумя днями позже, 26 июля, письмо было вручено П. И. Ягужинскому, а в Главную полицеймейстерскую канцелярию направлено постановление Сената — опубликование и объявление царского указа отложить. К решению данного вопроса Петр I не вернулся ни по возвращении в Санкт-Петербург, ни когда-либо еще вплоть до своей кончины, хотя в сентябре 1723 г. с просьбами ограничить частный найм в городе обратились уже сами откупщики, терпевшие непосильные для них убытки [Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии..., № 20].

Таким образом, анализ сюжета, касающегося создания комплексов постоянных дворов в Санкт-Петербурге в 1722–1723 гг., наглядно показывает, с какими трудностями сталкивались городские власти при осуществлении мероприятий по строительству и благоустройству общественных пространств в новой имперской столице. Город-парадиз, который Петр I стремился создать на берегах Невы, только в идеальных представлениях государя был «парадизом». На самом деле устройство практически с нуля нового регулярного города ставило перед государственными структурами почти невыполнимые задачи, требовавшие от них умения решать многофункциональные проблемы и привлекать всевозможные материальные и нематериальные ресурсы.

Кроме того, перипетии, которые развернулись вокруг выработки царского указа о запрете частного найма, последовавшего после ввода в эксплуатацию первых комплексов постоянных дворов, позволяют судить о специфике механизмов функционирования социальных связей внутри городской системы управления. В частности, данный случай указывает на ограниченность влияния генерал-губернатора А. Д. Меншикова, чье политическое могущество до середины 1710-х гг. не поддавалось сравнению. Нельзя не заметить, что для Петра I в вопросе о постоянных дворах решающим стало не мнение князя, хорошо осведомленного в столичных делах и державшего под контролем строительство постоянных комплексов, а объединившихся против него, не имевших к петербургским проблемам прямого отношения П. И. Ягужинского, И. И. Бибикова, П. А. Толстого и А. И. Остермана. Надо полагать, что подобный успех оппозиционных инициативе князя течений был напрямую связан не только с теми трудностями, на которые обрекал петербургских жителей запретительный указ, но и с утратой А. Д. Меншиковым ресурса царского доверия по мере увеличения количества обвинений во взяточничестве, краже государственных средств,

несправедливых земельных захватах и затягивании судебно-следственных процессов, продолжавшихся на протяжении 1710–1720-х гг.

Соответственно, личностный фактор в системе управления Санкт-Петербургом и, надо полагать, в целом всем российским государством выступал одним из основополагающих элементов, обеспечивавших эффективное функционирование государственной машины. Несмотря на попытки Петра I в 1710–1720-х гг. регламентировать деятельность центральных и местных органов власти, уменьшить влияние единоличных руководителей и ввести коллегиальное правление, роль личности, поставленной на ту или иную государственную должность, оставалась определяющей. Личные качества наравне с другими ресурсами не только работали на удовлетворение частных интересов государственных деятелей, но и способствовали достижению всеобщего «государственного блага». Успех выработки, принятия и реализации на практике важных политических решений зависел от того, каким образом руководители органов власти выстраивали отношения друг с другом, достигали компромиссов, поддерживали и укрепляли ресурс царского доверия, благодаря которому они когда-то свои должности получили.

Источники

Документы Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии и других органов городской власти, касающиеся строительства постоянных дворов, 1722–1723 гг. (№ 1–20) // «Ментальное государство» Петра Великого и регионы в первой четверти XVIII в.: материалы и исследования по истории местного управления в России / [под ред. Д. А. Редина]. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. С. 556–580.

Новый памятник законов Империи Российской. Ч. 9. Отд. I. Р.–С. СПб. : В тип. Правительствующаго Сената, 1828.

ПСЗРИ-1 — Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. IV–VII. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

РГАДА — Российский государственный архив древних актов. Ф. 198 (Меншиков Александр Данилович (1670–1729), князь, петербургский генерал-губернатор, президент Военной коллегии, генералиссимус). Оп. 1. Д. 131, 180, 191, 379, 518, 557; Ф. 248 (Сенат и его учреждения). Оп. 18. Кн. 1206; Ф. 1451. Оп. 1. Д. 20.

Исследования

Агеева О. Г. «Величайший и славнейший более всех градусов в свете» — град святого Петра. Петербург в русском общественном сознании начала XVIII в. СПб. : БЛИЦ, 1999.

Агеева О. Г. История домов У. Сенявина и А. Волкова на Васильевском острове (до их передачи Сухопутному Шляхетному корпусу) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 47 : Петровское время в лицах — 2009 : материалы науч. конф. : к 300-летию Полтавской победы (1709–2009) / ред. В. В. Мещеряков, И. В. Саверкина, Е. А. Андреева. СПб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2009. С. 5–17.

Андреева Е. А. Деятельность первого петербургского коменданта // Петровское время в лицах — 2003 : материалы науч. конф. СПб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2003. С. 10–14.

Андреева Е. А. А. Д. Меншиков и образование Ингерманландской губернии: территория и административное устройство // Петровское время в лицах — 2005 : материалы науч. конф. / редкол.: Г. В. Вилинбахов [и др.]. СПб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2005. С. 15–31.

Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времён Петра Великого. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003.

Анисимов Е. В., Базарова Т. А., Проскуракова М. Е. «Наш патрон и заступник»: язык корреспондентов А. Д. Меншикова // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 1: История. С. 49–62.

Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое Описание Санкт-Петербурга: От начала заведения его, с 1703 по 1751 год. СПб. : Тип. Воен. коллегии, 1779.

Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М. : ОГИ, 2004а.

Кошелева О. Е. Полиция есть душа гражданства // Отечественные записки. 2004б. № 2. С. 376–388.

Лазарев Я. А. Российская политика на Украине и русско-украинские неформальные связи после Полтавы (1709–1722) // Киселев М. А., Кочегаров К. А., Лазарев Я. А. Патроны, слуги и друзья. Русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной в 1700–1760-х гг. Исследование и источники. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. С. 121–218.

Луттов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1957.

Накишова М. Т. Град Святого Петра глазами польского посольства 1720 г.: образ столицы по материалам личной канцелярии князя А. Д. Меншикова // Славянский мир: общность и многообразие : тез. конф. молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 25–26 мая 2021 г. / отв. ред. Е. С. Узенёва, О. В. Хаванова. М. : Институт славяноведения РАН, 2021. С. 39–45.

Накишова М. Т. Комендант Северной столицы Яков Хрисанфович Бахмеотов: исполнение служебного долга в петровское время // *Quaestio Rossica*. 2022a. Т. 10, № 1. С. 290–305. <https://doi.org/10.15826/qr.2022.1.672>

Накишова М. Т. Полицмейстерская канцелярия в системе управления Санкт-Петербургом 1718–1727 гг. // Российская история. 2022б. № 2. С. 77–89.

Николаева М. В. Санкт-Петербург Петра I: история дворовладений — застройка и застройщики. М. : Прогресс-Традиция, 2013.

Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города. СПб. : Тип. Глазунова, 1884.

Семенова Л. Н. Правительство и рабочий люд Петербурга в первой половине XVIII в. // Внутренняя политика царизма (середина XVI — начало XX в.). Труды ЛОИИ. Вып. 8 / ред. колл.: Н. Е. Носов (отв. ред.), Б. В. Ананьич, С. Н. Валк, Р. Ш. Ганелин. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1967. С. 127–167.

Сизиков М. И. Полицейская реформа Петра I // Правоведение. 1992. № 2. С. 88–96.

References

Ageeva, O. G. (1999). “*Velichaišii i slavneišii bolee vsekh gradov v svete*” — *grad sviatogo Petra. Peterburg v russkom obshchestvennom soznanii nachala XVIII v.* [“The Greatest and Most Glorious City in the World” — the City of St Peter. St Petersburg in the Russian Public Consciousness of the Early 18th Century]. St Petersburg: BLITS.

Ageeva, O. G. (2009). Istoriiia domov U. Seniavina i A. Volkova na Vasil'evskom ostrove (do ikh peredachi Sukhoputnomu Shliakhetnomu korpusu) [The History of the Houses of U. Senyavin and A. Volkov on Vasilyevsky Island (before their Transfer to the Landed Gentry Corps)]. In V. V. Meshcheryakov, I. V. Saverkina, & E. A. Andreeva (Eds.), *Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha. T. 47: Petrovskoe vremia v litsakh – 2009: materialy nauchnoi konferentsii: k 300-letiiu Poltavskoi pobedy (1709–2009)* [Studies of the State Hermitage. Vol. 47: The History of the Reign of Peter the Great through Biographies of Personalities – 2009: Materials of the Scholarly Conference: For the 300th Anniversary of the Victory at Poltava (1709–2009)] (pp. 5–17). St Petersburg: Izd-vo Gosudarstvennogo Ermitazha.

Andreeva, E. A. (2003). Deiatel'nost' pervogo peterburgskogo komendanta [Activities of the First St Petersburg Commandant]. In *Petrovskoe vremia v litsakh – 2003: materialy nauchnoi konferentsii* [The History of the Reign of Peter the Great through Biographies of Personalities – 2003: Materials of the Scholarly Conference] (pp. 10–14). St Petersburg: Izd-vo Gosudarstvennogo Ermitazha.

Andreeva, E. A. (2005). A. D. Menshikov i obrazovanie Ingermanlandskoi gubernii: territoriiia i administrativnoe ustroistvo [A. D. Menshikov and the Formation of Ingermanland Province: Territory and Administrative Structure]. In G. V. Vilinbakhov [et al.] (Eds.), *Petrovskoe vremia v litsakh – 2005: materialy nauchnoi konferentsii* [The History of the Reign of Peter the Great through Biographies of Personalities – 2005: Materials of the Scholarly Conference] (pp. 15–31). St Petersburg: Izd-vo Gosudarstvennogo Ermitazha.

Anisimov, E. V. (2003). *Iunji grad. Peterburg vremen Petra Velikogo* [Young City. Petersburg during the Reign of Peter the Great]. St Petersburg: Dmitrii Bulanin.

Anisimov, E. V., Bazarova, T. A., & Proskuryakova, M. E. (2022). “Nash patron i zastupnik”: iazyk korrespondentov A. D. Menshikova [“Our Patron and Defender”: The Language of Correspondents of A. D. Menshikov]. *Vestnik NGU. Serii: Istoriiia, filologiiia*, 21, 1: History, 49–62.

Bogdanov, A. I. (1779). *Istoricheskoe, geograficheskoe i topograficheskoe opisanie Sanktpeterburga: Ot nachala zavedeniia ego, s 1703 po 1751 god* [Historical, Geographical and Topographic Description of St Petersburg: From the Beginning of its Establishment, from 1703 to 1751]. St Petersburg: Tipografiia voennoi kollegii.

Kosheleva, O. E. (2004a). *Liudi Sankt-Peterburgskogo ostrova Petrovskogo vremeni* [People of St Petersburg Island during the Reign of Peter the Great]. Moscow: OGI.

Kosheleva, O. E. (2004b). Politsiia est' dusha grazhdanstva [The Police are the Soul of Citizenship]. *Otechestvennye zapiski*, 2, 376–388.

Lazarev, Ya. A. (2022). Rossiiskaia politika na Ukraine i russko-ukrainskie neformal'nye sviazi posle Poltavy (1709–1722) [Russian Policy in Ukraine and Russian-Ukrainian Informal Relations after Poltava (1709–1722)]. In M. A. Kiselev, K. A. Kochegarov, & Ya. A. Lazarev (Eds.), *Patrony, slugi i druz'ia. Russko-ukrainskie neformal'nye sviazi i upravlenie Getmanshchinoi v 1700–1760-kh gg. Issledovanie i istochniki* [Patrons, Servants and Friends. Russian-Ukrainian Informal Relations and the Administration of the Hetmanate in the 1700–1760s. Research and Sources] (pp. 121–218). Ekaterinburg: Ural University Press.

Luppov, S. P. (1957). *Istoriiia stroitel'stva Peterburga v pervoi chetverti XVIII veka* [The History of the Construction of St Petersburg in the First Quarter of the 18th Century]. Moscow; Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR.

Nakishova, M. T. (2021). Grad Sviatogo Petra glazami pol'skogo posol'stva 1720 g.: obraz stolitsy po materialam lichnoi kantseliarii kniazia A. D. Menshikova [The City of St Peter through the Eyes of the Polish Embassy in 1720: The Image of the Capital Based on the Materials of the Personal Office of Prince A. D. Menshikov]. In E. S. Uzeneva, & O. V. Khavanova (Eds.),

Slavianskii mir: obshchnost' i mnogoobrazie: tezisy konferentsii molodykh uchenykh v ramkakh Dnei slavianskoi pis'mennosti i kul'tury. 25–26 maia 2021 g. [Slavic World: Commonality and Diversity. Abstracts of the Conference of Young Scholars within the Framework of the Days of Slavic Literature and Culture. May 25–26, 2021] (pp. 39–45). Moscow: Institut slavianovedeniia RAN.

Nakishova, M. T. (2022a). Komendant Severnoi stolitsy Iakov Khrisanfovich Bakhmeotov: ispolnenie sluzhebного dolga v petrovskoe vremia [Commandant of the Northern Capital Yakov Khrisanfovich Bakhmeotov: The Performance of the Official Duty during the Reign of Peter the Great]. *Quaestio Rossica*, 10(1), 290–305. <https://doi.org/10.15826/qr.2022.1.672>

Nakishova, M. T. (2022b). Politsmeisterskaia kantseliariia v sisteme upravleniia Sankt-Peterburgom 1718–1727 gg. [The Police Office in the Management System of St Petersburg 1718–1727]. *Rossiiskaia istoriia*, 2, 77–89.

Nikolaeva, M. V. (2013). *Sankt-Peterburg Petra I: istoriia dvorovladeniia — zastroyka i zastroyshchiki* [St Petersburg of Peter I: The History of Courtyards — Buildings and Developers]. Moscow: Progress-Traditsiia.

Petrov, P. N. (1884). *Istoriia Sankt-Peterburga s osnovaniia goroda* [History of St Petersburg from the Foundation of the City]. St Petersburg: Tipografiia Glazunova.

Semenova, L. N. (1967). Pravitel'stvo i rabochii liud Peterburga v pervoi polovine XVIII v. [The Government and the Working People of St Petersburg in the First Half of the 18th Century]. In N. E. Nosov (Editor-in-chief), B. V. Ananyich, S. N. Valk, & R. Sh. Ganelin (Eds.), *Vnutrenniaia politika tsarizma (seredina XVI — nachalo XX v.). Trudy LOII* [Domestic Policy of Tsarism (mid-16th — Early 20th Centuries). Proceedings of the LOII] (pp. 127–167). Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie.

Sizikov, M. I. (1992). Politseiskaia reforma Petra I [Police Reform of Peter I]. *Pravovedenie*, 2, 88–96.

Накишова Марина Тазабаевна

кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России
младший научный сотрудник
Лаборатории эдиционной археографии
Уральский федеральный университет
620002, Екатеринбург, пр. Мира, 19
E-mail: m-nakishova@mail.ru

Nakishova, Marina Tazabaevna

PhD (History), Associate Professor
Department of History of Russia
Junior Research Fellow
Laboratory of Primary Sources Research
Ural Federal University
19, Mira St., 620002 Ekaterinburg, Russia
Email: m-nakishova@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2115-1663>
Scopus AuthorID: 57221801806

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.067

УДК 351(09) + 332.021.8(470) +
+ 316.343-058“653” + 342.26(470)

Д. В. Тимофеев

Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия

МЕХАНИКА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО РЕФОРМИЗМА: ЗАПИСКА ГУБЕРНСКОГО ПРЕДВОДИТЕЛЯ Н. А. МАЙКОВА И ПРАКТИКА КОРРЕКТИРОВКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДВОРЯНСКИХ ВЫБОРАХ В РОССИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

В рамках исследования процессов формирования элементов публичной сферы в России выявлены особенности функционирования механизмов прямой и обратной связи в системе управления первой трети XIX в. В данном контексте публичная сфера рассматривается как сеть субъектов и информационных каналов, предоставляющих возможность индивидам высказывать различные аргументы при обсуждении наиболее актуальных социально-политических, экономических и морально-нравственных вопросов. Проведен анализ комплекса материалов делопроизводства и указов, связанных с процессом рассмотрения и выработки решения по вопросам корректировки законодательства о дворянских выборах. На примере записки губернского предводителя дворянства Н. А. Майкова показана аргументация необходимости корректировки законодательства о выборах и ответная реакция министра внутренних дел, членов Комитета министров, Государственного Совета и Сената. Сопоставление донесений предводителей дворянства, губернаторов, а также журналов заседаний, предшествующего и последующего записке Майкова законодательства позволило сформулировать ряд важных особенностей функционирования механизмов обратной связи в России рассматриваемого периода времени. Медлительность в реагировании на сигналы с мест была обусловлена тем, что сведения о принимаемых решениях не всегда доводились до непосредственных исполнителей. Это обстоятельство приводило к дублированию прошений и многократному обсуждению одних и тех же вопросов, но в целом не препятствовало властным институтам получать информацию о возникших противоречиях между законодательством и реальностью. Подтверждением этого являются результаты сравнительного анализа вопросов и предложений, сформулированных Майковым, с содержанием последующих указов и новым «Положением о порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным» 1831 г.

К л ю ч е в ы е с л о в а: история управления; реформы в России XIX в.; дворянское самоуправление; дворянские выборы; власть и общество; губернское управление; законодательство России XIX в.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00649 «Формирование публичной сферы в России второй половины XVIII – первой половины XIX в.: коммуникативные практики и каналы социального взаимодействия», <https://rscf.ru/project/23-18-00649/>

Ц и т и р о в а н и е: *Тимофеев Д. В.* Механика правительственного реформизма: записка губернского предводителя Н. А. Майкова и практика корректировки законодательства о дворянских выборах в России первой трети XIX в. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 170–185. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.067>

Поступила в редакцию: 25.05.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Dmirii V. Timofeev

*Institute of History and Archaeology UB RAS
Ekaterinburg, Russia*

**MECHANICS OF GOVERNMENT REFORMISM:
A NOTE BY PROVINCIAL LEADER N. A. MAIKOV
AND THE PRACTICE OF ADJUSTING THE LEGISLATION
ON NOBLEMEN'S ELECTIONS IN RUSSIA
IN THE FIRST THIRD OF THE 19th CENTURY**

As part of the examination of the formation processes of public sphere elements in Russia, this article studies the peculiarities of functioning of mechanisms of forward and backward communication in the system of management of the first third of the nineteenth century. In this context, the public sphere is seen as a network of actors and information channels that provide an opportunity for individuals to express various arguments when discussing the most pressing socio-political, economic, and moral issues. The author analyses the complex of records management materials and decrees related to the process of consideration and decision-making on the issues of adjusting the legislation on elections among the nobility. A reference to a note by N. A. Maykov, a provincial governor of the nobility, shows the arguments for the need to adjust the legislation on elections and the response to the proposals of the Minister of Internal Affairs, members of the Committee of Ministers, the State Council, and the Senate. A comparison of the reports of the marshals of the nobility, governors, records of meetings, legislation, preceding and following Maykov's note, make it possible to formulate several important features of the functioning of feedback mechanisms in Russia in the period under consideration. The slow response to signals from the field happened because decisions were not always communicated to their direct implementers. This led to a duplication of requests and multiple discussions on the same issues, but in general did not prevent the institutions of power from being informed about the contradictions between the legislation and reality. This is confirmed by the results of a comparative analysis of the questions and proposals formulated by Maykov, with the content of subsequent decrees and the new "Regulations on the Order of Nobility Assemblies of Elections and Service on Them" of 1831.

К е y w o r d s: history of public administration; reforms in Russia of the 19th century; self-government of the nobility; noblemen's elections; government and society; provincial administration; legislation of Russia of the 19th century

Acknowledgements

The study is funded by a grant from the *Russian Science Foundation*, 23-18-00649 “Formation of the Public Sphere in Russia in the Second Half of the 18th Century and the First Half of the 19th Century: Communicative Practices and Channels of Social Interaction”, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00649/>

Citation: Timofeev, D. V. (2023). Mekhanika pravitel'stvennogo reformizma: zapiska gubernskogo predvoditelia N. A. Maikova i praktika korrektirovki zakonodatel'stva o dvorianskikh vyborakh v Rossii pervoi treti XIX v. [Mechanics of Government Reformism: A Note by Provincial Leader N. A. Maikov and the Practice of Adjusting the Legislation on Noblemen's Elections in Russia in the First Third of the 19th Century]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 170–185. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.067>

Submitted: 25.05.2023

Accepted: 24.10.2023

Соотношение общественных ожиданий и действий правительства является одним из центральных вопросов истории реформ и общественного сознания. Такая постановка проблемы предполагает не просто сопоставление различных сценариев проведения реформ, но, главным образом, выявление того, насколько авторы проектов и те, от кого зависело, будут ли они реализованы, имели достоверную информацию о проблемах, с которыми правительство неизбежно столкнется в случае начала преобразований. В данном контексте принципиальное значение имеет наличие информационных каналов обратной связи в системе управления, посредством которых осуществлялось выявление противоречий между законодательством и реальностью, а также происходило аккумулирование предложений по их устранению.

Существовали или подобного рода механизмы в Российской империи первой трети XIX в.? Насколько адекватно властные структуры реагировали на получаемую информацию? Прослеживается ли прямая взаимосвязь между предложениями с мест и принимаемыми на формально-юридическом уровне решениями? Ответы на все эти вопросы открывают перед исследователем перспективу выявления характера взаимоотношений между властными институтами общероссийского и регионального уровня, а также представителями сословно-корпоративных сообществ в процессе корректировки законодательства и определения вариантов решения актуальных социально-экономических и административных вопросов.

В первой четверти XIX в. взаимосвязь между общественными настроениями, положением на местах и решениями правительства отчетливо прослеживается при сопоставлении материалов делопроизводства региональных и центральных учреждений. Инициативными документами для значительной части указов, высочайше утвержденных мнений Государственного совета, постановлений Сената и Комитета министров по различным аспектам внутренней политики были жалобы, донесения, отчеты и представления предводителей дворянства,

губернаторов, участников сенаторских ревизий. Многоступенчатая процедура их рассмотрения порождала комплекс документов, содержание которых позволяет выявить, какие вопросы и предложения поступали в высшие правительственные структуры и как они реагировали на подобного рода сигналы с мест.

В настоящей статье внимание сконцентрировано на выявлении взаимосвязи между предложениями участников дворянских собраний и реакцией имперских властей на предложения по корректировке законодательства о дворянских выборах и уточнении характера взаимоотношений между ними и губернской администрацией.

Выявленный в фондах РГИА комплекс документов содержит множество жалоб, прошений, отчетов и донесений с мест о так называемых «беспорядках при проведении дворянских выборов»¹. Значительное количество такого рода документации, при ограниченности объема данной статьи, обуславливает необходимость отбора источников по двум основным критериям: а) автор обращения должен не только констатировать наличие какой-либо проблемной ситуации, но аргументированно обосновывать необходимость корректировки избирательного законодательства; б) наличие в деле информации о реакции властных институтов на подобного рода предложения.

В соответствии с указанными критериями отобран комплекс содержательно взаимосвязанных документов: «Записка Ярославского губернского предводителя Н. А. Майкова² о предметах, относящихся до выборов и разных сношений по части предводителей» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 1–5], мнение министра внутренних дел А. Б. Куракина по записке Майкова (1808)³; журналы Комитета министров, указы и высочайше утвержденные мнения Государственного совета, изданные как по итогам обсуждения предложений Н. А. Майкова, так и иных, содержательно близких донесений из других губерний.

В записке Н. А. Майков сформулировал 7 пунктов, последовательность расположения которых позволяет сделать предположение о их значимости для автора. В *первом пункте* «О затруднениях, происходящих от увольнения губернским начальством избираемых от дворянства в должности чиновников» он обращал внимание министра на распространенную практику преждевременного (до истечения трехлетнего срока) увольнения дворян, избранных дворянским собранием для службы на различных должностях. По его словам, такого рода увольнения происходили без предварительного согласования с уездными предводителями под предлогом «приключившейся им болезни». Допуская, что «...могут быть весьма законные иногда причины к таковому увольнению»,

¹ Данная формулировка использовалась для обозначения целого ряда нарушений порядка составления списков участников выборов, процедуры «баллотирования кандидатов» и утверждения их итогов губернскими властями.

² Майков Николай Александрович — действительный статский советник, губернский предводитель дворянства Ярославской губернии (1804–1814) [Любимов, с. 78].

³ Документ 9 марта 1808 г. был получен министром внутренних дел А. Б. Куракиным, а затем, вместе с его ответами по каждому пункту, был представлен на рассмотрение Сената.

Н. А. Майков констатировал: «вместе с тем нельзя отвергнуть и того, чтобы не было чрез сие повода к отбыванию от службы общественной». Такое неблагоприятное поведение отдельных дворян могло существенно осложнить работу местных учреждений и судов. Для предотвращения возможных негативных последствий автор предлагал установить норму, в соответствии с которой «...избранные в должности дворяне, в течение трехлетия не иначе увольняемы были от должностей за болезнями или другими законными причинами, как с согласия дворянского сословия» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 2–2 об.].

Мнение министра внутренних дел по данному пункту сводилось к признанию целесообразности «для удержания от уклонения под предлогом болезни или другим от службы, <...> поставить правилом, чтобы губернское правление о намерении чиновников давало знать губернскому предводителю дворянства», который при возникновении сомнений в «основательности подобной просьбы» должен был представить результаты проверки на рассмотрение дворянского собрания [Там же, л. 39 об.–40]. С некоторыми стилистическими изменениями данное положение было изложено в указе 15 марта 1809 г. [ПСЗ-I, т. 30, № 23558, с. 879].

Однако, наряду с мнением министра внутренних дел, в тексте указа упоминалось о ранее изданном 12 августа 1803 г. сенатском указе Ярославскому губернскому правлению, в котором была сформулирована близкая по смыслу норма: «...для избежания частых перемен служащих по выборам дворянства чиновников <...> в случае просьб их не иначе увольнять, как по точном освидетельствовании и удостоверении, что они за болезнями действительно не в состоянии продолжать службы; без сего же никого из них ни под каким предлогом не переменять другими» [Там же, с. 880]. Таким образом получается, что Н. А. Майков задавал министру вопрос, ответ на который уже ранее был юридически сформулирован. Но ни в записке Н. А. Майкова, ни в мнении А. Б. Куракина нет упоминания об указе 12 августа 1803 г. Возможное объяснение данного обстоятельства связано с тем, что Н. А. Майков стал предводителем дворянства лишь в 1804 г., а А. Б. Куракин занимал министерский пост с ноября 1807 г. Следовательно, текст указа не относился к числу «текущих» документов, на которые они должны были обратить внимание в ходе непосредственного исполнения служебных обязанностей. Если данное предположение верно, то это свидетельствует об отсутствии четкого механизма информирования об изменениях действующего законодательства. Именно поэтому Н. А. Майков, не зная о содержании адресованного губернскому правлению *той же самой Ярославской губернии* указа 12 августа 1803 г., вновь задает тот же вопрос и предлагает наделить дворянское собрание правом согласия на увольнение дворян с выборных должностей.

Однако проблема не была решена и после издания на основании записки Н. А. Майкова указа 15 марта 1809 г. Так, например, 23 ноября 1810 г. при рассмотрении вопроса «о мерах к скорейшему окончанию губернскими местами запущенных дел» в Комитете министров обсуждалось донесение Псковского гражданского губернатора Н. О. Лоба, который сообщал, что избранные ранее

дворяне, опасаясь «быть оставленными на своих местах по истечении трехлетия для окончания нерешенных дел», представляют «свидетельства о болезни». Для предотвращения увольнений, которые неизбежно привели бы к остановке рассмотрения не только незавершенных ранее, но и новых дел, губернатор предлагал увольнять чиновников от должностей по выборам только после «освидетельствования их врачебною управою». При обсуждении данного предложения товарищ министра внутренних дел О. П. Козодавлев высказал опасение, что освидетельствование дворян «будет для них весьма стеснительно, и даже оскорбительно». При этом, как и в предшествующем примере, участники обсуждения, не вспоминая о наличии ранее изданных указов (12 августа 1803 г. и 15 марта 1809 г.), отмечали, что предложение губернатора не соответствует «...ни дворянской грамоте, ни другим, последовавшим касательно выборов дворянских постановлений». В результате было решено довести до сведения губернатора, «...чтобы он руководствовался сими узаконениями и местными соображениями, а если встретится в дворянах недостаток для исправления должностей по выборам, то можно на места их определять от герольдии» [Журналы Комитета министров..., с. 111–112].

Несколько позднее данный вопрос вновь рассматривался, но уже в Государственном совете. Обязанность проводить «строгое исследование», что дворянин «действительно исправлять службы не может», была возложена высочайше утвержденным мнением Государственного совета 18 декабря 1811 г. на губернского предводителя, который совместно с дворянским собранием должен был дать согласие на увольнение выборного чиновника [ПСЗ-I, т. 31, № 24916, с. 1026]. Но и после этого проблема не была решена окончательно. На заседании Департамента законов Государственного совета 24 апреля 1818 г. в качестве одной из причин сокращения числа кандидатов, которые могли быть включены в списки кандидатов на выборные должности, вновь называлось досрочное увольнение дворян. Прокурор Екатеринославской губернии с тревогой сообщал о том, что сложившаяся практика досрочных отставок исключала законную возможность баллотировки уволившегося дворянина (как не выслужившего полного трехлетия на выборной должности), а это неизбежно порождало кадровый дефицит в «уездных присутственных местах» [Архив Государственного совета..., т. 4. Журналы по делам Департамента законов, ч. 2, с. 109].

Окончательное решение обозначенного в записке Н. А. Майкова вопроса было закреплено 6 декабря 1831 г. в «Положении о порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным», в соответствии с которым служба на выборных должностях была объявлена обязанностью дворянина [ПСЗ-II, т. 6, ч. 2, № 4989, § 48–53, 57, 69, 117–118, с. 254–255, 256, 257, 263], а увольнение стало возможно только при согласии губернского / уездного предводителя, а в случае утверждения дворянина на выборную должность высочайшим указом — «соизволения императора» [Там же, § 150–152, с. 266]. Все подобного рода официальные ограничения верховной власти дополнялись изменением цензов для участия в выборах и введением штрафных санкций за «уклонение», что, в конечном

итоге, должно было способствовать смещению акцентов с первоначальной трактовки права дворянина избирать и быть избранным как особой сословной привилегии, на его обязанность службой на выборных должностях содействовать правительству в достижении общегосударственных целей. Но, как показывает в своем исследовании А. И. Куприянов, принимаемые верховной властью меры не всегда приводили к ожидаемым результатам [Куприянов, с. 233–246].

Второй пункт записки Н. А. Майкова был озаглавлен «О сношениях, какие должны иметь губернский предводитель с уездными». Апеллируя к собственному негативному опыту, автор с сожалением сообщал, что «...предводители уездные по двукратным предписаниям не исполняют предписанного» и просил министра разъяснить, «...в каком отношении должны быть уездные предводители к губернскому, и как сноситься сей должен с ними, так как и с прочими местами и лицами губернского начальства» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 2 об.]. В ответ на эту просьбу, которая в контексте жалобы на неисполнение направляемых предписаний была воспринята как стремление Н. А. Майкова установить отношения субординации между уездными и губернскими предводителями дворянства, А. Б. Куракин аргументировал нецелесообразность предлагаемой регламентации. Он напоминал автору записки, что «...губернские и уездные предводители назначаются по выбору одного и того же Дворянского сословия из среды онаго...» и все они обладают *равным доверием дворянского общества*. Более того, существующий порядок, по мнению министра, позволял решать все конфликтные ситуации без дополнительных постановлений правительства, так как в случае «...какого-либо неповиновения, и начальник губернии, и самое дворянское собрание имеют достаточные способы для вразумления чиновника, вышедшего из пределов звания своего, в истинное понятие о подчиненности и порядке» [Там же, л. 41 об.–42]. Суммируя все эти аргументы, А. Б. Куракин высказался против официального установления служебной иерархии дворянских предводителей, подчеркивая, что сам факт их избрания и последующего утверждения губернатором свидетельствует о полном доверии дворянского общества, а следовательно, «...всякое на сей счет постановление могло бы быть и начальнику губернии, и дворянству обидно» [Там же]. В результате предложение Н. А. Майкова о введении юридической соподчиненности уездных и губернских предводителей не было включено в текст указа 15 марта 1809 г.

Но, как и в случае с сюжетом об уклонении дворян от службы на выборных должностях, вопрос о характере взаимоотношений уездных и губернских предводителей также имел свою юридическую предысторию и также был инициирован по запросу снизу. Основанием для внесения дела на рассмотрение Сената стал рапорт Смоленского губернского правления и донесение военного губернатора С. С. Апраксина о необоснованности требований губернского предводителя С. И. Лесли провести расследование по жалобе помещика П. Карабанова на предводителя дворянства Вяземского уезда. В резолютивной части изданного по данному делу Сенатом 28 июня 1808 г. указа «О запрещении губернским предводителям дворянства принимать жалобы от дворян друг на друга»

подчеркивалась неправомерность самой постановки вопроса, так как предводитель не имел никаких законных оснований рассматривать жалобы от дворян, а тем более — на «избранного самими ими уездного предводителя», и объявлять решения по подобному рода делам в дворянском собрании без «судебного приговора». Но главное, о чем предписано было сообщить всем губернским правлениям и губернским предводителям дворянства, состояло в разъяснении, что «...уездные предводители по обязанностям своим содействуют наравне с ним (губернским предводителем. — Д. Т.) во всем, относящемся до пользы дворян, каждый по своему уезду исполняет поручения начальства и отвечает за себя без посредства губернского предводителя, которому обязаны уездные только сведениями касательно общего по губернии о дворянах и о их имении положения» [ПСЗ-I, т. 30, № 23128, с. 401]. Право же губернского предводителя участвовать в рассмотрении действий уездного предводителя возникает только по особому распоряжению правительства [Там же].

Однако и после указа 28 июня 1808 г. сформулированный в записке Н. А. Майкова вопрос о характере соподчиненности между губернскими и уездными предводителями дворянства оставался актуальным. Подтверждением этого является представление Орловского губернского предводителя П. В. Милорадовича от 26 марта 1822 г., на основании которого генерал-губернатор Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской губерний А. Д. Балашов в мае 1822 г. запрашивал разъяснение Исполнительного комитета министерства внутренних дел о том, «...в каком отношении депутатские собрания и губернские предводители дворянства должны состоять с уездными предводителями?» [РГИА, ф. 1284, оп. 7, отд. 2, ст. 3, д. 25, л. 1–1 об.]. Своеобразным ответом стал указ 31 октября 1824 г. В нем, наряду со ссылкой на представление П. В. Милорадовича и А. Д. Балашова, были приведены обширные цитаты из указов 28 июня 1808 г., 15 марта 1809 г. и дано предписание впредь руководствоваться изданными ранее правилами [Там же, л. 8–9; ПСЗ-I, т. 39, № 30104, с. 579–581]. Позднее, в «Положении о порядке дворянских собраний» 1831 г., вопрос о соподчиненности уездного и губернского предводителя был предельно четко формализован и сводился лишь к обязанности уездных предводителей своевременно информировать губернского предводителя о несоответствии участников установленным требованиям и нарушениях процедуры проведения выборов. Собранные таким образом сведения губернский предводитель предоставлял на «общее заключение всего дворянского собрания» [ПСЗ-II, т. 6, ч. 2, № 4989, §39, с. 253].

Не менее важный вопрос, который Н. А. Майков сформулировал в *третьем пункте* под заголовком «О неудобствах по письмоводству», вновь актуализировал проблему недостатка квалифицированных работников. Аргументируя целесообразность учреждения при губернском предводителе особого «штата приказных служителей», автор перечислил ряд обязанностей предводителя, связанных с «...рассмотрением привилегий дворянских, условий их с крестьянами, увольняемыми в звание свободных хлебопашцев, представлении о приеме в воспитательные училища благородных девиц, и тому подобных случаев

от распоряжений его зависящих» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 3 об.]. Решение такого рода вопросов сопровождалось оформлением большого объема документации, что требовало достаточного количества грамотных чиновников, но так как губернский предводитель не имел финансовых ресурсов, а без оплаты «...никто служить при губернском предводителе не желает», Н. А. Майков предлагал официально установить жалованье помощникам предводителя [Там же].

Отвечая на этот пункт, министр внутренних дел А. Б. Куракин не согласился с предложенным вариантом решения проблемы и указал на известную во многих губерниях практику. По его словам, «губернский предводитель, заимствуя канцелярию из депутатского собрания, как то по большей части и делается, не имеет, кажется, надобности в особых чиновниках» [Там же, л. 43–43 об.]. Если же возникнет необходимость в привлечении дополнительных работников, то это возможно сделать не за счет государственной казны, а в соответствии со ст. 54 «Жалованной грамоты дворянству», которая позволяла дворянам организовывать «добровольные складки» на нужды дворянского общества.

Впоследствии возможность сбора финансовых средств дворянским собранием была закреплена в § 10–12 «Положения о порядке дворянских собраний» 1831 г., в соответствии с которыми дворянское собрание имело право посредством добровольных денежных сборов «составлять общественную Дворянскую казну». Такого рода «складки могли быть двух видов: а) на надобности, необходимые для дворянства всей губернии, или общепользные; б) на предметы, общей надобности не составляющие, или на издержки частные» [ПСЗ-II, т. 6, ч. 2, № 4989, с. 249]. При этом инициатором сбора средств мог быть губернский предводитель, который должен был представить данный вопрос на обсуждение дворянского собрания. Решение должно было быть принято не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании дворян, и через губернатора направлено министру внутренних дел, а от него — в Комитет министров и на утверждение императору. С этого момента все дворяне, даже включая тех, кто не присутствовал в собрании при голосовании, должны были участвовать в составлении «складки». При сборе складок, «не составляющих общей надобности», вводился упрощенный порядок: губернский предводитель выносил вопрос на рассмотрение дворянского собрания, а наблюдавший за законностью принятого решения губернатор сообщал о согласии дворянства министру внутренних дел [Там же, с. 250]. Таким образом, несмотря на отказ министра изыскать дополнительные средства для канцелярии губернского предводителя, упоминаемое А. Б. Куракиным право дворянского собрания собирать денежные средства на «общепользные нужды» было зафиксировано законодательно.

В *четвертом пункте* Н. А. Майков обращается еще к одному принципиально важному аспекту взаимоотношений дворянского предводителя с губернским правлением — проблеме своевременного информирования об изменениях действующего законодательства. Описывая сложившееся положение, Н. А. Майков писал: «Ни губернский предводитель, ни дворянское собрание не получает от губернского правления не только выдаваемых во всенародное извещение

указов и других предписаний, но даже непосредственно входящих в закон...» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 3 об.]. Отсутствие четко работающей системы получения юридически значимых сведений приводило к тому, что «...в разборе дворянских дел, поручаемых губернскому предводителю с дворянством, немалое делается затруднение» [Там же]. Яркой иллюстрацией такого рода затруднений являлись многочисленные представления с мест, в которых не только содержательно повторялись аналогичные сюжеты, увеличивая и без того немалый поток служебной переписки, но воспроизводились вопросы, по которым ранее уже были изданы указы, высочайше утвержденные мнения Государственного совета или постановления Комитета министров. По данному пункту министр внутренних дел согласился с аргументацией Н. А. Майкова, но с небольшим уточнением: соответствующую рассылку следовало осуществлять не напрямую губернским и уездным предводителям, а через Дворянские комиссии, «...которые могут сообщать их и уездным предводителям» [Там же, л. 44 об.; ПСЗ-I, т. 30, № 23558, с. 879].

Недостаточность юридически оформленных механизмов взаимодействия губернского правления с дворянскими предводителями нередко приводила к разнообразным электоральным конфликтам в дворянских собраниях [Тимофеев, 2020; 2021]. Содержательно такого рода конфликты возникали чаще всего в связи с включением в списки выборщиков и кандидатов на вакантные должности дворян, формально не имевших на это права. Основой для возникновения подобного рода казусов была недостоверность или неполнота сведений о дворянах, участвующих в работе дворянских собраний. В результате многочисленных жалоб с мест стала очевидной необходимость регулярного обновления избирательных списков как меры, позволявшей еще на этапе подготовки не допустить к выборам тех, кто по каким-либо основаниям не мог участвовать в голосовании. В данном контексте Н. А. Майков предлагал обязать губернное правление своевременно доставлять губернскому предводителю дворянства актуальные данные.

Аргументируя свою позицию в *пятом пункте* «О необходимости сведений о службе дворянина», он отмечал противоречие между необходимостью и сложившейся практикой. С одной стороны, «...Губернскому предводителю необходимо нужно иметь сведения о службе каждого дворянина, особливо не был ли он под судом и исправно ли проходил должность свою по выборам...», а с другой — «...Губернское правление, основываясь на том, что всех чиновников утверждает губернатор, в доставлении таковых сведений отказывается» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 4]. В такой ситуации информация о дворянах, которые были включены в список, но в действительности не имели права участвовать в выборах, становилась известной уже после их проведения, когда результаты баллотировки предлагались на утверждение губернатора. Отвечая на этот вопрос, А. Б. Куракин согласился с аргументами Н. А. Майкова, признав, что «...сведения о чиновниках, по выборам дворянства служащих, Губернскому предводителю без сомнения необходимо нужно, и не токмо в рассуждении

прежней службы их, но и того, каким образом отправляют настоящую» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 45 об.–46]. Следуя этой логике, губернское правление «...должно доводить сведения сии до Губернского предводителя, который обязан уже по той же выше изложенной причине сообщать их уездным предводителям, т. е. каждому по его уезду» [ПСЗ-I, т. 30, № 23558, с. 879]. Мнение министра по данному пункту было дословно воспроизведено в указе 15 марта 1809 г., а позднее — доработано и включено в § 56–58 «Положения о порядке дворянских собраний...» 1831 г. [ПСЗ-II, т. 6, ч. 2, № 4989, с. 256].

Логическим продолжением поиска вариантов решения проблемы составления достоверных списков участников дворянских выборов являлся *шестой пункт* записки Н. А. Майкова, в котором он просил внести ясность в порядок включения дворян, ранее не имевших обер-офицерского чина, но получивших его «в продолжении» службы по выборам или в милиции. Могут ли они, по словам Н. А. Майкова «...наравне с заслуженными пользоваться предоставленными в выборах преимуществами, как то, баллотировать и сами баллотированы быть» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 4]. В данном вопросе автор не предлагал конкретных мер и лишь просил разъяснить позицию правительства, однако представленный в деле ответ министра еще раз позволяет констатировать наличие противоречий между законодательством и реальностью, а также отсутствие четкой системы информирования предводителей дворянства о новых указах. Прежде всего неизбежно возникает вопрос о том, каким образом на выборные должности ранее были избраны дворяне, «не служившие в обер-офицерских чинах», в то время как в соответствии со ст. 64 «Жалованной грамоты дворянству» наличие обер-офицерского чина было *обязательным условием* для непосредственного участия в выборах.

В отношении тех, кто служил в «подвижном земском войске» (милиции), министр ссылаясь на указ 10 марта 1808 г., в соответствии с которым разрешено было «чиновников, кои получили первые офицерские чины при увольнении только от службы, и кои служили в подвижном Земском войске <...>, отныне и впредь допустить к обыкновенным дворянским в губерниях выборам в гражданскую службу» [ПСЗ-I, т. 30, № 22887, с. 124]⁴. Одновременно с этим А. Б. Куракин, не объясняя, на каком основании были избраны те, кто ранее не служил, но получил обер-офицерский чин, находясь уже на выборных должностях, посчитал возможным закрепить *de jure* сложившееся положение и решил оставить их «...в праве избирать и быть избираемы и на будущее время» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 46–46 об.], но с важной оговоркой о том, что в дальнейшем допуск к выборам таких дворян следует «строго запретить». Следить за исполнением этого запрета, а также запрета на участие в выборах дворян, находившихся «под судом», должен был лично губернатор, «...ибо допущение сего отступления было бы прикосновенно к коренным основаниям

⁴ Показательно, что Майков в записке не упоминает данный указ, хотя он содержит четкую формулировку на заданный им вопрос об участии в выборах служивших в милиции дворян.

Дворянской грамоты» [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 47; ПСЗ-I, т. 30, № 23558, с. 879].

В завершение записки (*седьмой пункт*) Н. А. Майков формулирует два, казалось бы, сугубо технических вопроса: «На случай отлучки губернского предводителя по надобностям, должен ли он испрашивать на то дозволения губернатора, или только сообщать ему в том для сведения? Также кто в отсутствие его должен занимать место его, старшие ли депутаты, <...> или уездный предводитель, и от кого должно зависеть назначение сие?» [ПСЗ-I, т. 30, № 23558, с. 878–879]. Таким образом автор, по сути, вновь обращается к вопросу об иерархии в отношениях «губернатор — губернский предводитель — уездный предводитель». Но министр как будто не замечает этого подтекста. Он намеренно сместил акцент с сюжета о том, «...от кого должно зависеть назначение» на сугубо процедурные аспекты временного замещения должности губернского предводителя. При непродолжительной «отлучке» его заменял «предводитель уезда губернского города», но если он отсутствовал длительное время, то в должность «вступает тот, кто при выборах был вторым кандидатом в губернские предводители, а в случаях болезни его, или другого обстоятельства, к заступлению сей должности препятствующего, тот, которому по баллотированию в губернские предводители положено было большее число избирательных балов» [Там же, с. 880; РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 48 об.–49]. В ответе же на вопрос о разрешительном или согласовательном порядке отъезда губернского предводителя министр ограничился ссылкой на указ 31 июля 1797 г., но не упоминал указ 19 апреля 1805 г., в котором прямо предписывалось, чтобы «без ведома и согласия управляющих губерниями никто губернских чиновников в отпуск ни на самое краткое время не увольнял» [ПСЗ-I, т. 28, № 21720, с. 999]. Однако в документе не уточнялось, относится ли это к служащим на выборных должностях.

Получить внятный ответ на этот вопрос желал не только Н. А. Майков. Актуальность юридического оформления порядка отъезда предводителей отчетливо прослеживается и в представлении министру внутренних дел от руководителя Пензенской губернии Ф. К. Вигеля. В результате его рассмотрения был издан указ от 29 февраля 1808 г., устанавливавший *уведомительный*, а не разрешительный порядок отъезда предводителей из уездного или губернского города [ПСЗ-I, т. 30, № 22846, с. 97–98]. Но, так как указ был издан всего лишь через 9 дней после написания записки Н. А. Майкова, автор не упоминал о его существовании. Лишь позднее, при подготовке к рассмотрению дела в Сенате, к мнению министра внутренних дел по записке Н. А. Майкова была приложена «выписка из узаконений», где данный указ был отмечен как относящийся к рассматриваемому вопросу [РГИА, ф. 1284, оп. 3, кн. 46, д. 348, л. 36–36 об.]. Но в изданном по записке Н. А. Майкова указе от 15 марта 1809 г. он не упоминался, что могло произойти либо вследствие сложившейся практики дословного воспроизведения подаваемых в Сенат инициативных документов, либо в силу несовершенства системы прецедентного законодательства, приводящего к принятию решений

без их соотнесения с новейшими законодательными актами. Однако позднее обнаруживается определенная преемственность записки Н. А. Майкова, указа от 29 февраля 1808 г. и от 15 марта 1809 г. с последующим законодательством. В §145 «Положения о порядке дворянских собраний...» (1831), порядок согласования отъезда губернских предводителей был скорректирован. Предводитель имел право отъезда по собственному «произволению», но был обязан *уведомить* губернатора о сроках и месте своего пребывания. При «отлучках же дальних и продолжительных, с коими соединяется совершенное прекращение занятий его по должности», он должен был через губернатора заблаговременно получить *разрешение* от министра внутренних дел [ПСЗ-II, т. 6, ч. 2, № 4989, § 145, с. 265].

* * *

Таким образом, на примере записки Н. А. Майкова отчетливо прослеживается ряд важных особенностей механизмов обратной связи в системе управления России первой трети XIX в. Сравнительный анализ предложений Н. А. Майкова и близких по содержанию представлений, записок и указов, решений Комитета министров и Государственного совета позволяет констатировать, что в России первой трети XIX в. существовали каналы обратной связи, позволявшие властным институтам получать информацию о положении в различных регионах страны. Одновременно с этим следует признать их низкую эффективность, так как информация о принимаемых решениях не всегда своевременно доходила до непосредственных исполнителей, что нередко приводило к дублированию прошений и многократному обсуждению одних и тех же вопросов. Все это усугублялось многоступенчатой системой рассмотрения дел, которая в «сложных случаях» предполагала последовательное прохождение до 12 инстанций⁵, что существенно затягивало принятие решения. На губернском и уездном уровне данное положение осложнялось недостаточным количеством имеющих необходимую подготовку чиновников, что неизбежно приводило к значительному росту так называемых «нерешенных дел» [Писарькова, 2019, с. 56–61].

Все эти проблемы существенно замедляли действие механизмов обратной связи в системе местного и имперского управления, но не исключали возможности рассматривать поступающие как от частных лиц, так и от чиновников различного уровня запросы о необходимости совершенствования законодательства. Внешнему наблюдателю такая работа может показаться сугубо ситуативной, обусловленной обстоятельствами конкретного дела. Но в действительности даже выборочный обзор материалов фонда Департамента общих дел МВД, журналов заседаний Комитета министров, Государственного совета, Сената, различных особых комитетов и комиссий позволяет утверждать, что ответная реакция на информацию с мест имела системный характер и отражала важную

⁵ Аналогичное усложнение произошло и в системе судопроизводства: после преобразований 1802–1810 гг. вместо 4 дело могло последовательно рассматриваться в 8 инстанциях [Писарькова, 2014, с. 207].

функцию данных структур — устранение противоречий между установленными ранее юридическими нормами и изменениями социально-экономической ситуации на местах.

Подтверждением того, что имперская администрация реагировала на поступавшие с мест сигналы о «пробелах» в законодательстве, являются не только отмеченные выше параллели между содержанием сформулированных Н. А. Майковым вопросов и принятых позднее указов, но и понимание верховной властью необходимости упорядочения множества нормативно-правовых актов. В данном контексте показательным является именной указ министру внутренних дел О. П. Козодавлеву от 3 марта 1811 г., в котором Александр I подчеркивал целесообразность сопоставления «Жалованной грамоты дворянству» 1785 г. и изданных позднее указов. При этом признавалось, что многие из таких «узаконений» первоначально были установлены по запросам с мест в качестве «необходимого исключения из общих правил», но в дальнейшем губернаторы и предводители дворянства ссылались на них при обосновании необходимости введения аналогичных исключений на подвластных им территориях. Все это, по мнению императора, привело к тому, что «...через продолжение времени нечувствительным образом вкрались некоторые от общих правил отступления, подающие случай ко многим беспорядкам и превратным истолкованиям изданных по сему предмету узаконений» [ПСЗ-I, т. 31, № 24546, с. 568]. Для предотвращения в дальнейшем негативных последствий О. П. Козодавлеву и министру полиции А. Д. Балашову было поручено «...составить общие для проведения Дворянских выборов правила, по которым бы во всех губерниях без изъятия единообразное исполнение чинимо быть могло» [Там же]. Однако, в указе не было обозначено ни срока исполнения поручения, ни процедуры его дальнейшего рассмотрения, за исключением лишь одной фразы: «потом» проект следует «поднести» императору.

На сегодняшний день документального подтверждения, что соответствующий проект был представлен Александру I, не обнаружено. Есть лишь краткое упоминание в журнале Комитета министров от 21 июня 1811 г. о том, что при рассмотрении записок Волынского гражданского губернатора и Виленского губернского маршала по вопросу о целесообразности сохранения ранее установленных для данных территорий исключений О. П. Козодавлев высказался против их продления. Аргументируя такое решение, он напоминал о данном ему и А. Д. Балашову поручении: «...почти собраны уже все надлежащие сведения и в скором времени будут поднесены Его Императорскому Величеству на благоусмотрение и самые правила» [Журналы Комитета министров..., с. 199]. В этом же году А. Д. Балашов и О. П. Козодавлев писали императору о преждевременности составления новых правил дворянских выборов до составления «общего устройства губерний» [Корф, с. 486]. Фактическое же завершение работы над новым положением о дворянских выборах произошло лишь при императоре Николае I в «Комитете 6 декабря 1826 г.», участники которого сопоставили многочисленные представления с мест, изданные в предшествующее царствование

указы и постановления, а также вновь поступавшие проекты по улучшению дворянских выборов⁶. В результате 6 декабря 1831 г. было издано «Положение о порядке дворянских собраний, выборов и службы по оним», в текст которого были включены и нормы, о необходимости которых ранее писал Н. А. Майков.

Источники

Архив Государственного совета. Т. 4 : Царствование императора Александра I (с 1810 по 19 ноября 1825 г.). Журналы по делам Департамента законов. Ч. 2. СПб. : Тип. II отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1874.

Журналы Комитета министров. Царствование императора Александра I. 1802–1826. Т. II : 1810–1812. Журналы Комитета министров за 1810 год. СПб. : Тип. Безобразова, 1891.

ПСЗ-I — Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 30. № 22846, 22887, 23128; Т. 31. № 24546, 24916; Т. 39. № 30104.

ПСЗ-II — Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е : в 55 т. СПб. : Тип. II отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830–1885. Т. 6. № 4989.

РГИА — Российский государственный исторический архив. Ф. 1284. Оп. 3. Кн. 46. Д. 348; Оп. 7. Отд. 2. Ст. 3. Д. 25.

Исследования

Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762–1855. СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1906.

Куприянов А. И. Выборы в русской провинции (1775–1861). М. : Институт российской истории РАН : Центр гуманитарных инициатив, 2017.

Любимов С. В. Предводители дворянства всех наместничеств, губерний и областей Российской империи 1777–1910 г. СПб. : Тип. о-ва «Общественная польза», 1911.

Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в.: замыслы, проекты, воплощение. М. : Новый хронограф, 2014.

Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой трети XIX в.: становление министерской системы. М. : Новый хронограф, 2019.

Тимофеев Д. В. Электоральные конфликты и групповая солидарность российского дворянства в царствование Александра Первого // *Quaestio Rossica*. 2020. Т. 8, № 4. С. 1274–1291. <https://doi.org/10.15826/qr.2020.4.527>

Тимофеев Д. В. Диалоги о правах дворянского собрания в контексте электоральных конфликтов в России первой четверти XIX века // *Вестник Пермского университета. История*. 2021. № 3(54). С. 59–67. <https://doi.org/10.17072/2219-3111-2021-3-59-67>

References

Korf, S. A. (1906). *Dvorianstvo i ego soslovnnoe upravlenie za stoletie 1762–1855 godov* [The Nobility and Its Class Management over a Century, 1762–1855]. St Petersburg: Tipografiia Trenke i Fyusno.

Kupriyanov, A. I. (2017). *Vybory v russkoi provintsii, 1775–1861 gg.* [Elections in the Russian Province, 1775–1861]. Moscow: Tsentr gumanitarnykh initsiativ.

⁶ Итоговый вариант проекта было поручено составить министру внутренних дел В. С. Ланскому [Корф, с. 485].

Lyubimov, S. V. (1911). *Predvoditeli dvorianstva vsekh namestnichestv, gubernii i oblastei Rossiiskoi imperii 1777–1910 gody* [The Leaders of the Nobility of All Governorates of Provinces and Regions of the Russian Empire 1777–1910]. St Petersburg: Tipografiia obshchestva “Obshchestvennaia pol’za”.

Pisar’kova, L. F. (2014). *Gosudarstvennoe upravlenie Rossii v pervoi chetverti XIX v.: zamysly, proekty, voploshchenie* [Government of Russia in the First Quarter of the 19th Century: Plans, Projects, Implementation]. Moscow: Novyi khronograf.

Pisar’kova, L. F. (2019). *Gosudarstvennoe upravlenie Rossii v pervoi treti XIX veka: stanovlenie ministerskoi sistemy* [State Administration of Russia in the First Third of the 19th Century: The Formation of the Ministerial System]. Moscow: Novyi khronograf.

Timofeev, D. V. (2020). Elektoral’nye konflikty i gruppovaia solidarnost’ rossiiskogo dvoryanstva v tsarstvovanie Aleksandra Pervogo [Electoral Conflicts and Group Solidarity of the Russian Nobility in the Reign of Alexander I]. *Quaestio Rossica*, 8(4), 1274–1291. <https://doi.org/10.15826/qr.2020.4.527>

Timofeev, D. V. (2021). Dialogi o pravakh dvorianskogo sobraniia v kontekste elektoral’nykh konfliktov v Rossii pervoi chetverti XIX veka [Dialogues on the Rights of the Noble Assembly in the Context of Electoral Conflicts in Russia in the First Quarter of the 19th Century]. *Vestnik Permskogo universiteta. Istorii*, 3(54), 59–67. <https://doi.org/10.17072/2219-3111-2021-3-59-67>

Тимофеев Дмитрий Владимирович

доктор исторических наук, заведующий
Центром социальной истории,
ведущий научный сотрудник
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской, 16
E-mail: dmitrtim@yandex.ru

Timofeev, Dmirii Vladimirovich

Dr. Hab. (History), Head of the Department
of Social History, Leading Researcher
Institute of History and Archaeology UB RAS
16, S. Kovalevskaya St.,
620990 Ekaterinburg, Russia
Email: dmitrtim@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6578-8762>
Scopus AuthorID: 55676146900
WoS ResearcherID: Q-2287-2015

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.068
УДК 94(470)“1886/1888”.342.5 +
+ 929 Александр(470)*III +
+ 929 Оболенский

Н. В. Черникова
Институт российской истории РАН
Москва, Россия

МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III (на материалах дневника кн. В. С. Оболенского)

Статья посвящена изучению специфики придворного управления как составляющей обширной проблемы истории государственных учреждений дореволюционной России. Министерство императорского двора, в силу близости к монарху, занимало особое положение в бюрократической системе государства. В его структуре и организации работы были сильны пережитки XVIII столетия. Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть нюансы работы придворного ведомства по обеспечению быта царской семьи в 1880-е гг., когда была предпринята попытка реформы министерства двора на общих для бюрократической системы началах, определить причины неудачи этой перестройки и истоки все же состоявшихся преобразований.

В основу статьи положен до сих пор не введенный в научный оборот дневник гофмаршала Александра III князя В. С. Оболенского-Нелединского-Мелецкого, хранящийся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея. В отличие от известных свидетельств высших чиновников министерства двора (В. С. Кривенко, А. А. Мосолова), носящих мемуарный характер, дневник Оболенского раскрывает ежедневную и многогранную деятельность служащих при дворе, восстанавливает значение отдельных чиновников высшего и среднего звена, отношения между ними.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что организация повседневной и парадной сторон жизни царской семьи обеспечивалась слаженной работой огромного механизма, четкость функционирования которого во многом зависела от распорядительности и профессионализма высших чинов двора. В отличие от других министерств, в работе придворного ведомства большое значение имела система отношений, складывающаяся между представителями императорской фамилии и придворными чинами. Именно она мешала своевременной ротации кадров и проведению назревших преобразований. Это положение нивелировалось главенствующей ролью личного фактора, который определял действительное значение служащих в большей степени, чем их официальное положение.

К л ю ч е в ы е с л о в а: министерство императорского двора; гофмаршал; Александр III; В. С. Оболенский; придворно-хозяйственная деятельность; реформа; личные отношения

Благодарности

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 22-28-01607 «Дневник гофмаршала Александра III князя В. С. Оболенского. 1886–1888 гг.», <https://rscf.ru/project/22-28-01607/>

Ц и т и р о в а н и е: *Черникова Н. В.* Министерство императорского двора в царствование Александра III (на материалах дневника кн. В. С. Оболенского) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 186–199. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.068>

Поступила в редакцию: 28.02.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Natalia V. Chernikova

*Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia*

MINISTRY OF THE IMPERIAL COURT UNDER ALEXANDER III (with Reference to Prince V. S. Obolensky's Diary)

This article studies the specifics of court administration as a component of the extensive problem of the history of state institutions of pre-revolutionary Russia. Due to its proximity to the monarch, the Ministry of the Imperial Court occupied a special position in the bureaucratic system of the state. In its structure and organisation of work, the vestiges of the eighteenth century were strong. The purpose of the study is to reveal the nuances of the work of the court department in providing for the life of the royal family in the 1880s, when an attempt was made to reform the Ministry of the Court on a common basis for the bureaucratic system, to determine the reasons for the failure of this restructuring, and the origins of the transformations that did take place.

The article is based on the diary of Prince V. S. Obolensky-Neledinsky-Meletsky, Marshal of the Imperial Court of Alexander III, which has not been introduced into scholarly circulation previously and is stored in the Department of Written Sources of the State Historical Museum. Unlike the well-known testimonies of the highest officials of the Ministry of the Court (V. S. Krivenko, A. A. Mosolov), which are of a memoir nature, Obolensky's diary reveals the daily and multifaceted activities of employees at the court, restores the importance of individual senior and middle officials, and the relationships among them.

The analysis makes it possible to conclude that the organisation of the household and ceremonial aspects of the life of the royal family was ensured by the coordinated work of a huge mechanism, whose precision of functioning largely depended on the orderliness and professionalism of the highest ranks of the court. Unlike other ministries, in the work of the court department, the system of relations that developed among representatives of the imperial family and court ranks was of great importance. This is what prevented the timely rotation of personnel and the implementation of much needed reforms. This situation was levelled by the dominant role of the personal factor, which determined the importance of employees to a greater extent than their official position.

Key words: Ministry of the Imperial Court; Marshal of the Imperial Court; Alexander III; V. S. Obolensky; court economic activity; reform; personal relationships

Acknowledgements

The article was prepared with the financial support of the *Russian Science Foundation* grant 22-28-01607 “Diary of V. S. Obolensky, Marshal of the Imperial Court of Alexander III. 1886–1888”, <https://rscf.ru/en/project/22-28-01607/>

For citation: Chernikova, N. V. (2023). Ministerstvo imperatorskogo dvora v tsarstvovanie Aleksandra III (na materialakh dnevnika kn. V. S. Obolenskogo) [Ministry of the Imperial Court under Alexander III (with Reference to Prince V. S. Obolensky's Diary)]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 186–199. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.068>

Submitted: 28.02.2023

Accepted: 24.10.2023

Министерство императорского двора и уделов было особым явлением в чиновном Петербурге. Его внутренняя структура вместо стройной вертикали власти представляла собой конгломерат учреждений, многие из которых возникли в XVIII в., а часть имела истоки еще в Московской Руси. При этом даже после образования министерства в 1826 г. все они действовали на основании специальных положений. Министерство включало конюшенную, медицинскую и церемониальную части, императорские библиотеки, театры, удельное ведомство и пр. Но главное его назначение, как писал в записке 1883 г. министр двора граф И. И. Воронцов-Дашков, заключалось в том, чтобы «ведать хозяйство государево» [Министерская система..., с. 855].

В современной исторической науке изучение придворного мира с точки зрения особенностей администрирования и обеспечения бытовых потребностей и репрезентативных функций императорской семьи является одним из активно развивающихся направлений. Однако усилия исследователей сосредоточены в основном на XVIII – первой половине XIX в. [Агеева, 2008; 2018; Несмеянова, 2007; Выскочков]. Пореформенный период получил отражение лишь в общих работах, освещающих структуру Министерства императорского двора [Высшие и центральные государственные учреждения..., т. 3, с. 163–164; Несмеянова, 1998; Потапина; Министерская система...] и дворцовый быт императорской России [Зимин; Девятов, Зимин], а также в немногочисленных исследованиях посвященных отдельным управлениям министерства [Медицина и императорская власть...]. Особенности ведения придворного хозяйства в пореформенную эпоху, нюансы его реформирования в 1880-е гг. до сих пор не становились предметом изучения.

Сложившаяся историографическая ситуация во многом обусловлена состоянием источниковой базы, узость которой не позволяет всесторонне осветить указанные проблемы. В связи с этим особое значение получает неопубликованный дневник гофмаршала Александра III князя Владимира Сергеевича Оболенского-Нелединского-Мелецкого (1847–1891). В силу своей должности князь Оболенский оказался в центре перемен, происходивших в министерстве

императорского двора в царствование Александра III, и его дневник отразил все сложности и перипетии этого процесса.

Управлением дворцовым хозяйством в рамках министерства императорского двора ведала сначала Придворная Его Императорского Величества контора (1726–1882), затем Главное дворцовое правление (1882), Главное дворцовое управление (1883–1891) и наконец (с 1891 г.) Гофмаршальская часть.

Во главе Придворной конторы стоял президент (обер-гофмаршал), помощником которого был вице-президент (гофмаршал). Контора занималась убранством, освещением и отоплением петербургских и загородных дворцов, содержанием садов и оранжерей, а также организацией в них строительных и ремонтных работ; в состав ее обязанностей входила постоянная ревизия и пополнение дворцовых кладовых (бельевых, сервизных, посудных и пр.) и винных погребов, обеспечение продовольствием императорской семьи и придворных, организация торжеств (балов, маскарадов, концертов и пр.), а также царских поездок. Кроме того, на Придворную контору было возложено содержание официантов и служителей и Певческой капеллы [Обзор..., паг. 3, с. 4; Высшие и центральные государственные учреждения..., т. 3, с. 163–164].

В январе 1882 г. хозяйственная часть императорского двора претерпела реорганизацию, целью которой было полное сосредоточение дворцового хозяйства в руках обер-гофмаршала. Придворная контора была расформирована, и вместо нее создано Главное дворцовое правление (с 1883 г. — Главное дворцовое управление). Во главе его также стоял обер-гофмаршал, которому, помимо учреждений, подведомственных Придворной конторе, были подчинены Конюшенная и Егермейстерская части, придворное духовенство, а также арсеналы и библиотеки [Обзор..., паг. 3, с. 11].

Эти преобразования отразили стремление министра двора И. И. Воронцова-Дашкова (и его вдохновителя В. С. Кривенко) реформировать министерство с целью привести его структуру в стройную централизованную систему и изменить традиционный для министерства порядок, когда «не только начальники (президенты) управлений или их заместители, но и нередко представители маленьких ответвлений шли непосредственно к министру за указаниями, шли с докладами по разнообразным мелочным делам» [Кривенко, с. 172]. Превращение обер-гофмаршала в подобие товарища (помощника) министра, с подчинением ему отдельных частей и управлений должно было решить эту проблему.

Попытка, однако, закончилась, фактически не начавшись. Уже в декабре 1882 г. многие части вернули свою автономность и подчинение непосредственно министру, а функции обер-гофмаршала снова сузились. С 1883 г. подчиненными Главному дворцовому управлению остались лишь гофмаршальская часть и петербургские и загородные императорские дворцы, заведывание которыми было возложено на помощника обер-гофмаршала по хозяйственной части.

Позже В. С. Кривенко объяснял неудачу реформы противодействием («сепаратизмом») начальников отдельных управлений, в первую очередь — придворно-конюшенной части и придворной охоты (соответственно В. Д. Мартынова

и Г. А. Черткова) [Кривенко, с. 177]. И это не было преувеличением, поскольку субъективный фактор в министерстве двора играл особенную роль.

В то время как к концу XIX в. в бюрократических структурах при подборе кадров все большее значение получал профессионализм кандидатов и их опытность в избранной сфере, в придворном ведомстве решающее значение имели личные симпатии императора. Ротация персонала неизменно возносила на высшие должности людей, с юности, а то и с детства близких царствующему монарху либо просто пользующихся его уважением и доверием.

Противодействие предпринимаемым министром преобразованиям, немыслимое в других ведомствах, здесь не только было возможно, но и имело все шансы на успех. Особенно справедливо это замечание для начала 1880-х гг. В отличие от своих предшественников, не предпринимавших резких кадровых перестановок в министерстве двора, Александр III сменил почти все его высшее руководство. Этому способствовал целый ряд обстоятельств. На Александра III тягостное впечатление произвел последний год жизни его отца, женившегося морганатическим браком на своей давней фаворитке Е. М. Долгорукой, преклонение многих придворных перед женой стареющего монарха, в некоторых случаях доходивших до заискивания, наконец, гибель императора, которую не сумело предотвратить его ближайшее окружение. Свою роль сыграли и обнаруженные в ведомстве беспорядки. «Касса министерства оказалась полной, — вспоминал В. С. Кривенко, — зато дворцовое хозяйство обветшало, и весь служебный персонал оплачивался по-нищенски» [Там же, с. 166].

Так что уже в 1881 г. воцарившийся монарх назначил нового министра двора. Им стал друг молодости Александра III генерал-лейтенант граф И. И. Воронцов-Дашков. В том же году обер-гофмаршалом, заведующим всем дворцовым хозяйством, был назначен 68-летний Э. Д. Нарышкин (1813–1902), которого Александр III «уважал и любил» [Шереметев, с. 574].

Затем последовал целый ряд назначений на разные должности бывших адъютантов императора: В. Д. Мартынова — вице-президентом Придворной конюшенной конторы (1881), кн. В. С. Оболенского — гофмаршалом (1882), гр. С. Д. Шереметева — начальником Придворной певческой капеллы (1883), кн. В. А. Бярятинского — начальником императорской охоты (1883), В. А. Шереметева — командиром императорского конвоя (1884) и гр. А. В. Олсуфьева — начальником канцелярии Императорской Главной квартиры (1885).

Особенно долго (несколько месяцев) шли поиски гофмаршала, который должен был обеспечивать малейшие нюансы частной и публичной жизни императорской семьи. После учреждения Главного дворцового правления именно на него была возложена «работа по надзору за всем ходом хозяйственной и показной парадной жизни во дворце — резиденции императора. Он должен был там дневать и ночевать, быть всегда начеку для получения приказаний и немедленного их осуществления» [Кривенко, с. 176].

Выбор Оболенского был неслучаен [Черникова] и оказался очень удачен. С. Д. Шереметев писал, что Оболенский был человек «вполне русский, вполне

соответствовавший государю для его домашнего хозяйства», добросовестный и вскоре стал незаменим [Шереметев, с. 585].

Приняв должность гофмаршала в апреле 1882 г., Оболенский оказался в двойственном положении. Его первые шаги на новом поприще были сделаны под непосредственным руководством обер-гофмаршала Э. Д. Нарышкина. Они вместе ездили в Петергоф распределять квартиры для свиты перед переездом туда царской семьи [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 1, л. 57 об.], осматривали оранжереи и помещения Гатчинского дворца [Там же, л. 89 об., 155]. Нередко Нарышкин приглашал Оболенского к себе, чтобы обсудить те или иные вопросы или передать ему список приглашенных на придворные торжества. Таким образом, Оболенский действовал как ближайший помощник обер-гофмаршала. Но в то же время не до конца реализованная реформа придала ему независимость в рамках собственной компетенции.

Это самостоятельное значение гофмаршала поддерживалось и тем, что, наряду с другими управляющими отдельными частями министерства, он вошел в Совет при министре императорского двора [Высшие и центральные государственные учреждения..., с. 178]. Сохранившаяся традиционная практика постоянного контакта высших придворных чинов с министром приводила к тому, что именно обер-гофмаршал де факто оказывался в этой системе лишним звеном. Между тем, Нарышкин служил в придворном ведомстве с 1856 г. (правда, с перерывами), в 1859–1861 гг. он даже исполнял обязанности вице-президента Придворной конторы (т. е. гофмаршала). Именно поэтому он с трудом принимал новые условия, ослабившие его непосредственное участие в тех областях обеспечения бытовой и парадной жизни двора, где обер-гофмаршал всегда играл ведущую роль. Нарышкин старался оставаться максимально деятельным, нередко по старинке вмешивался в компетенцию подчиненных ему лиц, в которых видел лишь своих помощников. Однако сам он в силу возраста уже не мог проявить должной активности. Он часто жаловался на здоровье, уезжал лечиться, а его полноценному участию в заседаниях Совета и совещаниях с министром мешала глухота [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 3, л. 32 об.]. Впрочем, проблемы не исчезли и с уходом Нарышкина с поста обер-гофмаршала в середине июня 1884 г. Его преемник князь С. Н. Трубецкой был моложе Нарышкина на 16 лет, но в отличие от него являлся новичком в придворном мире, и Оболенскому пришлось неоднократно выступать в роли ментора — посвящать своего начальника в тонкости придворного хозяйства, наставлять, как делают приглашения и пр. [Там же, л. 106, 107 об.]. Ученик, однако, оказался «бестолков».

Кроме того, не обладая необходимыми для самостоятельной деятельности знаниями, он боялся «упустить власть из рук» [Там же, л. 107], суетился, приказывал, но его непрофессиональное вмешательство часто приводило к путанице, вызывало раздражение и недовольство всех так или иначе подчиненных ему лиц. «Трубецкой меня злит, — писал Оболенский в апреле 1885 г., — ничего не знает и во все хочет вмешиваться, люди его не хотят признавать» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 4, л. 55]. В погоне за властью и влиянием обер-гофмаршал нередко забывал

о своих непосредственных обязанностях. «Трубецкого никогда нет дома, — отмечал в дневнике Оболенский, — получаемые бумаги лежат у него и сохнут. <...> Граф Воронцов постоянно убеждается в полной его непригодности» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 9].

В конце концов против обер-гофмаршала бы составлен негласный заговор — все дела решались без его участия и со временем все больше — за его спиной. «Надувать» Трубецкого — называл это Оболенский [Там же, л. 27; ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 7, л. 39]. Таким образом, все больше работ по организации придворного хозяйства Оболенский выполнял без оглядки на своего непосредственного начальника.

Основной задачей гофмаршала было обеспечение царского стола и, шире, довольствие всего двора. Помимо рядовых приемов пищи это включало организацию торжественных завтраков, обедов и ужинов, независимо от того, происходили ли они в Петербурге, пригородных резиденциях или во время поездок по России. В этом последнем случае на место заранее выезжала дежурная прислуга¹ [Обзор..., паг. 3, с. 124–125; Девятов, Зимин, с. 233–234], туда же доставлялись необходимые продукты, и гофмаршал при этом должен был быть готов к любым непредвиденным ситуациям. Например, в августе 1885 г. у вагона-ледника на пути к Киеву сгорели оси, и он застрял в Скуратове [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 4, л. 116 об.].

За царским столом часто собиралось несколько сотен человек. Задачей гофмаршала при этом было максимально точно определить разницу между числом приглашенных, присутствующих и ужинающих гостей. При этом учитывалось, что далеко не все приглашенные на многолюдные собрания действительно смогут прибыть и, рассчитывая число кувертов для большого новогоднего бала в Зимнем дворце, гофмаршал сокращал число гостей на треть, будучи уверенным, что останутся и лишние места. Действительно, в 1885 г., например, на большой бал 10 января было разослано 3173 приглашения, «вошло на бал около 2000, ужин готовился на 2100 человек» [Там же, л. 8 об.]; в 1887 г. (15 января) списки приглашенных включали 3175 человек, ужин готовился «до 2100 кувертов», «ужинало до 2020 человек» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 6, л. 10], а в 1889 г. (16 января) на большой бал «званных 3150, приехало 2170, ужинало до 2030, свободных мест почти не было» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 8, л. 12 об.] и т. д. Сходным образом заказывался ужин и для менее многолюдных балов. На бал в Концертном зале Зимнего дворца 29 января 1887 г. было разослано 910 приглашений. «Мест для ужина 750, надеюсь, хватит», — меланхолично замечал Оболенский накануне [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 6, л. 16 об.]. И оказался прав: на следующий день «ужинало 710 чел[овек]» [Там же, л. 17]. Соответственно, поступок обер-гофмаршала

¹ Придворные служители делились на местный и подвижной состав. Из последних составлялись дежурные бригады для сопровождения царской семьи во время поездок и путешествий, а также для сопровождения иностранных владетельных лиц.

Трубецкого, заказавшего для бала с 400 приглашенными ужин на 390 персон, Оболенский посчитал глупостью [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 106].

После определения числа гостей заказывалось меню, причем число блюд варьировалось в зависимости от торжественности случая. Но и этим обязанности гофмаршала не исчерпывались.

Не меньшую важность представляло убранство помещений, для чего в большом количестве использовались драпировки, ленты, специально доставленные из оранжерей цветы, из которых не только составлялись букеты, но и плелись гирлянды. Дневник Оболенского вскрывает все сложности, которые приходилось при этом решать гофмаршалу, тем более что царские трапезы нередко выносились за пределы дворца. Во время военных учений или императорских охот столы могли быть накрыты даже под открытым небом. Так, в 1890 г. во время учений под Нарвой завтрак был сервирован на лугу у деревни Ополе. И продолжить его не помешал даже начавшийся дождь: «подавали блюда, десерты, кофе, как будто была чудная погода», — писал очевидец [Царские поездки..., с. 167]. Но чаще трапезы проходили в больших палатках, которые для этого обильно украшали лентами и цветами как внутри, так и снаружи [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 112]. В зимнее время года использовались любые отапливаемые помещения. Так, 10 февраля 1884 г. ужин был устроен в Манеже и фуражных сараях при нем [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 3, л. 24]. Конечно, украшение таких «залов» требовало особого усердия и внимания со стороны гофмаршала, творческого подхода к их оформлению.

Кроме того, в обязанности гофмаршала входил подбор столовой мебели, белья и посуды. Для обеспечения всего необходимого в его распоряжении находились многочисленные кладовые и погреба в столичных и загородных дворцах (мебельные, сервизные, бельевые, винные и пр.). Периодически Оболенский проводил их ревизию, один, с обер-гофмаршалом или его помощником по хозяйственной части. В дневнике неоднократно встречаются упоминания о необходимости заказа тех или иных вещей.

Правда, первое время деятельность Оболенского в этом направлении была несколько ограничена. В первой половине 1880-х гг. при дворе большую роль играл камер-фурьер по хозяйственной части Р. Ингано. Пользуясь тем, что права и обязанности этой должности не были четко определены, Ингано уверенно распоряжался продуктовыми и винными запасами, с легкостью получая у Нарышкина утверждение всех своих распоряжений [Кривенко, с. 175]. После смерти Ингано 4(16) февраля 1885 г. выяснилось, что все находившиеся в его ведении погреба пребывали в ужасном беспорядке. Специально собранная комиссия во главе с Оболенским в течение нескольких дней занималась описью погребов столичных (Зимнего и Аничкова) и загородных дворцов (в Царском Селе, Петергофе и Гатчине). «Сумбур и грязь невообразимые, беспорядок полный», «в делах Ингано хаос», — записывал Оболенский в дневнике [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 4, л. 20, 21 об.]. С этого времени погреба были взяты им под полный контроль, назначены чиновники, ответственные за связи с поставщиками и хранение

продуктов [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 4, л. 22]. Содержание и пополнение винных погребов Оболенский контролировал лично, указывая, сколько и какого вина нужно заказать [Там же, л. 29; д. 5, л. 21 об., 24, 31, 33, 42 и пр.].

Отвечал Оболенский и за музыкальное сопровождением парадных трапез, для чего приглашал Придворный хор или оркестры и певчих разных гвардейских полков. Через гофмаршала проходила подготовка художественно оформленных меню и музыкальных программ.

Вся эта работа занимала огромное количество времени. Ежедневно, за редким исключением, он бывал во дворце, часто ездил в Главное управление, осматривал погреба, решал массу текущих вопросов с подчиненными и вышестоящими, с императором и императрицей. Как и предвидела его жена, с назначением гофмаршалом Оболенский совершенно «потерял свободу» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 1, л. 49].

Кроме этих непосредственных обязанностей на Оболенского, как на помощника обер-гофмаршала, часто возлагалось составление списков приглашенных и размещение гостей за столом. Обе эти функции входили в компетенцию обер-гофмаршала, но частое отсутствие Нарышкина, а затем и Трубецкого, их нераспорядительность приводили к тому, что Оболенский брал на себя эти задачи.

Сложнее всего обстояло дело с приглашениями на различные мероприятия. Списки гостей составлялись заранее, согласовывались с императрицей, нередко лично принимавшей участие в этой работе; затем они передавались в Главное управление, которое занималось рассылкой приглашений. Исключение из этой деятельности стоявшего во главе Управления обер-гофмаршала было невозможно. Изменение традиционного порядка происходило исподволь, хотя участие Оболенского в составлении списков приглашенных было заметным с самого начала. По крайней мере, во время коронации Александра III в мае 1883 г. государственный секретарь А. А. Половцов именно его обвинял в том, что приглашение на обед в Грановитой палате не было ему доставлено [Половцов, т. 1, с. 97–98]. И все же Нарышкин еще активно занимался этим вопросом. Все изменилось при его преемнике кн. Трубецком, который постоянно затягивал с рассылкой приглашений. В ряде случаев Оболенскому приходилось вмешиваться и даже действовать через министра. «По моему настоянию, — записывал он в дневнике 14 января 1886 г., — гр. Воронцов приказал посылать приглашения на бал, Трубецкой всё медлит» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 10 об.].

Оставляла желать лучшего и полнота списков. Так, рассылая приглашения на один из парадных завтраков, «Трубецкой забыл дам» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 4, л. 62]. А в январе 1886 г. Оболенский обнаружил «оч[ень] много пропусков и недосмотров» в списке дам, получивших приглашения на посещения Таврического катка [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 5].

Такое нарушение обер-гофмаршалом отлаженного механизма придворного администрирования было, конечно, недопустимо, и неработающее звено стало постепенно исключаться из общего движения придворной жизни. В определенном смысле переломным стал 1886 год, когда Оболенский все чаще

стал единолично решать те вопросы, которые раньше он обсуждал с обер-гофмаршалом. Так, с начала 1886 г. списки приглашенных нередко составлялись без участия обер-гофмаршала или посылались ему для рассылки в исправленном Оболенским варианте [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 15, 16 об.].

Во второй половине 1880-х гг. Оболенскому пришлось взять на себя и составление программ продолжительных празднеств, их согласование с императорской четой [Там же, л. 102 об.]. Расширились и его функции по распределению квартир и размещению свиты при переезде императора из резиденции в резиденцию, поездках на военные учения или в путешествия по России. С самых первых шагов на придворном поприще Оболенский участвовал в подборе помещений и обстановки, занимался, например, закупкой цветных умывальников, мебели и шкафов для Гатчины [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 1, л. 136 об.; д. 3, л. 19 об.]. Однако организация продолжительных поездок требовала особой компетенции. Речь шла не только о размещении императорской семьи и ее свиты, но и о помещениях для охраны и многочисленной прислуги, об обеспечении правильного функционирования всего походного хозяйства, включая многочисленные парадные трапезы. Кроме того, требовалось окончательно определить маршрут (в том числе и исходя из соображений удобства и безопасности), уточнить или даже определить программу в каждом месте пребывания и во время кратких остановок. Все это делало необходимым предварительные командировки высших придворных чинов. В 1884 г. в Царство Польское перед путешествием туда императора отправился Нарышкин. А вот начиная с 1885 г. эту работу выполнял Оболенский. Первоначально он ограничивался лишь распределением квартир. Именно этому были посвящены его короткие поездки в Финляндию 2–3 июля 1885 г. [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 4, л. 95–95 об.] и затем в Киев 3–7 августа 1885 г. [Там же, л. 111–113]. Однако, сопровождая императора в Малороссию, гофмаршал отметил слабый уровень организации этого пребывания. «Распределение дней», которое заранее предоставил Оболенскому генерал-губернатор А. Р. Дрентельн, казалось ему недостаточным. «Во избежание недоразумений в будущем необходимо посылать обер-церемониймейстера вперед, чтобы уговориться насчет программы пребывания», — записывал он [Там же, л. 119].

Однако уже в следующем году Оболенский и сам прекрасно справился с этой обязанностью. Его поездка в Брест-Литовск (Гродненская губ.) 27–30 июля 1886 г. включала не только распределение квартир, но и определение мест для ночлега, а следовательно, и программы дневных передвижений императора. Оболенский лично объездил все пункты, которые собирался посетить Александр III, договорился о торжественных встречах, программе празднования усиления вооружения Брестской крепости и пр. [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 107 об.–109].

Наибольших трудов стоила Оболенскому подготовка царского путешествия на Кавказ в 1888 г., когда он в течение месяца (с 9 мая по 6 июня) побывал в Елисаветграде, Полтаве, Харькове, Таганроге, Ростове, Екатеринодаре, Владикавказе, Тифлисе, Баку, Кутаиси, Батуме и др. Помимо распределения квартир

и хозяйственных распоряжений в каждом городе он оговаривал и программу пребывания императора и его свиты [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 7, л. 68 об.–82 об.].

Деловитость и распорядительность Оболенского высоко ценились царской четой. Все их распоряжения и пожелания выполнялись незамедлительно, было ли это приглашение на вечер во дворец именитых артистов (что подразумевало и подготовку сцены) [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 3, л. 4 об.], приказание императора разбудить императрицу в день ее именин финской музыкой [Там же, л. 105] или пожелание самой Марии Федоровны, чтобы Оболенский «устроил ей отъезд» за границу уже через день. «Суета лютая», — записывал он по этому поводу в дневнике [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 7, л. 115 об.].

Таким образом, при формальном сохранении главенства обер-гофмаршала центр придворного хозяйства постепенно смещался к гофмаршалу. Уже в декабре 1886 г. Оболенский замечал, что Трубецкой во дворце «как будто... и не бывает, влияние его менее 0» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 5, л. 170].

В другом ведомстве отставка некомпетентного чиновника даже такого ранга была бы неминуема, но господствующий в Министерстве двора фактор личных отношений тормозил, а временами делал невозможным принятие подобного решения. Наконец, в конце декабря 1888 г. вопрос об отставке Трубецкого был поставлен. Обсуждалось несколько кандидатур его преемника. При этом мысль о структурной перестройке министерства — придании гофмаршалу полной самостоятельности — даже не возникла, хотя в конце концов именно это де факто и произошло. 31 декабря министр двора гр. Воронцов-Дашков объявил Оболенскому, что Трубецкой останется на своем месте, но «будет в роде куклы» [ГИМ, ф. 224, оп. 2, д. 7, л. 186 об.]. Действительно, Трубецкой продолжал играть свою роль на всех дворцовых выходах и приемах, во время которых он гордо выступал «испанским шагом» [Кривенко, с. 178; Шереметев, с. 507], ему было полностью сохранено содержание [Обзор..., паг. 3, с. 23]. Но во всем остальном он был приравнен к первым чинам двора, от которых не требовалось административной службы.

Главное дворцовое управление было теперь подчинено министру, а все распоряжения по гофмаршальской части перешли под полную ответственность гофмаршала. Это касалось не только довольствия двора, но и устройства балов и празднеств, дел подвижного состава придворнослужителей и церемониальной части Главного дворцового управления. При таком обилии трудов для помощи гофмаршалу была даже учреждена специальная должность его помощника [Там же]. Но только в 1891 г. Главное дворцовое управление было, наконец, упразднено и на его основе сформированы две самостоятельные структуры — Петербургское дворцовое управление и Гофмаршальская часть. На последнюю, писали авторы официального «Обзора деятельности Министерства императорского двора и уделов» дополнительно были возложены новые функции, в том числе распоряжения, касающиеся путешествий императорской семьи и приема особ иностранных правительств [Там же, с. 37–38]. Это утверждение не вполне соответствует реальности. Как свидетельствует дневник Оболенского, все эти

задачи (включая размещение иностранных гостей) решались гофмаршалом по меньшей мере с середины 1880-х гг. Однако при общей неготовности министерства к кардинальным переменам, особой щепетильности по отношению к пользующимся доверием и уважением императора высшим чиновникам двора шаги по оформлению уже произошедших на практике изменений неизбежно запаздывали.

Вряд ли в этом стоит видеть особую косность Министерства императорского двора. Конечно, вплоть до конца XIX столетия оно сохраняло ряд архаических черт: дробную структуру, вовлеченность министра в решение мелких проблем, превалирование значения личного фактора над профессиональным. Но в то же время необходимо подчеркнуть, что важной чертой, отличавшей придворное ведомство, была практическая направленность его деятельности, целью которой было обеспечение повседневной и парадной сторон жизни императорского двора. Так что среди предъявляемых к его руководящему составу требований наиболее важными представлялись способность к организационной работе, добросовестность и даже физическая активность. Несоответствие этим качествам при затрудненности отставки приводило к временному падению значения одних должностей и повышению других.

Рассматривая с этой точки зрения неудачу предпринятой в начале 1880-х гг. реформы, можно сделать вывод, что ее причины лежали в попытке новых в ведомстве людей (И. И. Воронцова-Дашкова и В. С. Кривенко) изменить десятилетиями складывавшийся и доказавший свою эффективность порядок управления хозяйством императорского двора, придав министерству вид, более привычный для бюрократической системы XIX в. Не осуществившись до конца, реформа тем не менее нарушила устоявшуюся систему, сделав возможной последующую корректировку структуры придворного ведомства. Однако реформа не могла изменить основной принцип деятельности министерства, согласно которому действительное значение должностного лица определялось не столько его официальным положением, сколько личным фактором.

Источники

ГИМ — отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 224. Оп. 2. Д. 1–8.

Кривенко В. С. В министерстве императорского двора. Воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2006.

Половцов А. А. Дневник государственного секретаря : в 2 т. / под ред. П. А. Зайончковского. М.: Наука, 1966. Т. 1. 1883–1886.

Царские поездки в описании чинов Свиты (В. С. Оболенский и А. В. Голенищев-Кутузов о путешествиях Александра III) / публ. Н. В. Черниковой // Исторический архив. 2020. № 4. С. 156–173.

Шереметев С. Д. Мемуары графа С. Д. Шереметева / сост., подгот. текста и примеч. Л. И. Шохина. М.: Индик, 2001.

Исследования

- Агеева О. Г. Императорский двор России, 1700–1796 годы. М. : Наука, 2008.
- Агеева О. Г. Императорский двор России эпохи Павла I. М. : Фонд «Связь Эпох», 2018.
- Высочко Л. В. Будни и праздники императорского двора. СПб. : Питер, 2012.
- Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917 гг. : в 4 т. / отв. сост. Д. И. Раскин. Т. 3. СПб. : Наука, 2002.
- Девятков С. В., Зимин И. В. Двор российских императоров: Энциклопедия жизни и быта : в 2 т. Т. 2. М. : Кучково поле, 2014.
- Зимин И. В. Повседневная жизнь Российского императорского двора: Вторая четверть XIX – начало XX в.: Взрослый мир императорских резиденций. М. : Центрполиграф, 2010.
- Медицина и императорская власть в России: Здоровье императорской семьи и медицинское обеспечение первых лиц России в XIX – начале XX в. По материалам деятельности Придворной медицинской части Министерства императорского двора Его Императорского Величества. 1 января 1843 – 15 июня 1918 г. / под ред. Г. Г. Онищенко. М. : Медия Пресс, 2008.
- Министерская система в Российской империи: К 200-летию министерств в России. М. : Российская политическая энциклопедия, 2007.
- Несмеянова И. И. Управление императорским двором в XIX веке // Вестник Челябинского государственного университета. 1998. № 1. С. 59–65.
- Несмеянова И. И. Российский императорский двор первой половины XIX века как социокультурный феномен. Челябинск : МОУ ВПО «Южно-Уральский профессиональный институт», 2007.
- Обзор деятельности Министерства императорского двора и уделов за время царствования в бозе почившего государя императора Александра III (1881–1894 гг.) / под ред. В. С. Кривенко: Ч. 1. Кн. 1. СПб. : Тип. Главного управления уделов, 1901. Разд. паг.
- Потатина М. В. Структура министерства императорского двора императорской России // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2018. № 19-1. С. 56–57.
- Черникова Н. В. «Решительно самый интимный» Их Величествам человек: гофмаршал Александра III князь В. С. Оболенский // У истоков российской государственности. Исследования, материалы / ред. М. А. Казак, П. П. Симоненко, С. Я. Заурдина. Калуга : Эйдос, 2019. (Серия «Калужские страницы»). С. 165–169.

References

- Ageeva, O. G. (2008). *Imperatorskii dvor Rossii, 1700–1796 gody* [Imperial Court of Russia, 1700–1796]. Moscow: Nauka.
- Ageeva, O. G. (2018). *Imperatorskii dvor Rossii epokhi Pavla I* [Imperial Court of Russia in the Era of Paul I]. Moscow: Fond “Sviaz’ Epokh”.
- Chernikova, N. V. (2019). “Reshitel’no samyi intimnyi” Ikh Velichestvam chelovek: gofmarshal Aleksandra III kniaz’ V. S. Obolenskii [“Resolutely the Most Intimate” for Their Majesties Man: Prince V. S. Obolensky, State Marshall of Alexander III]. In M. A. Kazak, P. P. Simonenko, & S. Ya. Zaurdina (Eds.), *U istokov rossiiskoi gosudarstvennosti. Issledovaniia, materialy* [At the Origins of Russian Statehood. Research, Materials] (pp. 165–169). Kaluga: Eidos.
- Devyatov, S. V., & Zimin, I. V. (2014). *Dvor rossiiskikh imperatorov: Entsiklopediia zhizni i byta* [Court of Russian Emperors: An Encyclopedia of Everyday Life] (Vol. 2). Moscow: Kuchkovo pole.
- Ministerskaia sistema v Rossiiskoi imperii: K 200-letiiu ministerstv v Rossii* [The Ministerial System in the Russian Empire: For the 200th Anniversary of the Ministries in Russia] (2007). Moscow: Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia.

Nesmeyanova, I. I. (1998). Upravlenie imperatorskim dvorom v XIX veke [Administration of the Imperial Court in the 19th Century]. *Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, 1, 59–65.

Nesmeyanova, I. I. (2007). *Rossiiskii imperatorskii dvor pervoi poloviny XIX veka kak sotsiokul'turnyi fenomen* [The Russian Imperial Court in the First Half of the 19th Century as a Sociocultural Phenomenon]. Chelyabinsk: South Ural Professional Institute.

Onishchenko, G. G. (Ed.). (2008). *Meditsina i imperatorskaia vlast' v Rossii: Zdorov'e imperatorskoi sem'i i meditsinskoe obespechenie pervykh lits Rossii v XIX – nachale XX v. Po materialam deiatel'nosti Pridvornoi meditsinskoi chasti Ministerstva imperatorskogo dvora Ego Imperatorskogo Velichestva. 1 ianvaria 1843 – 15 iunია 1918 g.* [Medicine and Imperial Power in Russia: Health of the Imperial Family and Medical Support of the First Persons of Russia in the 19th – Early 20th Centuries. Based on the Activities of the Court Medical Unit of the Ministry of the Imperial Court of His Imperial Majesty. January 1, 1843 – June 15, 1918]. Moscow: Media Press.

Potapina, M. V. (2018). Struktura ministerstva imperatorskogo dvora imperatorskoi Rossii [Structure of the Ministry of the Imperial Court of Imperial Russia]. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 19(1), 56–57.

Raskin, D. I. (Ed.). (2002). *Vysshie i tsentral'nye gosudarstvennye uchrezhdeniia Rossii. 1801–1917 gg.* [Higher and Central State Institutions of Russia. 1801–1917] (Vol. 3). St Petersburg: Nauka.

Vyskochkov, L. V. (2012). *Budni i prazdniki imperatorskogo dvora* [Weekdays and Holidays of the Imperial Court]. St Petersburg: Piter.

Zimin, I. V. (2010). *Povsednevnaia zhizn' Rossiiskogo imperatorskogo dvora: Vtoraia chetvert' XIX – nachalo XX v.: Vzroslyi mir imperatorskikh rezidentsii* [Everyday Life of the Russian Imperial Court: The Second Quarter of the 19th – Early 20th Centuries: Adult World of the Imperial Residences]. Moscow: Tsentrpoligraf.

Черникова Наталья Владимировна

доктор исторических наук
ведущий научный сотрудник
Институт российской истории РАН
117292, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19
E-mail: ncher@inbox.ru

Chernikova, Natalia Vladimirovna

Dr. Hab. (History), Leading Researcher
Institute of Russian History RAS
19, Dmitry Ulianov St., 117292 Moscow,
Russia
Email: ncher@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0002-5163-9344>
Scopus AuthorID: 57192304694
WoS ResearcherID: AAS-3119-2020

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.069
УДК 338.58(470)“1960/1970” +
+ 332.3(571.17) + 622.23(571.17) +
+ 631(571.17)

Р. Р. Гильминтинов
Тюменский государственный университет
Тюмень, Россия

**«ПРИНЯТЬ ЗАТРАТЫ КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ»:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В СФЕРЕ СОВЕТСКОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОНФЛИКТОВ
ВОКРУГ РЕКОНСТРУКЦИИ БАЧАТСКОГО РАЗРЕЗА
В КОНЦЕ 1960-х — 1970-е гг.**

В данной статье используется концепция общественных издержек для анализа особенностей советского землепользования в 1960–1970-е гг. В основе этой концепции лежит исследование механизмов современных экономик, в которых перенесение части издержек на общество становится важнейшим способом повысить прибыль для производителей. Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды — неизбежные издержки любой экономической деятельности, но несет их, как правило, не производитель, а третьи стороны и общество в целом. Концепция общественных издержек позволяет высвечивать сложную картину вовлеченных в природопользование акторов: тех, кто является источником общественных издержек, кто их несет и кто становится агентом перераспределения. Эмпирическим материалом в статье становятся конфликты вокруг реконструкции Бачатского разреза. Это предприятие было заложено в конце 1940-х гг. как небольшой карьер. Его расширение и превращение в одно из крупнейших предприятий советской угледобычи в 1970-е гг. потребовало отвода значительных земельных участков у близлежащих совхозов и колхозов, на которых располагались поселки, объекты инфраструктуры, пашня, кормовые угодья. Исследование конфликтов вокруг рекультивации, отводов земли и компенсации за них демонстрирует следующую динамику. В разных контекстах в роли источников общественных издержек выступали разные институциональные уровни угольной отрасли: министерство, комбинат Кузбасскарьеруголь и сам Бачатский разрез. Министерство сельского хозяйства, колхозы и совхозы, которые непосредственно несли издержки из-за расширения разреза, не выступали в конфликтах от своего лица. В качестве агентов перераспределения выступали другие акторы: прежде всего, Кемеровский облисполком, а также районные органы советской власти и Госплан СССР. При этом, у каждого из этих органов было свое видение того, в каких объемах и формах угольщики должны были компенсировать издержки сельского хозяйства в регионе.

К л ю ч е в ы е с л о в а: общественные издержки; землепользование; природопользование; экология; экономика; угольная промышленность; сельское хозяйство; планирование; Кузбасс; СССР

Благодарности

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 22-78-00189 «Рационализация природопользования: политэкономия, планирование и экологическое

регулирование угольной промышленности в 1965–1991 гг.» (работа с материалами Государственного архива Кемеровской области) и гранта Правительства РФ, проект № 075-15-2021-611 «Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири» (работа с материалами Российского государственного архива экономики).

Ц и т и р о в а н и е: *Гильминтинов Р. Р.* «Принять затраты как исключение»: общественные издержки в сфере советского землепользования на примере конфликтов вокруг реконструкции Бачатского разреза в конце 1960-х — 1970-е гг. // *Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки.* 2023. Т. 25, № 4. С. 200–217. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.069>

Поступила в редакцию: 05.04.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Roman R. Gilmintinov

University of Tyumen

Tyumen, Russia

**“ACCEPT COSTS AS AN EXCEPTION”:
SOCIAL COSTS IN SOVIET LAND MANAGEMENT WITH REFERENCE
TO CONFLICTS AROUND THE RECONSTRUCTION
OF THE BACHATSKY SURFACE MINE IN THE LATE 1960s – 1970s**

This article uses the concept of social costs to analyse the features of Soviet land use in the 1960s–1970s. This concept is based on the study of the mechanisms of modern economies, in which shifting costs to society becomes the most important way to increase profits for producers. Resources depletion and environmental pollution are inevitable costs of any economic activity, but they are usually borne not by the manufacturer, but by third parties and society. The concept of social costs makes it possible to carry out a comprehensive analysis and highlight the complex picture of the actors involved in nature management: those who are the source of social costs, who bear them, and who becomes an agent of redistribution. The empirical material in the article is the conflicts around the reconstruction of the Bachatsky surface coal mine. Its expansion and transformation into one of the largest enterprises of the Soviet coal mining in the late 1960s required withdrawal of significant land plots from nearby farms. The study of conflicts around land allotment, reclamation and compensation demonstrates the following dynamics. In different contexts, the coal industry at all its institutional levels acted as a source of social costs: the ministry, the Kuzbasskarierugol trust, and the Bachatsky mine itself. The Ministry of Agriculture and farms, which directly incurred costs due to the expansion of the mine, did not participate in conflicts on their own behalf. Other actors acted as agents of redistribution: first of all, the Kemerovo Regional Executive Committee, as well as regional Soviet authorities and the State Planning Committee of the USSR. At the same time, each of these bodies had its own vision of the volumes and forms in which coal miners had to compensate social costs.

К е y w o r d s: social costs; land management; nature management; environment; economy; coal industry; agriculture; economic planning; Kuzbass; Soviet Union

Acknowledgements

This study was prepared within the framework of the *Russian Science Foundation* grant 22-78-00189 “Rationalisation of Nature Management: Political Economy, Planning, and the Environmental Regulation of Coal Mining, 1965–91” (work with the materials of the State Archive of Kemerovo Region) and a Russian Federation Government grant, project 075-15-2021-611 “Human and the Changing Spaces of the Urals and Siberia” (work with the materials of the Russian State Archive of the Economy).

For citation: Gilmintinov, R. R. (2023). “Priniat’ zatraty kak iskluchenie”: obshchestvennye izderzhki v sfere sovetskogo zemlepol’zovaniia na primere konfliktov vokrug rekonstruktsii Bachatskogo razreza v kontse 1960-kh — 1970-e gg. [“Accept Costs as an Exception”: Social Costs in Soviet Land Management with Reference to Conflicts around the Reconstruction of the Bachatsky Surface Mine in the Late 1960s — 1970s]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 200–217. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.069>

Submitted: 05.04.2023

Accepted: 24.10.2023

Введение

Добыча полезных ископаемых открытым способом — одна из самых агрессивных отраслей в сфере землепользования. Тоннели шахт могут простираться на тысячи метров вглубь и вширь под землей, но на поверхности продолжается нормальная жизнь: строятся здания и дороги, на полях зреет урожай, растут леса. Открытая добыча, в свою очередь, превращает огромные площади земли в безжизненную пустыню. На данный момент разрезы, отвалы, погрузочные терминалы, технологические дороги и другие объекты инфраструктуры открытой добычи полезных ископаемых занимают в общей сложности более 10 миллионов гектаров по всему миру. Почти 12 % этой площади приходится на Россию [Maus, Giljum, da Silva et al.].

В регионах, богатых полезными ископаемыми, добывающая промышленность не только несет разрушение природным экосистемам, но и вступает в конфликт с местным населением и другими отраслями экономики, прежде всего сельским и лесным хозяйством. Изучение такого рода конфликтов позволяет высветить, как в разных обществах выстроены взаимоотношения между государством, бизнесом и населением в сфере землепользования и природопользования в более широком смысле. Цель данной статьи — анализ особенностей советского землепользования в 1960–1970-е гг. на примере конфликтов вокруг Бачатского угольного разреза в Кузбассе, реконструкция которого потребовала изъятия значительных площадей у близлежащих совхозов и колхозов, а также уничтожения целых поселков.

В своем исследовании советского землепользования я опираюсь на понятие общественных издержек. Экономисты давно обратили внимание на то, что для производителей одним из самых простых способов повышения рентабельности

является перенесение своих издержек на третьи стороны и на общество в целом. Издержки, связанные с производством того или иного товара, — это не только зарплата рабочих, стоимость оборудования и сырья. Это также и снижение улова рыбы в реке, в которую предприятие сбрасывает отходы, и ухудшение здоровья населения из-за грязного воздуха, и истощение ресурсов, более не доступных будущим поколениям. Изъятие земли из хозяйственного оборота — одна из ключевых форм общественных издержек открытой добычи угля. Такого рода издержки называются общественными, потому что в отсутствие особых политических институтов (например, взимаемой государством платы за использование природных ресурсов) их несет не производитель, а другие экономические агенты или социум в целом [Карр, р. 17]. Эвристичность понятия общественных издержек связана с тем, что каждый из элементов этой концепции носит исторический характер, и в каждом конкретном обществе мы будем иметь дело с уникальной сборкой акторов. Какие акторы являются источником общественных издержек? Какие акторы несут издержки и есть ли у них способы защищать свои интересы? Какие акторы выступают в роли агентов перераспределения издержек? Как они концептуализируют интересы общества в целом, как определяют границы этого «целого»?

Я попробую внести вклад в историографию экологической и экономической истории Советского Союза, опираясь на понятие общественных издержек. Что касается первого блока литературы, последние полтора десятилетия исследователи все больше отходят от упрощенной концепции экоцида, которая подразумевала, что «реальный социализм» и плановая экономика были беспрецедентно успешны в уничтожении окружающей среды [Feshbach, Friendly]. Сейчас доминирующим становится подход, рассматривающий советские практики природопользования в качестве вариации глобальных тенденций, которые определили развитие индустриальной цивилизации и современного государства. Причем пересечения, заимствования и структурная схожесть просматриваются не только в сфере эксплуатации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, но и в подходах к охране природы [Brown; Bruno; Demuth; Kochetkova; Peterson; Roe]. Отвечая на вопросы о том, кто рассматривался в качестве источника общественных издержек, нес ответственность за негативные последствия роста добычи угля, защищал интересы других отраслей и местного населения, мы сможем вернуться к разговору об уникальных чертах политической экономии советского природопользования.

Изучение социальных издержек угольной промышленности представляет собой способ по-новому взглянуть на ключевую для историографии экономической истории СССР дискуссию о том, на каком уровне управления советской экономикой принимались хозяйственные решения и обладал ли менеджмент отдельных предприятий независимостью от министерства и органов планирования. Современные исследования критикуют устаревшее положение о том, что плановая экономика не оставляла руководству предприятий никакой свободы для принятия решений [Harris; Yányshev-Nésterova]. Данные исследования

фокусируются на производственной деятельности того или иного экономического агента, обращая внимание на то, на каком уровне принимаются решения о распределении инвестиций, разработке инноваций, заключении договоров с поставщиками сырья и сбыте готовой продукции. Однако во второй половине XX в. все более значимой проблемой для экономики становится менеджмент рисков и издержек производственной деятельности¹. Анализ этой сферы на примере Бачатского разреза показывает сложную динамику отношений между Министерством угольной промышленности, комбинатом Кузбасскарьеруголь² и самим предприятием. Разработка проекта предприятия велась на министерском уровне; здесь же решались конфликты, связанные с компенсациями колхозам и совхозам за отведение земли. Работы по рекультивации земли при этом были организованы на уровне комбината, что освобождало сам разрез от формальной ответственности в сфере землепользования. На неформальном же уровне строители разреза были активно вовлечены в вопросы землепользования: подчас они захватывали земли колхозов и совхозов, не дожидаясь положительного решения об отводе. Таким образом, в разных контекстах источником общественных издержек становились и министерство, и комбинат, и само предприятие.

Уникальной чертой советской политэкономии природопользования был также набор агентов перераспределения общественных издержек. В СССР, в отличие, например, от США, не существовало отдельного природоохранного органа вплоть до 1988 г.³ Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 г. «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» делегировало задачи по рациональному использованию ресурсов, надзору за состоянием окружающей среды, планированию природоохранных мер и контролю за их исполнением широкому кругу министерств и ведомств. В литературе этот факт рассматривается как отсутствие в СССР какой бы то ни было систематической природоохранной политики как таковой [Ларин, Мнацаканян, Честин, Шварц, с. 25].

Этой позиции важно противопоставить внимательное изучение сложной структуры агентов, которые были вовлечены в регулирование советского природопользования. Изучение конфликтов вокруг реконструкции Бачатского разреза позволяет сформулировать некоторые важные выводы об этой сфере в СССР. Ключевую роль в распределении издержек играли советские органы, прежде всего Исполнительный комитет Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся (Кемеровский облисполком). Именно этот орган боролся с Министерством угольной промышленности за повышенные компенсации

¹ По мнению У. Бека именно этот фактор знаменует собой наступление новейшей эпохи современности — рефлексивной модернизации [см.: Beck].

² В 1971 г. он был переименован в комбинат Кемеровоуголь, а в 1975 г. преобразован в производственное объединение с тем же названием. В тексте во избежание путаницы будет использоваться изначальное название комбината Кузбасскарьеруголь.

³ Об истории американского Агентства по защите окружающей среды см.: [Halvorson].

за отнятые у колхозов и совхозов земли, требовал от руководства комбината Кузбасскарьеруголь заниматься рекультивацией и пытался бороться с незаконными захватами. Определенную роль сыграл Государственный плановый комитет СССР (Госплан). Он выступал в роли проводника «народнохозяйственной эффективности», которая подразумевала сбалансированное развитие всех отраслей экономики. При этом важно, что в разрешение конфликтов в сфере советского землепользования не были напрямую вовлечены партийные органы, которые во многих других сферах выступали в роли третейского судьи, и органы Министерства сельского хозяйства, которое непосредственно несло издержки из-за расширения разреза.

Эти особенности политической экономии советского природопользования раскрываются в основной части статьи. Я начну с описания контекста, в котором происходило расширение Бачатского разреза. Далее я проанализирую трудности, связанные с разработкой и экспертизой проекта реконструкции предприятия. В следующем разделе исследуются конфликты между Кемеровским облисполкомом и комбинатом Кузбасскарьеруголь вокруг рекультивации оработанных земель. Потом я разберу аргументы сторон в конфликте о компенсации колхозам и совхозам, которую должен был выплатить Минуглепром. За этим следует рассказ о непосредственных столкновениях между Бачатским разрезом и местными советскими органами из-за незаконных захватов земель. Завершает статью попытка ответить на вопрос, почему в конфликты вокруг Бачатского разреза не были вовлечены партийные органы и органы Министерства сельского хозяйства.

История Бачатского разреза и ее контекст

Бачатский разрез был заложен в 1949 г. и стал одним из первых в регионе и стране предприятий открытой добычи угля. Угольные разрезы в конце 1940-х гг. были способом быстро получить недорогой энергетический уголь, располагавшийся в верхних пластах месторождений. Срок строительства разрезов составлял от трех до девяти месяцев, тогда как для ввода в эксплуатацию шахты средней мощности требовалось от полутора до двух лет. Значительно ниже была и себестоимость карьерного угля: 20–25 руб. за тонну угля против 75–80 руб. за тонну на шахте [Берсенева, с. 64]. При этом высококачественный коксующийся уголь, который использовался в металлургии, залегал на значительно большей глубине и был недоступен для разработки маломощной карьерной техникой конца 1940-х гг. Изначально мощность Бачатского разреза составляла всего 0,3 млн тонн в год, к 1968 г. она достигла лишь 2,6 млн тонн [Там же]. В конце 1960-х – 1970-е гг. небольшой Бачатский карьер был значительно расширен и перестроен, став одним из крупнейших на тот момент предприятий открытой добычи угля в СССР. На символическом уровне новый статус предприятия был закреплен за счет переименования его в 1971 г. в Бачатский разрез им. 50-летия Октября [ОАО «Разрез Бачатский»].

Изучение контекста показывает, что расширение Бачатского разреза нужно рассматривать в комплексе Косыгинских реформ — масштабной перестройки хозяйственной жизни страны в середине 1960-х гг., которая вводила новые механизмы планирования и экономического регулирования. Одной из ключевых задач этой реформы было устранение наиболее вопиющих проявлений дисбаланса в советском хозяйстве за счет крупномасштабного пересмотра оптовых цен в 1966–1967 гг. Начиная с 1948 г., уровень цен на уголь был установлен на таком низком уровне, что вся отрасль оказывалась убыточной и финансировалась за счет дотаций из бюджета [Яковец, с. 9–10]. Эта политика не была лишена логики, которая заключалась в использовании цен для перераспределения национального дохода и преимущественном стимулировании главных потребителей угля: металлургии и энергетики. Эффектом этой ценовой политики, однако, стал упадок отрасли, с одной стороны, а с другой — неконтролируемый рост себестоимости угля (на 35 % с 1957 по 1965 г.) [Там же, с. 10]. В отсутствие экономических ограничений, которые на предприятия накладывал бы хозрасчет, у коллективов и руководства шахт не было стимулов для экономии ресурсов и повышения эффективности труда. Для решения этих проблем цены на уголь в 1967 г. были повышены на 78 % [Там же, с. 11]. Эта мера обеспечила рентабельность угольной отрасли в целом, однако отрасли требовались дополнительные капитальные вложения для качественного скачка в развитии.

Одной из мер, призванных обеспечить этот скачок, стало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 мая 1967 г. «О мерах неотложной помощи по дальнейшему развитию угольной промышленности Кузнецкого бассейна, улучшению жилищных и культурно-бытовых условий рабочих», которое подразумевало выделение значительных капиталовложений для развития региона. Из бюджета были проспонсированы разведка новых месторождений, строительство транспортных узлов, развитие энергетики и электрификация региона, улучшены жилищные и культурно-бытовые условия жизни рабочих. Это же постановление обязывало Министерство угольной промышленности провести масштабную реконструкцию Бачатского разреза с доведением его мощности до 15 млн тонн в год. Стоимость реконструкции карьера была определена в 352,8 млн руб., в том числе промышленного строительства — 271,9 млн руб. [РГАЭ, ф. 14, оп. 3, д. 6165, л. 320].

Разработка и экспертиза проекта

Основные конфликты вокруг распределения издержек, связанных со строительством разреза, выявились уже на стадии разработки и экспертизы проекта. С одной стороны, Бачатское месторождение во многом уникально, потому что позволяет разрабатывать открытым способом не только энергетические, но и более ценные угли коксующихся марок с низкой зольностью (от 4,3 до 8,5 %) и высокой теплотворной способностью (до 8400 Ккал/кг), необходимой для выплавки стали [Бачатский угольный разрез]. С другой стороны, Кузнецкая

котловина, в которой располагается Бачатский разрез, — это сельскохозяйственная житница региона. На площади в более 900 тыс. га преобладают высокопроизводительные выщелоченные и оподзоленные черноземы, позволяющие вести интенсивное сельское хозяйство [Хмелев, Танасиенко].

Реконструкция разреза подразумевала подготовку «технического проекта» — исполнинского по своему объему и сложности документа в 80 книгах, выполненного в первой половине 1970-х гг. Украинским научно-исследовательским и проектным институтом угольной, рудной и газовой промышленности (УкрНИИПроект, г. Киев) совместно с Сибирским горным институтом по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик (Сибгипрошахт, г. Новосибирск) [РГАЭ, ф. 14, оп. 3, д. 6167, л. 191].

Важно отметить, что в случае угледобывающих предприятий граница между их строительством и нормальным функционированием является весьма условной. Для запуска предприятия требуется создание определенной инфраструктуры: строительства технологических автомобильных и железных дорог, подготовка площадок для отвалов породы, строительство автобазы, ремонтных цехов и т. д. Однако эта инфраструктура должна развиваться по мере отработки месторождения. Котлован растет вглубь и вширь, а рядом с ним вырастают все новые горы отработанной породы. Именно поэтому комплекс дел, озаглавленных как «Материалы по утверждению проекта реконструкции Бачатского разреза», в фонде центрального аппарата Министерства угольной промышленности СССР охватывает период вплоть до 1991 г., хотя планировалось, что реконструкция будет осуществлена в течение девяти лет с 1967 по 1976 г. Более поздние материалы включают в себя обоснования все новых расширений промышленной площадки разреза, а также строительство крупного цеха по производству кирпича на базе отходов производства [РГАЭ, ф. 14, оп. 3, д. 6169].

Проект реконструкции Бачатского разреза дорабатывался уже в процессе строительства и во многом зависел от того, какие земельные отводы и в какие сроки выделялись строящемуся предприятию советскими органами. Об этом свидетельствует телеграмма от УкрНИИПроекта, полученная Кемеровским облисполкомом 9 августа 1973 г. Киевские инженеры просили облисполком ускорить решение вопроса об отводе земель, потому что задержка становилась препятствием для продолжения работы над проектированием разреза и грозила срывом сроков запуска новых производственных мощностей [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 178, л. 97]. С другой стороны, отсутствие того или иного участка в проекте могло послужить веским поводом для отказа в выделении отвода. Так, в сентябре 1974 г. руководство Бачатского разреза обратилось в Кемеровский облисполком за очередным отводом. На этот раз угольщики запрашивали 165 га земли, принадлежавшей колхозу «Сибирь», для расширения одного из отвалов породы. Это ходатайство Бачатского разреза не было удовлетворено на основании того, что в проекте реконструкции разреза под эти цели предполагался отвод только 55 га земли [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 195, л. 159].

Более того, эти сложные и нелинейные отношения между разработкой проекта разреза и его строительством, а также длительные сроки экспертизы позволяли совхозам и колхозам обеспечивать себе условия для повышенных компенсаций за отвод земли (более подробно об этом ниже). В одной из экспертных записок по одному из ранних проектов реконструкции Бачатского разреза мы читаем описание «ненормального положения», когда застройка площадок, прилегающих к территории строящегося предприятия, продолжалась безо всяких ограничений после 6 мая 1967 г., когда Советом Министров СССР и ЦК КПСС было принято решение о реконструкции разреза. Так, например, совхозом «Бачатский» в 1968 г. было возведено зданий и сооружений на 147,7 тыс. руб., которые по проекту реконструкции карьера подлежали сносу [РГАЭ, ф. 14, оп. 3, д. 6165, л. 313].

Конфликты вокруг рекультивации

Одним из ключевых способов обобществлять свои издержки для угледобывающей отрасли было (и является по сей день) сокращение расходов на рекультивацию [Каплунов, Климов, Красавин, с. 35]. Основы земельного законодательства СССР предполагали, что изъятые из сельскохозяйственного оборота земли должны быть возвращены — разрезы получали свои территории во временное пользование и обязаны были заниматься рекультивацией [Основы земельного законодательства..., ст. 11]. Хотя планы по восстановлению нарушенных земель формировались на самом раннем этапе и прописывались в проектах строительства угледобывающих предприятий, они зачастую оставались невыполненными. Борьба вокруг проблем рекультивации позволяет продемонстрировать сложную динамику в сфере советского природопользования, а именно ее региональный уровень: противостояние между комбинатом Кузбасскарьеруголь, в который входил Бачатский разрез, и Кемеровским облисполкомом в качестве основного агента перераспределения общественных издержек добычи угля.

Изучение документов Кемеровского облисполкома за период 1966–1984 гг. показывает, что у этого органа не было возможности напрямую заставить угольщиков заниматься рекультивацией уже вовлеченных в оборот земель. Несмотря на постоянные указания на недочеты и невыполнения планов по этому показателю, он ни разу не останавливал строительства или работы уже действующего предприятия. Однако у Кемеровского облисполкома все же был мощный рычаг воздействия на Кузбасскарьеруголь: он мог заблокировать отведение новых земель под постоянно расширяющиеся разрезы. Земельные участки для строительства разрезов и других предприятий отводились решениями Совета Министров РСФСР по предложению Кемеровского облисполкома. Несмотря на то, что итоговое решение принималось в Москве, исполком играл ключевую роль в процессе, проводя первоначальную экспертизу. Кемеровский облисполком сокращал запрашиваемые отводы или отказывал в них как

минимум четыре раза в период реконструкции Бачатского разреза — в 1967, 1970, 1974 и 1975 гг. [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 95, л. 148; д. 135, л. 67; д. 195, л. 159; д. 213, л. 111].

Именно контроль за отведением новых участков позволял Кемеровскому облисполкому давить на угольщиков. Так, в июне 1970 г. руководство комбината Кузбасскарьеруголь ходатайствовало о выделении целой серии земельных отводов для активно расширявшихся Бачатского, Грамотеинского, Киселевского, Новосергеевского и Черниговского разрезов. В ответ на это заместитель председателя Кемеровского облисполкома А. Овчинников писал, что ходатайства об отводах земли не будут передаваться в Совет министров РСФСР до тех пор, пока комбинат не выполнит свои обязательства по рекультивации [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 135, л. 67].

Однако в данном случае облисполком требовал от комбината не восстановления и возвращения отчужденных земель назад колхозам и совхозам, а предлагал комбинату освоить равные по площади целинные земли. С чем это было связано? Нормы по рекультивации земли, закрепленные в Основах земельного законодательства СССР, не отражали реальных производственных циклов добычи угля: закон обязывал угольщиков рекультивировать земли, на которых еще десятилетия будет продолжаться добыча⁴. Все пять разрезов, для которых Кузбасскарьеруголь запрашивал отводы в 1970 г., были относительно недавно заложены. Они активно разрабатывали месторождения и могли начать возвращать отработанные земли только через 40–50 лет.

Именно освоение новых земель позволяло угольщикам выполнять свои формальные обязательства в сфере землепользования. В 1972 г. в структуре Кузбасскарьеругля было создано специальное Управление по рекультивации с годовым объемом работ в 1,6 млн руб., которое не было привязано к какому-то конкретному разрезу или району области, а осуществляло крупные проекты по освоению новых земель, которые позволяли «закрыть долги» по рекультивации сразу нескольких угледобывающих предприятий [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 160, л. 169]. Несмотря на то, что принимать вновь освоенные Кузбасскарьеруглем земли должны были управления сельского хозяйства соответствующих райисполкомов, выбор участков для освоения оставался за Кемеровским облисполкомом. На практике это позволяло компенсировать земли, изъятые у колхоза «Сибирь» и совхоза «Бачатский» в Беловском районе, за счет освоения новых земель в Крапивинском районе, расположенном в сотне километров на север, где еще были значительные «неосвоенные» территории — леса и болота [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 135, л. 67].

⁴ Находим указание на эту проблему в более поздних документах Кемеровского облисполкома [см.: ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 321, л. 5].

Конфликт вокруг компенсации

Наиболее ярко роль Кемеровского облисполкома в качестве агента перераспределения общественных издержек проявилась в затяжном конфликте вокруг компенсации за отведенные для строительства Бачатского разреза земли, который разворачивался в течение 1974–1977 гг. Следуя «Инструкции о порядке возмещения колхозам и совхозам расходов на освоение новых земель взамен сельскохозяйственных угодий, отводимых для строительства» (1966), Сибгипрошахт в проекте реконструкции Бачатского разреза заложил в бюджет выплаты местным совхозам и колхозам в размере 7 млн руб. Они должны были пойти не только на освоение новых земель, взамен изымаемых, но и на покрытие балансовой стоимости сносимых строений.

В ходе экспертизы проекта, однако, Кемеровский облисполком выдвинул расширенные требования к Министерству угольной промышленности. Среди прочего, взамен сносимой животноводческой фермы на 180 голов в д. Мамонтово совхоза «Бачатский» балансовой стоимостью 584,7 тыс. руб. Кемеровский облисполком предлагал построить откормочный животноводческий комплекс на 4 тыс. голов в д. Шестаки с жильем, объектами культурно-бытового обслуживания, инженерными сетями и сооружениями, сметной стоимостью 6169,9 тыс. руб. Общая сумма компенсации убытков из-за этого возрастала до 12,5 млн руб.

Компенсация за отведенные для строительства Бачатского разреза земли*

Сносимые объекты	тыс. руб.	Возмещаемые объекты	тыс. руб.
Скотный двор на 180 голов с коровниками, телятниками и прочие сооружения	454,5	Животноводческий комплекс на 4000 голов	3939,8
Жилые дома двухквартирные — 3 одноквартирные — 2	27,5	Жилые дома 22-квартирные — 6 Хозблок на 22 ячейки Детский комбинат на 140 мест Клуб на 200 мест Баня на 20 мест и прачечная на 250 кг/смену Котельная Водопровод, канализация, тепло-снабжение, эл. снабжение, благоустройство	789,8 76,9 165,8 105,8 51,5 154,9 237,5
Прочие объекты	102,7	Прочие объекты	647,9
Всего балансовая стоимость	548,7	Компенсация	6169,9

* Сост. по: [РГАЭ, ф. 14, оп. 3, д. 6168, л. 171].

Из приведенной таблицы хорошо видно, что требования Кемеровского облисполкома шли значительно дальше простой компенсации народному хозяйству ущерба, связанного со строительством Бачатского разреза. Взамен крохотной деревни из пяти домов Минуглепрому предлагалось возвести крупный поселок со всеми благами цивилизации.

Интересно, что на сторону Минуглепрома, который, конечно, выразил протест против завышенных требований Кемеровского облисполкома, встали специалисты из Госплана СССР. В своем письме заместитель председателя этого органа В. Я. Исаев ссылался на действующее законодательство, по которому убытки колхозов и совхозов, связанные со сносом строений, компенсируются согласно балансовой стоимости с учетом амортизации. По чисто экономической логике Госплана угольщики несли ответственность только за то, чего хозяйство страны непосредственно лишалось из-за их деятельности. В. Я. Исаев при этом поддерживал инициативу Кемеровского облисполкома построить в д. Шестаки крупный животноводческий комплекс, но это не имело ничего общего с компенсацией, и Минуглепром не должен был финансировать это строительство [РГАЭ, ф. 14, оп. 3, д. 6168, л. 178].

Таким образом, в конфликте вокруг компенсации на роль агента перераспределения общественных издержек претендовали сразу два субъекта. Главную роль сыграл Кемеровский облисполком, который требовал от Минуглепрома повышенной компенсации за отведение земель под разрез — строительства за ведомственный счет крупных инфраструктурных объектов в регионе. Госплан СССР, в свою очередь, отстаивал необходимость следовать установленным нормативам, в основе которых лежала «народнохозяйственная эффективность» — оптимальное развитие экономики страны и баланс между разными ее отраслями. Госплан и Кемеровский облисполком отстаивали интересы разных «целых»: если для первого это было народное хозяйство страны в целом, то для второго — интересы региона, которые подразумевали получение максимума капиталовложений из центра и перераспределение этих ресурсов между разными отраслями хозяйства.

Несмотря на очевидное противоречие действовавшим нормам, итогом противостояния стала победа позиции Кемеровского облисполкома, которая была принята коллегией Минуглепрома 2 марта 1978 г. [Там же, л. 185] и утверждена Госпланом «как исключение» [Там же, л. 180]. Имеющиеся в нашем распоряжении документы не позволяют с точностью говорить о причинах такого исхода. Однако предположим, что свою роль сыграл контекст, в котором разворачивалась реконструкция Бачатского разреза. Как я писал выше, постановление 1967 г. определяло реконструкцию предприятия лишь как одно из целой серии масштабных мероприятий, направленных на поддержку экономики региона. Это могло стать важным аргументом в пользу позиции Кемеровского облисполкома, которая позволяла использовать средства из центра для поддержки традиционно слабо развитого сельского хозяйства.

Роль районных советских органов и незаконные захваты земли

Несмотря на то, что у районных советских органов не было таких эффективных рычагов для давления на угольщики, как у Кемеровского облисполкома, они не оставались в стороне. Так, Беловский райисполком, на территории которого располагался расширяющийся Бачатский разрез (а также целый ряд других крупных предприятий открытой добычи угля — с 1948 г. здесь было заложено сразу семь разрезов, значительно больше, чем в любом другом районе области), внимательно следил за соблюдением договоренностей, достигнутых с угольщиками в области землепользования. Сохранилась копия письма от 16 июня 1969 г. за подписью председателя Беловского райисполкома П. Кочанова директору института Сибгипрошахт. П. Кочанов получил доступ к последней версии проектного задания и отметил, что в ней не учтен целый ряд условий, на которых ранее сошлись районные и областные советские органы, с одной стороны, и угольщики — с другой. Среди прочего, Беловский райисполком не устраивало, что перенос центральной усадьбы совхоза «Бачатский» предусматривается в последнюю очередь, только после 1973 г., а подведение коммуникаций (автодорога, телефон, радио, канализация, электро-, тепло- и водоснабжение) к усадьбе вообще не подразумевается проектом. Также проектировщики не заложили средства на перенос на новое место Бачатского детского дома инвалидов. Отдельный блок критики проекта был связан с отказом от строительства систем орошения на вновь осваиваемых землях совхоза «Бачатский» и колхоза «Сибирь» (водохранилища, насосной станции, главного водовода и разводящей сети) [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 120, л. 152–153].

Ответом на несговорчивость советских органов, которые требовали от угольщиков соблюдения норм земельного законодательства, становились незаконные захваты земель. Так, отказ выделить очередной участок расширяющемуся Бачатскому разрезу в июне 1970 г. из-за недочетов по рекультивации не остановил ударных темпов стройки: угольщики попросту заняли земли совхоза «Бачатский» явочным порядком. К сожалению, в доступных нам документах не сохранилось данных о том, как происходил сам процесс захвата земель совхоза. Мы не знаем, имел ли место непосредственный конфликт между руководством разреза и совхозом, или угольщики действовали на основании неформальной договоренности с законными пользователями земли.

Однако переписка между Бачатским разрезом и советскими органами показательна во многих отношениях. Во-первых, первоначальная информация о незаконном захвате земли поступает не от совхоза «Бачатский» непосредственно или местных органов Министерства сельского хозяйства, а от Беловского райисполкома. Во-вторых, в своем письме директору Бачатского разреза И. Ф. Литвину заместитель председателя Кемеровского облисполкома А. Овчинников не выдвигает требования освободить земли совхоза. Он лишь обязывал руководство разреза в двухнедельный срок оформить материалы по отводу уже занятого участка и написать объяснительную [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 135, л. 76].

Из этого можно сделать важные выводы о роли и границах влияния советских органов в сфере землепользования. Именно областные и районные исполнительные комитеты советов защищали интересы сельского хозяйства в земельных спорах, однако их влияние было ограничено официальными процедурами, связанными с отведением участков для строительства разрезов. Они не могли заставить предприятия заниматься рекультивацией земли или освободить незаконно занятые земли.

Значимое отсутствие: органы КПСС и Министерства сельского хозяйства

Наиболее интересной особенностью отношений в советском землепользовании, которую позволяет высветить анализ кейса Бачатского разреза, является почти полная исключенность из конфликта агентов, непосредственно несущих издержки, — органов Министерства сельского хозяйства и местных колхозов и совхозов. Они почти не выступают от своего имени и не защищают свои интересы. Единственное упоминание органов Министерства сельского хозяйства в просмотренных мной документах⁵ относится к выделению Бачатскому разрезу очередного земельного отвода в 1971 г. Тогда по заключению Минсельхоза площадь отвода была уменьшена на 118,8 га «за счет исключения площади под жилой поселок и земельных участков, которые фактически застраиваться не будут» [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 148, л. 80].

Была ли у совхозов и колхозов возможность непосредственно отстаивать свои интересы в сфере землепользования? Эти два типа сельскохозяйственных предприятий имели разный правовой статус, что находило отражение также и в сфере землепользования. Напомним, что совхозы находились в государственной собственности и их землями распоряжались непосредственно органы Министерства сельского хозяйства разных уровней. Колхозы, в свою очередь, находились в коллективной собственности членов хозяйств. Это давало колхозникам легальный способ защитить свои земли, потому что изъятие участков их земли могло производиться только с согласия членов коллективных хозяйств [Основы земельного законодательства..., ст. 35].

Однако можно с уверенностью сказать, что эта процедура не оказывала большого влияния на распределение земли. В материалах по отводу земель для Бачатского разреза упоминание собраний колхозников встречается лишь единожды — уже это наталкивает на мысль о том, что их согласие носило формальный характер. В начале января 1975 г. заместитель председателя Кемеровского облисполкома В. А. Симбирский писал в комбинат Кузбасскарьеруголь

⁵ Это переписка по землеустройству колхозов и совхозов в фонде Кемеровского облисполкома с 1966 по 1984 г., а также материалы по утверждению проекта реконструкции Бачатского разреза с 1967 по 1991 г. в фонде центрального аппарата Министерства угольной промышленности.

о том, что в поданных материалах по согласованию мест расположения объектов расширяющегося разреза отсутствует выписка из протокола собрания членов колхоза «Сибирь» о согласии на изъятие земельных участков. Показательно, что В. А. Симбирский не обращается к колхозникам непосредственно, чтобы уточнить, дали ли они на самом деле согласие на отчуждение своих земель. Он просто напоминает руководству комбината о необходимости предоставить очередную бумагу [ГАКО, ф. Р-790, оп. 2, д. 213, л. 1].

Здесь же нужно отметить «значимое отсутствие», которое проявилось в конфликтах вокруг отведения земли для реконструкции Бачатского разреза: в него ни в какой форме не были вовлечены партийные институты. Конечно, подавляющее большинство людей, которые занимали руководящие посты в промышленности, плановых и советских органах, были членами КПСС. Однако партия не выступала в конфликте от своего лица. Типичный для литературы по экономической истории СССР взгляд «сверху» ставит в центр внимания ЦК и Политбюро КПСС. Экономические отделы ЦК представляли собой независимые от министерств и Госплана экспертные центры, которые поставляли Политбюро информацию о положении дел в народном хозяйстве, предлагали проекты реформ и лоббировали интересы тех или иных отраслей. За Политбюро всегда оставалось последнее слово в распределении ресурсов, инвестиций, плановых заданий, введении инноваций в управлении. Именно высшие партийные органы претендовали на то, чтобы возвышаться над частными интересами отдельных предприятий, отраслей и регионов и выражать интересы общества в целом. На уровне отдельных регионов партийные органы также были глубоко вовлечены в управление экономикой, причем их роль зачастую была скорее негативной. Как отмечал П. Рутланд, вмешательство партии нарушало планомерность и баланс развития экономики [Rutland, p. 21]. Однако изучение сферы землепользования показывает границы этого вовлечения. Партийные органы не были заинтересованы в контроле над сферой землепользования или не имели для этого ресурсов.

Бачатский угольный разрез действует до сих пор и остается одним из крупнейших предприятий открытой угледобычи в регионе. В изучении общественных издержек, связанных с этим и другими предприятиями открытой угледобычи, пока рано ставить точку. 18 июня 2013 г. в районе Бачатского разреза произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате пострадало около 5 тыс. зданий; в расположенном неподалеку г. Белово пришлось снести железнодорожный и автовокзал и некоторые другие общественные здания. Ущерб от землетрясения оценивается более чем в 1,7 млрд руб. По данным сейсмологов из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН в Новосибирске, это землетрясение носило техногенный характер и явилось следствием перемещения огромных масс породы из разрезов в отвалы [Emanov, Emanov, Fateev et al.].

Источники

Бачатский угольный разрез // Концерн «Кузбассразрезуголь». URL: <https://kru.ru/ru/about/us/structure/> (дата обращения: 19.01.2023).

ГАКО — Государственный архив Кемеровской области. Ф. Р-790. Оп. 2. Д. 95, 120, 135, 148, 160, 178, 195, 213, 321.

ОАО «Разрез Бачатский» // Архивный фонд Кемеровской области. URL: <https://afond.kuzbassarchives.ru/index.php?act=fund&fund=408> (дата обращения: 19.01.2023).

Основы земельного законодательства СССР и союзных республик, 1968 г. // Музей истории российских реформ. URL: <http://museumreforms.ru/node/13906> (дата обращения: 19.01.2023).

РГАЭ — Российский государственный архив экономики. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6165, 6167, 6168, 6169.

Яковец Ю. В. Система цен и хозяйственный расчет в горной промышленности // Реформа, цена, хозрасчет в горной промышленности / ред. Ю. В. Яковец, Н. В. Левенберг. Л. : [б. и.], 1968. С. 9–13.

Исследования

Берсенева М. В. История развития открытой угледобычи в Кузбассе (1948–1985) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Том. гос. ун-т. Томск, 2006.

Каплунов Ю. В., Климов С. Л., Красавин А. П. Экология угольной промышленности России на рубеже XXI века. М. : Изд-во Акад. горных наук, 2001.

Ларин В. И., Мнацаканян Р. А., Честин И. Е., Шварц Е. А. Охрана природы России: От Горбачева до Путина. М. : КМК, 2003.

Хмелев В. А., Танащенко А. А. Кузнецкие черноземы: антропогенное значение, угроза уничтожения // Сибирский экологический журнал. 2012. № 5. С. 729–742.

Beck U. Risk society: Towards a new modernity. London : Sage Publications, 1992.

Brown K. Plutopia: Nuclear families, atomic cities, and the great Soviet and American plutonium disasters. Oxford : Oxford Univ. Press, 2013.

Bruno A. The nature of Soviet power: An Arctic environmental history. New York : Cambridge Univ. Press, 2016.

Demuth B. Floating coast: An environmental history of the Bering Strait. New York : W. W. Norton & Company, 2019.

Emanov A. F., Emanov A. A., Fateev A. V., Leskova E. V., Shevkunova E. V., Podkorytova V. G. Mining-induced seismicity at open pit mines in Kuzbass (Bachatsky earthquake on June 18, 2013) // Journal of Mining Science. 2014. 50(2). P. 224–228. <https://doi.org/10.1134/S1062739114020033>

Feshbach M., Friendly A. Ecocide in the USSR: Health and nature under siege. New York : BasicBooks, 1992.

Halvorson C. Valuing clean air: The EPA and the economics of environmental protection. New York : Oxford Univ. Press, 2021.

Harris S. E. The World's Largest Airline: How Aeroflot Learned to Stop Worrying and Became a Corporation // Laboratorium: Russian Review of Social Research. 2021. 13(1). P. 20–56. <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-1-20-56>

Kapp K. W. The social costs of business enterprise. Nottingham : Spokesman, 2000.

Kochetkova E. Between water pollution and protection in the Soviet Union, mid-1950s–1960s: Lake Baikal and River Vuoksi // Water History. 2018. 2. P. 1–19. <https://doi.org/10.1007/s12685-017-0208-z>

Maus V., Giljum S., da Silva D. M., Gutschlhofer J., da Rosa R. P., Luckeneder S., Gass S. L. B., Lieber M., McCallum I. An update on global mining land use // *Scientific Data*. 2022. 9(1). P. 433. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01547-4>

Peterson M. US to USSR: American Experts, Irrigation, and Cotton in Soviet Central Asia, 1929–32 // *Environmental History*. 2016. 21(3). P. 442–466. <https://doi.org/10.1093/envhis/emw006>

Roe A. The Forest in the Metropolis: Elk Island (Losinyi Ostrov) National Park and the Disappointments of the Russian National Park Movement // *The Soviet and Post-Soviet Review*. 2018. 45(3). P. 287–312. <https://doi.org/10.1163/18763324-20181303>

Rutland P. The politics of economic stagnation in the Soviet Union: The role of local party organs in economic management. New York : Cambridge Univ. Press, 1993.

Yányshev-Nésterova I. Soviet big business: The rise and fall of the state corporation Sovrybflot, 1965–1991 // *Business History*. 2020. P. 1–24. <https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1856079>

References

Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publications.

Bersenev, M. V. (2006). *Istoriia razvitiia otkrytoi ugledobychi v Kuzbasse* [History of Development of Surface Mining in Kuzbass] (doctoral dissertation). Tomsk State University, Tomsk.

Brown, K. (2013). *Plutopia: Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters*. Oxford: Oxford University Press.

Bruno, A. (2016). *The Nature of Soviet Power: An Arctic Environmental History*. New York: Cambridge University Press.

Demuth, B. (2019). *Floating Coast: An Environmental History of the Bering Strait*. New York: W. W. Norton & Company.

Emanov, A. F., Emanov, A. A., Fateev, A. V., Leskova, E. V., Shevkunova, E. V., & Podkorytova, V. G. (2014). Mining-Induced Seismicity at Open Pit Mines in Kuzbass (Bachatsky Earthquake on June 18, 2013). *Journal of Mining Science*, 50(2), 224–228. <https://doi.org/10.1134/S1062739114020033>

Feshbach, M., & Friendly, A. (1992). *Ecocide in the USSR: Health and Nature under Siege*. New York: BasicBooks.

Halvorson, C. (2021). *Valuing Clean Air: The EPA and the Economics of Environmental Protection*. New York: Oxford University Press.

Harris, S. E. (2021). The World's Largest Airline: How Aeroflot Learned to Stop Worrying and Became a Corporation. *Laboratorium: Russian Review of Social Research*, 13(1), 20–56. <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2021-13-1-20-56>

Kaplunov, Yu. V., Klimov, S. L., & Krasavin, A. P. (2001). *Ekologiia ugolnoi promyshlennosti Rossii na rubezhe 21 veka* [Ecology of the Russian Coal Industry at the Turn of the 21st Century]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk.

Kapp, K. W. (2000). *The Social Costs of Business Enterprise*. Nottingham: Spokesman.

Khmelev, V. A., & Tanasienko, A. A. (2012). Kuznetskie chernoziomy: antroposfernoe znachenie, ugroza unichtozheniia [Kuznetsk Chernozems: Anthropospheric Significance, the Threat of Destruction]. *Sibirskii ekologicheskii zhurnal*, 5, 729–742.

Kochetkova, E. (2018). Between Water Pollution and Protection in the Soviet Union, mid-1950s–1960s: Lake Baikal and River Vuoksi. *Water History*, 2, 1–19. <https://doi.org/10.1007/s12685-017-0208-z>

Larin, V. I., Mnatsakanyan, R. A., Chestin, I. E., & Swartz, E. A. (2003). *Okhrana prirody Rossii: Ot Gorbacheva do Putina* [Protection of Nature in Russia: From Gorbachev to Putin]. Moscow: KMK.

Maus, V., Giljum, S., da Silva, D. M., Gutschlhofer, J., da Rosa, R. P., Luckeneder, S., Gass, S. L. B., Lieber, M., & McCallum, I. (2022). An Update on Global Mining Land Use. *Scientific Data*, 9(1), 433. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01547-4>

Peterson, M. (2016). US to USSR: American Experts, Irrigation, and Cotton in Soviet Central Asia, 1929–32. *Environmental History*, 21(3), 442–466. <https://doi.org/10.1093/envhis/emw006>

Roe, A. (2018). The Forest in the Metropolis: Elk Island (Losinyi Ostrov) National Park and the Disappointments of the Russian National Park Movement. *The Soviet and Post-Soviet Review*, 45(3), 287–312. <https://doi.org/10.1163/18763324-20181303>

Rutland, P. (1993). *The Politics of Economic Stagnation in the Soviet Union: The Role of Local Party Organs in Economic Management*. New York: Cambridge University Press.

Yányshev-Nésterova, I. (2020). Soviet Big Business: The Rise and Fall of the State Corporation Sovrybflot, 1965–1991. *Business History*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1856079>

Гильминтинов Роман Радиевич

¹ кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Лаборатории междисциплинарных
исследований пространства Школы
исследований окружающей среды
и общества (Антропошкола)
Тюменский государственный университет
625023, Тюмень, ул. Пржевальского, 37

² докторант факультета истории
Университет Дьюка
2127 Campus Drive
Durham, NC 27708, USA
E-mail: r.r.gilmintinov@utmn.ru

Gilmintinov, Roman Radievich

¹ PhD (History), Senior Researcher,
Laboratory of Interdisciplinary Space
Research,
School for Environmental and Social Studies
(Anthroschool)

University of Tyumen
37, Przhevalsky St., 625023 Tyumen, Russia

² PhD Candidate at History Department
Duke University
2127 Campus Drive
Durham, NC 27708, USA

E-mail: r.r.gilmintinov@utmn.ru
<https://orcid.org/0000-0001-6107-5928>
Scopus AuthorID: 57371322000
WoS ResearcherID: ACD-6918-2022

ЯЗЫК НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ LANGUAGE OF FOLK CULTURE

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.070
УДК 811.161.1'282.2(470.53) + 394.2 +
+ 398.332.4 + 81'23 + 811.161.1'37

А. В. Черных
И. И. Русинова
Институт гуманитарных исследований
Пермский федеральный
исследовательский центр УрО РАН
Пермь, Россия

НАЗВАНИЯ СВЯТОЧНЫХ РЯЖЕНЫХ В РУССКИХ ГОВОРАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В статье рассматриваются основные группы номинаций, обозначающих ряженых в русских говорах Пермского края. Цель исследования — описать семантические группы таких терминов, связанных с различными идеями ряжения: обрядовым переодеванием, атрибутами и способами ряжения, мифологическими представлениями, календарным временем; продемонстрировать географическое распределение единиц этих групп по территории региона. Источниками исследования послужили полевые материалы, собранные под руководством А. В. Черных в различных районах Пермского края, данные пермских диалектных словарей, сборников и монографий, сведения из картотеки «Словаря русских говоров севера Пермского края» (ред. И. И. Русинова) Пермского государственного национального исследовательского университета.

Различные номинации ряженых отражают сложность и полифункциональность феномена ряженья, в совокупности они представляют определенный набор признаков, воспринимаемых как существенные. Названия этих признаков служат мотиваторами обозначений ряженых. Среди региональных номинаций ряженых можно выделить несколько наиболее частотных групп единиц, мотивационно связанных с названиями обрядового перевоплощения (*наряжунчики, посяжунчики, ряженки, ряженчики, ряжунчики, снаряжёнцы, снаряженчики, срядчики, сряженцы, сряжунчики, сряжушки*), признаков внешнего облика ряженого (*замаскированные, маскарованные, маскированные, машкарованные, машкированные, мышкарики*), способов, приемов переодевания (*горбуницы, горбунки, горбуны, горбунчики, горбушки; старушки*), персонажей низшей демонологии (*ошуликаны*,

силикуны, сюликуны, чиликуны, шеликуны, шиликуны, шулеконы, шулиганы, шуликаны, шуликины, шуликуны, шулихуны, шульганы, шульканы, шулюкины; шиши, шишочки; полуденки, полудники, полудницы; мухтари, мухтарики, мухтары), календарного времени (*святки, святошни, святошники, святошны*), которые в то же время образуют ареалы на территории Пермского края и обусловлены особенностями его заселения.

Можно говорить о значительной вариативности терминологии ряженных в Пермском крае. Часть номинаций регулярно фиксируется в регионе, другие встречаются реже и характерны только для конкретных ареалов и локальных традиций. Пермские данные демонстрируют бытование терминов как широко распространенных в русских традициях в целом, так и характерных только для региона.

Ключевые слова: русские говоры Пермского края; народный календарь; ряжение; названия святочных ряженных; демонологический персонаж

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-18-00117 «Традиционная культура русских в зонах активных межэтнических контактов Урала и Поволжья».

Цитирование: Черных А. В., Русинова И. И. Названия святочных ряженных в русских говорах Пермского края // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 218–233. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.070>

Поступила в редакцию: 01.09.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Alexander V. Chernykh

Irina I. Rusinova

Institute for the Humanities

Perm Federal Research Centre

Ural Branch of the RAS

Perm, Russia

NAMES OF YULETIDE MUMMERS IN THE RUSSIAN SUBDIALECTS OF PERM KRAI

This article deals with the main groups of nominations denoting mummers (Rus. *ряженные*) in the Russian colloquialisms of Perm Region. The aim of the study is to describe the semantic groups of such terms associated with various ideas of dressing up: ritual dressing up, attributes and methods of dressing up, mythological ideas, and calendar time; to demonstrate the geographical distribution of units of these groups in the region. The study refers to field materials collected under the direction of A. V. Chernykh in various districts of Perm Region, data from Perm dialect dictionaries, collections and monographs, and data from the card index of the *Dictionary of Russian Colloquialisms*

of the North of Perm Region (ed. by I. I. Rusinov) of Perm State National Research University.

The various nominations of mummers reflect the complexity and polyfunctionality of the phenomenon of mummers; together they represent a certain set of attributes perceived as essential. The names of these attributes serve as motivators of the denominations of mummers. Several most frequent groups of units motivationally connected with the names of ritual transformation can be distinguished among the regional nominations of disguised persons (*наряжунчики, посряжунчики, ряженки, ряженчики, ряжунчики, снаряжённые, снаряженники, срядчики, сряженцы, сряжунчики, сряжушки*), features of their appearances (*замаскированные, маскарыванные, маскированные, машкарыванные, машкированные, мышкарники*), means and ways of dressing up (*горбуницы, горбуники, горбуницы, горбунчики, горбушки, старушки*), lower demonology characters (*ошуликаны, силикуны, стюликаны, чиликуны, шеликуны, шиликуны, шулеконы, шулиганы, шуликаны, шуликины, шуликуны, шулихуны, шульганы, шульканы, шулюкины; шиши, шишочки; полуденки, полудники, полудницы; мухтари, мухтарики, мухтары*), calendar times (*святки, святошни, святошники, святошные*), which, at the same time, form areas on the territory of Perm Krai and are conditioned by the peculiarities of settlement.

One can talk about a significant variability of the terminology of mummers in Perm Krai. Some nominations are often recorded in the region, others are less frequent and are characteristic only of specific areas and local traditions. Perm data demonstrate the use of terms both widely spread in Russian traditions in general and several names characteristic only of the region.

Key words: Russian colloquialisms of Perm Region; folk calendar; dressing up; names of yuletide mummers; demonological character

Acknowledgements

This research is supported by a grant from the *Russian Science Foundation*, project 19-18-00117 “Traditional Culture of Russians in the Zones of Active Interethnic Contacts in the Urals and the Volga Region”.

For citation: Chernykh, A. V., & Rusinova, I. I. (2023). Nazvaniia sviatochnykh riazhenykh v russkikh govorakh Permskogo kraia [Names of Yuletide Mummers in the Russian Subdialects of Perm Krai]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 218–233. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.070>

Введение

Полевые экспедиционные исследования последних десятилетий в русских селах и деревнях Пермского края, проводимые этнографами, фольклористами и лингвистами, позволили собрать значительный материал по региональным календарным традициям, в том числе диалектной терминологии, соотносенной с календарными праздниками и обрядами. Одной из таких групп являются номинации, обозначающие ряженных святочного периода народного календаря.

Источниками настоящего исследования послужили полевые материалы, собранные под руководством А. В. Черных в различных районах изучаемого

региона [АПМПФИЦ], сведения из пермских диалектных словарей, сборников и монографий (см. список источников), данные картотеки «Словаря русских говоров севера Пермского края» Пермского государственного национального исследовательского университета [КСРГСПК].

Анализ собранного материала позволяет констатировать бытование в Пермском крае обширной и разнообразной лексики, связанной с ряжеными. Картотека терминов ряжения русских Пермского края в настоящее время включает более ста номинаций и многочисленные примеры употребления этих терминов в диалектной речи. Лексический материал служит важным источником для раскрытия природы ряженья, маркирует различные региональные и локальные комплексы обрядности.

Цель исследования — описать семантические группы названий ряженных, связанных с различными идеями ряжения: обрядовым перевоплощением как процессом, атрибутами и приемами, мифологическими представлениями, календарным временем; продемонстрировать географическую привязку единиц этих групп.

Различные названия ряженных отражают сложность и полифункциональность самого феномена ряженья, каждое из них выражает определенный набор признаков, воспринимаемых как существенные. Среди всего массива региональных номинаций ряжения можно выделить несколько групп наиболее частотных единиц, мотивационно связанных с названиями обрядового перевоплощения, признаков внешнего облика ряженого, способов, приемов переодевания, персонажей низшей демонологии, календарного времени, которые в то же время образуют ареалы на территории Пермского края и напрямую связаны с особенностями его заселения.

Календарное время, отраженное в названиях святочных ряженных

В южных районах Пермского края фиксируются термины, соотнесенные с временем ряжения, приходящимся на святочный период народного календаря. Таких номинаций немного, и они территориально ограничены. Это лексические единицы *святки*, *святóшни*, *святóшники*, *святóшны*, *святóшные*: *Бегали наряжались, у нас святками называли* (Дойная Куед.). *Наряженными ходили шуликаны, святошни* (Дубовая Гора Куед.). *В святки святошники в масках, наряжались всяко, в медведя наряжались, маску одевали* (Горшково Част.). **Святошны** — *кто в Святки наряжается* (Суюрка Куед.) [АПМПФИЦ]. **Святошны бегали, наряжались. Парни не наряжались неженатые. Только женатые мужики ходили наряжались. А девки тоже ходили (Искильда Куед.) [СРГЮП, т. 3, с. 90].**

Ареальные исследования терминологии ряжения, в том числе представленных выше номинаций, позволяют решать важные вопросы функционирования календарной обрядности в регионе. Ареалы бытования того или иного термина показывают их связь с миграционными потоками и формированием русских традиций в регионе. Показательным в этом отношении представляется

распространение терминов *святошники*, *святошны*, характерных для поволжских регионов [Ивлева, с. 58], которые в Прикамье фиксируются в островной традиции группы деревень Куединского района Пермского края, основанных выходцами из районов Среднего Поволжья — Казанской и Нижегородской губерний, а также локально и единично в других южных районах Пермского края.

Принципы обрядового перевоплощения, отраженные в названиях святочных ряженных

Как отмечают исследователи, достаточно часто в терминах ряжения фиксируется общий принцип и конкретные приемы обрядового перевоплощения, связанные с переодеванием и «маскированием». Эта группа терминов ряжения в Пермском крае представляется самой значительной и многочисленной.

Прежде всего она включает широко распространенные на территории края номинации, образованные от глаголов с корнями *-ряд-/ряж-* (*рядиться*, *сряжаться* и под.) и обобщенно обозначающие само обрядовое перевоплощение без указания на конкретные способы, приемы, атрибуты внешнего облика участников. Спектр единиц, образованных от данных корней, очень велик и включает более 25 названий, зафиксированных в Пермском крае: *наряженные*, *наряжунчики*, *поряженные*, *посряжунчики*, *рожунчики*, *ряженки*, *ряженчики*, *ряженые*, *ряжончики*, *ряжунчики*, *ряжунчики*, *сряжённые*, *снаряжёнцы*, *снаряжёнчики*, *сряжунчики*, *срядные*, *срядчики*, *сряжельчики*, *сряженки*, *сряженники*, *сряженные*, *сряженцы*, *сряженчики*, *сряженчики*, *сряжунчики*, *сряжунчики*, *сряжушки*: *Посряжунчики бегают, кто чё наденет, кто шубу выворотит. Сажей вымажут, кто под руки попадёт* (Ореховая Гора Черн.). *Рожунчиками бежали, шубы выворчивали, да так намажутся, и всё* (Печмень Бард.) [АПМПФИЦ]. *А в Святки по деревне ряжончики ходили, в каждый дом заходили с песнями* (Рябчата Част.) [СПГ, т. 2, с. 311]. *В рождество по деревне-то снаряжёнцы ходили* (Ольховка Чайк.) [АПМПФИЦ]. *В рождество снаряжунчики прибежали, я в них узнала соседских ребятишек* (Ольховка Чайк.) [СПГ, т. 2, с. 362]. *В Святки наряжались, снаряжунчики бежали. В избы ходили, плясали. Цыганкой одевались, девкой, парнем. Лицо ничем не закрывали. Артелью ходили* (Каменный Ключ Чайк.). *Святки? Ну, как не отмечали. Ходили по деревне сряжельчиками да чё да* (Паньково Ел.) [АПМПФИЦ]. *А ишо сряженки по улицам ходили* (Большой Букор Чайк.) [СПГ, т. 2, с. 392]. *Сряженцем бежали. Завешиваются, чтоб не узнали. Придут с гармошкой: «Пустите сряженцев». Кругом попляшут. Кого и угадаешь. Потом открываются. И цыганами сряжались* (Асюл Бард.). *На праздник наряжаются среженчики и ходят по деревне, песни поют* (Дуброво Ел.). *На Рождество сряжунчиками ходили: мужики бабами рядились* (Аралки Чайк.). *У нас нынче срежунчики ходили, ворота сняли и утащили. Мы сидим, гости, водку пьём. Смотрят: «А где ворота?» Сняли и утащили* (Зязелга Бард.). *На Рождество по домам ходили сряжушки, ряженные, и пели колядки. Нет, выгоняли сразу из дому, как споят. Бывало и с лесенок их спускали* (Ятышь Ел.) [АПМПФИЦ].

Несмотря на общерусский корень, семантически напрямую связанный с идеей ряжения, эти единицы не получили распространения на всей территории края, они локализуются в основном только в южных районах (Чайковском, Еловском, Осинском, Чернушинском, Ординском, Куединском, Кунгурском, Суксунском и т. п.), образуя довольно широкий ареал.

Признаки облика святочных ряженных, отраженные в их названиях

Следующая группа терминов мотивирована названием основного атрибута внешнего облика ряженных — *маски*, причем обычно не напрямую, а через номинации обрядового действия (глаголы *маскиро́ваться*, *маскаро́ваться* и их дериваты), о чем свидетельствует глагольный суффикс *-ова-* в составе многих названий: *замаскиро́ванные*, *маскаро́ванные*, *маскиро́ванные*, *машкаро́ванные*, *машкиро́ванные*: *До десяти человек замаскируются, ходят по деревне вечером, кричат: «Пустьте замаскированных!»* (Черепаново Черд.) [АПМПФИЦ]. *Наряжались всю неделю до Крещения. То парень с девкой маскированные, закрываются и бегают по домам* (Губдор Краснов.). *Снарядишиша маскарованными, по домам ходишь* (Покча Черд.) [КСРГСПК]. *Нынче маскарованные бегают, стучают, пустьте маскарованных* [АС, т. 2, с. 123]. *У нас на Рождество маскарованные по избам ходили. Плясали да песни пели, им за это подарки давали* (Таман Усол.). *В Святки маскарованные по улицам ходили* (Постаногы Нытв.) [СПГ, т. 1, с. 506]. *Маскарованные* *лицо марлей закрывали или мазали сажей да зубы делали из картошки* (Нижнее Бычино Краснов.). *Маскарованными* *ходили, сряжались. Кто шубу вывернет, кто совик наденет. Совик — это из оленя, голова есть, а рук нету* (Городище Юсьв.) [АПМПФИЦ]. *На Святках наряжались, путали на себя чё-нибудь. Маскированными* *называли* (Камгорт Черд.). *В Святки ходили маскированные: оденут смешное и ходят по домам* (Камгорт Черд.) [КСРГСПК]. [*Как ряженных называли?*] *Машкарованные, ага... Ходили. И там, и здесь. Там-то я чё, маленькая была. Здесь взрослые ходили, машкарованные. Придёшь, постучишься: «Разрешите поплясать».* *Попляшешь, попоёшь* (Добрянка). *В Святки ходили. Шубы перевёртывают, одежду всякую. Машкарованные* [*называли*]. *Поют, танцуют с гармошкой. В дом пускали* (Меречата Ильин.). *Машкированные*. *На лицо маски одевали. Кто парнем, кто девкой, кто стариком одевались — по-разному. Собирались молодёжь. Балалайка была. В один дом постукамя, сразу балалайка. Кто конфетку даст, кто чё, 14–15 лет ходили. Пели, плясали* (Токарята Добр.) [АПМПФИЦ].

Наименование ряженных *мышка́рики* является единственной фиксацией в говоре поселка Курашим Пермского района. Внутренняя форма термина позволяет сблизить его со словами, тоже ведущими свое происхождение от корня *-маск-/машк-* (ср. *Мышкаро́ваться*. То же, что машкароваться, машкироваться. *В Рождество сестра мышкаруется*. Дв.: Овс.) [СРГЦРКК, т. 2, с. 361]. Похожая единица *мошкара́* известна русским говорам Свердловской области: *Мошкара* *приходят, кто в чём, песни поют, пляшут* (Кузнецова). *Мошкара* *пришла, давай*

плясать всяко (Лупта). На Святках **мошкора** бегат по улицам (Байны). Всю неделю **мошкарар** бегали (Томилова) [Востриков, с. 18].

Зафиксированные материалы с корнем *-маск-* не позволяют выделить каких-либо зон распространения этой группы терминов в крае, в данном случае можно говорить о повсеместности их бытования (они представлены в северных, центральных, южных говорах). Однако следует отметить ограниченность терминов с корнем *-машк-* двумя соседними районами — Добрянским и Ильинским.

Общеизвестность анализируемых номинаций подтверждают материалы СРНГ, который включает обозначения ряженных, образованные от корней *-маск-/машк-*: *маскарáта* (Свердл.) [СРНГ, т. 17, с. 382]; *машкарý* и *машкарáра* (Краснояр.), *машкарáтники* (Иркут.), *машкарáха* (Волог.), *машкарóванные* и *машкирóванные* (Байкал, Иркут., Якут.) [СРНГ, т. 18, с. 59]. География терминов — Урал, Сибирь и Русский Север.

Способы, приемы переодевания, отраженные в названиях святочных ряженных

В то же время следует обратить внимание на имеющие локальное распространение термины, в которых нашли отражение другие признаки ряженных. В этом контексте можно отметить бытование в Сылвенско-Иренском поречье номинаций *горбуни́цы*, *горбункí*, *горбуни́цы*, *горбу́нчики*, *горбу́нчики*, *горбуны́*, *горбу́шки*: Бегали **горбуни́цами**, наряжались, пели и плясали (Суда Уин.). А **горбуни́цы**-то снаряженные пляшут, путешествуют, у их ведь маска на лице. А она входила, [«голбец»] половиком прикрыва — они спадали туда, горбуни́цы-то, давай ругаться, почто словила (Грибаны Уин.) [АПМПФИЦ]. Святки были. **Горбу́нки** ходили по домам. Кто как одевался: цыганкой, а зверями — нет. Лицо завешивали обязательно. Рядились все: девки и парни, ходили партиями, могли друг друга в снег толкать. Подходили к дому и говорили: «Пустите шуточку пошутить!». Их пускали в дом, но могли и голбец открыть, чтобы горбу́нки падали (Медянка Орд.) [АПМПФИЦ]. В Святки наряжались горбу́нцами. Придут: «**Горбу́нцей** не надо вам?» Гармошку поиграют, попляшут, потолкуются, если кто пустит (Сухой Лог Сукс.). **Горбу́нцами** бегали: средятся, лицо замаскируют сеткой, марлей, просятся плясать. Старухой, стариком, девки парнями рядились, чтоб не узнали. Домой зайдут, пляшут. Узнать их не узнашь (Шарынино Орд.) [АПМПФИЦ]. **Горбу́нчиками** бегали. Нам выносили, у кого что есть. Кто деньги, кто там какие-то сладости. Бакалею, постряпушки (Ленск Кунг.) [СРГЮП, вып. 1, с. 194]. На святках бегали. «Горбу́нчики идут». Старые фуфайки оденут, длинные сарафаны, марлю, как маску, оденут. Шубу вывернут, подпояшут (Бор Сукс.). [Девки парнями, парни девками сряжались?] Да, сряжались. Брови сажей мазали. «Пустите **горбу́ншыков**». В тыл подадут, так выскочишь. Плясали (Сивково Сукс.). Шуликанами бегали. Нищей сряжались. И гитара была, с гитарой ходили. Ряженных называли **горбу́нами**. Девушки наряжались (Моргуново Сукс.) [АПМПФИЦ].

Ряженных-то у нас горбушками называли. Они тама-ко всяко средятся, лицо закроют, кто старухой, кто стариком, солдатом, кто как сумеет. Игровишк с имя ходит, придут, попляшут, поклонятся и уйдут (Сыра Сукс.) [СРГЮП, вып. 1, с. 194]. *В святки сряжались некоторые. Кто стариком, кто невестой, кто женихом. Кричали: «Пустите горбушек!» — под окошком. Кто пускат, кто не пускат. Попляшут, и всё* (Бор Сукс.) [АПМПФИЦ].

Наличие данных номинаций в изучаемом районе, несомненно, связано с локальной традицией, в которой среди приемов было широко распространено ряжение в горбатых людей, что подтверждается полевыми материалами: *Горбуницы ходили в святки. Дарья Бориха горбатой женщиной сряжалась, подушку за спину* (Черемиска Орд.) [СРГЮП, вып. 1, с. 194]. Эта «горбатость», видимо, связана со стремлением подчеркнуть особую природу ряжения, соотношенную с миром нечеловеческого [Черных, с. 70]. В то же время такой способ переодевания почти не фиксируется в других районах Пермского края, но известен в соседнем Красноуфимском районе Свердловской области: *А в Погорелом-то их, ряженных, горбунами да горбуницами звали* (Сарана). *Горбушки по домам ходили, плясали, в гармошку играли* (Натальинск) [Востриков, с. 17–18].

В этом же контексте следует рассматривать номинацию *старушки* для обозначения ряженных, зафиксированную только в чердынских говорах Пермского края: *Наряжались, называли их старушками. Как попало волокутся... Пацаны бегали, юбки да кофты [надевали], что есь. Я снаряжалась парнем и женщиной* (Пантина Черд.). *Маскированные, говорит, идут маскироваться. Старушками называли. У нас один маленький мальчик оделся девочкой* (Лёкмартово Черд.) [АПМПФИЦ].

В текстах о ряжении в этом районе неоднократно упоминается распространенный местный персонаж *старушка* в длинной старинной одежде, поэтому можно говорить о том, что в основе данного термина лежит конкретный прием переодевания: *Ряженные ходили. Назывались старушками. Настоящими старушками надевались. Юбки длинные надевали, если бабушки есь, всё бабушкино надевали, чтобы на старушку походили. Шали надевали. А ребята тоже такую же одежду на себя надевали. Если шуба есь, шубу вывернут шерстью кверху* (Редикор Черд.) [АПМПФИЦ].

Данное название ряженных не было обнаружено нами ни в других районах Пермского края, ни в других источниках по русским традициям ряжения, ни в диалектных словарях по русским говорам других территорий.

Названия святочных ряженных, соотносимые с демонами

Общими терминами ряженных, по данным словаря «Славянские древности», могли служить имена иномирных существ — страшилищ, демонов, покойников, злых духов, предков и т. п.: рус. *пужала, пугалашки, страшки, чудики, чудилки, кудесы, халявы, хухольники, лешаки, русалки, шулики, шиишморы* и т. п. [Виноградова, Плотникова, с. 521].

Эта тенденция характерна и для терминологии святочного ряжения русских говоров Пермского края. Значительную группу слов, обозначающих участников ряженья, составляют номинации, соотносимые с персонажами низшей демонологии, в том числе и с демонами святочного периода. Наиболее известным в русских традициях региона следует считать название ряженных *шулікуны* во множестве его фонетических и словообразовательных вариантов: *ошуліканы*, *силікуны*, *сюлікуны*, *чилікуны*, *шелікуны*, *шилікуны*, *шулёкане*, *шулёконы*, *шуліганы*, *шулікане*, *шуліканицы*, *шуліканы*, *шулікены*, *шулікины*, *шуліконы*, *шулікуны*, *шулілканьы*, *шуліхуны*, *шульганьы*, *шульканьы*, *шулюкины* и др.: *В Святки ошуликаны бежали, девки переодевались в мужиков, песни пели под гармошку, под балалайки (Губаны Орд.). Ряженные ходили, сюликуны. О, говорит: сюликуны идут. Всяко, кто как умеет [одевались]: выворотит шубу какую-нибудь, полушубок оденет, шапку оденет, мужчина оденет шаль худую, рожу намажет углём. Маски делали, кто чё придумат. Медведем, зверем каким-нибудь [наряжались], собакой, лосем. Садятся за стол и тируют (Молебка Киш.) [АПМПФИЦ]. Раньше в святки мы бежали, наряжались; шуликуном звали того человека, который снарядится (Вильва Сол.) [СПГ, вып. 2, с. 551]. Шулиганы с Рождества до Крещения бежали. Шубу выворотим, сажей толсто намажем рожу. Потом отмывали, наелозимся дак. Бабушкины юбки надевали. Взрослые собирались по два-три человека. Приходили, говорили: «Давайте, погадаем». Да, они гадать-то не умели. Наврут чё-то наугад (Калиновка Черн.). Шуликанами, помню, ходили. Чулок на голову, шубу вывернешь, и по домам (Ананьино Черн.) [СРГЮП, вып. 3, с. 410]. Бороду приделают из кудели, сажей измажутся или мукой и бегают шуликаны (Карагай) [КС, с. 24]. Шуликаницы о святки бежали по деревне (Меча Киш.) О Святки шуликины ходят, зыбают в стену, кричат, пугают всяко (Базуево Гайн.). Шуликунами звали. Тулупы, шубы выворотят, старинные сарафаны [наденут]. Мама не позволяла: чё, говорит, чертей-то гонять. Придут с балалайкой (Урмия Окт.) [АПМПФИЦ]. Раньше в святки толпы шулихины ходили по улицам, нонче мало ходят (Ленск Кунг.) [СРГЮП, вып. 3, с. 410]. Шулюкинами звали, раньше часто наряжались на Святках (Голубята Добр.) [АПМПФИЦ].*

Нередко эти термины бытуют наряду с другими названиями ряженных: *Маскированные*, или *шуликуны*, *ходили, плясали, шубы одевали навыворот. Ходили на росстань, гадали (Липово Добр.) [АПМПФИЦ].*

Термин *шуликун* в различных вариантах (*шилікун / шуликун, чилікун / чиликун, шалыган / шалыхан, шулюкан / шулюкюн* и под.) представлен преимущественно в Европейской части России, Прикамья, Урала, Сибири, Дальнего Востока [Березович, Виноградова, 2012, с. 583]. Исследователями не раз предлагались различные гипотезы происхождения этого слова, что отражено в целом ряде работ [Зеленин; Толстой, с. 283–286; МРЛРС, с. 153; Березович, Виноградова, 2010, с. 583], хотя и на сегодняшний день эту проблему нельзя считать решенной.

Региональным термином, характерным только для Пермского Прикамья, следует считать номинацию *шулики*, бытование которой отмечено в целом ряде

районов Пермского края: *Ходили на святки — шулики их называли. Завалят ворота чурками. Утром пойдёт хозяин — ворота открыть не может* (Марковина Караг.) [КС, с. 24]. [*Как называли ряженных?*] **Шуликами** (Кын Лысьв.). **Шуликами** называли, шуликами, аха, так и звали шуликами (Трушники Черн.). **Шуликами** ходили. *Сряжаются мужчины, женицами и наоборот* (Красный Ясыл Орд.). *Ряженые ходили — шулики, сряжунчики* (Телес Уин.) [АПМПФИЦ]. *Наряжались и ходили просили, чё кто даст. Шуликами называли* (Пермь-Серьга Кунг.). **Шуликами** бежали. *Мужчины в женицин одевались. Женщины — в мужчин (Дубовое Бер.)* [СРГЮП, вып. 3, с. 410].

Поиск аналогов в словарях русских говоров других регионов не дал результатов. Однако слово отмечено в словаре «Славянские древности» без указания географии [Виноградова, Плотникова, с. 521]. Скорее всего, термин *шулики* следует рассматривать как словообразовательный вариант более широко распространённой номинации *шуликун*. Об этом свидетельствуют примеры употребления — использование термина в качестве варианта названия персонажа в единственном числе, при варианте *шуликуны* — во множественном: *А шуликуны, ну мало ли, ты снарядился или что, ты уже шулика называешься* (Усть-Игум Александр.) [АПМПФИЦ].

С названиями представленных персонажей соотнесены и глаголы *шуликанничать, шуликать*: *Пойдём шуликанничать в чудные вечера, дак поленницу разберём, всё во дворе разбросаем* (Касиб Сол.) [СПГ, вып. 2, с. 562]. *Ходили шуликали, больше молодёжь, конечно* (Куета Кует.). *В Крещение раньше на реке была купель... Где крест — все умываются... Кто ходил, шуликал, все в этой воде мылись* (Посад Киш.) [СРГЮП, вып. 3, с. 411].

В этом же контексте следует рассматривать бытование в Прикамье названий ряженных *шиши, шишочки*. *Парни шишами наряжаются, бегают, девок пугают. Сажей намажутся — шиши и шиши* (Лобанова Юрл.) [СРГКПО, с. 266]. **Шишочки** бегают в Святки, в избу забежат, пляшут, поют, их опять угощают, конфетки дашь, пряники (Юм Юрл.) [Там же]. *В шишочки наряжались, сажей намажутся, и не узнашь, кто такие. В избу заскочат, запляшут, на себе шуба вывернута, старье. Их угощать надо, конфеты давать, пряники, брагой поить деревенской* (Осинка Юрл.) [ЮК, с. 255].

Данные термины зафиксированы только в Юрлинском районе Пермского края, в котором записаны также тексты о святочных мифологических персонажах с одноимёнными названиями: *Парни как-то на Крещенье поспорили, у нас Чёрный лог есть, там всё кажется, кто Чёрный лог перейдёт, а он посреди деревни. Он пошёл у нас в Чёрный-то, пошёл и, говорит, не мог перейти лог-то. Там бани на угоре стояли, из бани бежали в колодец шиши. Его избили эти шишики, он на коленях приполз. Они в бане живут, когда Святки-то. На Крещенье все в колодец падают, а так в бане* [ЮК, с. 248–250]. *Шиши-те по речичам в святки-те туще ездили, свадьбы играли* (Елога Юрл.) [СРГКПО, с. 210].

С мифологическими персонажами связана и зафиксированная в Коми-Пермяцком округе номинация *каляны*: *Ой, каляны идут!* (Кривцы Кос.)

[АПМПФИЦ]. Похожая номинация в Юрлинском районе обозначает демоническое существо, которым пугают детей: *Ну-ко, не реви, перестань, не то калян-то унесет тебя. Каяном-то у нас малых пугают, кто не слушает* (Зарубина Юрл.) [СРГКПО, с. 118].

Термин *каляны* для обозначения святочных ряженных бытует в районах контактов русского и коми-пермяцкого населения и является заимствованным. В коми-пермяцкой мифологии *калянами*, *колянами* называют как духов бани (После двенадцети шуны, оз туй. Вермас пö **калян** пользётны. Баняас кинкö **калян** оло¹ [МКПД, с. 58–59]), другую нечистую силу ([Шуликоны?] Эг кыл. **Каляннэсö** кылі. **Каляннэс** пö чудитчö. **Каляннэс** мытчисьöны кинлö мыйкö умоль одзын дак. А вот мыйкö кылан, сэтишöмö мыйкö, что мыйкö звöнитас, тэ кылан. Эта пö бур одзын кылан, умоль одзын² (Коса) [АПМПФИЦ]), так и святочных ряженных (*Ветлötисö токо Рождествонас, а ся эзö. Неделя почти что ветлötисö. Сякöй нёж, вермасö пась мöдöртны, нылка вермас зонка кыдз лöсьöтчыны, зонкаэз нылкаö лöсьöтчöны. Ме время эзö бура ветлötö, а көр-ко вöтлötöмась. Мöдöтчöмöсь. Шуасö: ой, **каляннэс** талуи ветлötöны³ (Коса) [АПМПФИЦ]).*

Компактный ареал бытования в поречье верховьев Колвы характерен для номинаций *полүденки*, *полүдники*, *полүдницы*: *Дак это ведь полудницы-то ходят, от как Рождество придёт. А потом вот наряженные, ряженные у нас назывались — полуденки. Ну это девчата молодые, ребята молодые. Во время войны-то дак не было ребят-то. А девчата кавалерами снаряжаются да. С балалайкой ходят (Нырöб Черд.) [КСРГСПК]. Обязательно сряжались. Много рядились. **Полудниками**. Одевались нарядно. Брали старинную одежду, девушки парнями, парни девками, стариком. Приходят, с музыкой часто ходят. Поплясали, выпить надо. Погостили и ушли. Ничего не говорили, особенно полудники (Большая Гадья Черд.). Ряженные ходили до Крещения. Их называли **полудниками**. Приходили иногда с гармошкой, пляшут, насулят, чтобы урожай был хороший, скотины много. Кто шубу наизнанку сделает, а лицо закрывали, чтобы не узнали. Их тоже угощали конфетами, мелочь деньги давали. Медведем наряжались, шубу наизнанку, шапку чёрную мохнатую оденут. Лошадью наряжались, на палке едет верхом, как на лошади. Маски делали из газеты, а для глаз и рта отверстия, из бересты маски делали (Большая Гадья Черд.) [АПМПФИЦ]. [Ряженные в Святки] назывались **полудниками**. Одянутся, и ходили. Тонцовали. Длинные юбки, большие платки цветастые, идут с гармошкой... Это полудники, он не разговаривают.*

¹ «Говорят, после двенадцати нельзя <мыться в бане>. Может, мол, калян напугать. В бане какой-то калян живет».

² «[Шуликоны?] Не слышала. Про калянов слышала. Каляны, мол, чудят. Каляны показываются кому-то если перед плохим. Вот что-то услышишь, звенит что-то, ты услышишь. Это, мол, перед хорошим, это перед плохим».

³ «Ходили только на Рождество, а больше нет. Неделю почти что ходили. По-всякому, могут шубу перевернуть, девушка может как в парня одеться, парень в девушку. В мое время уже сильно не ходили, а когда-то ходили. Наряженные. Скажут: ой, каляны сегодня ходят».

Маски наладят из берёсты да чё да (Черепаново Черд.). Мы один раз с Павлой пошли. Полудники собиралися. «Пойдём поглядим полудников». Там идём к Уле. Она выходят от Ули. Это робята снарядилися, маски наладили, страшные, обмазалися. Господи! Мы с Павлой летим, ревём, она за нами (Дий Черд.) [КСРГСПК]. Оденут чё-нибудь на себя, лицо закроют и пляшут, да в избу заходят прямо, полудники, **полудницы** (Черепаново Черд.) [АПМПФИЦ]. Раньше штаны да куфайку надевали да в **полудницу** сряжались... Где-ко в полудницу срядится да полохат маленьких ребят. Шубу выворотит и полохат (Большие Долды Черд.). А **полудницами**-то всяко [рядились]: юбки оденем каки-небудь всяки старинны (Камгорт Черд.) [КСРГСПК].

Несомненна связь этих терминов с комплексом мифологических представлений. При этом в Прикамье **полудницами** и **полудниками** обозначали целый ряд мифологических персонажей — как духов полдня, так и водяных духов [Черных, с. 67]. Взаимосвязь с водной стихией сближает **полудников** с **шуликанами**, местом обитания которых также становились водоемы [Зеленин], а также **шишами**.

Номинации ряженных **полуденки**, **полудники**, **полудницы** можно отнести к региональным, потому что, по нашим сведениям, на других русских территориях они не фиксируются.

Некоторые термины, имеющие мотивацию, свойственную представленным выше группам названий, характерны только для локальных традиций, например, этнокультурных островов, связанных с географической и историко-культурной изолированностью. Интересными в этом отношении представляются номинации **мухтарй**, **мухтарыки**, **мухтары** для обозначения ряженных, встречающиеся в речи жителей поселка Курашим Пермского района — бывшего Курашимского завода: *В святки много мухтарей ходило, пугали девок наших* (Курашим Перм.) [СПГ, вып. 1, с. 532]. *А вот в святки одеваются, выворачивают шубу или что там, у кого что есть — мухтарыки*. «Пошли вечером мухтарыками ходить». *Вот пришли, постукалися. Намажутся там сажей, то, другое, свёклой разукрасятся. Кто-то шубу вывернет, кто-то что-то оденет. Тут веник привяжут, тут ещё что-нибудь. И пошли* (Курашим Перм.). *Наряжены ходили. Мухтарыки* называли. *Потому что одевалися по-разному дак. Я ходила тоже. В детстве это было. Мухтарыки бегали. Зимой бегашь, в снегу валяшша. Придешь, постучишься, чё-нибудь скажешь, тебе вынесут то шанежку, то угурчик, кто чего. Вот так вот приставлялися. Под марлей всё ходили. Шубы выворотим да чё да. Пальто выворотим да марлю на голову оденем, чтобы не узнали, кто пришёл. Стучимся. «Кто вы?» — спрашивают. «Ой, да мы сами, мухтарыки пришли». — «Щас мы вам вынесем»* (Курашим Перм.). **Мухтарыки**-то шапки одевают да шубу выворотят. А девки сарафаны одевали, скатёрки, салфетки. [Мухтарыки лицо тоже закрывали?] *Закрывали. Да они соберутся да бороду сделают да чё да... Но больше молодежь. Ничё не говорили. Идём, постучамся, выйдет кто-нибудь и спрашивают: «Чё вам надо?» «Отдайте чё-нибудь поесть», и всё. И вынесут* (Курашим Перм.). *На святки они и сейчас так же. Ходят, мухтарями соберутся. Шуликуны у нас звали. А ходят одинаково, дурят. Не больно пускают. Сейчас*

все на запорах сидят, а раньше этого не было (Курашим Перм.). Но, так-то наряжались. Полушубок вывернут, левой стороной оденут. Это мышкарики называются. Шапку вывернут. «Ой, **мухтарики**, мухтарики. Ой, мухтарики пришли. Проходите, проходите». Прямо такой гурьбой ведь. Мухтарики — которые придут, тоже ряженные, только шубу вот это вывернут (Курашим Перм.) [АПМПФИЦ]. В других русских говорах данный термин для обозначения ряженных не зафиксирован.

Лексема *мухтар*, послужившая, на наш взгляд, мотивационной базой для лексических единиц *мухтарй*, *мухтарыки*, *мухтары*, отыскалась на Русском Севере, в Тотемском районе Вологодской области: **Мухтар**. Мифическое существо, живущее в подполье, которым пугали детей. **Мухтар** какой из гобца выйдет, страшной. Чичас выйдет он — до потолка. Лапоть привяжут, окошко закроют — кто выйдет из гобца — пугали (Тот., Давыдиха) [СГРС ДМ (А–М)]. Можно предположить, что курашимские термины ряжения уходят корнями в севернорусскую традицию и связаны с существовавшей когда-то системой мифологических персонажей.

Выводы

Семанτικο-мотивационный анализ названий святочных ряженных, функционирующих в русских говорах Пермского края, позволил выделить несколько групп лексических единиц, мотивационно связанных с названиями разных признаков ряженных. Это лексемы, связанные с названиями обрядового перевоплощения (*наряжунчики*, *посряжунчики*, *ряженки*, *ряженчики*, *ряжунчики*, *снаряжёнцы*, *снаряженчики*, *срядчики*, *сряженцы*, *сряжунчики*, *сряжушки*), признаками внешнего облика ряженных (*замаскированные*, *маскарованные*, *маскированные*, *машкарованные*, *машкированные*, *мышкарики*), способами, приемами переодевания (*горбуницы*, *горбунки*, *горбуницы*, *горбунчики*, *горбушки*; *старушки*), персонажами низшей демонологии (*ошуликаны*, *силикуны*, *стюликуны*, *чиликуны*, *шелликуны*, *шиликуны*, *шулеконы*, *шулиганы*, *шуликаны*, *шуликины*, *шуликуны*, *шулихуны*, *шульганы*, *шульканы*, *шулюкины*; *шиши*, *шишочки*; *полуденки*, *полудники*, *полудницы*; *мухтари*, *мухтарики*, *мухтары*), календарного времени (*святки*, *святошни*, *святошники*, *святошны*, *святошные*). Эти единицы образуют ареалы на территории Пермского края и обусловлены особенностями заселения региона русскими.

В то же время анализ номинаций ряженных в русских говорах Пермского края показал языковую избирательность: не все признаки ряженных, отмеченные исследователями [Виноградова, Плотникова, с. 519–520], нашли отражение в лексических единицах: закрытость (*маскарованные*, *маскированные*, *машкарованные*, *машкированные*), старость либо старинная одежда (*старушки*) лексически маркируются, а мохнатость, кривизна — нет. Кроме того, не отмечены единицы, мотивационно связанные с глаголами, обозначающими поведение (в том числе и речевое) и бесчинства ряженных, хотя тексты, записанные в регионе, ярко

такое поведение описывают. Оно вполне соответствует тому, о чем сообщает словарь «Славянские древности» для восточнославянского ареала [см., например: Толстая, с. 171–175].

Таким образом, представленный материал показывает значительную вариативность терминологии ряженных на примере лексических единиц Пермского края. Часть из них достаточно часто фиксируется в регионе, другие встречаются реже и характерны только для конкретных ареалов и локальных традиций. Пермский материал демонстрирует бытование терминов как широко распространенных в русских традициях в целом, так и характерных только для этого региона.

Сокращения

В названиях административных районов Пермского края

Александр.	Александровский	Нытв.	Нытвинский
Бард.	Бардымский	Окт.	Октябрьский
Бер.	Березовский	Орд.	Ординский
Гайн.	Гайнский	Перм.	Пермский
Добр.	Добрянский	Сукс.	Суксунский
Ел.	Еловский	Сол.	Соликамский
Ильин.	Ильинский	Уин.	Уинский
Караг.	Карагайский	Усол.	Усольский
Киш.	Кишертский	Чайк.	Чайковский
Кос.	Косинский	Част.	Частинский
Краснов.	Красновишерский	Черд.	Чердынский
Куед.	Кудединский	Черн.	Чернушинский
Кунг.	Кунгурский	Юрл.	Юрлинский
Лысьв.	Лысьвенский	Юсьв.	Юсьвинский

В названиях других административных образований

Дв.: Овс.	с. Овсянка г. Дивногорска Красноярского края	Свердл.	Свердловская область
Иркут.	Иркутская область	Тот.	Тотемский район Вологодской области
Краснояр.	Красноярский край	Якут.	Якутская область (совр. Республика Саха (Якутия))

Источники

АПМПФИЦ — Архив полевых материалов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (Пермь).

АС — Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области : в 6 вып. / гл. ред. Ф. Л. Скитова. Пермь, 1984–2011.

Востриков О. В. Традиционная культура Урала. Опыт идеографического словаря русских говоров Свердловской области. Вып. 1 : Народный календарь. Екатеринбург : Уральское литературное агентство, 2000.

КС — Карагайская сторона: народная традиция в обрядности, фольклоре и языке / авт.-сост. И. А. Подюков. Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2004.

КСРГСПК — Картотека «Словаря русских говоров севера Пермского края» (кафедра теоретического и прикладного языкознания Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермь).

МКПД — Материалы по коми-пермяцкой демонологии / авт.-сост. : А. В. Кротова-Гарина, Ю. А. Шкураток, А. С. Лобанова, С. Ю. Королёва, И. И. Русинова. Пермь, 2020.

МРЛРС — Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / сост. О. А. Черепанова. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1996.

СГРС ДМ (А–М) — Словарь говоров Русского Севера. Дополнительные материалы: А–М. Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2024. *В печати.*

СПГ — Словарь пермских говоров : в 2 вып. / под ред. А. Н. Борисовой, К. Н. Прокошевой. Пермь : Книжный мир, 2000–2002.

СРГКПО — Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа / науч. ред. И. А. Подюков. Пермь : ПОНИЦАА, 2006.

СРГЦРКК — Словарь русских говоров центральных районов Красноярского края. Т. 2 (Е–М) / под. общ. ред. О. В. Фельде (Борхвальдт). Красноярск : РИО ГОУ ВПО КГПУ, 2005.

СРГЮП — Словарь русских говоров Южного Прикамья : в 3 вып. / И. А. Подюков (науч. ред.), С. М. Поздеева, Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых, А. В. Черных. Пермь : Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2010–2012.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22) ; Ф. П. Сороколетов (вып. 23–42) ; С. А. Мызников (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.

ЮК — *Бахматов А. А., Подюков И. А., Хоробрых С. В., Черных А. В.* Юрлинский край. Традиционная культура русских конца XIX–XX вв. : материалы и исследования. Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2003.

Исследования

Березович Е. Л., Виноградова Л. Н. Из словаря «Славянских древностей»: Шуликуны // Славяноведение. 2010. № 6. С. 49–51.

Березович Е. Л., Виноградова Л. Н. Шуликуны // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М. : Международные отношения, 2012. Т. 5. С. 583–585.

Виноградова Л. Н., Плотникова А. А. Ряжение // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М. : Международные отношения, 2009. Т. 4. С. 519–525.

Зеленин Д. К. Загадочные водяные демоны «шуликуны» у русских // *Lud Słowiański*. 1930. Т. I, z. 2, dz. V. S. 220–238.

Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб. : Рос. ин-т истории искусств, 1994.

Толстая С. М. Бесчинства // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М. : Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 171–175.

Толстой Н. И. Заметки по славянской демонологии. 3. Откуда название шуликуны? // Восточные славяне: языки, история, культура. К 85-летию академика В. И. Борковского : [сб. ст.] / отв. ред. Ю. Н. Караулов. М. : Наука, 1985. С. 278–286.

Черных А. В. Русский народный календарь в Прикамье: праздники и обряды конца XIX — середины XX в. Пермь : Пушкина, 2008. Ч. 2 : Зима.

References

- Berezovich, E. L., & Vinogradova, L. N. (2010). Iz slovaria “Slavianskikh drevnostei”: Shulikuny [From the Dictionary of *Slavic Antiquities*: Shulikuns]. *Slavianovedenie*, 6, 49–51.
- Berezovich, E. L., & Vinogradova, L. N. (2012). Shulikuny [Shulikuns]. In N. I. Tolstoy (Ed.), *Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar'* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary] (Vol. 5, pp. 583–585). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Chernykh, A. V. (2008). *Russkii narodnyi kalendar' v Prikam'e: prazdniki i obriady kontsa XIX – serediny XX v. Ch. 2: Zima* [Russian Folk Calendar in the Kama Region: Holidays and Rituals of the Late 19th – mid-20th Centuries. Pt. 2 : Winter]. Perm: Pushka.
- Ivleva, L. M. (1994). *Riazhen'e v russkoi traditsionnoi kul'ture* [Mummery in Russian Traditional Culture]. St Petersburg: Russian Institute of Art History.
- Tolstaya, S. M. (1995). Beschinstva [Outrages]. In N. I. Tolstoy (Ed.), *Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar'* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary] (Vol. 1, pp. 171–175). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Tolstoy, N. I. (1985). Zametki po slavianskoi demonologii. 3. Otkuda nazvanie *shulikun*? [Notes on Slavic Demonology. 3. Where Does the Name *shulikun* Come from?]. In Yu. N. Karaulov (Ed.), *Vostochnye slaviane: iazyki, istoriia, kul'tura. K 85-letiiu akademika V. I. Borkovskogo: sbornik statei* [Eastern Slavs: Languages, History, Culture: For the 85th Birthday of Academician V. I. Borkovsky] (pp. 278–286). Moscow: Nauka.
- Vinogradova, L. N., & Plotnikova, A. A. (2009). Riazhenie [Mummery]. In N. I. Tolstoy (Ed.), *Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar'* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary] (Vol. 4, pp. 519–525). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Zelenin, D. K. (1930). Zagadochnye vodiane demony “shulikuny” u russkikh [Mysterious Water Demons “shulikuns” in Russia]. *Lud Słowiański*, I(2), dz. B, 220–238.

Черных Александр Васильевич

доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН,
главный научный сотрудник
Институт гуманитарных исследований
Пермский федеральный исследовательский
центр УрО РАН
614900, Пермь, ул. Ленина, 13а
E-mail: atschernych@yandex.ru

Русинова Ирина Ивановна

доктор филологических наук,
старший научный сотрудник
Институт гуманитарных исследований
Пермский федеральный исследовательский
центр УрО РАН
614990, Пермь, ул. Ленина, 13
E-mail: irusinova@mail.ru

Chernykh, Alexander Vasilievich

Dr. Hab (History), Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences,
Chief Research Fellow
Institute for the Humanities
Perm Federal Research Centre of the Ural
Branch of the RAS
13a, Lenin St., 614900 Perm, Russia
Email: atschernych@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7670-3912>
WoS ResearcherID: T-5170-2019

Rusinova, Irina Ivanovna

Dr. Hab (Philology),
Senior Research Fellow
Institute for the Humanities
Perm Federal Research Centre
of the Ural Branch of the RAS
13a, Lenin St., 614990 Perm, Russia
Email: irusinova@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3500-1604>
WoS ResearcherID: T-7474-2018

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.071
УДК 7.046:94(470.5) + 811.161.1'373.6 +
+ 81:39 + 811.161.1'282.2

Е. Э. Иванова
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

К ИЗУЧЕНИЮ ГОРНОЙ МИФОНИМИИ УРАЛА: МИФОНИМЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ

В статье рассматривается горная мифонимия Урала — обозначения сверхъестественных антропоморфных существ, хранящих богатства недр (минералы и металлы) и способствующих или препятствующих их обнаружению, добыче и обработке. Русская горная мифология изучалась фольклористами, но лингвистический аспект начинает исследоваться только в настоящее время. Материал для статьи собран в полевых условиях в 2020–2023 гг., а также извлечен из словарей, фольклорных текстов, авторской литературы. Анализируются главным образом среднеуральские и южноуральские мифонимы; для сравнения иногда привлекается материал иных зон, связанных с Уралом географически или исторически (Башкирия, Сибирь). В статье подробно рассматриваются мотивации мифонимов и условия появления номинаций. Горная мифонимия может быть разделена на несколько групп в зависимости от мотивации, т. е. тематической группы лексики, лежащей в основе мифонима. В настоящей статье анализируются мифонимы, мотивированные социальной лексикой, а именно обозначающей человека или родственные отношения: *золотая девка*, *каменная девка*, *горная девка*, *чудская девица*, *горный батюшка*, *горная матка*, *Шубин* и др. Выявляется и объясняется специфика уральской горной мифонимии: так, для номинации женских духов используется лексема *девка*, тогда как для традиционной русской крестьянской мифологии характерна номинация *баба*. Выразительной чертой уральской горной мифонимии является наличие мифонимов, образованных от топонимов (*девка Азовка*, *девка Дедюрка*). В статье доказывается, что на формирование горной мифонимии повлияла мифология русского крестьянства, мифология автохтонных народов Урала (тюркских и финно-угорских), а также терминология активно развивавшегося на Урале в XVIII–XIX вв. горного дела.

К л ю ч е в ы е с л о в а: мифонимия; семантическая реконструкция; этимология; этнолингвистика; русская диалектная лексика; топонимия; Урал

Благодарности

Работа выполнена в рамках проекта «Взаимодействие культурно-языковых традиций: Урал в контексте динамики исторических процессов», финансируемого Минобрнауки России (номер темы FEUZ-2023-0018). Автор благодарит *Е. Л. Березович* за ценные консультации при подготовке статьи.

Ц и т и р о в а н и е: *Иванова Е. Э.* К изучению горной мифонимии Урала: мифонимы, мотивированные социальной лексикой // Известия Уральского федерального

университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 234–250. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.071>

Поступила в редакцию: 16.09.2023

Принята к печати: 09.11.2023

Elena E. Ivanova

Ural Federal University

Ekaterinburg, Russia

ON STUDYING THE MOUNTAIN MYTHONYMY OF THE URALS: MYTHONYMS MOTIVATED BY SOCIAL VOCABULARY

This article discusses the mountain metonymy of the Urals, i.e. the designation of supernatural anthropomorphic creatures that store the riches of the subsoil (minerals and metals) and contribute to or hinder their discovery, extraction, and processing. Russian mountain mythology has been studied by folklorists, but the linguistic aspect is only beginning to be explored. The material for the article was collected in the field between 2020 and 2023, and derived from dictionaries, folklore texts, and authorial literature. The author mostly focuses on Middle Ural and South Ural mythonyms; for comparison, the article draws on material of other zones connected with the Urals geographically or historically (Bashkiria, Siberia). The article provides detailed descriptions of the motivations of mythonyms and the conditions for the appearance of nominations. Mountain mythonymy can be divided into several groups depending on the motivation, i. e. the thematic group of vocabulary underlying the mythonym. This article analyses mythonyms motivated by social vocabulary, namely, denoting a person or kinship: *золотая девка* (*golden girl*), *каменная девка* (*stone girl*), *горная девка* (*mountain girl*), *чудская девица* (*Chudskaya maiden*), *горный батюшка* (*mountain father*), *горная matka* (*mountain mother*), *Шубин* (*Shubin*), etc. The article reveals and explains the specificity of Ural mountain mythonymy: thus, the *девка* token is used for the nomination of female spirits, whereas the *баба* nomination is characteristic of traditional Russian peasant mythology. An expressive feature of Ural mountain mythonymy is the presence of mythonyms formed from toponyms (*девка Азовка*, *девка Дедюрка*). The article proves that the formation of mountain mythonymy was influenced by the mythology of the Russian peasantry, the mythology of the autochthonous peoples of the Urals (Turkic and Finno-Ugric), as well as the terminology of mining actively developing in the Urals in the eighteenth and nineteenth centuries.

Keywords: mythonymy; semantic reconstruction; etymology; ethnolinguistics; Russian dialect vocabulary; toponymy; Urals

Acknowledgements

This research was conducted within the framework of the grant “Interaction of Cultural and Linguistic Traditions: The Urals in the Context of the Dynamics of Historical Processes”, FEUZ-2023-0018. The author would like to thank *Elena L. Berezovich* for valuable consultations during the preparation of the article.

For citation: Ivanova, E. E. (2023). K izucheniiu gornoj mifonimii Urala: mifonimy, motivirovannye sotsial'noi leksikoi [On Studying the Mountain Mythonymy of the Urals: Mythonyms Motivated by Social Vocabulary]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 234–250. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.071>

Submitted: 16.09.2023

Accepted: 09.11.2023

Горная мифонимия — обозначения сверхъестественных существ, которые, по народным верованиям, хранят богатства недр (минералы и металлы) и способствуют или препятствуют их обнаружению, добыче и обработке. Русская горная мифология изучалась фольклористами (пусть не так активно, как, к примеру, лесная или водная), но лингвистический аспект затрагивался крайне редко, в то время как о перспективности его разработки говорит хотя бы обзор Л. Раденковича, посвященный названиям славянских духов-властителей земных недр, где русский материал представлен весьма скупо [Раденкович, с. 258–260]. Представляется логичным выбрать в качестве объекта изучения горную мифонимию Урала, знаменитого на весь мир своими минералами и металлами, а также традициями их разработки. В статье используются главным образом среднеуральские и южноуральские данные; для полноты картины в ряде случаев привлекаются и факты, записанные на территории соседней Башкирии; для сравнения иногда берется материал иных зон, связанных с Уралом географически или исторически. Материал собран в полевых условиях (в ходе опроса горщиков — лиц, ведущих любительский сбор драгоценных и цветных камней, камнерезов, ювелиров и др.), а также извлечен из словарей, фольклорных текстов, авторской литературы. Уральские мифонимы представлены в хорошо известных сказках П. Бажова и С. Власовой, поэтому зачастую трудно определить направление миграции мифонима (из авторского сказа в народную речь или наоборот).

Горная мифонимия может быть разделена на несколько групп в зависимости от мотивации, т. е. тематической группы лексики, лежащей в основе мифонима. Общий предварительный обзор этих групп был проведен нами в соавторстве [Березович, Иванова, 2022], а также опубликованы работы о мифонимах, образованных от лексики неживой природы [Березович, Иванова, 2023а], и о мифонимах, образованных от названий легендарных народов [Березович, Иванова, 2023б].

В данной статье анализируются мифонимы, образованные от слов, имеющих социальную семантику, а именно, обозначающих человека или родственные отношения. Важно отметить, что рассматриваемые нами лексические единицы обладают различной номинативной выделенностью. В большинстве случаев перед нами узувальные факты, реализующие специфические модели, характерные для мифонимической номинации (*горный батюшка*, *горная матка* etc.), но есть и такие ситуации, когда мы имеем дело, по существу, с вербализованными верованиями, не оформленными номинативно (*пацан*). Также не всегда можно

определить принадлежность мифонима к имени нарицательному или собственному, тем более что границы между этими разрядами весьма подвижны. Если представить себе некую условную шкалу, на одном конце которой находится категория «имя собственное», а на другом — категория «имя нарицательное», то мифонимы расположатся по всей длине этой шкалы, начиная с деления «имя собственное» (*Шубин*) и кончая делением «имя нарицательное» (*пацан*). Конечно, построить точно выверенную градацию мифонимов на этой шкале невозможно, поскольку в разных текстах степень «собственности / нарицательности» одного и того же имени может быть разной (см. ниже *каменная девка*). В источниках мифонимы представлены как с прописной, так и со строчной буквы, в авторском тексте статьи мифонимы подаются со строчной буквы, за исключением тех случаев, когда один элемент в мифониме-словосочетании воспринимается как имя собственное (*девка Азовка, девка Дедюрка*), или же в текстах преданий подчеркивается, что это собственное имя персонажа (*Шубин*). При подаче материала приводятся сведения о персонажах, значимые для выявления мотивации названия.

Человек

Хорошо известно, что мифопоэтическое мышление часто создает духов по образу и подобию человеческому. «Следовательно, нет ничего удивительного в том, что существам из потустороннего мира приписываются человеческие качества, начиная от внешнего облика и кончая особенностями групповой организации» [Швабауэр, с. 83]. Простейший способ номинации горного духа — указание на его воплощение в образе человека.

Девка / девица / дева. Часто в уральских преданиях в роли хранительницы подземных богатств выступает *девка*. Она живет в горе, стережет сокровища, иногда пытается заполучить себе жениха [ПЛУ, с. 71]. Указанием на принадлежность *девки* к горному миру служат определения: *золотая, каменная, горная* и т. п.

Так, *золотая девка* — героиня бытовавшей в конце XIX в. в окрестностях Екатеринбурга одноименной сказки — живет под землей и «охраняет золото и самоцветы» [ДФНУ, с. 220]. *Девка-богатырь с золотой косой* — героиня сказа «Золотое озеро»¹ — охраняет золото, находящееся в озере. «Стерегла озеро *девка-богатырь с золотой косой*. Никого не подпускала, крепко стерегла» [Голубая жемчужина, с. 31]. В конце сказа *девка* оборачивается горой. С тех пор «девка-великанша горой стоит, и называют ее люди *Золотой* оттого, что жила золотая в ней идет, будто девичья коса вьется» [Там же, с. 33]. Отметим, что превращение мифологического героя в гору или камень — достаточно устойчивый мотив в уральских легендах и преданиях, как и превращение золотых девичьих волос в жилки золота (ср. сказ Бажова «Золотой Волос»: появление золота в озере

¹ Сказ записан С. К. Власовой в 1937 г. на Южном Урале, в Кочкаре, от старого мастера-горняка Валея Гельмашина, 1887 г. р.

Иткуль объясняется тем, что его «из золотой косы Полозовой дочки натянуло» [Бажов, с. 226]).

В речи среднеуральских горщиков отмечается также *горная девка*: «Зовем среди себя *хозяйкой*, а у старших мужиков слышал еще *горная девка*, такое тоже имя было. Ясное дело — девка, где ж ей мужа найти» (Екатеринбург) [ЛТЭК]. Этот же мифоним фиксируется Б. Г. Ахметшиным в Башкирии [Ахметшин, 1998, с. 196]. К сожалению, само предание не приводится, но отмечен факт, что *горная девка* также выступает в роли хранительницы сокровищ².

Хозяйка Медной Горы в сказе Бажова также называет себя *каменной девкой* [Бажов, с. 32]. Если в тексте сказа это перифрастическая номинация, то в дальнейшем наименование активно используется в научной [Миронов], документальной [Никулина], художественной литературе по бажовским мотивам [Славникова, с. 95] уже как имя собственное. Компоненты *золотая*, *каменная*, *горная* подробно были рассмотрены в [Березович, Иванова, 2023а]. Здесь нас интересует образ *девки*.

Просторечное *девка* можно объяснить тем, что в горного духа, согласно преданиям, иногда превращается обычная девушка. Так, *девка-Азовка*, охраняющая подземные сокровища Азов-горы, является то дочерью Турчанинова [ПЛУ, с. 72], то женой Пугачева [Там же, с. 71], то обычной заводской девушкой, которую украли разбойники [Там же]. Как только *Азовка* поселяется в пещере, она приобретает способности горного духа: перемещается под землей [Швабауэр, с. 113], закрывает или прячет от людей вход в пещеру, где она живет, может заморозить человека, и тогда он «заплутает, заблудит» [Блажес, с. 8].

Девка *Дедюрка* из сказа южноуральской сказительницы С. К. Власовой превращается в гору *Дедюриху*, главная ее задача — защищать горные богатства, поэтому она пугает людей, кружит им головы, околдовывает: «Деды в старину молву плели про Дедюриху-гору. Будто многих Дедюриха на перевале свела, многим головы кружила. Заводчика Демидова с Шайтаном свела. Помогла Демидову так припугнуть Шайтана, что тот от всех горных богатств отступился. И Данилку Семигорка увела, когда еще *девкой* была и *Дедюркой* звалась. Само-наилучшего рудознатца так околдовала, что и по сей день незнамо куда девался парень» [Власова, 1964, с. 24]. Имена *Азовка* и *Дедюрка* произведены от соответствующих оронимов (Азов и Дедюриха). Подобная модель объясняется верованиями, что «у каждой горы есть своя хозяйка» (Полевской) [ЛТЭК]. Мифонимы, образованные от топонимов — выразительная черта уральской мифонимии, см. подробнее в [Березович, Иванова, 2023а].

Просторечное *девка* также может служить попыткой «снижения» образа горного духа, умаления его значимости и всевластия. Так, Степану, герою сказа «Малахитовая шкатулка», стыдно оробеть перед Хозяйкой Медной горы:

² Автор уточняет, что предание записано в пос. Бурибай Хайбуллинского района от приискового рабочего-пенсионера Сергея Михайловича Горбушина, 1899 г. р., в июле 1966 г. [Ахметшин, 1998, с. 205].

«Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а всё-таки девка» [Бажов, с. 26].

Также в преданиях прошлого для номинации горного духа использовалась лексема *девица*, которая в современных словарях подается как *устар.* [МАС, т. 1, с. 375], иногда встречается также *устар. дева* 'девушка' [БАС, т. 3, с. 375]. В XVIII — начале XX в. на Урале бытовали предания о *чудской девице*, которая жила на горе *Дивья / Девья*³ с одноименной пещерой, в долине р. Колва. Путешественник П. И. Рычков записал в 1769 г. следующее предание: «Крестьяне, живущие близ сей горы, выдумали, что будто бы тут жила некая *чудская девица*, владея сим местом так, как и другими тамошними городками. По сему иногда называют они сии горы *Девьим камнем*» [Рычков, с. 118]. Примечательно, что «против Дивьей горы, перешед на другую сторону реки Колвы, находятся ширфы рудокопателей» [Там же]. Путешественник и историк В. Н. Берх, побывавший в этих местах в начале XIX в., сообщает: «...сопутник мой Максим рассказывал мне, что камень сей называется Девьим потому, что здесь жила *дева*, управлявшая чудским народом» [Берх, с. 165]. Согласно другому рассказу, приводимому Берхом, «чудская девица сидела в хорошие дни на вершине своего камня и сучила шелк; когда же у ней опрастывалось веретено, то бросала оное на Бобыльской камень, в подарок тамошним девицам» [Там же, с. 168]. Н. Е. Ончуков записал в 1901 г. следующее предание: «Название *Дивий* гора получила оттого, что, по преданию, на горе этой сидела *девка* и прядла, и от скуки перебрасывалась веретешком с другой девкой, сидевшей на Бобыке⁴ (соседней горе), а веретешки были *железные* и весили по 100 пудов... Недалеко от камня в берегу Колвы есть и Дивья пещера» [Ончуков, с. 26]. Связь с чудью, железом, а также наличие рядом шурфов рудокопателей позволяет утверждать, что *чудская девица* воспринималась хранительницей горы (пещеры) и подземных богатств.

На Южном Урале бытовало предание о «красавице *Чудо-девице*», которая по ночам в окружении сияющего ореола всходит на вершину одного из курганов и настороженно смотрит по сторонам, охраняя покой и порядок своего царства. Горе тому, кто в этот час захочет подняться на курган или проникнуть в тайны «кладовых» минералов⁵ [Лазарев, с. 52].

³ Исследователи связывают топоним *Девья / Дивья* с красивым видом, который открывается с горы или с удивительной красотой пещеры [Кривощёкова-Гантман, с. 86], ср.: перм. *дивить* 'удивляться' [СРНГ, т. 8, с. 48]; или с «дикостью», неосвоенностью местности [Полякова, с. 182], ср. *дивий* 'дикий', 'лесной, дикий, дикорастущий, недомашний' [СРНГ, т. 8, с. 48]. Мы же предлагаем мотивировку, связанную с *девой*, на что указывает реконструкция связей внутри семантической микросистемы. Возможно, в такую микросистему объединены топонимы *Бобыль* (*Бобыльский камень*) и *Девий камень*, называющие объекты, находящиеся напротив друг друга. Подробнее об этом см. в [Березович, Иванова 2023а]. Заметим также, что связь с *девой* тоже может реализоваться с помощью огласовки на *-и-*, ср. новг., олон., перм. *дивий* 'девичий' [Опыт..., с. 47].

⁴ В других источниках гора и камень называются Бобыль (Бобыльский).

⁵ Записано в г. Нязепетровске в 1964 г. от А. М. Кочетовой, 77 лет.

Заметим, что *девки* и *девицы* в русской мифологии — специфическая уральская черта. В Европейской части России для обозначения женских мифологических персонажей и духов используется лексема *баба*: *баба Рюха*, *баба Ляга*, *баба Середа* и др. Эти духи отвечают за определенные женские функции, так, *баба Середа* — мифический персонаж, связанный с прядением и ткачеством [Терновская, Толстой, с. 122]; или же являются духом дома в целом, его хозяйкой: *бабка-запечельница* [Власова, 2008, с. 27].

На Урале в горной мифологии в качестве хранительницы подземных богатств выступает именно девушка. На наш взгляд, это объясняется несколькими причинами. Во-первых, хранение и распоряжение горными недрами — не типичная женская (бабья) функция, в отличие от хозяйствования в доме, где роль хозяйки берет на себя старшая женщина. Во-вторых, в уральских преданиях горные девки вступают в отношения с горщиками или мастерами каменного дела, пытаются заполучить себе жениха. На это обращал внимание еще П. П. Бажов: «Старатели, как и солдаты, женщин подолгу не видят. И в сказах, понятно, они обязательно приплетут женщину» [БЭ, с. 366]. На роль невесты больше подходит, конечно же, девушка. Отметим также, что уральская горная мифология — относительно позднее явление, испытавшее влияние авторских сказов Бажова и Власовой, богатых сюжетами, в том числе любовными, хотя зарождение таких сюжетов могло произойти и в народной среде. Единожды в уральском материале встречается *бабка Синюшка* — героиня сказа Бажова «Синюшкин колодец». Но и она, когда хочет отдать герою золото и самоцветы, «красной *девкой* обернется да сама своими рученьками человеку подаст “земельное богатство”» [Бажов, с. 261–262]. Полагаем, что *Синюшка* в образе *бабки* — дань общерусской традиции, а превращение героини в *девку* происходит под влиянием типичного уральского сюжета: влечение героя к горному духу в образе девушки, что соответствует «каменной силе», влекущей к самоцветам.

Отметим, что горные духи в образе девушек характерны для немецкой мифологии: *Bergjungfrau* «горная девушка». Сходны и некоторые мотивы преданий, например, подобно *девке Азовке* и *Хозяйке горы* уральских сказов, она показывается людям то в облике устрашающе безобразного существа, то в виде прекрасной девушки [Гельгардт, с. 217]. Можно предположить, что образ горной девушки был заимствован из преданий европейских горных специалистов, которые работали на Урале, хотя можно допустить и независимое формирование образов.

Старик / старец, дед. Горный дух может являться в облике старика. П. П. Бажов в очерке «У старого рудника» рассказывает, что ему «случалось слышать о “старике” или даже о “старце” (в последнем названии, по-моему, чувствуется отзвук старообрядчества). <...> Этот “старик” или “старец” так же, как “старые люди”, “собирает богатство в одно место”, “ограждает закланием”, “переносит от людей”» [Бажов, с. 752]. Хозяин подземелья в южноуральских преданиях тоже является в образе *старика* с серебряной бородой [Власова, 1964, с. 93–94].

В XIX в. на Среднем Урале бытовало предание о *горном дед*, который правит подземным миром и распоряжается богатствами земли, ему подчиняются слуги — маленькие, шаловливые, уродливые и очень подвижные духи [Гельгардт, с. 215]. Преклонный возраст духа указывает на мудрость и опыт. Отметим, что *дед* в данном случае не имеет отношения к терминам родства. Т. А. Бернштам показывает, что «словами *дед* и *бабка* лишь в самое позднее время изредка называли стариков-родственников: в общерусской традиции продолжало сохраняться религиозно-мифологическое значение этих слов, обозначавших существ сверхъестественного мира и посредников между ними и людьми — нечистую силу, предков, колдунов, знахарей» [Бернштам, с. 39]. Так, *дедом*, а чаще *дедушкой* во многих районах России именовали домового, в том числе и на Урале, ср.: ирб. *дед-домовой* [Востриков, с. 143], *дедушко-домовой* (Октябрьское) [ЛТЭК].

Пацан / пацанчик — мифическое существо, которое, по рассказам современных горщиков, охраняет каменные сокровища. Слово *пацан* фиксируется в текстах только с 20-х гг. XX в. [Добродомов, с. 224], в словарях приводится с пометой *прост.*, иногда *груб.* [МАС, т. 3, с. 45]. При номинации горных духов отрицательных коннотаций не наблюдается: «Я сделал горку с двумя пацанами, вот они. Пацан у нас в чести. Пацанчики камни охраняют. Они подчиняются Хозяйке. Когда копаешь, пацана видишь иной раз только со спины. Кто *пацан* говорит, кто *старатель*» (Бол. Исток) [ЛТЭК].

Образ восходит к верованиям, что погибшие в копи горняки становятся горными духами (ср.: *Шубин*), при этом они продолжают активно заниматься шахтерским или старательским трудом. Этот же образ встречается в европейском горном фольклоре: «Среди добрых или нейтральных существ фантастики старого фольклора горняков Франции и Бельгии могут быть упомянуты *petit mineur* («маленький шахтер»), *frapeurs*, дающие о себе знать стуками и называемые английскими горняками в Уэльсе *knockers*, и др.» [Гельгардт, с. 198].

Имярек. К группе «Человек» примыкают и производящие основы, представленные антропонимами, которые имеют условное значение *имярек*. Проанализируем мифоним *Шубин*, который является «фамилией» духа в человеческом обличье, обитающего в шахтах (сначала Донбасса, а затем Урала и Сибири). Приведем суждения о нем уральских горщиков: «Шубин — горный чёрт. Еще про Шубина помню... что охраняет вверенное ему месторождение и всячески препятствует добыче. Полностью игнорирует жизнь людей, устраивает в шахтах катастрофы. В Донбассе — взрывы, в Североуральске — обвалы. Этот персонаж в основном у шахтёров и людей с глубокой добычей связан» [Хит. Ур.]; «Приметы Шубина — стар, сед, крайне волосат. Иногда — с копытами, иногда — в длинной шубе. Кашляет. Глаза — ярко горящие. В руках — старый шахтерский фонарь, распространяющий тревожное и прекрасное голубоватое свечение» [Хит. Ур.]. Как объясняют шахтеры наименование *Шубин*? Согласно преданиям, это фамилия заваленного в шахте горняка (или инспектора), дух которого до сих пор обитает в рудниках. Одну из версий предания приводит в романе «Донбасс» Б. Горбатов: шахтер Шубин решил отомстить хозяину за притеснения: «Всю

шахту взорвал. И себя. Ну только вскорости объявился Шубин: там его видели, там... И где появится — сразу там взрывы, завалы, выбухи, наводнения... Это Шубин показывал, кто тут на самом-то деле хозяин!» [Горбатов, с. 52]. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что атрибутом Шубина является длинная *шуба*, что и могло послужить мотивировкой для номинации горного духа, а в предании про горного инспектора содержится фольклорная ремотивация мифонима. Да и сам Шубин «крайне волосат». Как известно, длинные и спутанные волосы, обилие шерсти, косматость отличают многих нечистых — от лешего и водяного до домового — и характеризуют их как наделенных сверхъестественными способностями [Власова, 2008, с. 28]. Шахтеры и горняки — выходцы из крестьянства, поэтому и внешний вид горных духов часто «подсказан» образами природных и домашних духов.

Мифоним *Шубин* стал настолько распространенным, что вошел в профессиональный жаргон шахтеров: *шубин* 'шаровая молния в карстовых пустотах угольных пластов' [Мин. фор.]; *палец Шубина* 'глыба после технологического взрыва в забое, которую сложно убрать' [Хит. Ур.]. Если кто-то не вернулся назад из забоя, говорят: «*Ему пришел шубин*» [Хит. Ур.]. Известно также пожелание перед работой «*Дай Шубин вам удачи!*» [Хит. Ур.].

Семья

Батюшка. Некоторые горные духи считаются первыми на земле рудознатцами, прародителями горняков и старателей, поэтому в их наименованиях находит отражение терминология родства. Таков *горный батюшка* в преданиях сибирских шахтеров. Дух живет в горе, отсюда номинация *горный* (подробнее о ней см. в [Березович, Иванова, 2023а]).

Отношения *горного* к рабочим разное, он может наказывать за похвальбу или жадность, пугать людей с целью получить жертвоприношение, а может и защищать их. Заметим, что именно в том случае, когда он опекает и оберегает горняков, его называют *горным батюшкой*. Дух принимает облик станового, урядника, нарядчика, штейгера и предупреждает рабочих об опасности, а может предупредить шумом или криком. Приведем несколько отрывков из рассказа, записанного А. А. Мисюревым⁶: «Одна на Касье <золотоносной речке> нарядчик бегал по всем ортам⁷ и кричал: “Ребята, вылазьте, гора пойдет!”. Выбежали, гора и верно пошла. <...> А нарядчика никакого нет. Что за диво? Ребята потом догадались: это кричал *Горный Батюшка*» [Мисюрев, с. 156]. «Было еще так. Только начали новую шахту — ночью сделался шум. Выскочили из бараков — шахта ходуном ходит. *Горный Батюшка* пришел. Ворочает, ломает, только крепи трещат. Все изломал, всю шахту. Потом ушел. Стали думать, как быть. Горному

⁶ Рассказ записан А. А. Мисюревым в 1938 г. от А. Е. Колокольцева на прииске Чертов Лог Горо-Салаирской группы.

⁷ Орты — горизонтальные подземные выработки.

шахта негодна. А место богатое, бросить жалко. Начали новую шахту. Добили до плавунов — вода! Еле вытащили забойщиков. Еще бы немного — потонули бы все. Старики-то и говорили: «Не послушали горного, а ведь он, *Батюшка наш*, знак подавал, што робить нельзя» [Мисюрёв, с. 157]. *Горный батюшка* в образе исправника наказывает нарядчиков за плохое отношение к рабочим: «Рабочие говорят: “Вот это исправник! С испокон веку такого не бывало. Больно уж добрый человек”. Справки о нем навели. И вышло, что никакой исправник не приезжал. А это *Горный Батюшка* заступился» [Там же]. «Был он вроде черта, только добрый», — заключает рассказчик [Там же, с. 158]. Отсюда уважительное и ласковое наименование *батюшка*, иногда с уточнением *батюшка наш*.

Желая умиловить *горного* и добиться доброго к себе расположения, горняки лили в хороший забой водку, произнося при этом: «Пей, *Батюшка Горный*, да нас не оставь» [Там же]. В этом случае слово *батюшка* можно рассматривать как «задабривающее».

Наименования некоторых горных духов приобретали у горщиков статус запретных, произнесение которых могло вызвать неприятности (обвалы, пожары и т. п.), поэтому возникали эвфемистические обозначения. Так, *горного батюшку* могли называть *Он*: «Да вот *Он* стоит, разве не видите? Да вот *Он*, глядите!» [Там же, с. 156]; «Наутро думаю: прогневал *Его* чем-то. Взял я бутылку спирта — не пожалел, табаку крепкого баба в кiset насыпала. На работе в просечку положил, говорю: “Не гневайся!”. Через три дня посмотрел — нет ни спирту, ни табаку. Жертву *Он* взял» [Там же, с. 148–149].

Матка. *Горная матка*, — вероятно, прародительница остальных женских образов горных духов: *горной девки*, *хозяйки гор* и пр. Полагаем, что на возникновение мифонима повлиял геологический термин *матка*, широко употребляемый в XVIII–XIX вв., в том числе на Урале. Минералогии и добытчики полезных ископаемых называли *маткой* «породу, содержащую руду какого-либо металла или драгоценный камень» [СлРЯ XVIII в., т. 12, с. 92]. Термин имеет метафорическое происхождение: *матка* — «мать» какого-либо полезного ископаемого, ср.: *опаловая матка* / *опал-мутер* (*Opalmutter*) ‘трахитовая порода с включениями опала’ [Пыляев, с. 331], *матка изумруда* (*Smaragdmutter*) ‘празем’ [Там же, с. 341], ср. заимствование *перламутр* ‘минералоподобное вещество животного происхождения, его добывают из некоторых видов раковин’ (нем. *Perlamutter* ‘мать жемчуга’) и кальку *жемчужная матица* ‘перламутр’ [Макеева, с. 79]. Судя по всему, русский геологический термин *матка* — калька с нем. *Mutter*. Сегодня в геологии употребляется официальный термин *материнская порода* ‘всякая горная порода, являющаяся исходной по отношению к связанным с ней другим породам, а также полезным ископаемым’ [ГС, т. 2, с. 19].

Слово *матка* в среде горщиков употребляется сегодня в другом значении, которое является вторичным, возникшим на основе метонимии, однако сохраняющим связь со словом *мать*: *матка* ‘друза, сросток кристаллов’: «Друза получается как мать многих минералов — матка» (Реж) [ЛТЭК]. «Здесь была найдена андалузитовая матка, то есть сросток кристаллов, они родня турмалину. Матка

и друга — одно и то же. Матка — это где он родился в общем-то (Кайгородское) [ЛТЭК]; ср.: копь *Матка*: «Матка — большой занорыш, родивший много камня» [Хит. Ур.]. В данном случае занорыш (гнездо минералов) представляется как матка или живот матери, в котором происходит зарождение и рост кристаллов.

Представление о зарождении полезных ископаемых, напоминающем рождение человека, отражено в старых горных терминах: *жила обрюхатела* 'о большом расширении жилы, наполненной рудой' [Спасский, ч. 1, с. 139]; *пуповина* чистого магнита 'о выходе магнита на поверхность в виде округлого возвышения, холма'⁸; *пуповина* уходит глубоко в землю («коль глубока — не ведомо») и, вероятно, связана с маткой.

В народной минералогической терминологии широко представлены термины родства: *семейка* 'друза минералов' (Черемисское) [ЛТЭК]; *дочка / дочерний кристалл* 'небольшой кристалл, приросший сбоку к большому' (Черемисское) [ЛТЭК], а также 'кристалл, который образуется внутри включения в *материнский* кристалл' [Ozlib], *двойняшки, близнецы* 'два одинаковых кристалла на материнской породе' (Кайгородское) [ЛТЭК]. Особый интерес для нас представляет номинация двух сросшихся кристаллов *мама-папа* и рассуждение информанта о причине номинации: «Мама — главный кристалл, мама растет, а папа сбоку прирастает. Считается, что в семье главный папа, а у минералов — мама» (Черемисское) [ЛТЭК]. Отметим, что использование терминов родства (в частности, лексемы *мать*) в минералогической терминологии можно считать типологической чертой, об этом говорит, например, анализ Е. Л. Березович метафорического комплекса *мать — пасынки, сиротки* на материале разных языков [Березович, с. 260].

Вернемся к образу *горной матки*, которая, вероятно, изначально воспринималась как *мать* всех полезных ископаемых, земельных сокровищ. *Горная матка* в преданиях не имеет конкретных черт, она живет глубоко под землей и редко показывается людям, в тексте обычно дается лишь ее аудиальная характеристика: так, *горная матка* не выносит громкие звуки и ругань в шахте — сразу поднимает вихрь [ПЛУ, с. 130]. Если же *горная матка* предстает в человеческом облике, то описание ее крайне расплывчато: «женщина, вся в черном, а перчатки белые» [Там же], гораздо подробнее описывается место ее обитания. Живет она под землей в богатых палатах: «В Кизеле будто найдена такая комната в шахте. Внутри бархатом обита черным, золотом, камнями разными дорогими украшена. Матка горная, что ли, там жила. Начальство эту находку в секрете держало» [ПЛУ, с. 129]. Таким образом, горный дух ассоциируется прежде всего с местом его обитания, где зарождаются полезные ископаемые.

Образ рождающей земли запечатлен в мифологии многих народов, в том числе коренных народов Урала. Не исключаем их влияния на формирование

⁸ Данные словаря: *пуповина* 'округлое возвышение, холм' [СлРЯ XI–XVII вв., т. 21, с. 46]. Контексты приводятся только относящиеся к горному делу, исходя из которых мы уточнили значение.

образа *горной матки*. У тюркских народов одна из главных богинь — Умай. «О прямой связи Умай с рождающей землей говорит ее имя, первичные значения которого ‘лоно’, ‘матка’, ‘детское место’» [Сагалаев, с. 61]. У манси богиня-мать — Калтась-Эква; ее имя имеет первоначальное значение «рождающая, создающая» [Мифология манси, с. 21]. Калтась-Эква ассоциируется как с небом (сфера появления новой жизни), так и с землей. *Нижнего мира мать*, *Земная мать* — устойчивые эпитеты богини [Там же, с. 71]. Когда богиня спускается на землю, она поселяется в горе, что нашло отражение в одном из ее локальных имен: *Вершины реки Сакв Горная женщина* [Там же]. Русские крестьяне, пришедшие на Урал, не знали гор и не воспринимали изначально землю как мать полезных ископаемых. Этот мотив мог быть заимствован из мифологии коренных народов Урала. Напротив, в европейской горной мифологии нам не удалось встретить мифонимов, образованных от лексем со значением ‘мать’, ‘матка’ и под.

Горщики ощущают связь мифонима *матка* с лексемой *мать*, что порождает предания, в которых *горная matka* начинает восприниматься как мать, заботящаяся о горняках. При этом сюжеты аналогичны сюжетам преданий о горном батюшке: она является в образе штейгера или другого горного начальника и предупреждает об опасности: «*Тожэ* вот такое рассказывал один смотритель, он на Коршуновской шахте был. Приходит будто в забой к шахтеру, скажем, штейгер или смотритель и распоряжается. Ругат и даже вот колачивает кого, бывало. “Ты, — говорит, — чо за крепью не смотришь? Ребятишек осиротить хочешь?” А то к конюхам. Тех опять за то, что овес от лошадей воруют. “Ты что, — говорит, — отработаешь и наверх, а лошадь пока не околеет, света не увидит”. Вот они на другой день пойдут извиняться к тому начальнику, который их ругал. А тот в тот день даже и к шахте не подходил, оказывается, не только какое распоряжение давать. Вот будто это тоже *матка* приходила» [ПЛУ, с. 129–130].

Таким образом, можно говорить о полимотивированности мифонима *горная matka*: земля — *мать* полезных ископаемых; гнездо, где происходит зарождение самоцветов, ассоциируется с *маткой* матери; безусловно и влияние широко употребляемого геологического термин *матка*, который, возможно, и дал импульс к возникновению мифонима.

Итак, можно сделать вывод, что социальная лексика достаточно активно задействована при номинации горных духов. Важно обеспечить «узнавание» духа при встрече, для этого нужно указать на его внешний вид: пол, возраст (*девка, девица, дед, старец*). Чтобы сразу определить отношения с горным духом, задобрить его, важно указать на «родственную» связь (*батюшка, matka*). Так как наименования некоторых горных духов приобретали у горщиков статус запретных, возникали эфемистические обозначения: *Он* вместо *горный батюшка*.

Для уральской горной мифонимии характерны специфические модели. При номинации духа надо указать на его принадлежность к горному миру, поэтому чаще используются двучленные (реже трех- и четырехчленные) конструкции,

в которых этим маркером служит определение: *горный, каменный*, или же указание на конкретный металл: *золотая девка, девка-богатырь с золотой косой*.

Девки и девицы в мифологии — специфическая уральская черта. В Европейской части России для обозначения женских мифологических персонажей и духов используется лексема *баба*.

Отметим также вариативность наименования одного и того же героя, при этом выбор имени в каждом конкретном предании может определяться отношениями с персонажем. Так, *горным батюшкой* чаще называют духа в том случае, когда он опекает и оберегает горняков, а *хозяином* или *горным хозяином* — если он недоволен и насыляет на людей несчастья.

Выразительной чертой уральской мифонимии является наличие мифонимов, образованных от топонимов (*девка Азовка* и *девка Дедюрка*). Именно в этом случае антропоморфные духи получают собственное имя, образованное от соответствующего оронима. Зафиксирована и «фамилия» духа в человеческом обличье — *Шубин*, мотивированная его внешними признаками: носит *шубу*, сам крайне волосат.

В образе горных духов мотивы, характерные для персонажей мифологии русского крестьянства (домового, лешего), переплелись с мотивами фольклора и мифологии автохтонных народов Урала. Так, образы хозяев подземных богатств возникли на основе крестьянских верований, однако мотивы охраны полезных ископаемых и сложные отношения с горщиками и старателями навеяны легендами и преданиями коренных народов Урала.

На формирование горной мифонимии оказала влияние терминология активно развивающегося на Урале в XVIII–XIX вв. горного дела: так, геологический термин *матка* дал импульс к появлению мифонима *матка* (*горная матка*).

Более полные выводы можно будет сделать после детального исследования всех разрядов горной мифонимии.

Сокращения

В названиях административных территорий

Ирб.	Ирбитский район Свердловской области	Олон.	Олонецкая губерния
Новг.	Новгородская губерния	Перм.	Пермская губерния

Прочие

нем.	немецкий язык	устар.	устаревшее
------	---------------	--------	------------

Источники

Бажов П. П. Малахитовая шкатулка. М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2019.

БАС — Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. / под ред. В. И. Чернышёва. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948—1965.

Берх В. Н. Путешествие в город Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей. Пермь : Литер-А, 2009.

БЭ — Бажовская энциклопедия / ред.-сост. В. В. Блажес, М. А. Литовская. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та : Сократ, 2007.

Власова М. Н. Энциклопедия русских суеверий. СПб. : Азбука-классика, 2008.

Власова С. К. Поют камни: Сказы. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1964.

Востриков О. В. Традиционная культура Урала: этноидеографический словарь русских говоров Свердловской области : в 5 вып. Екатеринбург : Свердловский областной Дом фольклора, 2000. Вып. 5 : Магия и знахарство. Народная мифология.

Голубая жемчужина: Легенды, предания, сказы дореволюционного Урала / лит. запись С. К. Власовой ; под ред. канд. филол. наук М. Г. Китайника. Челябинск : Кн. изд-во, 1958. *Горбатов Б. Л.* Донбасс. Донецк : Донбасс, 1980.

ГС — Геологический словарь : в 2 т. / под общ. ред. А. Н. Криштофовича. М. : Гос. науч.-тех. изд-во по геологии и охране недр, 1955.

ДФНУ — Дореволюционный фольклор на Урале / собр. и сост. В. П. Бирюков. Свердловск : Свердлгиз, 1936.

ЛТЭК — картотека «Лексика, топонимия, этнография камня» (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета, Екатеринбург).

МАС — Словарь русского языка : в 4 т. / РАН, Ин-т лингв. исследований ; под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М. : Рус. яз. : Полиграфресурсы, 1999.

Мин. фор. — Минералогический форум. URL: <https://www.mineralforum.ru/> (дата обращения: 06.08.2022).

Мисюрев А. А. Легенды и были: фольклор старых горнорабочих Южной и Западной Сибири / предисл. М. К. Азадовского. 2-е изд., доп. Новосибирск : Новосибгиз, 1940.

Мифология манси / науч. ред. И. Н. Гемуев, В. В. Напольских. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2001. (Энциклопедия уральских мифологий ; т. 2).

Никулина М. П. Камень. Пещера. Гора. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2002. (Сер. «Очерки истории Урала», вып. 15). URL: http://svitk.ru/004_book_book/17b/3679_nikulina-kamen_rehera_goga.php (дата обращения: 10.08.2022).

Ончуков Н. Е. По Чердынскому уезду. Поездка на Вишеру, на Колву и на Печору. СПб. : Тип. кн. В. П. Мещерского, 1901.

Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук / ред. А. Х. Востоков. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1852.

ПЛУ — Предания и легенды Урала: Фольклорные рассказы / сост., вступ. ст. и коммент. В. П. Кругляшовой. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991.

Пыляев М. И. Драгоценные камни: Их свойства, местонахождения и употребление. Репринт. воспроизв. изд. 1888 г. М. : Совмест. сов.-австр. предприятие «Х.Г.С», 1990.

Рычков П. И. Продолжение журнала или дневных записок путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1770 году. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1772.

Славникова О. А. 2017. М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020.

СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; редкол.: С. Г. Бархударов (отв. ред.) [и др.]. М. : Наука, 1975—. Вып. 1—.

СлРЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз. ; гл. ред.: Ю. С. Сорокин. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1984—1991. Вып. 1—6; СПб. : Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1992—. Вып. 7—.

Спасский Г. И. Горный словарь, составленный Григорием Спасским, обер-берггауптманом 5 класса... : в 3 ч. М. : Тип. Н. Степанова, 1841—1843.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Филина (вып. 1–22), Ф. П. Сороколетова (вып. 23–42), С. А. Мызникова (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.

Хит. Ур. — Хита Урала. URL: <http://форум.хитник.рф> (дата обращения: 01.07.2023).

Ozlib. URL: https://ozlib.com/1046651/geografiya/poyavlenie_dochernih_mineralov (дата обращения: 09.08.2023).

Исследования

Ахметшин Б. Г. Несказочная проза горнозаводского Башкортостана и Южного Урала : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.09 / БГУ. Уфа, 1998.

Березович Е. Л. Метафорические комплексы, составленные терминами родства, в славянских языках // Категория родства в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. М. : Индрик, 2009. С. 257–278.

Березович Е. Л., Иванова Е. Э. К реконструкции системы горной мифонимии Урала: общий обзор // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы V Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 7–11 сентября 2022 г. / [редкол.: Е. Л. Березович, О. Д. Сурикова (отв. ред.) и др.]. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. С. 18–26.

Березович Е. Л., Иванова Е. Э. К реконструкции горной мифонимии Урала: мифонимы, мотивированные лексикой неживой природы // Антропологический форум. 2023а. № 58. С. 209–246. <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2023-19-58-209-246>

Березович Е. Л., Иванова Е. Э. К реконструкции имен мифических народов в горной мифонимии Урала // Уральский исторический вестник 2023б. № 4(81). С. 132–142. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-4\(81\)-132-142](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-4(81)-132-142)

Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в.: Половозрастной аспект традиц. культуры / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988.

Блажес В. В. Рабочие предания родины П. П. Бажова // Фольклор Урала. Свердловск : [УрГУ], 1983. [Вып. 7]: Бытование фольклора в современности (на материале экспедиций 60–80 годов). С. 5–22.

Гельгардт Р. П. Фантастические образы горняцких сказок и легенд. К типологической характеристике старого рабочего фольклора // Русский фольклор. Т. VI. М. ; Л. : Наука, 1961. С. 193–226.

Добродомов И. Г. Из истории двух жаргонизмов: «пацан» и «шкет» на лексикографическом фоне // Политическая лингвистика. 2012. № 2 (40). С. 224–239.

Кривощёкова-Гантман А. С. Географические названия Верхнего Прикамья. Пермь : Кн. изд-во, 1983.

Лазарев А. И. Предания рабочих Урала как художественное явление. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1970.

Макеева И. И. История названий драгоценных камней в русском языке XI–XVII веков : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 1986.

Миронов А. В. Образ Хозяйки Медной горы в сказах П. П. Бажова // Творчество П. П. Бажова в меняющемся мире : материалы межвуз. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения П. П. Бажова, 28–29 января 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 95–102.

Полякова Е. Н. Коми наследие в лексике русских говоров Пермского края // Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии : материалы и исследования / отв. ред. И. И. Русинова. Пермь, 2009. Вып. 3. С. 180–194.

Раденкович Л. «Беркман» и другие духи-властители земных недр у славян // Восток и Запад в балканской картине мира. Памяти Владимира Николаевича Топорова / ред. Т. Н. Свешникова, И. А. Седакова, Т. В. Цивьян. М. : Индрик, 2007. С. 258–265.

Сагалаев А. М. Урало-алтайская мифология: символ и архетип. Новосибирск : Наука, 1991.

Терновская О. А., Толстой Н. И. Баба // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М. : Междунар. отн., 1995. Т. 1. С. 122–123.

Швабауэр Н. А. Типология фантастических персонажей в фольклоре горнорабочих Западной Европы и России : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.09 / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2002.

References

Akhmetshin, B. G. (1998). *Neskazochnaia proza gornozavodskogo Bashkortostana i Iuzhnogo Urala* [Non-Fairy Tale Prose of Mining Bashkortostan and the Southern Urals] (doctoral dissertation). Bashkir State University, Ufa.

Berezovich, E. L. (2009). *Metaforicheskie komplekсы, sostavlenные terminami rodstva, v slavianskikh iazykakh* [Metaphoric Complexes Consisting of Kinship Terms in Slavic Languages]. In S. M. Tolstaya (Ed.), *Kategoriia rodstva v iazyke i kul'ture* [The Category of Kinship in Language and Culture] (pp. 257–278). Moscow: Indrik.

Berezovich, E. L., & Ivanova, E. E. (2022). К реконстуктсии системы горной мифонимии Урала: обшчии обзор [More on Reconstructing the Mountain Mythonyms of the Urals: An Overview]. In E. L. Berezovich, O. D. Surikova et al. (Eds.), *Etnolingvistika. Onomastika. Etimologіia: materialy V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Ekaterinburg, 7–11 sentiabria 2022 g.* [Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology: Materials of the 5th International Academic Conference. Ekaterinburg, 7–11 September 2022] (pp. 18–26). Ekaterinburg: Ural University Press.

Berezovich, E. L., & Ivanova, E. E. (2023a). К реконстуктсии горной мифонимии Урала: мифонимы, мотивированные лексикой неживой природы [More on Reconstructing the Mountain Mythonyms of the Urals: Mythonyms Motivated by Inanimate Nature Vocabulary]. *Antropologicheskij forum*, 58, 209–246. <https://doi.org/10.31250/1815-8870-2023-19-58-209-246>

Berezovich, E. L., & Ivanova, E. E. (2023b). К реконстуктсии имен мифических народов в горной мифонимии Урала [More on Reconstructing the Mythical Peoples' Names in the Mountain Mythonymy of the Urals]. *Ural Historical Journal*, 4(81), 132–142. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-4\(81\)-132-142](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-4(81)-132-142)

Bernstam, T. A. (1988). *Molodezh v obriadovoi zhizni russkoi obshchiny XIX — nachala XX v.: Polovozrastnoi aspekt traditsionnoi kul'tury* [Young People in the Ritual Life of the 19th — Early 20th Century Russian Community: The Gender and Age Aspect of Traditional Culture]. Leningrad: Nauka. Leningr. otd-nie.

Blazhes, V. V. (1983). Rabochie predaniia rodiny P. P. Bazhova [Workers' Legends of P. P. Bazhov's Native Land]. *Fol'klor Urala. [Vyp. 7]: Bytovanie fol'klora v sovremennosti (na materiale ekspeditsij 60–80 godov)* [Folklore of the Urals. [Iss. 7.]: The Contemporary Life of Folklore (Based on the Materials of 1960s–1980s Expeditions)] (pp. 5–22). Sverdlovsk: [USU].

Dobrodomov, I. G. (2012). Iz istorii dvukh zhargonizmov: “patsan” i “shket” na leksikograficheskom fone [From the History of Two Jargon Words: “Patsan” and “Shket” Within the Framework of Lexicography]. *Politicheskaiia lingvistika*, 2 (40), 224–239.

Gelgardt, R. R. (1961). Fantasticheskie obrazy gorniatskikh skazok i legend. K tipologicheskoi kharakteristike starogo rabocheho fol'klora [Fantastic Images in Miners' Fairy Tales and Legends. More on the Typological Characteristics of Old Folklore of Workers]. In *Russkiy fol'klor* [Russian Folklore] (Vol. 6, pp. 193–226). Moscow; Leningrad: Nauka.

Krivoshchyokova-Gantman, A. S. (1983). *Geograficheskie nazvaniia Verkhnego Prikam'ia* [Geographical Names of the Upper Kama Region]. Perm: Knizhnoe izdatel'stvo.

Lazarev, A. I. (1970). *Predaniia rabochikh Urala kak khudozhestvennoe iavlenie* [Legends of Ural Workers as an Artistic Phenomenon]. Chelyabinsk: Yuzhno-Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo.

Makeeva, I. I. (1986). *Istoriia nazvaniy dragotsennykh kamnei v russkom iazyke XI–XVII vekov* [The History of Precious Stone Names in the 11th–17th Century Russian Language] (doctoral dissertation). Moscow.

Mironov, A. V. (2004). *Obraz Khoziaiki Mednoi gory v skazakh P. P. Bazhova* [The Image of the Mistress of the Copper Mountain in P. P. Bazhov's Tales]. In *Tvorchestvo P. P. Bazhova v meniaiushchemsia mire: materialy mezhvuzovskoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 125-letiiu so dnia rozhdeniia P. P. Bazhova, 28–29 ianvaria 2004 g.* [P. P. Bazhov's Artistic Work in the Changing World: Materials of the Inter-University Academic Conference Dedicated to P. P. Bazhov's 125th Birthday] (pp. 95–102). Ekaterinburg.

Polyakova, E. N. (2009). *Komi nasledie v leksike russkikh govorov Permskogo kraia* [Komi Heritage in the Russian Dialectal Vocabulary of Komi Region]. In I. I. Rusinova (Ed.), *Zhivaia rech' Permskogo kraia v sinkhronii i diakhronii: materialy i issledovaniia* [The Living Speech of Perm Region in the Synchronic and Diachronic Aspects: Materials and Studies] (Iss. 3, pp. 180–194). Perm: Perm State University.

Radenkovic, L. (2007). “Berkman” i drugie dukhi-vlastiteli zemnykh nedr u slavian [“Berkman” and Other Slavic Spirit Masters of the Earth Depths]. In T. N. Sveshnikova, I. A. Sedakova, & T. V. Tsivian (Eds.), *Vostok i Zapad v balkanskoj kartine mira. Pamiati Vladimira Nikolaevicha Toporova* [East and West in the Balkan Worldview. In Memory of Vladimir Nikolaevich Toporov] (pp. 258–265). Moscow: Indrik.

Sagalaev, A. M. (1991). *Uralo-altaiskaia mifologija: simvol i arkhetyp* [Ural-Altai Mythology: Symbol and Archetype]. Novosibirsk: Nauka.

Schwabauer, N. A. (2002) *Tipologija fantasticheskikh personazhei v fol'klоре gornorabochikh Zapadnoi Evropy i Rossii* [Typology of Fantastic Characters in the Folklore of Miners of Western Europe and Russia] (doctoral dissertation). Chelyabinsk: Chelyabinsk State University.

Ternovskaya, O. A., & Tolstoy, N. I. (1995). *Baba* [“Woman” and Other Meanings]. In N. I. Tolstoy (Ed.), *Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar'* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary] (Vol. 1, pp. 122–123). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.

Иванова Елена Эдуардовна

кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка, общего
языкознания и речевой коммуникации
старший научный сотрудник
топонимической лаборатории
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: paklina.len@yandex.ru

Ivanova, Elena Eduardovna

PhD (Philology), Associate Professor,
Department of Russian Language, General
Linguistics, and Verbal Communication
Senior Researcher
Toponymic Laboratory
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Ekaterinburg, Russia
Email: paklina.len@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7761-3265>

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.072
УДК 811.161.1'373.22:553.8 + 81'33 +
+ 81'373.46 + 913(470.5)

В. С. Кучко
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

МНОГОЛИКИЙ СЕРДОЛИК: ИСТОРИЯ НАЗВАНИЙ КАМНЯ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ

Статья посвящена изучению истории названий сердолика, бытовавших в разное время в рамках русской языковой традиции. Это заимствования из древнегреческого языка *сардион*, *сардий*, *сардоних* и *сардоникии*; западноевропейские заимствования Нового времени *карнеол*, *корналин*; а также образование *сердолик*, которое является исконным, но во многом формально «наведено» обликом уже существовавших в языке заимствований. Факт множественности номинаций этого камня обусловлен несколькими причинами — это древность знакомства человечества с этим камнем и попадание его упоминаний в древние тексты, которые влияли на формирование книжной культуры Древней Руси; привозное происхождение камня и лишь очень позднее обнаружение его домашних месторождений; это и специфическая лингвокультурная ситуация, возникшая в период становления русской научной терминосистемы, когда возникала конкуренция между исконными наименованиями минерала и новыми западноевропейскими аналогами, знакомство с которыми происходило посредством перевода минералогических трактатов. В статье описаны факторы, создающие специфику лингвистической истории сердолика, причем в разной комбинации они характерны в целом для всей области истории минералогических названий. Комментируется время появления заимствованных названий сердолика в русском языке, их источники, разница в сфере употребления и семантических оттенках. Относительно собственно русского образования *сердолик* также приводится время и причины его возникновения, предложена мотивация названия с опорой на внутриязыковые и экстралингвистические факторы, показано существование и терминологического параллелизма с участием разных наименований сердолика, и конкуренции между исконным и заимствованными именами.

К л ю ч е в ы е с л о в а: сердолик; геммонимия; минералогическая лексика; история слов; историческая лексикология; мотивационная реконструкция; русский язык

Благодарности

Работа выполнена в рамках проекта «Взаимодействие культурно-языковых традиций: Урал в контексте динамики исторических процессов», финансируемого Минобрнауки России (номер темы FEUZ-2023-0018).

Ц и т и р о в а н и е: Кучко В. С. Многоликий сердолик: история названий камня в русской языковой традиции // Известия Уральского федерального университета.

Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 251–263. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.072>

Поступила в редакцию: 22.08.2023

Принята к печати: 09.11.2023

Valeria S. Kuchko
Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia

MANY-FACED CARNELIAN: THE HISTORY OF THE NAMES OF THE GEMSTONE IN THE RUSSIAN LANGUAGE TRADITION

This article studies the history behind the nominations of carnelian that have existed at different times within the Russian language tradition. They are loans from the ancient Greek language *сардион*, *сардий*, *сардоних* and *сардоникии*; Western European loans of Modern times *карнеол*, *корналин*; and the word *сердолик* which is native, but in many respects formally “induced” by the appearance of loanwords that already existed in the language. The fact of the multiplicity of nominations of this stone is due to several reasons: the antiquity of humankind’s acquaintance with this stone and the occurrence of its mentions in ancient texts that influenced the formation of the book culture of Old Rus’; the imported origin of the stone and only very late discovery of its home deposits; a specific linguistic and cultural situation that arose during the formation of the Russian scientific terminological system, when there was competition between the original names of the mineral and new Western European analogues, acquaintance with which occurred through the translation of mineralogical treatises. The article describes the factors that create the specifics of the linguistic history of carnelian, which are in different combinations characteristic of the whole area of the history of mineralogical names. The author comments on the time of the appearance of borrowed names of carnelian in the Russian language, their sources, the difference in the sphere of use, and semantic shades. Also, the article provides data on the time and reasons for the occurrence of the word *сердолик*, as well as its motivation based on intra-linguistic and extralinguistic factors, the existence of terminological parallelism with the participation of different names of carnelian, and competition between native and borrowed names.

Key words: carnelian; gemstone names; mineralogical vocabulary; history of words; historical lexicology; motivational reconstruction; Russian language

Acknowledgements

This research was conducted within the framework of the grant “Interaction of Cultural and Linguistic Traditions: The Urals in the Context of the Dynamics of Historical Processes” FEUZ-2023-0018.

Citation: Kuchko, V. S. (2023). Mnogolikii serdolik: istoriia nazvanij kamnia v russkoi iazykovoï traditsii [Many-Faced Carnelian: The History of the Names

of the Stone in the Russian Language Tradition]. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 251–263. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.072>

Submitted: 22.08.2023

Accepted: 09.11.2023

Сердолик — полудрагоценный камень, разновидность халцедона (а в конечном счете, кварца) всех оттенков красного (от оранжево-красного и розовато-красного до насыщенного темно-красного цвета). В русской языковой традиции он был известен под несколькими именами; настоящая статья предлагает проследить историю появления и бытования в русской языковой среде разных его названий, а также комментирует появление поздней исконной формы *сердолик*. Причины, по которым штудии такого рода кажутся полезными, состоят, с одной стороны, в общей малоизученности минералогической терминологии с лингвистической точки зрения, а с другой стороны, в своеобразии минералогических реалий как предмета изучения. Следствием этого своеобразия в языковом плане служат: заимствованный характер подавляющего большинства названий камней и минералов — и, соответственно, различные стратегии адаптации заимствований; древность многих заимствований; значительный разрыв во времени между стратегиями номинации (долгое время вплоть до XVIII–XIX вв. принимаются во внимание только те свойства камней, которые доступны невооруженному глазу и наивному восприятию; химический состав и свойства камней и минералов начинают учитываться в новейшее время), поэтому для номинаций в области минералогии характерна явная семантическая неравномерность. Эти факторы создают специфику изучения происхождения и бытования названий камней в русской культурно-языковой среде, которая, как правило, является принимающей, — и определяют интерес этого изучения.

Слово *сердолик* (*сердалик*, *сердалик*) встречается в источниках со второй половины XVI в. В «Словаре русского языка XI–XVII веков» самая ранняя фиксация датируется 1578 г. и принадлежит писцовой книге города Коломны. С того же времени фиксируются и прилагательные *сердоличен* и *сердоликовый* [СлРЯ XI–XVII вв., т. 24, с. 78]. В течение XVII в. название камня в таком виде, очевидно, закрепилось в обиходно-деловом языке, поскольку фигурирует в многочисленных писцовых книгах, вкладных книгах, жалованных грамотах, духовных грамотах и пр., ср., к примеру: «Лохань серебряная золочена, а в ней камень **сердолик** резной, <...> на камне на **сердолики** планиты, а около того камня серебряной лес с камешки, и с цветки, и с травами, <...> а по краем тое лохани двадцать четыре камня, **сердолики** и сапфиры резны» (Дозорная память об осмотре драгоценных вещей, привезенных в Псков торговым человеком, немчином Бартрамом Декаусом, 1604 г.) [Псков, с. 14]; «Да и серьги с подвесом под золотом, камне **сердолик** черчатой» (*черчатый*, т. е. красный. — В. К.) (Отводная Важскому Богословскому монастырю, 1661 г.) [СПЛСР, т. 3, с. 292].

Довольно позднее появление слова отнюдь не означает, что сердолик как реалья прежде был неизвестен на русской территории. Изделия из сердолика, в частности, сердоликовые бусы бытовали на территории Древней Руси с IX–X вв.; они имели восточное происхождение и начали поступать в Северную Русь, — в частности, в Старую Ладогу — «по Волжскому пути вместе с первым арабским серебром и синестеклянными салтово-маяцкими лунницами из хазаро-аланского Подонья-Предкавказья» [Лебедев, с. 477; см. также: Рыбина, с. 195]. В домонгольский период сердоликовые бусы на Руси имели широкое распространение; обработка (сверление бусин с двух сторон, затем гранение или обтачивание, наконец, шлифовка), как считается, могла носить местный характер, правда, из-за сложности работы с твердой породой камня она могла осуществляться только в городских мастерских [см.: ИКДР, с. 161].

Очевидно, что камень, за которым с XVI в. и до сих пор закреплено название *сердолик* — розово-красная разновидность халцедона, — в древнерусском языке обозначался другим словом (словами). В конце XVIII в. составители «Словаря Академии Российской» включили *сердолик* в словник со значением ‘Carneole. Разность кремня’ [САР, т. 6, с. 127] (в этом определении отражены научные представления того периода, согласно которым сердолик еще не атрибутировался как разновидность кварца). Кроме одноименной словарной статьи, слово *сердолик* встречается в дефинициях у двух других названий: это *сардий* ‘сердолик. Камень, принадлежащий к дорогим второй статьи, причисляемый к породе кремнистой, цветом изжелта-красный’ [Там же, с. 31] и *сардоникс* ‘Sardonux. Камень, к дорогим причисляемый, состоящий из халцедона и сердолика, соединенных либо в виде полос, либо слоев, либо пятен’ [Там же]. Таким образом, наряду с *сердоликом*, камень именуется еще *сардием* и *сардониксом* (последнее слово, как следует из определения, относится к тем камням, которые имеют видимую слоистость).

В словарях древнерусского языка отмечены имена *сардион*, *сардий*, *сардоних* и *сардоникши*. По словарным данным, с точки зрения хронологии появления в памятниках, наиболее древнее *сардион* фиксируется с XI в. (в «Изборнике Святослава Ярославича» 1073 г. он снабжен определением *вавилонский* — по месту происхождения; камню приписываются магические целебные свойства: «Съардион вавулоньскыи нарицаемыи учрьмень есть акы кровь... прозрачьнъ же есть, силы цъльбьныя, имъже лѣкують врачеве отоки и язвы отъ желѣза бываюшта помазаюште» [СлРЯ XI–XVII вв., т. 23, с. 64]); *сардий* — с XIII в.; *сардоних* — с XIII–XIV вв.; форма *сардоникши* зафиксирована в [Срезневский, т. 3, с. 263] из списка XVI в. «Сказания о Софийском храме Цареграда», составленного архиепископом Антонием в районе 1200 г. Говоря о происхождении этих слов, их надо признать греческими заимствованиями; они появляются или в переводных с греческого, или в оригинальных текстах, написанных под влиянием греческих источников (ср. греческие формы *σάρδιον*, *σαρδόνυξες*, *σαρδόνυχον* ‘то же’). Этимологически они связаны с названием города Сарды, столицы Лидийского царства [Фасмер, т. 3, с. 562], — т. е. это камень, добываемый в Сардах. Впервые древнегреческое название *сардион* (*σάρδιον*)

появляется у Теофраста в трактате «О камнях» [Dana, p. 188] — и «это название самое древнее из всех, которыми обозначались разновидности кремнезема, не считая *crystallos*» [Дэна, Дэна, Фрондель, с. 264–265].

Что до выявления с е м а н т и к и древнерусских названий, то в [СлРЯ XI–XIV вв., т. 10, с. 593] *сардион* и *сардоних* поданы как синонимы и определены как ‘драгоценный камень (сердолик? рубин?)’; в [СлРЯ XI–XVII вв., т. 23, с. 64, 65] *сардион* и *сардий* поданы как синонимы и определены как ‘названия самоцветного камня или группы самоцветов; сердолик’, *сардоних* как ‘поделочный камень с рисунком из полос буро-красного и молочно-белого цвета; сардоникс’; в [Срезневский, т. 3, с. 263] *сардион* определен как ‘сердолик’, а *сардониксии* — как ‘сардоникс’. К этим формам добавим также отраженное в [Макеева, 1986, с. 45–46] позднее *сардоникс* (из греч. *σαρδόνιξ*), отмечаемое с XVII в.

Определения сходятся в том, что все эти названия могли относиться к сердолику; имена *сардоних* и *сардониксии* могли именовать сходный минерал — сардоникс, сердолик со светлыми прослойками оникса. Доподлинно идентифицировать камни, упоминание которых встречается в древних источниках, невозможно. Мы имеем дело с отсутствием сложившейся научной номенклатуры в современном ее понимании, с трудностями перевода, с неточностями при переписывании рукописей. К тому же бытовые и деловые тексты XVI–XVII вв. и более поздние, в которых фигурируют *сердолики* и о которых мы сказали в начале статьи, упоминают разнообразное имущество с вполне конкретными, нередко «осязаемыми» для переписчиков камнями; древние тексты, как правило, описывают внешний вид и свойства камней-символов, упоминаемых в разных библейских книгах. Отсюда — бросающаяся в глаза неоднозначность приведенных определений, «плавающая» семантика названий камней.

Особо нужно прокомментировать появление (со знаками вопроса) рубина наряду с сердоликом в определении сардиона и сардониха. Оно связано с тем, что речь в текстах идет о первом из 12 камней в нагруднике еврейского первосвященника Аарона, которые перечислены в Книге Исхода. Для различных переводов Библии, памятников, в которые попадало это перечисление, характерна значительная вариативность названий в списке [см., например, Бобылев, с. 22–28 и далее]. На русский язык древнееврейское название первого камня *одем* может переводиться как *рубин*, *сардий*, *сердолик* [Там же, с. 25]; его буквальный перевод — «крово-красный» [Гликман, с. 76], поэтому варианты камней должны отвечать этому признаку. Первое перечисление этих камней на старославянском языке было сделано в переводе «Хроники Георгия Амартола» в XI в.; в ее древнерусском списке, сделанном в XIII–XIV вв., значится *сардоних* (собственно, это первое русское упоминание *сардониха*, отмечаемое в [СлРЯ XI–XVII вв.]). Это вполне согласуется с Септуагинтой, первым переводом Ветхого Завета на древнегреческий язык: там фигурирует *σάρδιον* [Макеева, 1986, с. 47], ср. мнение В. В. Бобылева о том, что ветхозаветные евреи, равно как и древние греки, еще не могли обрабатывать очень твердый рубин, хотя он и мог быть им известен под каким-либо другим именем; «следовательно, упоминание термина

“рубин” в ряде мест Библии как синонима древнееврейскому *одему* <...>, есть анахронизм. Названию *одема* может соответствовать лишь *сардион* (как это и отражено в Септуагинте)» [Бобылев, с. 82].

Выше в определении сердолика, данном в [САР], мы встретили еще одну его номинацию: *Carneole*. Наряду с древними заимствованиями *сардион*, *сардий* и *сардоних* и более поздним *сердолик*, этот минерал мог именоваться также словами *карнеол* — или *корналин*; ср., в частности, в словаре В. И. Даля перечень «сардий, или сард, камень сердолик, корналин или карнеол, полусквозистый, мясного цвета; сардоникс, сердоликовый оникс, халцедон с прослойкой из сердолика» [Даль, т. 4, с. 36]. Определение *сердолика* как ‘*silex carneolus*, то же, что карналин, карнеол’ встречаем и в [СЦСРЯ, т. 3, с. 119].

В русский язык слово *карнеол* / *карниол* вошло в 1731 г., *карниоль* — в 1755 г. через немецкое посредство [СлРЯ XVIII в., т. 9, с. 261]. В немецком языке это название появляется у Г. Агриколы в 1546 г. [Dana, p. 188]. Этимологически оно связано с лат. *carneus* ‘мясной’ < от лат. *caro*, *carnis* ‘мясо’ — и определяет цвет сердолика. Было известно еще одно название — *карнелиан*, также относящееся к цвету камня; оно образовано, как считается, от лат. *cornus* ‘вид кизила’ [Дэна, Дэна, Фрондель, с. 265]. Это слово имело хождение в Европе также со Средневековья: оно встречается в «Лапидарии короля Альфонса» — испанском переводе арабского трактата о связях камней и знаков зодиака, сделанном в середине XIII в. [Бобылев, с. 31]. В русский язык вошли формы *карниол* / *карнеол* (*карниоль* / *карнеоль*) и *корналин* как синонимы *сердолика*, ср., к примеру: «Несколько маленьких антиков из агатов, яшмы, карниолей или сердоликов и протчих крепких камней» (Журнал путешествия... Никиты Акинфиевича Демидова. По иностранным государствам... 1786 г.) [СлРЯ XVIII в., т. 9, с. 261].

По всей видимости, между *карнеолом* и *сердоликом* существовала конкуренция. Например, М. В. Ломоносов, деятельно участвовавший в становлении русской научной терминологии вообще и минералогической в частности, при редактировании перевода с латыни «Минерального каталога» (составленного учеными Российской академии наук, в том числе и самим Ломоносовым) в 1740-е гг. последовательно исправлял слова *карнеол*, *карнеоль* и *карниол* — переводы лат. *carneolus* — на *сердолик*, см. примеры подобных случаев в [СЯЛ, с. 229–230]. При этом переводчики (В. И. Лебедев и И. И. Голубцов) словом *сердолик* переводили лат. *опух* (думается, под влиянием слова *сардоникс*, синонима сердолика, которое также в определенных контекстах — в форме *сардоних* — использовалось для перевода не только лат. *sardonix*, но и *опух*). В таких случаях Ломоносов последовательно исправлял *сердолик* на *оникс*, см. эти случаи в [СЯЛ, с. 281–282]. При этом лат. *sardius* было переведено как *сардий* и Ломоносовым не исправлено; очевидно, в XVIII в. это слово еще уверенно держалось в обиходе; как мы писали выше, *сардий* был включен в [САР] как синоним *сердолика*.

Этот исторический эпизод, во-первых, еще раз демонстрирует терминологическую зыбкость в минералогии, существовавшую на начальном этапе ее становления (и в целом вполне характерную для многих областей науки до XVIII в.

включительно), когда именовать сходные или считавшиеся тогда сходными минералы — в нашем случае это разновидности халцедона, коими являются сердолик, оникс и сардоникс, — мог широкий ряд синонимов; во-вторых, он наглядно показывает, как воля выдающейся личности может влиять на судьбу отдельных слов: может быть, именно это последовательное вычеркивание термина *карнеол* повлияло на победу *сердолика* как названия, вошедшего впоследствии в общенародный язык.

В отличие от перечисленных заимствований, форма *сердолик* возникла на русской почве (несмотря на случайное, по всей видимости, замечание М. И. Пыляева при описании сердолика в труде «Драгоценные камни» о том, что слово это «арабское или персидское» [Пыляев, с. 348]). По мнению М. Фасмера, *сердолик* образовалось на основе слов *сардион* из греч. *σάρδιον*, *сардоникс*, *сардоникши* из греч. *σαρδόνιξ* под влиянием слов *сердце* и *лик* [Фасмер, т. 3, с. 605]. Версию о причине такого сближения встречаем в [Шанский, Боброва, с. 286]: «Исходное *сардион* > *сердолик* в результате народноэтимологического сближения с *сердце* и *лик* (по похожей на сердце форме камня)». Высказанная мотивировка не выдерживает критики, поскольку форму камню придает мастер по его обработке — и остается неясным, что имелось в виду. В популярной и некоторой специальной литературе о ювелирных камнях тиражируется еще одно объяснение слова *сердолик* — «радующий сердце» или даже «ликующее сердце» [см., к примеру: Константинов, с. 58], очевидно, сложение *сердце* и *ликовать*; такая трактовка несостоятельна в словообразовательном аспекте, и к тому же указанный мотив номинации слишком субъективен, что нехарактерно для минералогии.

Тот факт, что становление облика имени *сердолик* действительно происходило на базе уже существующих греческих заимствований *сардион*, *сардоникс*, *сардоникши* (И. И. Макеева [1986, с. 46] также приводит форму *сардоник*), подтверждается двумя переходными случаями:

1) прилагательное *сердоничен* — его приводит М. Фасмер в виде *сердоничныи* (возникает вопрос: а может быть, существовала незафиксированная форма **сердоник*?); в словарях древнерусского языка *сердоничный* определяется как ‘сделанный из сердолика’, ‘то же, что *сердоличный*’ (прилагательные *сердоличный* и *сердолечный* при этом фиксируются, как и слово *сердолик*, с XVI в.): «А изъ золота даль ксьмь с̃ну своему ивану <...> поъсь сердоничень золотомъ окованъ» (1336 г.), «А се да(л) есмь с̃ну своему кня(з) дмитрюю <...> д<а коропка золотомъ> кована сердонична» (1359 г.) [СлРЯ XI–XIV вв., т. 11, с. 132];

2) форма *сардолик*, которая приведена И. И. Макеевой из Азбуковника, датированного 1654 г. [Макеева, 1986, с. 119].

На примере этих случаев мы видим, что, образно говоря, язык пробует «внедрить» форманты *серд-* и *-лик* в уже существовавшие для обозначения сердолика слова. Причина кажется простой: уже существующие слова — это заимствования с темной внутренней формой; а внедряются исконные корни, понятные носителю языка.

Внутреннюю форму слова *сердолик*, скорее всего, можно интерпретировать как «лицом как сердце», т. е. камень, обликом своим похожий на сердце. Признак формы, как мы сказали выше, следует отвергнуть. В чем же может быть сходство, повлиявшее на название камня?

Представляется, что сходство обеспечивается признаком цвета. Неочевидная внутренняя форма заимствованных *сардия*, *сардиона*, *сардоника* была переосмыслена под влиянием красного, а точнее, мясного цвета камня, символически связанного с сердцем, на основании формальной близости исходных *сардион*, *сардоник* с одной стороны — и конечного *сердолик* с другой. Фонетические изменения в древних заимствованиях на почве русского языка, под влиянием ли посредства других языков или же под влиянием внутренних фонетических закономерностей или контаминаций с формально сходными словами, — типичны в том числе для названий камней. Подобными примерами могут служить, например, греч. *σάρκωδος*, которое ввиду тюркского посредства и добавления протетического гласного превратилось в рус. *изумруд*, или рус. *яхонт*, которое, как считается, восходит к греч. *ὑάκινθος* или лат. *hyacinthus* (ср. *гиацинт*).

С тем, что красный цвет камня — его яркая отличительная черта, мы уже сталкивались в приведенном выше контексте для *сардиона* из «Изборника Святослава»: «Съардион... учрьмьнь есть акы кровь...» («сардион... красный, как кровь»). Эта характеристика принадлежит Епифанию Кипрскому, перевод сочинения которого о 12 камнях на наперснике первосвященника, помещенного в «Изборник» 1073 г., считается первым минералогическим трактатом, ставшим известным в Древней Руси [см. Аксентон; Макеева, 1991]. Сведения о камнях отсюда позднее вошли во множество литературных компиляций, созданных на русской почве, и цитата о красном, как кровь, сардионе была таким образом растиражирована, заостряя внимание на этом признаке камня. Приведем чуть более расширенный контекст из этого трактата: «Первый камень сардий (в обыденном употреблении он известен более под именем *сердолика*. — Прим. пер.) есть так называемый вавилонский. Он вида как бы огненного и цвета крови, уподобляясь посоленной рыбе сардию. Поэтому он и называется сардием, от вида своего получив прозвание» [Епифаний Кипрский, с. 268]. Заметим, что признак цвета же лег в основу европейских синонимов *сердолика* — заимствованных в русский язык *карнеола* и *корналина* (камней цвета мяса и кизила).

Привлечем дополнительное соображение экстралингвистического характера об актуализации символики цвета в культурной судьбе сердолика. Его красный цвет — точнее, цвет мяса, плоти, — мог осмысляться сквозь призму ассоциации с плотью и кровью человека. Известно, что по своим физическим характеристикам со времен Древнего Египта сердолик считался камнем, идеально подходящим для резных изделий, например, резных печатей. Так его использовали и в древнегреческую, и в римскую эпохи. В Европе традиция использования сердолика в геммах сохранялась вплоть до XVIII–XIX вв. В силу своей окраски сердолик выбирали для гемм, связанных с кровавыми сюжетами: например, это сцена сдирания с сатира Марсия кожи разгневанным на него богом Аполлоном;

в средневековой христианской традиции сердолик стал символом апостола Варфоломея, который был казнен путем распятия со сдиранием с него кожи, и эта сцена также нашла отражение в геммах на сердолике [см., например: Забозлаева, с. 356; Патлах, с. 223].

Появление компонента *серд-* в названии *сердолик* безусловно повлияло на восприятие этого камня как имеющего отношение к сердечным делам, символа любви. Такая интерпретация растиражирована множеством современных интернет-источников, достаточно лишь ввести в поисковик название камня. Возможно, эта смысловая связь повлияла на выбор Е. К. Воронцовой камня в перстне в подарок А. С. Пушкину, посвятившему ему впоследствии несколько стихотворений, в том числе «Храни меня, мой талисман».

В русскую языковую традицию камень сердолик вписан разными номинациями. Многоименностью сердолика в русской языковой среде мы обязаны взаимодействию разных факторов: это древность знакомства человечества с этим камнем и попадание его упоминаний в древние тексты, повлиявшие на становление книжной культуры Древней Руси; привозное происхождение камня и позднее обнаружение его домашних месторождений; специфическая лингвокультурная ситуация, возникшая в период формирования русской научной терминосистемы, когда возникала конкуренция между исконными наименованиями минерала и новыми западноевропейскими аналогами, знакомство с которыми происходило посредством перевода минералогических трактатов.

Наиболее старые имена этого камня — это целое гнездо греческих заимствований в древнерусский язык: формы *сардион*, *сардий*, *сардоних* и *сардоникши*. Эти названия принадлежат книжной сфере — и были пересажены на славянскую почву с переводом греческих памятников. Они были подвергнуты переработке и переосмыслению на русской языковой основе, в результате чего в обиход вошло слово *сердолик*. Оно стало активно употребляться в бытовой и деловой среде; памятники письменности фиксируют его с XVI в.

В средневековой Европе также появились новые термины для обозначения сердолика — в русский язык они были заимствованы в XVIII в. при знакомстве с западноевропейской научной традицией в формах *карнеол* / *карнеоль*, *корналин* и под. Известны они были и раньше. Например, в рукописи 1616 г., именуемой «Благопрохладный цветник, или Травник», даны греческие, латинские, арабские и немецкие наименования в области названий растений и некоторых других природных объектов, в том числе камней, при которых приводятся их русские соответствия. Слово *сердолик* там значится как русское соответствие, очевидно, новолатинскому (язык в данном случае не указан) «корниолусу» [Змеев, с. 11].

Существование терминологического параллелизма отражено в переводных трудах XVIII в. Камень обозначен одновременно (через запятую) как «сердолик, карниол» в переведенной в 1772 г. с немецкого языка «Минералогии»

И. Г. Лемана 1758 г. [Леман, с. 85]. Вся номинативная линейка представлена в переводе с немецкого 1779 г. «Сочинения о драгоценных камнях» У. Ф. Б. Брикмана, написанного в 1757 г.: «О сердоликах. Сей камень на немецком языке называется *Karneol* или *Sarder*. На греческом и латинском языке он следующие названия имеет: *sardion*, *sardus*, *sarda*, *carneolus*» [Брикман, с. 118]. В переводе с французского языка «Словаря коммерческого, содержащего познание о товарах всех стран...» камень именуется *сердоликом* или *корналином* [СлКомм, т. 6, с. 169], примеры закреплённой синонимии можно продолжать.

Термины *карнеол* (*корналин*) были и остались скорее фактами специальной литературы о камнях — научной или научно-популярной. В современных источниках встречаются попытки классификаций камней в рамках этого номинативного ряда — но всегда с оговорками об условности подобных разграничений (ср., к примеру: «Сард, карнеол, сердолик по элементарному составу и физическим свойствам — близнецы-братья. Они <...> различаются между собой только окраской. <...> От желтовато- и красноватобурого, бурого, коричневого у сарда, через мясокрасный у карнеола, до розово- или оранжево-красного, оранжевого и бурокрасного у сердолика. Если сард от карнеола отличается как бы нечистотой красного цвета у первого и желтизной у второго, то граница цветов карнеола и сердолика довольно условная: она проводится где-то между крайними цветами в спектре от красного — карнеола до оранжевого — сердолика, взаимные переходы между которыми могут быть в одном камне. Европейские геммологи их не различают, относя все к карнеолам» [Бобылев, с. 88]; или: «Сердоликом называют просвечивающий халцедон, равномерно окрашенный в оранжево-красный или телесно-красный цвет. Для каштаново-бурых или красно-бурых разновидностей приняты названия карнеол <...> и сардер. Следует признать, что границы между ними весьма условны, т. к. изменение окраски нередко наблюдается в пределах одного камня» [Буканов, с. 133]). Чаще же в минералогической литературе встречается мнение о неосновательности каких-либо делений на сердолики, карнеолы, сарды и под.

В качестве общеупотребительного, как специально-научного, так и обиходно-разговорного варианта названия розово-красного халцедона закрепилось имя *сердолик*. Это имя оставалось частью в первую очередь городской культуры, поскольку для традиционной культуры характерны были украшения прежде всего из минералов органического происхождения: жемчуга, кораллов, янтаря. Тем не менее, известно, что и в крестьянской среде обработанные камни, в том числе сердолик, иногда использовались для изготовления украшений. Изредка упоминание этого камня мы находим в фольклоре — как бы в подтверждение знакомства с сердоликом в народной среде, ср., например, строки из севернорусского (олонецкого) свадебного плача: «Где-то есть у молодешенькой Сокол-братец родименькой, <...> Запонка да воротовая, Сердолик-дорогой камень?» [Рыбников, с. 403] — или сохранение архаичной книжной формы в заговоре на отпуск скота, записанном в 1935 г. в Карелии: «Поставь, Господи, стену асписовую сордонисковую вокруг всего моего стада и двери...» [Курец, с. 139].

Конечно, такие случаи проникновения инородной — городской или книжной — культуры в народное творчество раритетны, оттого очень ценны.

Источники

Брикман — Сочинение о драгоценных камнях с прибавлением описания так называемого Зальцталльского камня господина У. Ф. Б. Брикмана, медицины доктора, герцогского брауншвейгского придворного медика и анатомии профессора. Перевод шихтмейстера В. Беспалова. СПб. : Тип. Горного училища, 1779.

Буканов В. В. Цветные камни : энциклопедия. СПб. : Otava Book Printing Ltd, 2008.

Гликман М. Л. Ключ к камням хошена. Тель-Авив : [б. и.], 2020.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. 3-е изд. СПб. ; М. : Т-во М. О. Вольф, 1903–1909.

Епифаний Кипрский. О двенадцати камнях, бывших на одеждах Аарона // Творения святого Епифания Кипрского / пер. Московской духовной академии. Ч. 6. М. : Тип. М. Г. Волчанинова, 1885. С. 267–278.

Змеев — Русские врачевники. Исследование в области нашей древней врачебной письменности Л. Ф. Змеева. СПб. : Тип. В. Ф. Демакова, 1895.

Константинов Ю. Камни-целители. Драгоценные, полудрагоценные, поделочные. М. : Центрполиграф, 2017.

Курец — Русские заговоры Карелии / сост. Т. С. Курец. Петрозаводск : Изд-во Петрозав. гос. ун-та, 2000.

Леман — Иоганна Готлоба Лемана, королевского прусского горного советника, Императорской Академии наук химии профессора и члена Минералогия, переведена А. Нартовым. СПб. : [б. и.], 1772.

Псков — Сборник Московского архива Министерства юстиции. Т. 6 : Псков и его пригороды. Кн. 2 / введ. Н. Чулкова. М. : Печатня А. Снегиревой, 1914.

Пыляев М. И. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление. 2-е изд., доп. СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1888.

Рыбников — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. 3 : Народные былины, старины, побывальщины и песни. Петрозаводск : В губ. тип., 1864.

САР — Словарь Академии Российской 1789–1794 : в 6 т. М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2001–2006.

СлКомм — Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран, и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домостроительства, познание художеств, рукоделий, фабрик, рудных дел, красок, пряных зелий, трав, дорогих камней и проч. Переведен с французского языка В. Левшиным : в 6 ч. М. : Тип. Компании типографической, 1787–1792.

СлРЯ XI–XIV вв. — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. / гл. ред. Р. И. Аванесов, В. Б. Крысько. М. : Рус. яз. ; Азбуковник, 1988–. Вып. 1–.

СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. / гл. ред. С. Г. Бархударов и др. М. : Наука, 1975–. Вып. 1–.

СлРЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII века / ред. С. Г. Бархударов и др. Л. ; СПб. : Наука, 1984–. Вып. 1–.

СПЛСР — Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв. : в 3 вып. / ред. Ю. И. Чайкина. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003–2015.

Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка : в 4 т. СПб. : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Имп. АН, 1893–1903.

СЦСРЯ — Словарь церковно-славянского и русского языка, сост. II отделением Академии наук : в 4 т. СПб. : Тип. Имп. АН, 1847.

СЯЛ — Словарь языка М. В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н. Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5 : Словарь-справочник «Минералогия М. В. Ломоносова» / отв. ред. С. С. Волков. СПб. : Нестор-История, 2010.

Исследования

Аксентон Ю. Д. Сведения о драгоценных камнях в Изборнике Святослава 1073 г. и некоторых других памятниках // Изборник Святослава 1073 г. : сб. ст. / под ред. Б. А. Рыбакова. М. : Наука, 1977. С. 280–292.

Бобылев В. В. Историческая геммология. Геммохронология. М. : ВНИГНИ, 2000.

Дэна Дж., Дэна Э. С., Фрондель К. Ф. Система минералогии. Т. 3 : Минералы кремнезема / пер. с англ. С. С. Чекина и В. В. Наседкина. М. : Мир, 1966.

Забозлаева Т. В. Драгоценности в русской культуре XVIII–XX веков : словарь. СПб. : Искусство–СПБ, 2003.

ИКДР — История культуры Древней Руси / под общ. ред. Б. Д. Грекова и М. И. Артамонова. Т. 1 : Домогольский период. Материальная культура. М. : Изд-во АН СССР, 1951.

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб. : Евразия, 2005.

Макеева И. И. История названий драгоценных камней в русском языке XI–XVII веков : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 1986.

Макеева И. И. Названия драгоценных камней в Трактате Епифания Кипрского // Источники по истории русского языка XI–XVII вв. / отв. ред. В. Г. Демьянов, Н. И. Тарабасова. М. : Наука, 1991. С. 72–78.

Патлах В. В. Драгоценные камни. Ювелирное дело. М. : АСТ «Астрель», 2007.

Рыбина Е. А. Новгород и Ганза. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 4-е изд. М. : Астрель : АСТ, 2007.

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка. М. : Дрофа, 2005.

Dana — The System of Mineralogy of James Dwight Dana. 1837–1868: Descriptive Mineralogy / ed. by Ed. S. Dana. 6 ed. New York ; London : John Wiley & Sons : Chapman & Hall, 1904.

References

Aksenton, Yu. D. (1977). Svedeniia o dragotsennykh kamniakh v Izbornike Sviatoslava 1073 g. i nekotorykh drugih pamiatnikakh [Data about Precious Stones in the *Izbornik of Svyatoslav of 1073* and Some Other Literary Works]. In B. A. Rybakov (Ed.), *Izbornik Sviatoslava 1073 g.* [Izbornik of Svyatoslav of 1073] (pp. 280–292). Moscow: Nauka.

Bobylev, V. V. (2000). *Istoricheskaia gemmologiia. Gemmokhronologiia* [Historic Gemology. Gemstone Chronology]. Moscow: VNIGNI.

Dana, Ed. S. (Ed.). (1904). *The System of Mineralogy of James Dwight Dana. 1837–1868: Descriptive Mineralogy*. 6th ed. New York; London: John Wiley & Sons : Chapman & Hall.

Dana, J., Dana, E. S., & Frondel, K. F. (1966). *Sistema mineralogii. T. 3: Mineraly kremnezema* [System of Mineralogy. Vol. 3: Silica Minerals]. Moscow: Mir.

Grekov, B. D., & Artamonov, M. I. (Eds.) (1951). *Istoriia kul'tury Drevnei Rusi. T. 1: Domogol'skii period. Material'naia kul'tura* [History of Culture of Old Rus'. Vol. 1: Pre-Mongol Period. Material Culture]. Moscow: Izd-vo AN SSSR.

Lebedev, G. S. (2005). *Epokha vikingov v Severnoi Evrope i na Rusi* [The Viking Age in Northern Europe and Russia]. St Petersburg: Evraziia.

Makeeva, I. I. (1986). *Istoriia nazvaniia dragotsennykh kamnei v russkom iazyke XI–XVII vekov* [History of the Name of Precious Stones in the Russian Language of the 11th–17th Centuries] (doctoral dissertation). Moscow.

Makeeva, I. I. (1991). Nazvaniia dragotsennykh kamnei v Traktate Epifaniiia Kiprskogo [Names of Precious Stones in the Treatise of Epiphanius of Cyprus]. In V. G. Dem'ianov, & N. I. Tarabasova (Eds.), *Istochniki po istorii russkogo iazyka XI–XVII vv.* [Sources on the History of the Russian Language of the 11th–17th Centuries] (pp. 72–78). Moscow: Nauka.

Patlakh, V. V. (2007). *Dragotsennye kamni. Iuvelirnoe delo* [Precious Stones. Jewelry]. Moscow: AST “Astrel”.

Rybina, E. A. (2009). *Novgorod i Ganza* [Novgorod and Hansa]. Moscow: Rukopisnye pamiatniki Drevnei Rusi.

Shansky, N. M., & Bobrova, T. A. (2005). *Shkol'nyi etimologicheskii slovar' russkogo iazyka* [School Etymological Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Drofa.

Vasmer, M. (2007). *Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka* [Etymological Dictionary of the Russian Language] (Vols. 1–4). Moscow: Astrel; AST.

Zabozlaeva, T. V. (2003). *Dragotsennosti v russkoi kul'ture XVIII–XX vekov: Slovar'* [Jewelry in the Russian Culture of the 18th–20th Centuries: Dictionary]. St Petersburg: Iskusstvo–SPB.

Кучко Валерия Станиславовна

кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
топонимической лаборатории,
кафедра русского языка, общего
языкознания и речевой коммуникации
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: kuchko@inbox.ru

Kuchko, Valeria Stanislavovna

PhD (Philology), Senior Research Fellow
Toponymic Laboratory
Department of Russian Language, General
Linguistics and Verbal Communication
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Ekaterinburg, Russia
Email: kuchko@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7139-5738>
Scopus AuthorID: 57197728985
WoS ResearcherID: R-6809-2016

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.073

УДК 81'373.232.2 + 81'373.231(470.1) +
+ 811.511.112'373.6**И. И. Муллонен***Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
Петрозаводск, Россия*

КАРЕЛЬСКОЕ АНТРОПОНИМНОЕ НАСЛЕДИЕ В РУССКОМ ЗАОНЕЖЬЕ

В статье анализируются некалендарные карельские антропонимы, выявленные в архивных документах XVI–XVII вв. по Заонежскому полуострову и свидетельствующие о карельском наследии этой маркерной для культуры Русского Севера территории. Для анализа привлечены материалы писцовых книг, а также редко попадающие в поле зрения филологов делопроизводственные источники заонежского волостного самоуправления. Последние составлялись на местах с опорой на информацию местных жителей, поэтому в них чаще, чем в писцовых книгах, встречаются именованья, бытовавшие в народной среде. Среди них есть так называемые родовые патронимы и собственно прозвищные именованья. При этом они в соответствии с универсальной закономерностью, характерной для прозвищных именованний, отражают негативные характеристики человека: изъяны во внешнем облике и личностных характеристиках человека: лень, глупость, болтливость и др. В ходе анализа предложены многие новые этимологии карельских некалендарных антропонимов. Для этимологии широко привлекались данные современной карельской антропонимии.

Ценность этой антропонимии в том, что она существенно расширяет фрагментарные знания о традиционном карельском именованье, особенно бытовавшем за пределами карельского Приладожья. Далее, она вносит свой вклад в реконструкцию карельской страницы в истории Заонежья, поскольку содержит имена реально проживавших здесь карелов. Для истории карельского языка существенным оказывается то обстоятельство, что в ситуации почти полного отсутствия карельских памятников письменности XVI–XVII вв. этот материал содержит некоторые, пусть и смазанные русской адаптацией, особенности языка того времени. Предложены также некоторые структурные маркеры для вычленения прибалтийско-финских по корням антропонимов.

К л ю ч е в ы е с л о в а: историческая антропонимия; патронимы; прозвищные именованья; карельский язык; XVII век; Заонежье

Благодарности

Статья подготовлена в рамках выполнения госзадания КарНЦ РАН, тема № 121070700122-5 «Фундаментальные и прикладные аспекты исследования прибалтийско-финских языков Карелии и сопредельных областей».

Цитирование: *Муллонен И. И.* Карельское антропонимное наследие в русском Заонежье // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 264–282. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.073>

Поступила в редакцию: 31.08.2023

Принята к печати: 24.10.2023

Irma I. Mullonen

*Institute of Linguistics, Literature and History,
Karelian Research Centre of the RAS*

Petrozavodsk, Russia

KARELIAN ANTHROPONYMIC HERITAGE IN RUSSIAN ZAONEZHYE

This article analyses non-calendar Karelian anthroponyms identified in archival documents from the sixteenth and seventeenth centuries on the Zaonezhye Peninsula and testifying to the Karelian heritage of this marker for the culture of the Russian North. The analysis draws upon materials of written books, as well as sources of Zaonezhye Volost self-government, which rarely come to the attention of philologists. The sources were compiled on the site with the support of information from residents, consequently, in them, more often than in written books, there are names that used to be found in the national environment. Among them, there are so-called family patronymics and nicknames. At the same time, in accordance with the universal pattern characteristic of nicknames, they reflect the negative characteristics of a person, i.e. laziness, silliness, talkativeness, etc. Many new etymologies of Karelian non-calendar anthroponyms are proposed in the analysis. For etymology, the author extensively uses data of modern Karelian anthroponyms.

The value of this anthroponymy is that it significantly expands the fragmentary knowledge of traditional Karelian nouns, especially existing outside Ladoga Karelia. Additionally, it contributes to the reconstruction of the Karelian page in the history of Zaonezhye, as it contains the names of the Karelians who lived there. For the history of the Karelian language, it is significant that in the situation of almost complete absence of Karelian writing dating back to the sixteenth and seventeenth centuries, this material contains some features of the language of that time, albeit blurred by Russian adaptation. Some structural markers for distinguishing Finnic anthroponyms by their roots are also proposed.

Key words: historical anthroponymy; patronymics; nicknames; Karelian language; 17th century; Zaonezhye

Acknowledgements

The study is a part of the state assignment carried out by the Karelian Research Centre of the RAS, topic 121070700122-5 “Fundamental and Applied Aspects of the Study of the Finnic Languages of Karelia and Adjacent Regions”.

For citation: Mullonen, I. I. (2023). Karel'skoe antroponimnoe nasledie v russkom Zaonezh'e [Karelian Anthroponymic Heritage in Russian Zaonezhye]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 264–282. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.073>

Submitted: 31.08.2023

Accepted: 24.10.2023

Введение

Заонежье, или Заонежский полуостров, на северном побережье Онежского озера уникально в смысле историко-культурного наследия. Именно здесь была открыта в XIX в. русская былинная традиция. В Заонежье расположены уникальные памятники деревянного зодчества. Хорошо известно и археологическое наследие этой компактной территории. Считается, что русское население начало формироваться здесь еще в новгородское время, а прибалтийско-финское (вепсское и карельское) постепенно сошло на нет, оставив память о себе в языке и культуре этого региона. Подробный анализ участия вепско-карельского наследия в языке Заонежья, с обобщением результатов более ранних исследований, проведен С. А. Мызниковым [2003]. Анализ прибалтийско-финских пластов в заонежской топонимии, также включающий наработки предшественников, предложен в [Муллонен]. На фоне диалектной лексики и особенно топонимии, надежно свидетельствующих о прибалтийско-финском прошлом Заонежья, следы вепсского и карельского именника чрезвычайно редки в известных материалах писцового дела XVI–XVII вв. — наиболее доступных и часто привлекаемых для антропонимических исследований источниках. И это понятно: во-первых, карелы и вепсы, будучи православными, носили русские имена, которые, правда, нередко видоизменялись в соответствии с закономерностями фонетики или именованности прибалтийско-финских языков. Во-вторых, принятая в официальных документах двухчастная формула именования (личное имя и отчество) не включала патроним, который как раз нередко был нерусским. Об этом свидетельствуют те редкие случаи, когда он все же упоминается в документе. Собственно, именно родовые патронимы и составляют основной материал статьи.

Исследование выполнено на базе источников середины XVI — середины XVII в. Это писцовые книги XVI в. [ПКОП 1563], а также делопроизводственные источники заонежского волостного самоуправления и государственная документация Олонецкого уезда, составленная на местах с опорой на информацию местных жителей (XVII в.). Они включают материалы Олонецкой воеводской избы [ОВИ] и переписные книги солдат олонечских полков [ПКС]. В силу самой специфики этого материала в нем более часты родовые патронимы и прозвищные именования, бытовавшие в народной среде.

При этом в прибалтийско-финском ономастиконе Заонежья не удастся выявить маркирующих вепсских признаков, в то время как некоторые карельские

метки просматриваются отчетливо (см. далее). Поэтому в статье мы оперируем термином «карельский» как наиболее адекватно характеризующим языковой и этнический состав прибалтийско-финского населения края XVI–XVII вв.

Традиция исследования исторической антропонимии Карелии заложена замечательной работой А. И. Попова, в которой обращено внимание на некоторые прибалтийско-финские по своим истокам антропонимы и посессивные топонимы, представленные в писцовых книгах XV–XVI вв. [Попов]. Наиболее существенные результаты в работе с исторической антропонимией письменных источников по территории Карелии представлены в работах И. А. Кюршуновой [Кюршунова, 2010; 2019; и др.]. В центре ее внимания — русская некалендарная антропонимия. Некоторые важные элементы древнекарельского именника реконструированы по материалам письменных источников территории Корельского уезда в Северном Приладожье и так называемых Лопских погостов в центральной и северной Карелии Д. В. Кузьминым [Кузьмин, 2020; Kuzmin]. Наиболее близка по целям исследования реконструкция прибалтийско-финского именника по материалам писцовых книг XV–XVII вв. по Юго-Восточному Обонежью, предпринятая А. И. Соболевым [2017]. В нашей статье с благодарностью использованы наработки коллег, особенно в вопросе семантической классификации именника. При этом наши результаты развивают, а где-то и опровергают их выводы. Кроме того, в статье подробнее, чем предшественниками, рассматриваются стратегии адаптации прибалтийско-финской антропонимии русскими источниками, что позволяет в результате выйти на некоторые наблюдения, перспективные для исторической фонетики карельского языка. Обращается внимание также на некоторые структурные маркеры, указывающие на прибалтийско-финский источник антропонима.

Сопоставительный современный карельский и в некоторых случаях вепсский антропонимический материал сосредоточен в Научной картотеке топонимов Карелии (далее КТК) в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Привлечены также некоторые материалы по финской некалендарной антропонимии.

Адаптационные модели карельских антропонимов

Репрезентация заонежан традиционно представлена формулой календарное личное имя (как правило, в деминутивной форме) и отчество, также выраженное календарным именем. Двучленные именованья составляют основной костяк именованья. Трехчленные имена редки, но именно в них прежде всего выявляются антропонимы с прибалтийско-финскими истоками, потенциально свидетельствующие о карельском или вепсском происхождении рода. Такие трехчленные структуры делятся на два вида именованья, граница между которыми, видимо, достаточно условна. Первые оформлены как собственно прозвищные именованья, без посессивных формантов *-ев/-ов* или *-ин*. С точки зрения генезиса за ними могут стоять как прибалтийско-финские прозвищные

именования, так и патронимы. Ивашка Иванов *Гайдук* (Киж. пог.) [ПКС 1657] не имеет, конечно, никакого отношения к гайдукам — повстанцам-партизанам на Балканах и в Венгрии в эпоху турецкого владычества (термин XIX в.), в нем воспроизводится карел. *haitukka* ‘бездельник, лодырь’¹. Этимология под-держивается фамилией *Гайдуков* — ливв. *Haidukka, Haidukku* (Видлица Олон.) [КТК]². Прозвище *Мурза* в Дмитрийко Павлов сын *Мурза* (Шунг. пог.) [ОВИ 1662/1663] может в принципе восходить к историческому титулу феодальной знати в татарских государствах в XV в., особенно с учетом того, что в 1616 г. в Шунгском погосте упомянут «бобыль Мурза Онисимов» [ПК 1616] и в целом есть некоторое количество антропонимов тюркского происхождения. Однако, с другой стороны, карельская фамилия *Mursu* отмечается в документах православного прихода Салми в 1900 г.: Ларион Тихонов Мурсу [Patronen, s. 505]. Известный финский исследователь топонимии Карелии В. Ниссиля считает возможным связывать ее истоки с финским именованием морского животного *mursu* ‘морж’ [Nissilä, s. 133], что, однако, вряд ли уместно фактологически: обитающих в Ладоге ластоногих именуют карельским термином *n’orra* ‘нерпа’. Типологически антропоним может входить в ряд многочисленных именовании-прозвищ, характеризующих особенности личности, и восходить к карельской глагольной основе *muršistoa* ‘смотреть насупившись, озлобленно’, ср. *mursa* ‘угрюмый, имеющий угрожающий вид’ в финских говорах [SMS]. В целом таких прозвищных именовании в привлеченных материалах XVI–XVII вв. более десятка и они являют собой «строительный материал» для фамильных образований. В силу этого семантически они практически идентичны последним.

В свою очередь, суффиксальные образования используют посессивные суффиксы *-ев/-ов* или *-ин* с преобладанием первых. Это еще не фамилии в современном понимании термина. Скорее, следует говорить о патронимах, родовых именовании, сохраняющих межпоколенческую преемственность и попадающих периодически в официальные документы. При этом в них соблюдается принцип, который свойственен собственно русским образованиям, где *-ин* присоединяется к гласной основе на *-а/-я* (*Фома — Фомин*) или к основе, выраженной существительным женского рода, заканчивающейся на мягкий согласный (*Рысь — Рысин*), а *-ов/-ев* — к согласной или оканчивающейся на *j*, а также к гласной на *-о, -е* (*Петр — Петров, Гурий — Гуриев, Гурьев, Масло — Маслов*) [Унбегаун, с. 24–26]. Это правило оказывается в ряде случаев полезным для реконструкции облика исходного карельского антропонима. Так, видимо, формант *-ин* может рассматриваться как свидетельство конечного гласного *-а* (а не развившихся из него в людиковских карельских говорах *о, е* или его

¹ Здесь и далее значение карельских слов приводится по: [KKS]. Специальной отсылки на данный источник в каждом отдельном случае не делается.

² Здесь и далее данные по современной топонимии и антропонимии (фамилиям) Карелии приводятся со ссылкой на КТК — картотеку топонимов Карелии (хранится в ИЯЛИ КарНЦ РАН).

исчезновения), который является знаком собственно карельского звучания на фоне людиковского. Именование Кипр Иванов *Кярзин* из Фоймогубы [ПКОП 1563, с. 147] предполагает в основе карел. *kärzä* ‘рыло; некрасивое лицо’ (при люд. *kärz* или *kärze*); родовой патроним Гридки Олексева *Нахкина* [ПКОП 1563, с. 149] из Кефтеньгубы явно отсылает к карел. *nahka* ‘кожа’ (при люд. *nahke*, *nahk*). Мотив именованья не вполне ясен.

Еще одна карельская фонетическая особенность стоит за оформлением суффиксами *-ов* и *-ев*, которые отсылают к двум разным стадиям в фонетическом развитии карельского деминутивного суффикса *-oi* > *-o*, нередко оформляющего антропоним, т. е. утрата дифтонгом второго компонента. Более ранний *-oi*, с конечным *j*, закономерно вызывал в русском бытовании вариант суффикса *-ев*, который по правилу образовывал фамилии от имен, оканчивающихся на мягкий согласный и *j*, входящий в состав последующего *e* и таким образом не выраженный на письме: Ондрейко *Таруев* — основатель дер. *Тароева* в Толвуде [ПКОП 1563, с. 140]: *Taroi* ← рус. *Дорофей*; Гридка *Вацув* (Шунг. пог. 1496): *Vačoi* ← рус. *Василий* и др. Однако преобразование *-oi* > *-o*, прошедшее в собственно карельском наречии, приводило закономерно к тому, что в русском бытовании к основе, завершающейся гласным *-o*, присоединялся вариант суффикса *-ов*. Эту закономерность хорошо отражают отантропонимные названия относительно поздних по меркам Заонежья поселений. Примером могут служить отыменные ойконимы *Артово* и *Микково* — именованья двух поздних по времени появления починков в составе Космозера, в которых сохранились имена их основателей: карел. *Arto* (< *Artoi*) ← рус. *Артем*, карел. *Mikko* (< **Mikkoi*) ← рус. *Михаил*. Дер. Артово под названием починка *Артовы Нивы* появляется впервые в ревизии 1720 г. Дер. Миккова еще моложе. Первые упоминания о ней в ревизских сказках относятся к середине XIX в.

В этом же русле смены форманта интересна одна деталь: на рубеже XVII–XVIII вв. происходит знаковое преобразование в облике ойконимов. Деревня на Падмозере, именованная в XV–XVII вв. *Мустоевская*, *Мустуева*, превращается к началу XVIII в. в дер. *Мустовская* и затем *Мустова* [Витов, Власова, с. 32], т. е. место форманта *-oi* занимает суффикс *-o*. В основе широко известный традиционный прибалтийско-финский антропоним **Mustoi* > карел. **Musto*, из *musta* ‘черный’. Приблизительно в это же время деревни *Батоево* и *Онтуево* в Паяницах становятся *Батовой* и *Онтовой* [Витов, с. 266], а *Себуево* или *Сибоево* на Великой Губе *Сибовской* или *Сибовой* [Витов, Власова, с. 80]. В последнем названии воплотился редкий карельский народный вариант имени *Семен Sebi* < **Seboi* [Кузьмин, 2016, с. 80]. Эта метаморфоза просматривается преимущественно в северной части Заонежья. Что за ней стоит? Вообще утрата второго компонента сужающимися дифтонгами на *-i* считается относительно ранней общей прибалтийско-финской инновацией [Leskinen, s. 380–381], хотя некоторые языки, в частности вепские говоры и под их влиянием южные карельские наречия (ливвиковское и людиковское), сохранили архаичный дифтонг. В этом контексте варианты ойконимов с формантом *-o* на месте более ранних

вариантов на *-oi* могут быть следами внедрения в регион Заонежья, особенно северного, собственно карельских новопоселенцев, адаптировавших более ранние топонимы вепсского типа. Вывод может показаться слишком смелым, однако он вполне согласуется с общей этноисторической ситуацией в Заонежье XVII в. — с притоком переселенцев из бывшего Карельского уезда.

Еще одну особенность в фонетическом облике карельских антропонимов XVII–XVIII вв. отражают фамилии, этимоны которых завершаются на *-a*, но тем не менее оформляются посессивным суффиксом на *-ov/-ev*, а не *-in*, как должно было бы быть по правилу. Их объединяет одна особенность — геминированный согласный в основе: *Принков* ← *prinkka* ‘тощий’, *Рипсаков* ← *ripsakka* ‘шустрый’, *Кочаков* ← *kočakka* ‘раздражительный, капризный, шептун’. Видимо, сильная позиция геминированного согласного вела к своего рода редукции конечного гласного, в итоге основа воспринималась как согласная. Косвенным образом об этом свидетельствуют прозвищные именованья XVII в., в основе которых лексемы с геминатой. Они не воспроизводят на письме конечную гласную исходной геминированной лексемы. Именно эту фонетическую закономерность отражает Ивашка Иванов *Гайдук* (см. выше). В одном ряду с ним Ивашко Данилов *Курик* (Киж. пог.) [ПКС 1657]: карел. *kurikka* ‘дубина, колотушка для колки дров’. Ряд дополняет название хутора *Ганжак* (Косозеро Великог.), восходящее к прозвищу: в восточных финских говорах *hantsukka* ‘безалаберный, суетливый, бездельник’ [SMS]. Собственно, здесь демонстрируется общий тренд с людиковскими говорами карельского языка, в которых в соответствующих случаях тоже наблюдается ослабление звучания: *kurikke* и даже *kurikk* ‘деревянный колун для колки дров’ [LMS, s. 173], *hańdžak* с первичной семантикой ‘дерево с раздвоенным стволом’ [LMS, s. 61], из которой выросла метафора, характеризующая человека безалаберного, ленивого, бестолкового [Муллонен с. 147]. Однако при этом, судя по материалам, антропонимы, восходящие к карельским трехсложным лексемам без геминат, не утратили еще в XVII в. конечных гласных: в Шунгском погосте бобыль Оска *Габанда* [ПКС 1657], в восточнофинских говорах *hapanto* ‘о чем-то прокисшем, гниющем’, перен. ‘о человеке’ [SMS], «на Артемья Данилова сына *Конойбру*» (Шунг. пог.) [ОВИ 1650], — очевидно, в именительном падеже **Конойбра* (?), Сенка Макарьев *Коппала* (Шунг. пог.) при современном люд. *koppal* ‘самка глухаря’ [LMS, s. 151]; метафорически ‘старый дряхлый человек’. Этого материала, конечно, недостаточно для установления хронологии редукции финальных гласных в людиковском языковом ареале, но все же он дает некоторый посыл для такого исследования. В ситуации, когда исторические карельские материалы минимальны, ономастические данные оказываются редким свидетельством, пусть и затушеванным русским посредством, карельских языковых особенностей трехвековой давности. Это особенно актуально для людиковского наречия, формирование которого происходило как раз на протяжении этих веков, причем на смежной с Заонежьем территории и даже, очевидно, захватывало западное Заонежье.

Карельские антропонимные маркеры

Карельский именник Заонежья «узнается», прежде всего, по прибалтийско-финским этимонам, лежащим в его основе. Кроме того, есть и некоторые характерные «метки» — финали, восходящие к прибалтийско-финским суффиксам и показателям. Наиболее часты и понятны случаи, когда посессивный суффикс *-ев* присоединяется к основе с финальным гласным *-у* или *-о*, реже *-е* или *-и*, типа *Симшоев*, *Прокуев*, *Хидоев*, *Бардуев* и др. В них высвечивается наследие прибалтийско-финского форманта *-oi* (и его фонетических вариантов *-ui*, *-ei*, *-ii*) > *-o* [Nakulinen, s. 144–145] с исходной демиинутивной семантикой, т. е. карельские календарные *Simšoi* (Семен), *Prokoi* (Прокопий), некалендарные *Hiidoi* (*hiizi*, гласная основа *hiide-* ‘черт, леший’), *Bardoi* (*bard* ‘борода’) и др. Впрочем, в антропонимах она со временем затушеввалась, и формант стал восприниматься как типичный знак имени, оформлявший как календарные, так и некалендарные именованья.

Первушка Тимофиев *Tюхдиев* [ОВИ 1664] из Типиницкой волости: карельский оригинал имел, очевидно, вид **Tyhdii*, в котором демиинутивный формант *-oi* преобразовался в *-ii*, присоединившись к палатализованной лексеме *tyhd'e*, *tyhd'*. Последняя отличается богатым семантическим спектром: из примарной семантики ‘пустой, порожний’ развился целый ряд вторичных значений, из которых применительно к антропонимическому бытованию наиболее уместны характеризующие человека ‘бедный (неимущий); немощный’.

Лучка Обросимов *Скобоева* в Кижской волости [ОВИ 1660]: кажется логичным возводить патроним к карел. *skobi* ‘шустрый, быстрый’ (например, применительно к хорошему работнику), соответственно оформленному «антропонимным» формантом *-oi* (*Skoboi*). Сама лексема имеет в карельских говорах весьма ограниченное бытование, а поиск ее этимологических истоков выводит на дескриптивный глагол *kopata* ‘о быстром движении, передвижении’. Характерная особенность дескриптивной карельской лексики — наращение *s* перед основой с инициальным *k*. Для примера: *keäpä ~ škeäpä* ‘нарост, кап на дереве’, *kammittša ~ skammittša* ‘связанные вместе два веника для бани’, *kutšistu* ‘скукожиться, сжаться’ ~ *skutie* ‘уменьшиться’, *keäkä ~ škeäkä* ‘крючок для закрывания двери’ и др. Видимо, таковы истоки *s* и в патрониме *Скобоев*. Считается, что появление инициального *s* в подобных случаях спровоцировано русским влиянием [Tunkelo, s. 273].

Третий пример в этом ряду — это посессивный топоним, в «Типиницах же слово Грехновская *Мужуева*» [ПКОП 1563, с. 125]. В отличие от названий других входивших в куст поселений Типиницы деревень, этому повезло больше, поскольку все остальные одночленны (ср.: «в Типиницах слово Окуловская... Ермолинская... Еремеевская... Прохновская»). Здесь же запись сохранила патроним, который в следующих документах неоднократно видоизменялся, переосмыслившись в начале XVII в. в «мужа» («дер. в Типиницах у часовни Тумова мужа») [Витов, Власова, 1974, с. 82]. В основе позволительно восстанавливать

карел. *Mužoi* или более поздний вариант *Mužo*, восходящий, в свою очередь, к карел. *mužava*, *muževa*, *mužie* ‘темный, черноватый’, например, о лошади темной масти или о человеке с темной кожей, глазами, цветом волос и бороды. Последние являются производными от основы **musa* ‘черный’ [SSA, o. 2, s. 183], которая сейчас оказалась практически вытесненной в прибалтийско-финском мире историческим производным *musta* ‘черный’. Заонежский антропоним, таким образом, подтверждает бытование исторической лексемы (**musa* + *-oi*). Аналог — фамилия *Музиевы* — известна у карелов-людиков.

Свой ряд образуют заонежские родовые именованья, помеченные своеобразным антропонимным маркером *-kka*, восходящим соответственно к апеллятивному суффиксу *-kka*. Он образует производные от именных и глагольных основ и отличается многофункциональностью, которая, как предполагается, восходит к примарной деминутивной семантике [Накулинен, s. 108–109]. Видимо, именно деминутивность он выражал первоначально и в антропонимах, а также их этимонах. Он нередок в календарном карельском именнике: *Vašukka* — Василий, *Simakka* — Семен, *Juvakka* — Иоанн, Иван, *On'n'ukka* — Андрей, *Vatakka* — Фадей и др. Возникает соблазн предполагать здесь влияние русских гипокоризмов типа *Васюк*, *Петрук*. Однако нельзя не учитывать, что они хорошо встраиваются в ряд прибалтийско-финских некалендарных имен с финальным *-kka*. О последних писал в свое время основоположник прибалтийско-финской антропонимики Форсман [Forsman, 1894, s. 181–185]. Их присутствие надежно прослеживается в современных карельских патронимах: *Mal'äkka* — *Малляков*, *Kalikka* — *Каликин*, *Lillikka* — *Лиликов*, *Šurikka* — *Чупуков*, *Hat'ukka* — *Гатиков*, *Retukka* — *Ретуков*, *Torikka* — *Торицин*, а также не имеющие официальных русских соответствий *Tyrykkä*, *Puhakka*, *Kašmakka*, *Lopšakka*, *Karmakka* и многие десятки других.

Основная сложность состоит в разграничении собственно антропонимических образований, не имеющих подтвержденных апеллятивных соответствий, и производных апеллятивов с формантом *-kka* (и его производным *-kko*), перешедших в ранг прозвищ. Для примера: Ефимко Федотов *Кочаков* (Шунг. пог.) [ПКОП 1563, с. 150] принадлежал, видимо, карельскому роду **Kočakka* / *Кочакка*: карел. *kočakka* ‘раздражительный, капризный, шепуточный’ как суффиксальное производное глагола *kočahtoa* ‘вскочить, сделать резкое движение’, прошедшее определенный путь семантической деривации. Сам глагол производит впечатление русского заимствования (*вскочить*), недаром он бытует только в виде производного, оформленного моментативным суффиксом *-aht-*. По этой же причине глагол отсутствует в родственных языках. В современном ономастиконе Карелии фамилия не имеет заметного бытования, хотя известна в окрестностях г. Олонца в ливвиковском языковом ареале. Если этот пример демонстрирует переход суффиксального апеллятива в антропоним, то для следующего примера такого полного апеллятивного оригинала не обнаруживается: в дер. *Мечаковской* в Пахиничах (Киж. пог.) во второй половине XV в. было два дома, в которых проживали Васюк Иванов *Мечаков*, Иванко да Васюк Гавриловы дети *Мечаковы* [ПКОП 1563, с. 129]. Соответствующий исходный

апеллятив (**mečakka* или **mečakko*) неизвестен. Однако его производящая основа *mečča* широко бытует во всем карельском языковом ареале, причем не только в примарном значении ‘лес’, но и во вторичных мифологических значениях ‘леший, лесной дух, черт’, а также в эвфемизме ‘медведь’. Исходя из антропонимической типологии, наиболее резонным следует признать, видимо, семантический дериват ‘черт’ или ‘медведь’: они хорошо встраиваются в ряд подобных по значению антропонимных этимонов. Еще один возможный источник для патронима *Мечаков* — это карел. *meččo(i)* ‘глухарь’ — продуктивный карельский антропоним. Однако в любом случае, ни карельские говоры, ни родственные языки не сформировали от перечисленных основ производных с суффиксом *-kka*, так что **Mečakka*, **Mečakko* может являть собой пример сугубо антропонимного образования, в котором *-kka* присоединился не на апеллятивном уровне, а играет роль антропонимного показателя. Полной ясности здесь, впрочем, нет. Граница очень зыбка, ведь нет гарантий, что соответствующий суффиксальный этимон не утрачен языковой практикой, он мог просто не попасть в словари и картотеки.

Сходный случай, видимо, представляет и следующий пример: Якимко Яковлев *Лонаков* [ПКОП 1563, с. 153] в Фоймогубе (Шунг. пог.). Исходный этимон *lopakko* ‘болтун’ известен финским говорам, там же бытуют образные именованья *lopakkosuu* (*-sui* ‘рот’) ‘разговорчивый’, *lopakieli* (*-kieli* ‘язык’) ‘сплетник’, а также выражение *laskea lopakkaa* ‘говорить глупости’ [SMS]. По данным SSA, является отглагольным производным, глагольная основа с дескриптивными корнями известна всем прибалтийско-финским языкам: фин. *lopissa* ‘болтать, говорить глупости или непристойности’, вепс. *lobāt’a* ‘болтать’, вод. *lopissa* ‘говорить непристойности’, эст. *lobada* ‘болтать’, *loba* ‘болтовня’ [SSA, o. 2, s. 92].

Этимологические поиски обнаруживают глагольную основу и в карельском, где она, видимо, сохранила первоначальную дескриптивную семантику, послужившую основой для глагола говорения: карел. *lovissa* (: *lopisou*) ‘шелестеть, шуршать, колыхаться с легким шумом, трепыхаться’, однако не известна как глагол говорения. Имеющихся исходных данных явно недостаточно для однозначного вывода о генезисе форманта *-kka* в этом антропониме: является ли он патронимным формантом или все-таки закрепился еще на апеллятивном уровне. Однако как маркер, как знак карельского патронима он вполне зрим.

В этом же ряду Сенка Иванов *Ряпиков* [ОВИ 1664], Тимошка *Сорзаков* [ОВИ 1660] и нек. др. Многочисленность производных такого типа позволяет полагать, что по крайней мере некоторые из входящих в него именованья являются собственно онимическими, появившимися по аналогии с апеллятивами-прзвищами, оформленными деминутивным суффиксом *-kka*.

Наконец, третью группу образуют патронимы с конечным элементом *-ч-*, за которым стоит суффикс *-čča* ~ *-čči*, не имеющий общих прибалтийско-финских истоков. Он бытует в карельских и вепсских говорах и его функциональное поле не вполне исследовано. По-видимому, он вобрал частично функции деминутивного форманта *-kka*, используется также для выражения подобия

того, что названо производящей основой — как именной, так и глагольной. Совершенно очевидно, что он испытал на себе влияние русского суффикса *-ач*, образующего именование деятелей от мотивирующих глаголов (*ткач*), а также лиц по признакам, названным мотивирующим существительным (*силач*) и прилагательным (*лохмач*) с праславянскими корнями [Варбот, с. 84]. Отмечена его продуктивность в людиковском именовании [Кузьмин, 2016, с. 71], т. е. в смежном с Заонежьем ареале.

В документах XVII в. неоднократно всплывает имя кузарандского дьяка Артемия *Каргачева* [ОВИ 1658, 1659] с родом которого, очевидно, связана дер. *Каргачево* в Кузаранде. В [ПКОП 1563, с. 167] отмечен Гаврилко Федоров *Каргач* в Челмужском погосте. Для антропонима предложена этимология, исходящая из заон. *карга, корга* ‘старуха’, вводящая его в круг славянских лексем [Кюршунова, 2010, с. 205]. Однако с учетом свойственного Заонежью прибалтийско-финского контекста вполне оправдано введение его в один ряд с древней фамилией *Karhatsu / Karhačču*, бытовавшей в карельском Приладожье [Nissilä, s. 284], в которой воплотилось соответствующее прозвище, ср. в восточных финских говорах, основанных на древнекарельском языке, *karhatsu, karhakka* ‘злой, сердитый, вспыльчивый человек’, *karhake* ‘о человеке с трудным характером, неуправляемом’ [SMS], *karhi* ‘упрямый’ [KMS, о. 2, s. 504] — все метафорические производные от приоб.-фин. *karhe-* с семантикой ‘шершавый, грубый на ощупь’. Интерпретация поддерживается целым рядом антропонимов и посессивных ойконимов, среди которых род *Karhized*, дом *Karhol'a* (Реболы Муез.), родовой патроним *Karhačču* (Салми Питкяр.), хутор *Karhii* или *Karhia* (Кинелахта Олон.), дер. *Karhil* (рус. *Каргиничи*) у присвирских вепсов. Важно, что в их числе *Karhačču* — полная тезка заонежского патронима в карельском Приладожье.

Другой показательный пример — Микитка *Тукач* из Шунгского погоста [ПКОП 1563, с. 149], кроме того, известна деревня *Тукачевская* на Яндомозере в Кижском погосте [ПКОП 1563, с. 125]. Похоже, что в прозвище сохранилось не зафиксированное прибалтийско-финскими источниками производное **tukač(ču)* от карел., ливв. *tukku* ‘куча, груда’, люд. *tukk*, вепс. *tuk* ‘комоч, кусок’. При этом известно, что, к примеру, вепсская лексема используется в составе целого ряда сложных образований, которые помимо прямой семантики выступают метафорическими обозначениями человека: *pöhu/tuk* ‘связка мятой соломы’ → ‘толстый неуклюжий человек’ [СВЯ, с. 455], *savi/tuk* ‘комоч глины’ → ‘увалень, неуклюжий человек’ [СВЯ, с. 501], *redu/tuk* ‘грязнуля’ (букв. ‘комоч грязи’) [СВЯ, с. 467], *turbas/tuk* ‘толстяк’ (букв. ‘ком дерна’) [СВЯ, с. 584] и даже *len'/tuk* ‘лентяй’ (букв. ‘ком лени’) [СВЯ, с. 284]. Иначе говоря, оно склонно к семантической деривации, при этом с образованием производных с отрицательной семантикой. Очевидно, таковым было и его несохранившееся производное **tukač(ču)*, на существование которого помимо заонежского свидетельства XVI в. указывает собственно-карельская фамилия *Tukačču* — *Тукачев* (Сельги Медв.), а также территориально более близкое *Тукачев* (Кодостров Конд.).

Кроме того, его реальное бытование подтверждается и русскими говорами Обонежья, в которых широко засвидетельствована диалектная лексема *тукач* ‘вязанка, охалка (сена, соломы, веников)’, для которого известна семантическая деривация *тюкач* ‘о полном, толстом человеке’ [РДЭС, с. 804; см. также: Кюршунова, 2010, с. 546–547].

Замечательный пример заонежского антропонима XVII в. — именование крестьянина Кижского погоста Великогубского конца Ивашка Федоров Меншей *Перпачев* [ОВИ 1659], в котором сочетаются элементы календарного и некалендарного, а также русского и прибалтийско-финского именослова. Последний представлен в родовом патрониме *Перпачев*, в котором скрыта память о карельском роде в Заонежье. В основе патронима карел. *pärpäččy* ‘болтун, пустомеля, трепло’ — как производное, образованное с помощью суффикса *-ččy* от глагола *pärpätteä* ‘болтать, трепать языком’.

Среди заонежских антропонимных примеров с «меткой» *-čči* как прозвища типа Иванко Микифоров *Телкач* или Михейко *Пыхач*, так и патронимы, оформленные посессивным суффиксом *-ов*: Клишко Степанов *Гемячов*, Степанко Юрьев *Рохкачов*, Огафанко Матфеев *Ергачов*, Фофанко *Поскочев* (должно быть *Паскачев*) и др. Как и в случае с моделью *-kka*, провести четкую границу между собственно онимическими структурами и апеллятивами, перешедшими в разряд онимов, оформленных суффиксом *-čči*, не удастся. Для подавляющего большинства обнаруживается апеллятивный суффиксальный этимон, так что закономерно предполагать его и в том случае, когда современные языки и говоры его утратили. Но в любом случае представленные здесь три группы некалендарных ойконимов выделяются специфическими маркерами — как на уровне собственно антропонимов, так и на основе их апеллятивных этимонов.

Семантическая характеристика антропонимных основ

Реконструкция карельских антропонимов XVII в. предполагает учет нескольких опорных моментов: семантическая характеристика, наличие соответствующей антропонимной основы в прибалтийско-финском именослове, языковые параметры. Репертуар карельских антропонимов XVI–XVII вв., реконструирующихся на базе делопроизводственных источников, при всей фрагментарности материала вполне укладывается в общий прибалтийско-финский номинативный контекст и отражает универсальные для антропонимии процессы. Составляющие его номинации формируются на основе негативных мотивов именования: изъяны во внешнем облике, а также в плане социальных характеристик личности. В этом заонежские номинации не уникальны. Такие стереотипные негативные характеристики личности являются ономастическими универсалиями и составляют костяк некалендарного именослова разных языков и народов. В основе лежит принцип «антинормы»: не укладывающиеся в норму характеристики обращают на себя внимание и становятся основанием для номинации. Такие именованья рождаются, как правило, не в семье, а в более широком сообществе.

В качестве мотивировочного признака выступают физические особенности человека:

Данилка Сидоров *Шембин* (Киж. пог.) [ОВИ 1661]: фин. *sompa, somma*, карел. *šompa, šomba* ‘кольцо лыжной палки’, ливв. *šombu* ‘кольцо, к которому прикреплялось грузило’. В финских говорах зафиксировано его метафорическое использование: *somma* ‘ребенок, ребяшня’ [SSA, о. 3, s. 198], судя по которому в семантическом поле актуализированы компоненты ‘круглый и маленький’ с возможной семантикой ‘человек плотного телосложения и небольшого роста’. Фамилия *Šombu* / *Шомбин* известна у карелов-ливвиков в Сямозерье, там же дер. *Шомба* [КТК].

Июдка *Принков* (Киж. пог.) [ОВИ 1651]: карел. *prinkka* ‘о человеке: тощий и высокий’. Фамилия *Принков* бытовала в XX в. по крайней мере в Янишполе (Конд.) [КТК].

Федка Ермолин *Пелтин* (Киж. пог.) [ОВИ 1659]: ср. карел. *pöltynä* ‘толстяк, объевшийся, обжора’ как образование с суффиксом *-nä/-na*, свойственным именованиям человека, от глагола *pöltšisteä* ‘пухнуть, толстеть’.

В Ондрюшка *Лекшин* (д. Кургеницы Киж. пог.) [ОВИ 1660] интерпретация внутренней формы именования неоднозначна: карел. *lökšy* ‘толстяк’ при *lökšea* ‘брести медленно, лениво’, *lökšätä* ‘делать неспешно, расслабленно’. При этом в восточных финских говорах известно производное *löksänä* ‘неумеха, бестолковый, неряха’ [SMS]. Толстый — ленивый — бестолковый — такой повторяющийся набор сем носит универсальный характер, свойственный, очевидно, многим языкам [Леонтьева, с. 50, 253]. Фамилия *Löksy* (Petter Wasiljeff *Loykschy*) известна по документам конца XIX в. в Салминском приходе [Patronen, s. 414].

Агафонка Васильев *Рекиин* (Киж. пог.) [ОВИ 1662]: *rökšä* ‘о человеке: большой, громоздкий, медлительный’. В словаре финских фамилий фамилия *Röksä*, которая фиксировалась в документах по территории Карельского перешейка и финской провинции Северная Карелия в XVII–XVIII вв., ошибочно возводится к ландшафтному термину *röksä* ‘низина между горами; бурелом; грязное труднопроходимое место’ [Sukunimet, s. 523]. Такая интерпретация не укладывается в общую типологию карельских родовых именований, для которых чужда номинация по географическим реалиям.

Гришка Алимбиев *Чубарин* (Киж. пог.) [ПКС 1657]: *čubero* ‘маленький, крошечный’. Фамилия *Čubari* (Федор Никифоров Чубари) бытовала в начале XX в. в Салминском приходе в карельском Приладожье [Patronen, s. 490]. Для антропонима *Чубар* предлагается также русская этимология: др.-рус. *чубар*, диал. *чубарый* ‘пестрый, пятнистый (о масти лошади)’ с тюркскими корнями [Кюршунова, 2010, с. 591], однако с учетом бытования его в карельской среде и карельского контекста Заонежья XVII в., предложенная прибалтийско-финская интерпретация представляется вполне реальной.

Списки содержат несколько антропонимов, этимоны которых имеют семантику ‘ленивый’. Кроме отмеченной выше номинации *Гайдук* в список входит Иван Васильев сын *Мелтяков* (Шунг. пог.) [ОВИ 1650], в основе допустимо

реконструировать **meltäkk(ä)* — производное от глагола *meltovuuo* ‘разлентиться, расслабиться’, Фочка Иванов *Куталов* (Киж. пог.) [ПКС 1657]: карел. *kutaleh* ‘бездельник, слоняющийся без дела, лентяй’. Видимо, в этом же ряду Ивашка Остафьев *Шлямин* (Киж. пог.) [ОВИ 1659, 1660], ср. карел. *šläimyu* ‘вялый, расслабленный, лентяй, бездельник’. Фамилия *Шлямин* и дер. *Шлямино* известны в Андоме (устные данные А. И. Соболева).

В следующий смысловый блок входят именованья, объединяемые семантикой ‘глупый’:

Степашка *Пеллеев* [ОВИ 1652/1653]: карел. *pöllö* ‘бестолковый; не умеющий себя вести’. В одном ряду род *Pölläkäizet* — рус. *Пелякин*, зафиксированный в документах XVI в. по Кемской волости (данные Д. В. Кузьмина), Кирилка Микитин сын *Пеллюй* в Лубосалме и, возможно, Игнатко Федоров сын *Пелвиев* в Селецком погосте [ДКЛП 1597, с. 191].

Ивашка Иванов сын *Гайгурев* (Киж. пог.) [ОВИ 1664]. В говорах Беломорской Карелии слово *haikara* значит ‘ум, разум, понимание’, однако используется только при выражении недостатка или отсутствия ума: *vähä on peäššä haikaroa* ‘мало в голове ума’, *läksi haikaraltah* букв. ‘вышел из ума’. В восточных финских говорах им именуют рассеянного, забывчивого, глупого, что в общем контексте прозвищных именованний дает основание полагать негативную семантику и у карельского антропонима.

Список номинаций глупых продолжает Ивашко Данилов *Курик* (Киж. пог.) [ПКС 1657]: карел. *kurikka* ‘дубина, колотушка для колки дров’ имеет также метафорическую семантику ‘башка; большая и пустая голова’, которая была активно востребована в прибалтийско-финской антропонимии как прозвище недалекого человека. По данным КТК, фамилия *Куриков* широко известна карельскому именованью и зафиксирована у людиков (Лычный Остров Конд.), ливвиков (Крошноезеро Пряж.), в виде «уличной» *Kurikka* бытует в собственно карельской среде (Реболы Муез., Семчозеро Медв.) и др. Антропоним использовался также в традиционном вепском антропонимиконе, оставив свои следы в ойконимах — названиях поселений на современной и исторической вепской территории (*Курикиничи*, *Курикина Гора*, *Курикова* и др.).

Аналогичную семантическую деривацию допустимо реконструировать и в Ивашко *Чивур* (Киж. пог.) [ОВИ 1664]: карел. *čiuroi* ‘головастик’ приобретает вторичное значение ‘большая, но пустая голова’ → ‘пустоголовый’.

Сема ‘глупый’ воплотилась в Самсонко Федотов *Тув* (Киж. пог.) [ПКС 1657]: *tuiju* или *tuiju* ‘чудака’ [КТК], ср. его использование в коллективных прозвищах: *Tuuksen tujut* ‘туксинские глупцы’ применительно к жителям д. Туксы Олонецкого района или *Tollon tujut* — о жителях дер. Толлорека в окрестностях Вокнаволока.

Отрицательная внутренняя форма свойственна и другим лексемам с прибалтийско-финскими корнями, закрепившимся в роли патронимов в Заонежье. Среди них Григорий Кондратов *Рипсаков* (Шунг. пог.) [ОВИ 1651]: *ripsakka* ‘лихой, неумный’; Сенка Иванов *Ряпиков* (Типиницы Киж. пог.) [ОВИ 1664]: в основе реконструируется закономерное отглагольное производное **räpäkkä*

(при зафиксированных в KKS *räpätti*, *räpäčču*) ‘болтун’ от глагола *räpetteä* ‘говорить много и быстро’. Однокоренная фамилия *Ряпниев* (ливв. *Räppi*) бытует в современной антропонимии Олонецкого района (с. Большая Сельга). В Мосейко *Чаков* и Гришка *Пуйлин* [ПКС 1657] патронимы номинируют скандалистов, склочных людей: карельские глаголы *čakata* и *puilie* значат ‘ругаться, браниться, ссориться’. При этом первая антропонимная основа хорошо известна в карельском именовании в виде *Чаккоев* (ливв. *Čuakku*) и *Чаккиев* (карел. *Čakka* и *Čakki*). В свою очередь, в Кустратко *Илгин* [ПКС 1657] отразилось карельское прилагательное *ilgie* ‘бессовестный’, а в Михалко *Реболев* — карел. *repaleh* ‘оборванец’.

Список может быть продолжен. При этом, как и в приведенных в тексте примерах, это разного рода негативные характеристики, подтверждающие прозвищную природу карельских патронимов.

Выводы

Выявленные фрагменты прибалтийско-финского некалендарного именослова свидетельствуют о карельской странице в истории Заонежского полуострова XVI–XVII вв. и отражают процесс массового продвижения в это время карельских переселенцев с территории Карельского уезда. Они существенно дополняют список реликтовых прибалтийско-финских антропонимов, известных по топонимическому наследию Заонежья [Муллонен]. При том, что часть именных основ свойственна и вепсскому именованию, их отличают некоторые дифференцирующие карельские языковые признаки (геминация, сохранение конечного гласного, аналоги в современной карельской антропонимии), позволяющие отдавать предпочтение карельским истокам имен и их носителей. В ходе становления системы официальных фамилий в XIX–XX вв. карельские родовые патронимы были в основном утрачены. Часть из них сохранилась в названиях заонежских поселений. Показательно, что абсолютно все антропонимы, которые удалось расшифровать, относятся к разряду прозвищных с негативной семантикой. Их очень трудно представить в роли так называемых охранных имен, каковая функция им иногда приписывается исследователями. Механизм их появления сугубо прозвищный.

Выявлено, что значительное число патронимических именовании восходит к суффиксальным апеллятивным этимонам, оформленным суффиксами с деминутивной семантикой (*-oi* > *-o*, *-kka*, *-čču*). Видимо, последние стали восприниматься и как антропонимные форманты. Во всяком случае для ряда онимов с названными формантами не обнаружено апеллятивных соответствий. Впрочем, причина может быть и другой — утрата исходных суффиксальных апеллятивов говорами. Однако в любом случае перечисленные форманты являются убедительными метками, знаками прибалтийско-финских антропонимов.

Написание карельских патронимов позволило реконструировать некоторые особенности карельского языка пятисотлетней давности: сохранение

исходного *a* в завершении двусложных основ и некоторые признаки его редукции в трехсложных словах, особенно в позиции после геминаты. Материал доказывает также, что на рубеже XVII–XVIII вв. в северной части Заонежья происходит утрата дифтонгом *-oi* конечного *-i*. В распоряжении исследователей практически нет письменных источников о карельском языке XVII в., поэтому антропонимы, даже в условиях русского языкового посредства, исключительно ценны как источник истории языка.

Сокращения

В названиях административно-территориальных единиц

Великог.	Великогубский район Республики Карелия	Олон.	Олонецкий район Республики Карелия
Киж. пог.	Кижский погост Олонецкой губернии	Питкяр.	Питкярантский район Республики Карелия
Конд.	Кондопожский район Республики Карелия	Пряж.	Пряжинский район Республики Карелия
Медв.	Медвежьегорский район Республики Карелия	Шунг. пог.	Шунгский погост Олонецкой губернии
Муез.	Муезерский район Республики Карелия		

В названиях языков и диалектов

вепс.	вепсский язык	люд.	людиновское наречие карельского языка
вод.	водский язык	приб.-фин.	прибалтийско-финский язык
заон.	заонежские говоры русского языка	рус.	русский язык
карел.	собственно карельский язык	фин.	финский язык
ливв.	ливвиковское наречие карельского языка	эст.	эстонский язык

Прочие

диал. диалектный

Источники

ДКЛП 1597 — Дозорная книга Лопских погостов 1597 г. // История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск ; Йоенсуу, 1987. С. 186–233.

КТК — Научная картотека топонимов Карелии. Хранится в ИЯЛИ КарНЦ РАН

ОВИ — Научный архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Ф. 98 : Олонецкая воеводская изба. Картоны 1–5.

ПК 1616 — *Чернякова И. А., Сулова Е. Д.* История Карелии XVI–XVII вв. в документах. IV : Писцовые книги Заонежских погостов 1616–1619 гг. : [в 2 ч.]. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. Ч. I : Церковное и поместное землевладение. URL: <http://carelica.petsu.ru/mediateka/home/sources/3.html> (дата обращения: 15.05.2023).

ПКОП 1563 — Писцовая книга Обонежской пятины 1563 г. // Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. : Материалы по истории Карельской АССР / под общ. ред. М. Н. Покровского. Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1930. (Материалы по истории народов СССР ; вып. 1). С. 57–254.

ПКС – Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Олонец. Д. 5. Переписные книги солдат и драгун олонецких полков «нового строя» Ивана Дивова 1657 года. 1130 л. [9 книг].

РДЭС – *Мызников С. А.* Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных регионов. М.; СПб.: Нестор-История, 2019.

СВЯ – *Зайцева М. И., Муллонен М. И.* Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972.

KKS – Karjalan kielen sanakirja. 1–6 / toim. P. Virtaranta, R. Koponen, M. Torikka, L. Joki. Helsinki : SUS, 1968–2005. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; XVI).

KMS – *Nirvi R. E.* Kiihtelysvaaran murteen sanakirja. I–XIII. Lappeenranta, s. a.

LMS – Lyydiläismurteiden sanakirja / ainekset keränneet K. Donner, J. Kalima, L. Kettunen, J. Kujola, H. Ojansuu, E. Pakarinen, Y. H. Toivonen & E. A. Tunkelo ; toim. ja julk. J. Kujola. Helsinki : SUS, 1944. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; IX).

SMS – Suomen murteiden sanakirja (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisu 30). 2011–2021. URL: <http://kaino.kotus.fi/sms/> (date of access: 10.08.2023). Картотека хранится в Центре национальных языков Финляндии / Kotimaisten kielten keskus (Хельсинки).

Sukunimet – *Mikkonen P., Paikkala S.* Sukunimet. Keuruu : Otava, 1992.

Исследования

Варбот Ж. Ж. Древнерусское именное словообразование: ретроспективная формальная характеристика. М.: Наука, 1969.

Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья XVI–XVII веков. Из истории сельских поселений. М.: Наука, 1962.

Витов М. В., Власова И. В. География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVIII веках. М.: Наука, 1974.

Кузьмин Д. В. Христианские имена карелов // Вопросы ономастики. 2016. Т. 13, № 2. С. 56–86. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2016.13.2.018

Кузьмин Д. В. К реконструкции древнекарельского именника // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17, № 2. С. 9–35. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2020.17.2.016

Кюришнова И. А. Словарь некалендарных личных имен, прозвищ и фамильных прозваний Северо-Западной Руси XV–XVII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010.

Кюришнова И. А. Личное имя как антропонимическая презентация человека в документах Карелии XV–XVII веков // Научный диалог. 2019. № 9. С. 103–129. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2019-9-103-129>

Леонтьева Т. В. Интеллект человека в русской языковой картине мира. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008.

Муллонен И. И. Топонимия Заонежья. Словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008.

Мызников С. А. Русские говоры Обонежья: ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. СПб.: Наука, 2003.

Потов А. И. Материалы по топонимике Карелии // Советское финно-угроведение / под ред. Д. В. Бубриха, П. Н. Перевощикова. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1949. С. 48–66.

Соболев А. И. Антропонимы прибалтийско-финского происхождения в писцовых книгах Юго-Восточного Обонежья XV–XVI вв. // Вопросы ономастики. 2017. Т. 14, № 1. С. 7–34. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2017.14.1.001

Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1989.

Forsman A. V. Tutkimuksia Suomen kansan persoonallisen nimistön alalla. I. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1894.

Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. 3. korjattu ja lisätty painos. Helsinki : Otava, 1968.

Kuzmin D. Old Karelian personal names // The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 2022. No. 3. P. 247–273.

Leskinen H. Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta // Karjala: Historia, kansa, kulttuuri / toim. P. Nevalainen, H. Sihvo. Helsinki : SKS, 1998. S. 352–382.

Nissilä V. Suomen Karjalan nimisto. Joensuu : Vammalan Kirjapaino Oy, 1975.

Patronen O. Rajakarjalaisen sukunimistön kehittyminen osana Suomen karjalankielisen ortodoksivähemmistön suomalaistumista 1818–1925. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2017.

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3 / toim. E. Itkonen, U.-M. Kulonen. Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992–2000.

Tunkelo E. A. Vepsän kielen äännehistoria. Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1946. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 228).

References

Forsman, A. V. (1984). *Tutkimuksia Suomen kansan persoonallisen nimistön alalla. I*. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hakulinen, L. (1968). *Suomen kielen rakenne ja kehitys* (3rd rev. and enlarged ed.). Helsinki: Otava.

Itkonen, E., & Kulonen, U.-M. (Eds.). (1992–2000). *Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja* (Vols. 1–3). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kuzmin, D. V. (2016). Khristianskie imena karelov [Christian Names of Karelians]. *Voprosy onomastiki*, 13(2), 56–86. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2016.13.2.018

Kuzmin, D. V. (2020). K rekonstruktsii drevnekarel'skogo imennika [On the Reconstruction of the Ancient Karelian Anthroponymicon]. *Voprosy onomastiki*, 17(2), 9–35. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2020.17.2.016

Kuzmin, D. (2022). Old Karelian Personal Names. *The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics*, 3, 247–273.

Kyurshunova, I. A. (2010). *Slovar' nekalendarnykh lichnykh imen, prozvizhch i famil'nykh prozvanij Severo-Zapadnoj Rusi XV–XVII vv.* [Dictionary of Non-Calendar Personal Names, Nicknames and Family Nicknames of Northwestern Rus' in the 15th–17th Centuries]. St Petersburg: Dmitry Bulanin.

Kyurshunova, I. A. (2019). Lichnoe imia kak antroponimicheskaia prezentatsiia cheloveka v dokumentakh Karelii XV–XVII vekov [Personal Name as Anthroponymic Presentation of a Person in Karelian Documents of the 15th–17th Centuries]. *Nauchnyi dialog*, 9, 103–129. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2019-9-103-129>

Leontyeva, T. V. (2008). *Intellekt cheloveka v russkoj iazykovoj kartine mira* [Human Intelligence in the Russian Language Picture of the World]. Ekaterinburg: Russian State Professional Pedagogical University.

Leskinen, H. (1998). Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta. In P. Nevalainen, & H. Sihvo (Eds.), *Karjala: Historia, kansa, kulttuuri* (pp. 352–382). Helsinki: SKS.

Mullonen, I. I. (2008). *Toponimiia Zaonezh'ia. Slovar' s istoriko-kul'turnymi kommentariiami* [Toponymy of Zaonezhie. Dictionary with Historical and Cultural Comments]. Petrozavodsk: KarRC RAS.

Myznikov, S. A. (2003). *Russkie govory Obonezh'ia: areal'no-etimologicheskoe issledovanie leksiki pribaltiisko-finskogo proiskhozhdeniia* [Russian Dialects of Obonezhye: An Areal-Etymological Study of Vocabulary of Finnic Origin]. St Petersburg: Nauka.

- Nissilä, V. (1975). *Suomen Karjalain nimistö*. Joensuu: Vammalan Kirjapaino Oy.
- Patronen, O. (2017). *Rajakarjalaisen sukunimistön kehittyminen osana Suomen karjalankielisen ortodoksvähemmistön suomalaistumista 1818–1925*. Helsinki: University of Helsinki.
- Popov, A. I. (1949). Materialy po toponimike Karelii [Materials on the Toponymy of Karelia]. In D. V. Bubrikh, & P. N. Perevoshchikov (Eds.), *Sovetskoe finno-ugrovedenie* [Soviet Finno-Ugric Studies] (pp. 48–66). Petrozavodsk: Gos. izd-vo Karelo-Finsk. SSR.
- Sobolev, A. I. (2017). Antroponimy pribaltijsko-finskogo proiskhozhdeniia v pistsovykh knigakh Yugo-Vostochnogo Obonezh'ia XV–XVI vv. [Anthroponyms of Finnic Origin in the 15th–16th Centuries Cadastres of the Southeastern Lake Onega Region]. *Voprosy onomastiki*, 14(1), 7–34. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2017.14.1.001
- Tunkelo, E. A. (1946). *Vepsän kielen äännehistoria*. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Unbegaun, B.-O. (1989). *Russkie familii* [Russian Surnames]. Moscow: Progress.
- Varbot, Zh. Zh. (1969). *Drevnerusskoe imennoe slovoobrazovanie: retrospektivnaia formal'naia kharakteristika* [Old Russian Nominal Word Derivation]. Moscow: Nauka.
- Vitov, M. V. (1962). *Istoriko-geograficheskie ocherki Zaonezh'ia XVI–XVII vekov. Iz istorii sel'skikh poselenij* [Historical and Geographical Sketches of Zaonezhie of the 16th–17th Centuries. From the History of Rural Settlements]. Moscow: Nauka.
- Vitov, M. V., & Vlasova, I. V. (1974). *Geografiia sel'skogo rasseleniia Zapadnogo Pomoria v XVI–XVIII vekakh* [Geography of the Rural Settlement of Western Pomor Coast in 16th–18th Centuries]. Moscow: Nauka.

Муллонен Ирма Ивановна

доктор филологических наук,
 член-корреспондент РАН, профессор,
 главный научный сотрудник
 Институт языка, литературы и истории
 Карельского научного центра РАН
 185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
 E-mail: irma.mullonen@hotmail.com

Mullonen, Irma Ivanovna

Dr. Hab. (Philology), Corresponding Member
 of the Russian Academy of Sciences, Professor,
 Chief Research Fellow
 Institute of Linguistics, Literature and
 History, Karelian Research Centre of the RAS
 11, Pushkinskaya St.,
 185910 Petrozavodsk, Russia
 Email: irma.mullonen@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5279-4880>
 Scopus AuthorID: 57190248714

DOI 10.15826/izv2.2023.25.4.074

УДК 811.161.1'373.211.1:332.21 + 911.372 +
+ 94(470.24) + 811.161.1'282.2(470.1)**А. А. Бахтерева**¹Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия²Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН
Москва, Россия

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ТИПЫ ПОСЕЛЕНИЙ В ОЙКОНИМИИ БЕЛОЗЕРЬЯ

В статье рассматриваются названия населенных пунктов Белозерья, включающие обозначения типов поселений (*выселок, городок, двор, мыза, погост, починок, слобода, усадьба, хутор*), ряд терминов с суффиксом *-ище* (*дворище, городище, погостище, селище, усадище* и др.), указывающих на места прежних поселений, и некоторые определения, характеризующие владельческий статус земель (*казённый, монастырский, барский, боярский, княжий*). Кроме того, исследуется вопрос употребления рассматриваемых терминов, называющих типы поселений, в качестве обозначения вида объекта в официальных списках населенных мест и в речи местных жителей. В качестве источников материала используются данные списков населенных мест Олонецкой (1905) и Новгородской (1911–1912) губерний, а для более позднего времени – данные полевых сборов Топонимической экспедиции Уральского университета 1960–2010-х гг. Разница в топонимическом употреблении тех или иных терминов землевладения объясняется преимущественно особенностями заселения территории и существовавшими типами землевладения (особенно это заметно для характеризующих наименований: *казенных, монастырских, княжих* и пр.). Обозначения типов населенных пунктов оказываются менее зависимы от сложившихся практик землевладения и более подвержены последующему административному регулированию, хотя и здесь прослеживаются определенные исторические закономерности: термины *городок* и *городище* маркируют места археологически и документально подтвержденных средневековых укрепленных поселений; новгородские топонимические модели *Большой Двор* и *Великий Двор* позволяют уточнить зону новгородского освоения территории и отграничить ее от более восточной ростово-суздальской; термин *погост* шире всего представлен на территории бывших новгородских пятин, наследовавших древнерусскую систему погостов; появление термина *хутор* в Белозерье четко связано со столыпинской реформой, хотя на других великорусских территориях он был известен и до этого времени.

Ключевые слова: русский язык; ойконимия; списки населенных мест; полевая лингвистика; Белозерье; Новгородская губерния; Олонецкая губерния

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00439 «Ономастикон и лингвокультурная история Европейской России», <https://rscf.ru/project/23-18-00439/>

Ц и т и р о в а н и е: Бахтерева А. А. Терминология землевладения и типы поселений в ойконимии Белозерья // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 283–304. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.074>

Поступила в редакцию: 22.10.2023

Принята к печати: 11.12.2023

Anna A. Bakhtereva

¹ Ural Federal University

Ekaterinburg, Russia

² V. V. Vinogradov Institute

of the Russian Language of the RAS

Moscow, Russia

TERMINOLOGY OF LAND OWNERSHIP AND TYPES OF SETTLEMENTS IN THE OIKONYMY OF BELOZERYE

This article discusses the names of settlements in Belozerye, including designations of settlement types (*выселок, городок, двор, мыза, погост, починок, слобода, усадьба, хутор*), several terms with the suffix *-ище* (*дворище, городище, погостище, селище, усадище*, etc.), denoting places of former settlements, and some definitions characterising the ownership status of lands (*казённый, монастырский, барский, боярский, княжий*). In addition, the author examines the issue of the use of terms under consideration naming the types of settlements as a designation of the type of object in the official lists of settlements and in the speech of residents. The study refers to data from the lists of settlements of Olonets (1905) and Novgorod (1911–1912) provinces, and for the later period, to data from field collections of the Toponymic Expedition of the Ural University of the 1960s–2010s. The difference in the toponymic use of certain terms of land ownership is mainly explained by the peculiarities of the settlement of the territory and the existing types of land ownership (this is especially typical of the characterising names: *казённый, монастырский, княжий*, etc.). The designations of settlement types turn out to be less dependent on the established land tenure practices and more susceptible to subsequent administrative regulation, although certain historical patterns can be traced here: the terms *городок* and *городище* mark the sites of archaeologically confirmed and documented medieval fortified settlements; the Novgorod toponymic models *Большой Двор* and *Великий Двор* make it possible to clarify the zone of Novgorod development of the territory and delimit it from the more eastern Rostov-Suzdal. The term *погост* is most widely represented on the territory of the former Novgorod pyatinas which inherited the Old Russian system of pogosts; the appearance of the term *хутор* in Belozerye is clearly connected with the Stolypin reform, although it was known in other Great Russian territories before that time.

К е у в о р д s: Russian language; oikonymy; lists of populated places; field linguistics; Belozerye; Novgorod Province; Olonets Province

Acknowledgements

The research was supported by the *Russian Science Foundation* (grant 23-18-00439 “Onomasticon and Linguocultural History of European Russia”, <https://rscf.ru/en/project/23-18-00439/>).

Citation: Bakhtereva, A. A. (2023). Terminologiya zemlevladieniia i tipy poselenii v oikonimii Belozer'ia [Terminology of Land Ownership and Types of Settlements in the Oikonymy of Belozerye]. *Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 25(4), 283–304. <https://doi.org/10.15826/izv2.2023.25.4.074>

Submitted: 22.10.2023

Accepted: 11.12.2023

Терминология землевладения в лексике и топонимии Белозерья, а также во многом обусловленные особенностями землевладения и освоения территории наименования типов населенных пунктов частично рассматривались в работах Н. П. Кашиной [1987], Ю. И. Чайкиной [1988; 2005], Е. Н. Варниковой [2008] (преимущественно на материале деловой письменности), а также в исторических трудах, посвященных истории землевладения Белозерья [Копанев] и административной системе Новгородской земли [Неволин; Платонова, 1988; 2012; и др.]. Однако остались без внимания некоторые топонимические факты; не получил достаточного освещения вопрос о географическом распределении топонимов, образованных от терминов землевладения, а также о степени распространения самих этих терминов в качестве определения вида географического объекта. В данном исследовании мы постараемся решить эту задачу применительно к ойконимии Белозерья на материале двух групп источников: данных Топонимической экспедиции Уральского федерального университета по Белозерью (Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Кадуйский, Кирилловский, Устюженский, Череповецкий и Шекснинский районы Вологодской области; Каргопольский и Коношский районы Архангельской области), собиравшихся в 1960–2010-е гг., и списков населенных мест Олонецкой (Вытегорский, Каргопольский и частично Лодейнопольский уезды) за 1905 г. и Новгородской губерний (Белозерский, Кирилловский, Череповецкий и Устюженский уезды) за 1911–1912 гг., куда входили указанные территории прежде. При анализе терминов землевладения будет применяться следующая методика: 1) история термина в русском языке (приблизительное время возникновения и история фиксации в письменных источниках — там, где это возможно); 2) анализ ойконимов, включающих этот термин; 3) анализ прочих топонимов, включающих термин (там, где это важно для понимания метонимических связей или способствует уточнению сферы применения термина); 4) анализ использования термина при определении видов географических объектов в списках населенных мест и в полевых записях; 5) ареальная характеристика использования термина на территории Белозерья.

В ойконимии Белозерья используется две группы терминов, связанных с различными формами землевладения: 1) термины, называющие типы поселений; 2) термины, обозначающие статус земли по типу собственника.

Термины, называющие типы поселений

Выселок. Согласно ЭСБЕ, *выселками* назывались «небольшие, сравнительно недавно возникшие, селения, жители которых выселились большею частью из соседних селений» [ЭСБЕ, т. 7а, с. 548]. Наиболее раннее упоминание термина *выселок* в текстах — в историческом романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) [НКРЯ]. В списках населенных мест слово *выселок* использовалось и в качестве ландшафтного термина, и в составе топонимов, ср.: *выселок Выселок Дельских, выселок Выселок Нечаева, д. Гора-Выселок, выселок Агеево (Ферма), выселок Теляково, выс. Выселок на пустошь Абаканово, выс. Выселок на пустошь Вашина, выс. Выселок на пустошь Печкарь, выс. Кадобой, выс. Костозеро, выс. Устье (Конево, Савватеево), выс. Кукоево, выс. Недосекино, выс. Фомина Гора, выс. Березовик, выс. Красное и мн. др. (Белоз. у.); д. Выселок Лукинский, д. Выселок Филина (Кирил. у.); выс. Выселок Глыбиной, выс. Ворынкино (Воронкино) и др. (Череп. у.) [СНМ Новг]; *Выселок Марковщина, Гренькова (Сватов выселок), Выселок Алексеевский, Выселок Валги, Выселок Кандусы, Выселок Каменное, Выселок при Волоковом мосте, Николаевский выселок, Петровский выселок, Маткозерский выселок, Выселок Черные пески, Выселок у Макара и др. (Выт. у.); Выселок Тырышкин, Выселок при реке Порме, Выселок Матера, Аглимозерский выселок, Выселок Пела, Выселок Филиппово, Выселок Верхние Чертовицы, Выселок Монастырка, Носова (Часовенский выселок), Скопинская-Выселок, Шушерина-Выселок, Выселок Березов, Выселок Половина (Карг. у.); Выселок Корелка (Лод. у.) [СНМ Олон]. Больше всего выселков отмечено на территории Белозерского, Вытегорского и Каргопольского уездов. Ко второй половине XX в. количество выселков и популярность самого термина заметно снижаются: часть выселков меняют свой статус, а часть признается «неперспективными» и разделяет судьбу других малочисленных деревень. Тем не менее, полевые сборы позволяют зафиксировать ряд новых названий выселков, неизвестных по спискам населенных мест, ср.: *б. выс. Страшино (Устюж), выс. Октябрьский Выселок, выс. Простор (Шалга), выс. Чолма (Карг)*, а также записать мотивацию названия д. Часовенный *Выселок*: «Часовенка была построена, а затем туда монахов выслали из Каргополя» (Карг, Дьяково). При этом на некоторых территориях (в Вашкинском, Вытегорском, Кадуйском, Криловском, Чагодощенском, Череповецком и Шекснинском районах) термин *выселок* неизвестен ни в топонимическом употреблении, ни в качестве обозначения вида объекта.**

Городок. Слово *городок* известно еще по древнерусским источникам XII в. (Повесть временных лет по Ипатьевскому списку, Жожение игумена Даниила, Суздальская летопись, Киевская летопись [НКРЯ]), где оно использовалось для обозначения укрепленного населенного пункта с крепостной стеной, ср.: *городок* ‘крепостная стена; крепость, оборонительное сооружение’; ‘укрепленный населенный пункт, город’ [СлДРЯ XI—XIV вв., т. 2, с. 357—358]. Несколько таких старинных городков (так, грамоты по *Федосьину Городку* известны еще для первой половины XV в.) сохранилось в списках населенных мест Новгородской

губернии: ус. *Городок (Соляной Городок)* (Белоз. у.), пог. *Городок (Федосьин Городок)*, *Городок Кемско-Городецкая запань Громова и К* (Кирил. у.), ус. *Городок*, д. *Городок (Кузьминское)*, ус. *Городок (ус. Кюпа)* (Устюж. у.) [СНМ Новг]. Современные полевые сборы фиксируют несколько таких названий (главным образом, применительно к населенным пунктам и горам) и на территории Вытегорского, Кирилловского, Коношского, Устюженского и Чагодощенского районов, например, пос. *Городок* (Выт), д. *Городок* (Устюж), б. хут. *Городок* (Чаг)¹, также в названиях гор, лесов, полей и т. п., причем в двух случаях контексты указывают на существование в прошлом поселения — гора *Пановий Городок*: «То ли крепость, то ли кладбище было»; «Давно назвали, говорят, там поляки жили» (Выт, Берег); «Под этой горушкой есть озерко. Старики рассказывали, что жили первобытные люди, и в это озерко они спустили золотую столешницу. А сами уехали плотом неизвестно куда. Не пожилось им на этом месте что-то»; «Говорили, тут чуди жили»; «Был городок, чуди какие-то жили, потом они по реке уплыли, а тут ложки всяки находили» (Кон, Якушевская). Отметим, что во всех приведенных контекстах наличие городков связывается с присутствием на этой территории чужого («польского», «чудского») населения.

Двор. Модель распространена на территории всего Белозерья, особенно в виде устойчивых сочетаний *большой двор* и *великий двор*, ср. «...Великий Двор, Большой Двор — это названия селений — центров боярских владений, занесены они в Белозерский и Вологодский уезды в ранний период из пределов Новгородской земли» [Чайкина, 1988] (подробнее об ареальном противостоянии моделей *Большой Двор* и *Великий Двор* см. в статье И. И. Муллонен [2019]): д. Евлашевская (*Двор Великий*), д. *Большой Двор*, д. Васильевское (*Большой Двор*), д. *Великий Двор*, ус. *Большой Двор* (Белоз. у.); д. Большое Заволжье (*Большедворье*), д. Малое Заволжье (*Малодворье*), д. *Великий Двор*, д. Матвеевская (*Великий Двор*), д. *Великий Двор*, ус. *Великий Двор*, д. *Великий Двор*, д. *Большой Двор*, пос. *Большой Двор* (Кирил. у.); д. *Великий Двор* (Сквера), ус. Любоч (*Великий Двор*) (Устюж. у.); д. *Большой Двор*, с. *Средний Двор*, д. *Большой Двор 1-й Степановский*, д. *Большой Двор 2-й Яргомжский*, д. *Большой Двор* (3 одноименных деревни), с. *Большой Двор*, с. *Средний Двор* (Череп. у.) [СНМ Новг]; *Большой двор Трошина*, *Большой двор Анкина*, *Великий двор* (Васильевская), *Великий двор* (Иевлева), *Чернодворская* (Костеник), *Великий двор* (Иевлева), *Великий двор* (Алмозеро), *Великий двор* (3 одноименных населенных пункта) (Выт. у.); *Великодворская*, Аксентовская (*Большой двор*) (Карг. у.) [СНМ Олон]. Данные полевых сборов второй половины XX — начала XXI в. показывают следующие названия: д. *Большой Двор* (Баб, Бел, Ваш, Кад, Карг, Кир, Кон, Череп, Шексн), *Великий Двор* (Баб, Бел, Ваш, Выт, Кад, Кир), д. *Великодворская (Великая)*, д. Железниковская (*Великодворская*), д. Кононовская (*Великий Двор*) (Карг), *Верхний Двор*, *Средний Двор* (Кад), *Нижний*

¹ Ср., однако, совершенно иную мотивацию названия *Городок* (часть с. Чаромское): «место в с. Чаромское, где стоят многоэтажные дома» (прим. собирателя. — А. Б.) (Шексн, Большой Игай).

Двор (Бел), а также память о таких наименованиях содержится в названиях пок. *Малодворское* (Вож), пок. *Малодворский Бор* и ур. *Нижедворский Бор* (Кон). В Вытегорском районе название *Великий Двор* обычно является официальным наряду с неофициальным наименованием (*Погост*), часто субстратным (*Кема*, *Коркуч* и др.), такие пары известны и в других районах, ср., например, д. *Большой Двор* (Малая Степановская) (Шексн). Впоследствии такого рода названия могли упрощаться, ср. пару параллельных наименований *Великодворская* (*Великая*) (Карг). По-видимому, актуальность данной модели сохранялась еще в первой половине XX в., ср. наименование б. хут. *Зинино* (выс. *Советский Двор*) (Бел). В списках населенных мест встречаются случаи использования слова *двор* не в терминологическом значении типа населенного пункта, а в прочих, связанных с устойчивыми сочетаниями, например: д. *Постоялый Двор* (Харчевня) (Белоз. у.), д. *Рыбный Двор*, д. *Чистый Двор* (Кирил. у.) [СНМ Новг]; *Коровий двор* (Карг. у.) [СНМ Олон]; *Задний Двор* (Баб), ср. также наименования частей колхоза «Пример» — *Второй Двор*, *Третий Двор* и *Пятой Двор* (Шексн), или со словом *двор* в посессивном значении: Гришинская (*Макар. двор*) (Карг. у.) [СНМ Олон], д. *Львов Двор* (Устюж. у.), д. Карпово (*Карпов Двор*) (Череп. у.) [СНМ Новг], д. Волосовская (местн. *Микитин Двор*, *Никитин Двор*) (Карг). Из терминов, образованных от слова *двор*, в топонимии Белозерья встретилось еще наименование пос. *Одворок* (Устюж. у.) [СНМ Новг], ср. в полевых записях второй половины XX в. бол. *Одворок*, б. хут. *Одворки* (Устюж), пок. *Одворок*, ур. *Задний Одворок*, местность *Одворы* (Чаг), пок. *Одворки* (Кон), а также мотивацию названия поля *Одворки* (Карг): «Такое название поле получило оттого, что находилось рядом с деревней, у последнего двора» (Карг, Максимовская).

Мыза. Термин *мыза* встречается в письменных источниках с 1562 г. [Шмелев, с. 196], считается заимствованием из прибалтийско-финских языков, ср. эст. *mõiz*, род. п. *mõiza* ‘двор, имение’, водск. *mõiza*, лив. *moiz*, фин. *moisi* [Фасмер, т. 3, с. 23]. В списках населенных мест встречается практически на всей территории Белозерья, кроме Вытегорского уезда, ср.: ус. Горы (*Мыза*) (Белоз. у.), *мыза* Костинская мельница, д. Бородино (*Мыза*), *мыза Мыза* Русакова (Кирил. у.), *мыза* Усадище, ус. *Мыза* (Усадьба), ус. Дедово (*Мыза*, Ограда), д. *Мыза* Тестово, д. *Мыза*, пог. Село Покровское (*Мыза*) (Устюж. у.), выс. *Мыза*, *мыза* Стан (Воскресенское), ус. Лукоморье (Сельцо *Мыза*) (Череп. у.) [СНМ Новг]; *Мыза* (казенный дом) (Карг. у.), Ивановская (*Мыза*) (Лод. у.) [СНМ Олон]. Ко времени полевых сборов термин сохраняется в большинстве районов Белозерья, в том числе в названиях хуторов и деревень: хут. *Мыза* (Баб); д., часть с., б. хут. *Мыза*, б. д. *Мызово* (Ваш); б. д. *Мыза* (Вож, Выт); д. *Мыза* (Кад); д. *Мыза*, д. Сельцо Осиповское (местн. *Мыза*, *Мызы*) (Карг); ур. *Мыза* (Кир); поле *Мыза* (Кон), д. *Мыза-Тестово* (*Мыза*), б. д. *Мыза Перская*, бол. *Мыза*, пок. *Липина Мыза* (Устюж), б. хут. *Мыза*, *Мыза* (часть с. Покровское), пок. *Бакунинская Мыза* (Чаг). Анализ географических привязок показывает, что такие населенные пункты часто располагались вблизи центров погостов или волостных центров, ср.: д. *Мыза* (Ваш) — около д. Великий Двор, б. д. *Мыза* (Выт) — около с. Курвошский Погост; и др.

Погост. В письменных источниках слово *погост* впервые встречается в летописях под 947 г., в связи с административной реформой Древней Руси, проведенной княгиней Ольгой, в ходе которой Новгородская земля была поделена на *погосты*: **иде Вольга Новугороду и уставы по Мьсте погосты и дани и по Лузе оброки и дани** [ЛЛ, л. 17]. По данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.», слово *погост* употреблялось в древнерусских и средневековых источниках в следующих значениях: 1) ‘податной округ и его центр, где останавливались князья и княжеская дружина, а также дань, взимаемая в их пользу с этой территории’ (РЛ; ЛЛ); 2) ‘вид подати’ (1504); 3) ‘округ, административно-территориальная единица, церковный приход’ (Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1207; Смоленская грамота, XVI в. ~ 1150); 4) ‘центр административно-территориальной единицы; поселок, населенный пункт вообще, как правило, с церковью’ (1389 ~ 1117; Ипатьевская летопись; XVI в.; XIII в.); 5) ‘церковь с кладбищем и с прилегающими дворами причта, обычно расположенная в стороне от населенных пунктов’ (XV в.; 1594; 1688); 6) ‘церковный двор или место у церкви, где проходило судебное разбирательство’ (XII–XIII вв.; XVI ~ XV вв.; 1637); 7) ‘сельское кладбище’ (XVII в.) [СлРЯ XI–XVII вв., т. 15, с. 196–197].

Первоначально термин использовался для обозначения податного округа, административно-территориальной единицы (и ее центра) и церковного прихода, что получило отражение не только в апеллятивной лексике, но и в топонимии, отличающейся более высокой степенью архаизации. По данным Национального корпуса русского языка [НКРЯ], первые упоминания слова *погост* в топонимическом значении (в качестве обозначения вида объекта при топониме или в составе топонима) фиксируются в текстах грамоты великого князя Всеволода Мстиславича Юрьеву монастырю на *Терпужский погост Ляховичи* (1125–1137) (подробный анализ этой грамоты см. в: [Янин]) и мировой старосты Азики и его «братья» с Василием Матвеевым по спорному делу о владении *Шенкурским погостом* (1315–1322), грамоты Новгорода на Двину о поручении Печерской стороны в ведение Михаила для морского промысла (1328–1341): *погост Кезролский*; «Ободной межевой» землям великого князя и монастырей Юрьева, Вяжицкого, Палеостровского и Муромского «в *погостах Шальском и Никольском Пудожском* и в волостках тех же погостов» (1391). В документах XV в. (Московский летописный свод, Устюжский летописный свод, Никоновская летопись и др. [НКРЯ]) такие наименования становятся массовыми.

Изучению распространения административной системы погостов посвящен целый ряд работ, среди которых необходимо упомянуть в первую очередь основополагающий труд К. А. Неволина [1853] и работы Н. И. Платоновой [1988; 2012]. Обзор большинства лингвистических работ и общие вводы по топонимии Русского Севера см. в моей недавней статье [Макарова].

По данным Списка населенных мест по Олонецкой губернии [СНМ Олон], административно-территориальная структура Вытегорского и Каргопольского уездов выглядела следующим образом: уезд делился на волости, а волости – на общества. В среднем отмечается по одному погосту на волость (хотя иногда этот

принцип нарушается: в одних волостях могло быть и по три-четыре погоста, а в других не было ни одного). В Вытегорском уезде название погоста нередко совпадает с названием волости (*На Андомском погосте, Бадожский погост, Вытегорский погост, Тихмангский погост, Шильдский погост*) или сельского общества (*Мегорский погост, Ежезерский погост, Ундозерский погост, Тудозерский погост, Чуриловский погост*). В прочих случаях мы имеем дело либо с названиями, связанными с наименованиями местных храмов (*Никольский погост*), либо с неофициальными ойконимами (*Парфиевская = Гора, Погост; Ермолаевская = Погост*), либо – чаще – память о погосте сохраняется лишь в названиях соседних деревень: *Алешинская у погоста, У погоста Фофановская, Близ погоста Тереховская, У погоста Васюковская*. Любопытно, что память эта оказывается столь сильна, что и в 1990-е гг. фиксируются наименования *Погост*, причем там, где в начале XX в. официальные списки населенных мест их не отмечают, ср.: *Великий Двор* (1905) – *Великий Двор (Погост)* (1999). Во многом аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Каргопольском уезде. Здесь подавляющее большинство названий погостов совпадает с названиями сельских обществ (*Нименский погост, Лепшинский погост, Ковежский погост, Ольгский погост, Кенорецкий погост, Лекиморецкий погост, Погост Ловзангский, Печниковский погост, Ольховский погост, Устьволгский погост, Лимский погост*) и лишь одно – с названием волости (*Погост Ошевенский*). Часть названий погостов представлена просто термином в самостоятельном топонимическом употреблении (*Погост*), часто в неофициальных названиях: *Шелоховская (Погост), Евсеевская (Погост), Заляжье (Погост), Родионовская (Погост), Андроновская (Погост)*, – а также в составных наименованиях, где слово *погост* выступает в качестве приложения: *Мадлахта Сысово-Погост, Агафоновская-Погост, Шейна-Погост*.

В Списке населенных мест Новгородской губернии [СНМ Новг] термин *погост* употребляется главным образом в качестве обозначения небольшого селения с церковью и кладбищем, часто расположенного вблизи волостного центра, и почти не используется в названиях других населенных пунктов. Количество населенных пунктов, определяемых как «погосты», на территории северо-восточных уездов Новгородской губернии (Белозерского, Кирилловского, Устюженского и Череповецкого) заметно выше, чем в уездах Олонецкой губернии: в каждой волости в среднем три погоста (1–5 в каждой волости), и лишь в нескольких волостях (по одной в Белозерском и Кирилловском уездах и несколько в Череповецком) погостов не зафиксировано. Большая часть номинаций представлена двухкомпонентными названиями, где в качестве одной основы выступает название местного храма, а другая основа отсылает к местному топониму (чаще гидрониму, но иногда и ойкониму): *Лозско-Введенский погост*, пог.; *Лозско-Пречистенский погост*, пог.; *Сухачский-Никольский погост*, пог.; *Сухачский-Успенский погост*, пог., и т. п. Лишь изредка названия погостов совпадают с наименованиями волостей: *Воздвиженский Воробозомский погост*, пог. – в Воздвиженской волости; *Георгиевский Вадбольский погост*, с. – в Георгиевской волости; с. с пог. *Мегра* – в Мегринской волости; с. с пог. *Надпорожье* – в Надпорожской волости; и др.

В ряде волостей однокомпонентная модель образована бессуффиксальным способом напрямую от исходного топонима, особенно много таких погостов в Мегринской (пог. *Городищи*; с. с пог. *Ковжа*; с. с пог. *Кустово*; с. с пог. *Мегра*), Погорельской (пог. *Заробозерье*; пог. *Мондома*; пог. *Урозеро*) и Чуриновской волостях (пог. *Заболотье*; пог. *Карголом*; пог. *Куность*; пог. *Маэкса*) Белозерского уезда, Казанской волости Кирилловского уезда (пог. *Вожга*; пог. *Липник*; пог. *Падчеваро*; пог. *Тордокса*), а также в подавляющем большинстве волостей Устюженского уезда (пог. *Избоища*; пог. *Смердомля* и мн. др.).

Современные полевые данные показывают, что в названиях крупных населенных пунктов Белозерья термин *погост* широко используется только в северо-западной части региона [ТКТЭ] – в Вытегорском (д. *Андомский Погост*, д. *Бадожский Погост*, д. *Ежезерский Погост*, д. *Кондушский Погост*, д. *Курвошский Погост*, с. *Мегорский Погост*, с. *Оштинский Погост*, с. *Саминский Погост*, д. *Тудозерский Погост*, д. *Ундозерский Погост* и др.) и Каргопольском районе (д. *Павловский Погост*, д. *Погост*, д. *Погост Наволочный*, д. Евсеевская (*Погост*), д. Архангело (*Погост*), д. Бувевская (*Погост*), д. Агафоновская (*Погост*), д. Астафьево (*Погост*), д. Мушкинская (*Погост*), д. Петуховская (*Погост*), д. Семёновская (*Погост*), д. Шелоховская (*Погост*)). Такое употребление, очевидно, является наследием более старой административной системы, нашедшей отражение в списках населенных мест. Довольно много названий в Бабаевском (д. Макарьевская (Берег, *Погост*), д. *Новый Погост*, д. *Погост* (Становище), *Чужбойский Погост*) и Коношском районах (д. Куфтырёвская (*Погост*), д. Нечаевская (*Погост*), д. Пономарёвская (*Погост*) и даже пос. Дом Инвалидов (*Инвалидный Погост*)). В меньшем количестве такие названия встречаются в Белозерском (с. Георгиевское (*Старый Погост*), с. Ивановское (*Новый Погост*)) и Кадуйском районах (д. *Старый Погост* (Поповский), д. *Погост*). По одному топониму отмечено в Чагодощенском (д. Смердомля (*Погост*) и в Череповецком районах (д. Васильевское (*Погост*)). Как видно по представленным выше данным, чаще это неофициальные наименования (за исключением ойконимической системы Вытегорского и Кадуйского районов). В прочих районах (Вашкинский, Вожегодский, Устюженский, Шекнинский) такие названия не встречаются вовсе.

Починок. Термин *починок* в древнерусских источниках использовался в значении ‘новое поселение, деревенька на вновь расчищенном участке’ [СлРЯ XI–XVII вв., т. 18, с. 75]. Самое раннее упоминание данного термина встречается в духовной грамоте Дмитрия Донского (1370-е гг.) [Горский, 2023, с. 196]. По данным списков населенных мест, названия такого типа были распространены практически во всем Белозерье: с. *Петров Починок с Желобовским погостом* (Белоз. у.); д. *Починок*, д. *Ганин Починок* (Заельники), д. *Осютин Починок* (Заельники), д. *Починок* (Кирил. у.); д. *Вахонин Починок*, д. *Жуков Старый Починок*, д. *Новый Починок*, д. *Починок*, д. *Починок* (Започа), д. *Починок*, д. *Большой Починок*, д. *Малый Починок*, д. *Починок*, д. *Вахонин Починок*, д. *Горельый Починок*, д. *Починок Малый*, д. *Починок* (Череп. у.) [СНМ Новг]; *Дмитриевский починок*, *Починок на Пит ручье* (Гармина), *Починок Андреевская Игнатовская* (Назарьева), *Починок Михалки* (Гашкова),

Починок Ивашевский (Чернышева) (Выт. у.); *Савинский Починок* (Сосновец) (Карг. у.); *Починок Матвеевский* (Левина), *Карпинский Починок* (Средняя, Рокса), *Сельгинский Починок* (Большая Карданга), *Новый Починок* (Ганина) (Лод. у.) [СНМ Олон]. В современных полевых записях максимальное количество починок фиксируется в Кадуйском районе (несколько десятков, в том числе ряд сохранившихся названий из списков населенных мест: д. *Вахонин Починок* (*Вах-Починок, Починок*), *Верхний Починок, Горелый Починок, Нижний Починок* и др., при этом название старой д. *Починок* Прягаевской волости Череповецкого уезда в неофициальной номинации приобретает «идеологическое» определение — *Красный Починок*), в других районах их существенно меньше: *Ганин Починок, Осютин Починок* (Кир), *Починок* (Бел, Карг, Кир, Шексн). Примечательно, что на территории Вожегодского, Коношского и Устюженского районов слово *починок* уже не встречается в наименованиях населенных пунктов, но память о нем сохраняется в микротопонимии: лес *Ивановский Починок*, пок., поле, лес, пастб. *Починок* (Вож), лес *Долгий Починок*, пок. *Олений Починок*, пок. *Починок*, место *Сайный Починок* (Кон), поле *Починок* (Устюж). В Бабаевском, Чагодощенском и Череповецком районах термин и вовсе неизвестен в топонимическом употреблении.

Слобода. Термин *слобода* известен по древнерусским источникам в нескольких значениях, но для топонимии наиболее актуальным является ‘поселение или группа административно связанных между собой поселений, жители которых получали различные льготы и временно освобождались от уплаты налогов и повинностей’ [СлРЯ XI–XVII вв., т. 25, с. 91]. В указанном значении термин впервые встречается в церковном уставе Владимира Святославича [Горский, 2019, с. 300]. В названиях населенных пунктов известен на большей части территории Белозерья (за исключением современных Череповецкого и Шекснинского районов): хут. *Ближняя Слобода*, хут. *Слобода*, д. *Сергиева Слобода*, д. Федоровская (*Пустая Слобода*), д. *Ямская Слобода* (Белоз. у.); д. *Слобода* (Лашкова), с. и пог. *Горицкая Слобода*, слобода *Ферапонтовская слобода* (Кирил. у.); ус. *Никольская слобода*, д. *Успенская Слобода*, с., пог. *Гаршинская Слобода* и *Николо-Выксинский погост*, пог. *Андогския села (Никольская слобода)* (Череп. у.) [СНМ Новг]; *Побережье Слобода* (Выт. у.) [СНМ Олон]. Слово *слобода* по-прежнему сохраняется в названиях населенных пунктов и их частей (в том числе в неофициальной номинации). Наибольшей плотностью данная модель отличается на территории современного Бабаевского района: д. *Ближняя Слобода, Дальняя Слобода, Красная Слобода, Пустая Слобода, Ступина Слобода* (Баб), *Леменяцкая Слобода, Охаяцкая Слобода, Сухаряцкая Слобода, Шалоняцкая Слобода* (Кад, все — части с. Верхний Двор), д. *Задняя Слободка, Средняя Слободка* (Ваш), д. *Ильинская Слобода* (Карг), *Конец-Слободка, Ямская Слобода* (Бел), д. *Нижняя Слобода* (Вож), *Слободка* (Баб, Бел, Ваш, Выт, Карг, Кад), *Слобода* (Баб, Бел, Выт, Кад, Карг, Кон, Кир); *Слобода* (Устюж, часть д. Сычёво). В Чагодощенском районе термин сохранился только в микротопонимии: поле, р. *Слободка* (Чаг).

Усадьба. Слово *усадьба* известно практически по всему Белозерью (за исключением Чагодощенского района), однако в названиях населенных

пунктов данная модель популярна только в Вашкинском районе: хут. *Вобчинская Усадьба*, *Печкина Усадьба*, *Угольская Усадьба* и др. (Ваш). В соседних районах такие названия встречаются однократно и зачастую являются неофициальными параллелями к официальным названиям: б. д. Анциферово (*Барская Усадьба*), Григорьевская (Миначево, *Центральная Усадьба*) (Баб); *Попова Усадьба* (Бел); *Усадьба* (Выт); *Стародевичья Усадьба* (Кир); также термин встречается в названиях сельскохозяйственных угодий, ср. пок. *Усадьба* (Вож), поле *Усадьба* (Кад), поле *Афанасьевская Усадьба* (Устюж), и в определении вида объекта: б. *усадьба* Елисеево, б. *усадьба* Медведево (Устюж), *усадьба* Попово (Череп), *усадьба* Зиновка (Шексн). Списки населенных мест также демонстрируют, что распространение этого термина в ойконимии было не повсеместным: *Усадьба Климушинская*, *Усадьба мещанина Матвеева* (Выт. у.) [СНМ Олон]; ус. *Удельная усадьба 21-го Бекетовского имени СПб Уд. Окр.*, ус. *Усадьба*, ус. *Усадьба Бухандина*, д. *Образцовая усадьба*, ус. *Ферапонтовская усадьба церковнослужителей Ферапонтовского монастыря* (Кирил. у.); ус. *Усадьба*, ус. *Мыза (Усадьба)* (Устюж. у.) [СНМ Новг]. Приведенные выше примеры показывают, что термин *усадьба* использовался в списках населенных мест Новгородской губернии и в качестве обозначения типа населенного пункта. Сохранение этого термина в активном употреблении поддерживается также фразеологизмом *центральная усадьба* 'населенный пункт, являющийся центром сельского совета, сельского поселения' [КСГРС], известным на территории всего Русского Севера.

Хутор. Несмотря на повсеместную известность слова *хутор* (в топонимии Бабаевского, Белозерского, Вашкинского и Кадуйского районов также в форме *футор*), особо частотно оно на территории Кадуйского, Чагодощенского и Шекнинского районов (несколько десятков названий бывших хуторов в каждом): *Андроновский Хутор*, *Басков Хутор*, *Белёнин Хутор*, *Варюхин Хутор* и мн. др. (Кад), *Бертов Хутор* (Рысик, *Рысиков Хутор*), *Кудрявцев Хутор* (*Митин Хутор*), *Лепиков Хутор*, *Микешин Хутор* (Морхово), *Хлопотунский Хутор* (Хлопотун) и мн. др. (Чаг), *Второй Хутор*, *Галасов Хутор*, *Музыков Хутор* (нов. *Хутор имени Крупской*), *Первый Хутор*, *Хутор Гриши Царя*, *Шорников Хутор* и мн. др. (Шексн). Несколько реже слово *хутор* в названиях населенных пунктов встречается в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском и Вытегорском районах, в остальных районах такие топонимы единичны: *Гагарин Хутор*, *Денисов Хутор*, *Новая Деревня (Хутор)* (Баб), *Веселов Хутор*, *Кукозерский Хутор* (Бел), *Генашин Хутор*, *Ильинский Хутор*, *Киричев Хутор* (Ваш), *Баптистов Хутор* (*Хутор Баптист*) (Вож), хут. *Деревягин Хутор*, хут. *Трошков Хутор* (Выт), б. д. *Хутор* (Кир), б. хут. *Артемьев Хутор* (Устюж), д. *Хуторок* (б. хут. *Лубичиха*) (Череп). Многократно засвидетельствованы примеры метонимических переносов, когда память о прежних хуторах сохраняется в микротопонимии (в основном в названиях сельскохозяйственных угодий): пок., поле *Битюгинский Хутор* «Раньше около этого поля стоял хутор хозяина по прозвищу Битюгин» (Карг, Погост); пок. *Федин Хутор* (Кон), ур. *Николаев Хутор*, поле *Хыбин Хутор* (Кир), ур. *Аршинов Хутор*, поле, ур. *Егорушков Хутор*, поле *Киселёв Хутор* (Устюж),

поле *Байшов Хутор*, пок. *Викторов Хутор*, пок. *Карпушин Хутор*, поле *Марка Хутор*, поле *Пешин Хутор*, пок. *Федосьин Хутор*, пок. *Фунтов Хутор* и др. (Череп), поле *Берёзкин Хутор*, ур. *Титовы Хутора*, холм *Хуторок* (Шексн). В определении вида объекта термин известен в Каргопольском и Коношском районах, в Вожегодском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском, Устюженском районах, Чагодощенском, Череповецком и Шекснинском районах (несколько сотен названий): *хут.* Аксёнов, *хут.* Ганин, *хут.* Гришково, *хут.* Зыкашка, *хут.* Киборка, *хут.* Кочеватики, *хут.* Крутая, *хут.* Ложки, *хут.* Малиновка, *хут.* Октябрьский Луч, *хут.* Попово, *хут.* Семёновская, *хут.* Тверянка, *хут.* Тяпина Полянка, *хут.* Хвостиха (Вож), *б. хут.* Брянский, *хут.* Лахта, *хут.* Низовец, *б. хут.* Онаш, *б. хут.* Фоминский (Выг); *б. хут.* Авгино, *б. хут.* Алёха Старик, *б. хут.* Андожский Бор и мн. др. (Кад); *хут.* Дворище, *хут.* Калона, *хут.* Осиновский (Карг); *хут.* Андриюхин, *хут.* Берег, *хут.* Васьи Хыбы, *хут.* Венера, *хут.* Вязино, *хут.* Дрочнев, *хут.* Дубровка (Дубровский), *хут.* Есюнино, *хут.* Кринцы, *хут.* Кундюковский, *хут.* Новое, *хут.* Омелянково, *хут.* Палёна Гора, *хут.* Питинский, *хут.* Прибой, *хут.* Розбуй, *хут.* Самково, *хут.* Сашино, *хут.* Туриковский, *хут.* Шамова (Кир), *хут.* Гарь, *хут.* Мартыниха, *хут.* Моюга, *хут.* Парожна, *хут.* Томбово (Кон), *б. хут.* Алексей Никитин, *б. хут.* Андрея Лямина, *б. хут.* Антоша (Евсеево), *б. хут.* Аршинов, *б. хут.* Бабка Варюшка, *б. хут.* Базариха, *б. хут.* Красная Деревня, *б. хут.* Овчихи, *б. хут.* Шорда, *хут.* Шутово, *б. хут.* Щербинино (Щукинская Артель) и мн. др. (Устюж), *б. хут.* Михай, *б. хут.* Мосеиха, *б. хут.* Мошки, *б. хут.* Мыза, *б. хут.* Лино, *б. хут.* Лопатино, *б. хут.* Лучиновик, *хут.* Любовно и мн. др. (Чаг), *хут.* Арсютин, *б. хут.* Архипов, *б. хут.* Березник, *б. хут.* Борин Участок и мн. др. (Череп), *б. хут.* Дорки, *б. хут.* Казанкино, *б. хут.* Ново, *б. хут.* Первое Паргино, *б. хут.* Второе Паргино, *б. хут.* Тимофеевка и мн. др. (Шексн). Термин оказывается столь популярным, что модель продолжает работать и в начале XXI в.: в Шекснинском районе появляется новый населенный пункт, получивший название *Медовый Хуторок* (Шексн). В списках населенных мест термин *хутор* фигурирует только в Новгородской губернии — причем и в качестве обозначения типа населенного пункта, и в составе ойконимов: *хут. Хутор Ф. Васильева* (и др.) (Белоз. у.); *хут. Хутор А. Дыбина* (и др.) (Кирил. у.); *хут. Хутор Василия Разина*, *хут. Хутор К. Степанова* (Устюж. у.); *ус. Хутор (Макарьино, Рябинки)*, *хут. Крутой (Быстрый, хутор А. Шумова)*, *хут. Миглеев хутор (Н. Лобачева)*, *хут. Синюкино (хутор В. И. Смирнова)*, *хут. Сотенный хутор (И. Ромичева)*, *хут. Сыч (хутор Я. Захарова)*, *выс. Лунинский хутор*, *хут. Хутор*, *хут. Жидиховский хутор (Пл. Хабарова)*, *хут. Жидиховский хутор (Гр. Шомурина)*, *хут. Хутор в пустоши Задней*, *хут. Хутор* (Череп. у.) [СНМ Новг]. Составителям списков Олонецкой губернии этот термин неизвестен, вероятно, потому что на Русском Севере он получил распространение только после столыпинской аграрной реформы (так, в словаре В. И. Даля слово *хутор* еще помечено как «южное» [Даль, т. 4, с. 1246]), а сбор сведений для списков населенных мест Олонецкой губернии происходил в 1905 г., т. е. еще до начала реформы.

Деревня. Номинации со словом *деревня* (тогда, когда оно входит в состав топонима), несмотря на общеизвестность этого термина, также в некоторых случаях несут информацию об особенностях заселения: д. *Новая Деревня* (Старина), д. Поздняково (*Новая деревня*) (Белоз. у.), хут. *Новая деревня* (Кирил. у.) [СНМ Новг], Аксентовская Орьша (*Новая деревня*) (Карг. у.) [СНМ Олон]; Агафоновская (*Большая Деревня*) (Выт), *Малина Деревня* (Бел), *Новая Деревня* (Выт, Кад, Устюж, Чаг, Шексн), *Старая Деревня* (Баб, Выт, Кад), д. Преображенская (*Новая Деревня*), *Новая Деревня* (Хутор), *Первая Деревня*, *Вторая Деревня* (Баб), б. хут., поле, лес *Красная Деревня* (Устюж). Обычно они выступают в парах параллельных названий, ср.: д. *Новая Деревня* (нов. Малышкино) (Шексн), неоф. д. *Большая Деревня* (Вож, ср. ур. *Малая Деревня*), иногда их появление связано с восстановлением деревни на прежнем месте после пожара: «Новая Деревня, потому что сгорела сначала, а потом построили заново» (Кад, Бережок), с отселением из более крупной деревни: пок. *Малая Деревня* «Там два дома стояло» (Кон, Васильевская), б. д. *Малая Деревня* (Шексн) или с памятью о месте прежнего поселения, ср. поле *Старая Деревня* (Вож), пок. *Старая Деревня* (Череп).

На места существования прежних поселений указывает ряд терминов с суффиксом *-ище*: *городище*, *дворище*, *погостище*, *селище*, *усадище*. Приведенные слова этимологически связаны с соответствующими терминами, используемыми для обозначения типа населенного пункта: *двор*, *город*, *погост*, *село*, *усадыба*. Очевидно, они имеют довольно давнюю традицию употребления: так, термин *усадище* ‘господский дом на селе, со всеми ухажаями, садом, огородом’ [Даль, т. 4, с. 1065], ‘усадыба’ [Срезневский, т. 3, ч. 2, с. 1263] впервые встречается в документе 1536 г., где зафиксирован раздел вотчины князей Оболенских между родственниками в Бежецком уезде [Там же]. К этому ряду необходимо также добавить термины *печище* и *пожарище*, ср. арх. *печище* ‘деревня’, ‘одна или несколько деревень, объединенных общим земельным владением’, ‘отдаленная от других селений деревня’ и в особенности арх., волог., олон. ‘место, где когда-то было жилье, деревня’ [СРНГ, т. 27, с. 6–7] и мотивацию названия пок., поле *Печища* (Кир): «Не знаю я, почему так называли. Старики называли-то. Там раньше деревни были, да печи стояли, камни-то и сейчас есть» (Кир, Горка); арх. *пожарище* ‘выгоревший участок леса’ [КСГРС] и объяснение названия д. *Пожарище*: «Сначала лес выжгли, чтобы деревню строить» (Кон, Вершинина). В отличие от приведенных выше, термины *печище* и *пожарище* могут применяться и для номинации сельскохозяйственных угодий, однако в ойконимии они также фиксируются. Все эти термины получают отражение в топонимии: д. *Пожарище* (Шепелево) (Белоз. у.), д. *Погостище* (Кирил. у.), д. Красиково (Пустошь Лобановская, *Усадище*), мыза *Усадище*, д. Новинка (*Усадище*, Черенское) (Устюж. у.), с. и дер. *Городище* и Кистяевка, д. *Селище*, д. *Селище Новое*, пос. *Селище* (Череп. у.) [СНМ Новг]; *Усадище*, *Усадище Фенистова* (Выт. у.), *Бабиново Печище* (Карг. у.), *Малое-Усадище* (Ерахина-гора), *Усадище-Ниргиничи*, *Малое Усадище* (Яндеба) (Лод. у.) [СНМ Олон]. Большая часть этих терминов сохраняется и в современном топонимическом употреблении: д. *Городище* (Бел,

Вож, Кир, Шексн), б. д. *Дворище* (Бел), б. хут. *Дворище* (Карг), д. *Пожарище* (Баб, Кир, Кон), д. *Погостище* (Кир), д. *Селище* (Баб, Ваш, Кад, Чаг, Устюж), б. д. *Усадище* (Выт).

Термины, обозначающие статус земли по типу собственника

Массовый характер имеют названия, определяющие земли как *барские*, *боярские* и *княжьи* владения.

Барские названия представлены преимущественно в Белозерском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском и Устюженском районах. Часть наименований образована от слова *барин*: лес *Баринова Роща* (Баб), пок. *Баринова Земля* (Ваш), пок. *Баринова Пожня*, бол., поле *Бариново* (Устюж), поле *Баринова Чистка* (Чаг), б. хут. *Баринов Участок*, поле *Бариново Поле* (Череп). Подавляющее большинство таких названий характеризует сельскохозяйственные угодья, по одному раз встречаются номинации хутора и рощи.

Гораздо чаще в топонимии используется непосредственно определение *барский*. Ойконимы со словом *барский* встречаются только в списках населенных мест Новгородской губернии: д. Гавриловское (*Барская*), ус. Нечаево (*Барская*) (Кирил. у.), выс. *Барское село* (Череп. у) [СНМ Новг]. Полевые данные второй половины XX в. — начала XXI в. показывают, что прилагательное *барский* чаще фиксируется в микротопонимии, однако встречаются и ойконимы (особенно много их на территории Бабаевского района): бол., пок. *Барская*, лес *Барский*, б. хут., пок. *Барское* (Кад), г., луг *Барская* (Кир), поле, пок., роща *Барская* (Устюж), лес *Барская* (Череп), пруд *Барский*, бол., поле *Барское* (Чаг), лес *Барское* (Кир, Устюж, Шексн), поле *Барское* (Вож, Кад, Кир, Кон, Шексн), пок., поле *Барское* (Череп), поля *Барские* (Чаг); д. *Барская Веретья* (Бел), *Барская Дача*, б. д. Анциферово (*Барская Усадьба*), б. д. Ильинская (*Барская*) (Баб), пожня *Барская Вельга*, пок. *Барская Долгуша*, пок. *Барская Лука*, ур. *Барская Смерть*, пок. *Барские Порёлки* (Чаг), г. *Барская Гора* (Выт, Кад): «Барская усадьба там была, вот и Барской назвали» (Кад, Красное), лес *Барская Дорога* (Кир), залив *Барская Кара*, мыс *Барский Мыс*, поле *Барское Поле* (Выт), пустошь *Барская Литиха*, ур. *Барская Мельница* (Устюж), лес, пастб. *Барская Подскотина* (Шексн), пок. *Барская Пожня* (Выт, Устюж), пок. *Барская Чища* (Кад, Череп), пок., поле *Барская Нива* (Баб, Бел, Ваш, Кад, Кир, Устюж, Чаг), ур. *Барская Пустошь* (Кир), лес *Барский Дом*, мыс *Барский Мыс (Наволок)* (Вож), пок., поле *Барский Луг*, пок., поле *Барские Сучья* (Кад), пруд *Барский Пруд*, б. д. Купля (неоф. *Барский Сад*) (Шексн), поле *Барский Сарай* (Кир), б. д. *Барское Борисово* (Череп), пок. *Барские Древянники* (Кад) и мн. др.; также лес *Баронька* (Кад), поле *Твеленинская Барщина* (Устюж). Судя по некоторым контекстам, часть названий могла выражать оценку свойств объекта, ср. объяснение названия *Барская Дорога*: «Хорошая была дорога, в тапочках можно было ходить» (Кон, Красково).

Кроме того, фиксируются названия пок. *Баронова Чища* и пок. *Бароново Стожьё* (Кон), леса *Бароновская Дача* (Бел), пок. *Бароновская, Бароновское* (Чаг),

однако они, скорее всего, восходят к омонимичному прозвищу или фамилии, ср. поле *Бароново Поле*: «Фамиль Баронов» (Баб, Новое Лукино).

Боярские названия немногочисленны и сосредоточены преимущественно в центральной части Белозерья. В списках населенных мест *боярские* названия встречаются только в ойконимии Олонецкой губернии (можно предположить, что в таком качестве они выступают синонимами по отношению к *барской* ойконимии списков Новгородской губернии): *Боярская* (*Боярская пустошь*), *Боярская гора Камалы*, *Боярская гора Зыбина* (Выт. у.), *Нефедьевско-Боярская* (*Неткина*) (Лод. у.) [СНМ Олон]. Современные полевые данные также показывают немногочисленность таких названий: д. *Боярская*, поле *Бояринов Хутор* (Бел), д. *Боярская* (Вож), д. *Боярская* (*Боярское*), поле *Боярищина* (Выт), пок. *Боярские Стожся* (Кад), пок. *Боярское* (Кир), пок. *Боярская* (Кон). Достоверными можно считать только названия деревень и покосов, поскольку названия типа оз. *Бояро*, р. *Боярка* (Бел) и пр. имеют иное (субстратное) происхождение, ср., фин., карел., люд., вепс., эст. *oja* 'ручей', 'канавы', лив. *v(u)ojā* 'заполненная водой ложбина' = саам. *viájji* (Кильдин, Йоканьга) 'ручей' [SSA, o. 2, s. 262] и саам. *uoij, oj, vuoí, uaj, vuai* 'ручей' [KKLS, s. 765; Матвеев, ч. 1, с. 257].

Плотность **княжских** названий наиболее высока в Вашкинском районе, при этом на большей части территории Белозерья они отмечены только в микропонимии: пок. *Княжие* (Баб, Бел, Кад), пок. *Княжое* (Кир), пок. *Большая Княжая*, *Малая Княжая* (Вож), лес, пок., поле *Княжая* (Устюж), пок. *Княжая Гарь*, *Княжой Край* (часть д. Бекарево) (Шексн), *Княжий Луг*, *Княжов Брод* (Ваш) и др. Обращение к спискам населенных мест показывает, что *княжьи* названия фиксируются только в ойконимии Новгородской губернии: д. Ферютина (*Большая Княжая*), д. Юрьевская (*Малая Княжая*) (Белоз. у.), ус. *Окняжье* (Устюж. у.), д. Никоновская (*Княжое Село*) (Череп. у.) [СНМ Новг]. Наименование последней деревни сохранилось до полевых сборов начала 2000-х гг.: д. Никоновская (неоф. *Княжово*) (Кад), одно название зафиксировано и в ойконимии Шекснинского района: д. *Княже* (Шексн). В микропонимии Вожегодского и Коношского района отмечены названия пок. *Княжеские* и пок. *Княщина* (Кон), ср. мыс, тоня *Княщина* (Вож). Некоторые названия, однако, могут не иметь отношения к землевладению, а выражать оценку свойств объекта, ср. объяснение названия р. *Княжая*: «Речка большая, хорошая, больше других-то ручьев. Как бы княжеская речка» (Вил, Тырпасовская), ср. также наименование р. *Княжица* (Шексн), р. *Княжовка* (*Княжуха*) и оз., пок. *Княжово* (Вож), руч., пок. *Княжово*, оз. *Княжско* (Выт), оз. *Княжево* (*Княжуха*) (Кир)². Названия с основой *княз-* имеют преимущественно отантропонимическое происхождение, о чем свидетельствует соответствующее суффиксальное оформление: *Под порогом Князева* (Выт. у.) [СНМ Олон], село *Князево* (Череп. у.) [СНМ Новг]; б. д. *Князева* (Шексн), д. *Князево* (Выт, Череп), д. *Князево* (*Князевская*) (Кир), пок. *Князево(е)* (Кон), поле *Князевские* (Устюж).

² Подробный обзор возможных вариантов интерпретации топонимов с основой *Княж-* представлен в недавно вышедшей статье [Захарова, Кривоноженко].

Отдельную группу составляли государственные и монастырские земли. В топонимии широкое распространение получили номинации со словами **казна**, ср. *казна* арх., волог. 'государственный, казенный лес', арх. 'полоса в поле, принадлежавшая священнику', 'лучшая полоса в поле, урожай с которой шел на продажу' [СГРС, т. 5, с. 22], и **казённый**: бол., пок., поле *Казна*: «Казна самая лучшая земля, казенная земля» (Кир, Чаронда), пок., поле *Казна* (Кон), лес *Казна* (Бел, Ваш, Кир, Шексн), лес, пок. *Казна* (Череп), бол. *Красная Казна*, *Казёнка* (Бел), *Казёна*: «Казёну зовём, так этот государственный лес, а другой, он совхозу принадлежал» (Кад, Починок); лес *Казёнка* (Баб), поле *Казёнка* (Кон); *Казённая Дача* (Бел), руч. *Казённая Грязь* (Ваш), пок. *Казённая Земля* (Кир), поле *Казённое* (Баб, Кад, Кир, Кон), бол. *Казённое* (Бел, Кад), пок. *Казённое* (Ваш, Кад), лес *Казённое* (Устюж), ур. *Казённое* (Устюж, Череп), лес *Казённый* (Череп, Шексн), лес *Казённый (Бор)*, пок. *Казённая Сара* (Вож), пок., ур. *Казённый Дом* (Устюж), поле *Казённый Круг* (Кон) и мн. др. Как видно по приведенным выше данным, на современном этапе номинации типа *казна*, *казенный* встречаются только в микротопонимии (преимущественно для обозначения лесов и сельскохозяйственных угодий). Не всегда ясно, о собственно государственных или о монастырских владениях идет речь, ср. контекст: «Казённым названо, потому что к казне, к церкви относилось, лучшие места были» (Кад, Великое), подтверждаемый параллелизмом названий *Казённые Луга // Монастырские Луга* (Бел). Объекты, определяемые как *казённые*, отсутствуют в Вытегорском и Чагодощенском районах. В списках населенных мест фиксируется по одному употреблению прилагательного *казенный*: *Мыза (казенный дом)* (Карг. у.) [СНМ Олон], пос. *Казенная винная лавка* (Кирил. у.) [СНМ Новг]. При этом слово *казенный* широко используется в списках населенных мест Вологодской губернии при обозначении типа населенного пункта, ср. «село казенное» (в Вельском, Устьсысольском и Яренском уездах), «село казенное» и «деревня казенная» (в Устюжском уезде), в противопоставлении обозначениям «село владельческое», «деревня владельческая» [СНМ Волог].

Места собственно монастырского землевладения засвидетельствованы в топонимах со словами **монастырь**, **монастырский** (речь идет в основном о сельскохозяйственных угодьях, расположенных рядом с монастырями горах и озерах, изредка встречаются населенные пункты): б. д. Петропавловский Погост (*Монастырь*) (Выт), д. *Монастырская* (Бел, Ваш), д. Климовская (*Монастырская*) (Выт), г. *Монастырская* (Бел, Кир, Череп); пок. *Монастырская* (Шексн); пок., руч. *Монастырский* (Кад), оз. *Монастырское* (Выт, Кир); поле *Монастырское* (Ваш, Кир), пок. *Монастырская*, *Монастырское* (Вож), пок. *Монастырские Луга* (Череп) и др. В некоторых случаях такие названия были неофициальными: д. Климовская (неоф. *Монастырская*), б. д. Петропавловский Погост (неоф. *Монастырь*) (Выт). Обращение к материалам списков населенных мест помогает установить на этих территориях местоположение ряда монастырей: мон. *Кирилло-Новоезерский монастырь* (Белоз. у.), мон. *Нило-Сорская мужская пустынь*, жен. мон. *Горицкий Воскресенский монастырь*, *Монастырская волость*,

ус. *Ферапонтовская усадьба церковнослужителей Ферапонтовского монастыря*, мон. *Ферапонтов Богородице-Рождественский женский монастырь* (Кирил. у.), мон. *Моденский-Николаевский монастырь* (Устюж. у.), мон. *Филиппо-Ирапская пустынь*, жен. мон. *Парфеновская Богородицкая община*, мон. с пос. *Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь с поселком*, жен. мон. *Черноезерская Пустынь* (Череп. у.) [СНМ Новг], выселок *Монастырка*, *Монастырек*, *Успенский города Каргополя женский монастырь*, *Глазова (Поселок Спасопреображенского монастыря)*, Ерзоуловская (*Монастырская*), Остров Звонихин (*Монастырский остров*) (Карг. у.) [СНМ Олон].

Несколько раз встречаются названия, обозначающие принадлежность «миру» (сельской общине): пастб. *Мирская Поскотина*, пок. *Мирские* (Шексн), *Мирская Чища* (Ваш), поле *Мирская Полянка* (Вож), пок. *Мирской Дровеник* (Кад), *Мирские Луга* (Бел) (ср. там же *Казённые Луга // Монастырские Луга*). Показательно, что такого рода наименования не отмечены в списках населенных мест. Возможно, синонимичными им являются названия, образованные от слова *дружина* 'община' (XII в.), 'монастырская община' (XVI в.) [СлРЯ XI–XVII вв., т. 4, с. 363]: место в лесу *Дружинное* (Бел), оз. *Дружинное* (Ваш), залив *Дружинная Кара* (Выт, ср. *Барская Кара*). Также обнаруживается несколько близких номинаций в списках населенных мест: *Алешинская у погоста (Дружинина)* (Выт. у.) [СНМ Олон], *Дружинский Георгиевский погост* (Кирил. у.) [СНМ Новг].

Таким образом, анализ терминологии землевладения в топонимии Белозерья позволяет сделать ряд следующих наблюдений. Обозначения типов населенных пунктов оказываются менее зависимы от сложившихся практик землевладения и способны длительное время сохраняться в топонимическом употреблении и после исчезновения реалии или изменения условий, вызвавших их появление (*городок*, *погост*, *усадьба* и др.): новгородские топонимические модели *Большой Двор* и *Великий Двор* сохраняются на протяжении нескольких столетий и позволяют уточнить зону новгородского освоения территории; термины *городок* и *городище* маркируют места археологически и документально подтвержденных средневековых укрепленных поселений; термин *погост* шире всего представлен на территории бывших новгородских пятин, наследовавших древнерусскую систему погостов. Часть терминов землевладения оказываются связаны с более поздними факторами административного регулирования: так, довольно ограниченным является распространение относительно позднего термина *выселок*, появление термина *хутор* в Белозерье четко связывается со столыпинской реформой, хотя на других великорусских территориях он был известен и до этого времени. В некоторых случаях наблюдается семантическая разница в употреблении одних и тех же терминов на разных территориях, связанная в ряде случаев с местными традициями (так, если в Олонецкой губернии слово *погост* обозначало обычно крупные населенные пункты, волостные центры — и потому, очевидно, лучше сохранилось в топонимии до времени полевых сборов, то в Новгородской губернии термином *погост* обычно именовались небольшие селения с церковью и домами для причта, большая часть которых к настоящему

времени оказалась утрачена; ср. также противопоставление *барских* и *боярских* названий в ойконимии Новгородской и Олонецкой губерний соответственно), а в ряде случаев, возможно, и с обстоятельствами составления списков.

Сокращения

В названиях административных районов Российской Федерации

<i>Архангельская область</i>		Вож	Вожегодский район
Карг	Каргопольский район	Выт	Вытегорский район
Кон	Коношский район	Кад	Кадуйский район
<i>Вологодская область</i>		Кир	Кирилловский район
Баб	Бабаевский район	Устюж	Устюженский район
Бел	Белозерский район	Чаг	Чагодощенский район
Ваш	Вашкинский район	Череп	Череповецкий район
		Шексн	Шекснинский район

В названиях уездов Российской империи

<i>Новгородская губерния</i>		<i>Олонецкая губерния</i>	
Белоз. у.	Белозерский уезд	Выт. у.	Вытегорский уезд
Кирил. у.	Кирилловский уезд	Карг. у.	Каргопольский уезд
Устюж. у.	Устюженский уезд	Лод. у.	Лодейнопольский уезд
Череп. у.	Череповецкий уезд		

В названиях языков и диалектов

арх.	архангельские говоры русского языка	люд.	людиковское наречие карельского языка
вепс.	вепсский язык	саам.	саамский язык
волог.	вологдские говоры русского языка	фин.	финский язык
карел.	карельский язык	эст.	эстонский язык
лив.	ливский язык		

В названиях географических объектов

б. д.	бывшая деревня	пог.	погост
б. хут.	бывший хутор	пок.	покос
бол.	болото	р.	река
выс.	выселок	руч.	ручей
г.	гора	с.	село
д.	деревня	ур.	урочище
оз.	озеро	ус.	усадьба
пастб.	пастбище	хут.	хутор

Источники

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. 4-е изд. СПб. ; М. : Изд. М. О. Вольфа, 1912.

КСГРС – картотека Словаря говоров Русского Севера (хранится на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета, Екатеринбург).

ЛЛ – Лаврентьевская летопись. 1377 г. Электронное представление рукописного памятника. URL: <https://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/index.php> (дата обращения: 03.07.2023).

НКРЯ — Национальный корпус русского языка. URL: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 21.11.2023).

РЛ — Радзивилловская летопись. URL: <http://radzivilovskaya-letopis.ru/index.php> (дата обращения: 11.07.2023).

СГРС — Словарь говоров Русского Севера / под общ. ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001—. Вып. 1—.

СлДРЯ XI–XIV вв. — Словарь древнерусского языка (XI–IV вв.) / гл. ред. Р. И. Аванесов. М. : Русский язык, 1988—. Т. 1—.

СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. / гл. ред.: С. Г. Бархударов, Ф. П. Филин, Д. И. Шмелев, Г. А. Богатова, В. Б. Крысько. М. : Наука, 1975—. Вып. 1—.

СНМ Волог — Вологодская губерния : список населенных мест : по сведениям 1859 года / сост. и изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел ; обраб. Е. Огородниковым. СПб. : Центр. стат. комитет М-ва внутр. дел, 1866.

СНМ Новг — Список населенных мест Новгородской губернии / сост. под ред. Новгород. губ. стат. ком. В. А. Подобедова. Новгород : Губ. тип., 1907–1912.

СНМ Олон — Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год / сост. И. И. Благовещенский. Петрозаводск : Изд. Олон. губ. стат. ком., 1907.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22) , Ф. П. Сороколетов (вып. 23–42) , С. А. Мызников (вып. 43—). М. , Л. , СПб. : Наука, 1965—. Вып. 1—.

Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка : в 3 т. Репр. изд. М. : Книга, 1989.

ТКТЭ — топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского федерального университета (хранится на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета, Екатеринбург).

ЭСБЕ — Энциклопедический словарь : в 24 т. / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон ; [под ред. проф. И. Е. Андреевского]. СПб. : тип. Акционерного Общества Брокгауз-Ефрон, 1890–1907.

Исследования

Варникова Е. Н. Об одном топонимическом противостоянии на карте Вологодской области // Слово и текст в культурном сознании эпохи : сб. науч. тр. / отв. ред. Г. В. Судаков. Вологда : ВГПУ, 2008. Ч. 1. С. 325–332.

Горский А. А. Русское средневековое общество: историко-терминологический справочник. М. ; СПб. : Гнозис, 2019.

Горский А. А. Дополнения к историко-терминологическому справочнику // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2023. № 1 (91). С. 45–48.

Захарова Е. В., Кривоноженко А. Ф. «Из грязи в князи»: в поисках этимологических истоков топонима Княжая губа // Вопросы ономастики. 2023. Т. 20, № 3. С. 49–62. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2023.20.3.031

Кашина Н. П. Исторические изменения в ойконимии Белозерского края // Диалектное и проторечное слово в диахронии и синхронии. Вологда, 1987. С. 57–66.

Копанев А. И. История землевладения Белозерского края XV–XVI в. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1951.

Макарова А. А. Названия погостов и истоки термина *погост* в ойконимии Русского Севера: хронология и эволюция // Вопросы ономастики. 2023. Т. 20, № 2. С. 119–143. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2023.20.2.018

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера : в 4 ч. Ч. 1. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001.

Муллонен И. И. Большие дворы — новгородское наследие в ойконимии Карелии // Ономастика Поволжья : материалы XVII Международной научной конференции / сост. и ред. В. Л. Васильев. Великий Новгород : ООО «ТПК «Печатный двор», 2019. С. 235–240. <https://doi.org/10.34680/2019.onomastics.235>

Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты. СПб. : Тип. имп. Акад. Наук, 1853.

Платонова Н. И. Погосты и формирование системы расселения на северо-западе Новгородской земли (по археологическим данным) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06. Л., 1988.

Платонова Н. И. Древнерусские погосты — новая старая проблема // Древнейшие государства Восточной Европы: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства / отв. ред. Е. А. Мельникова. М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. С. 328–388.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем и доп. О. Н. Трубачева. 3-е изд., стер. СПб. : Terra : Азбука, 1996.

Чайкина Ю. И. Географические названия Вологодской области : топоним. словарь. Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1988.

Чайкина Ю. И. История административной терминологии Белозерья // Чайкина Ю. И. История лексики Вологодской земли (Белозерье и Заволочье). Вологда, 2005. С. 42–82.

Чернов С. З. Из истории Киснемы последней четверти XIV — начала XV века // Кириллов : краевед. альманах. Вып. 2 / гл. ред. Ф. Я. Коновалов. Вологда : Русь, 1997. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/2ki/ri/lov/2.htm?ysclid=lr6q2gqf1h147428268> (дата обращения: 21.11.2023).

Шмелев Д. Н. Заимствования из прибалтийско-финских языков в старорусских памятниках письменности // Вопросы славянского языкознания. Вып. 5. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 191–199.

Янин В. Л. Грамота Всеволода Мстиславича на погост Ляховичи // Восточная Европа в древности и средневековье. М. : Наука, 1978. С. 23–31.

KKLS — *Itkonen T. I. Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja*. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1958. О. I–II. (Lexica societatis Fenno-ugricae ; XV).

SSA — Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3 / toim. E. Itkonen, U.-M. Kulonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992–2000. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 556).

References

Chaykina, Yu. I. (1988). *Geograficheskie nazvaniia Vologodskoi oblasti: toponimicheskij slovar'* [Geographical Names of Vologda Region: Toponymic Dictionary]. Arkhangelsk: Sev.-Zap. kn. izd-vo.

Chaykina, Yu. I. (2005). *Istoriia leksiki Vologodskoi zemli (Belozerye i Zavolochye)* [The History of the Vocabulary of the Vologda Land (Belozerye and Zavolochye)]. Vologda: Rus.

Chernov, S. Z. (1997). Iz istorii Kismemy poslednei chetverti XIV — nachala XV veka [From the History of Kismema in the Last Quarter of the 14th — Early 15th Centuries]. In F. Ya. Konovalov (Ed.), *Kirillov: kraevedcheskii al'manakh* [Kirillov: Local History Almanac] (Iss. 2). Vologda: Rus'. Retrieved from <https://www.booksite.ru/fulltext/2ki/ri/lov/2.htm?ysclid=lr6q2gqf1h147428268>

Gorsky, A. A. (2019). *Russkoe srednevekovoe obshchestvo: istoriko-terminologicheskii spravochnik* [Russian Medieval Society: Historical and Terminological Reference Book]. Moscow; St Petersburg: Gnozis.

Gorsky, A. A. (2023). Dopolneniia k istoriko-terminologicheskomu spravochniku [Additions to the Historical and Terminological Reference Book]. *Drevniaia Rus'. Voprosy medievistiki*, 1(91), 45–48.

Itkonen, E., & Kulonen, U.-M. (Eds.). (1992–2000). *Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja* (Vols. 1–3). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Itkonen, T. I. (1958). *Koltan- ja kuolanlapin sanakirja* (Vols. 1–2). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden Seura.

Kashina, N. P. (1987). Istoricheskie izmeneniia v oikonimii Belozerskogo kraia [Historical Changes in the Oikonymy of Belozerye Region]. In *Dialektnoe i prostorechnoe slovo v diakhronii i sinkhronii* [Dialectal and Colloquial Word in Diachrony and Synchrony] (pp. 57–66). Vologda.

Kopanev, A. I. (1951). *Istoriia zemlevladieniia Belozerskogo kraia XV–XVI v.* [The History of Land Ownership in the 15th–16th Century-Belozerye]. Moscow, Leningrad: Izd-vo Akad. nauk SSSR.

Makarova, A. A. (2023). Nazvaniia pogostov i istoki termina pogost v oikonimii Russkogo Severa: khronologiia i evoliutsiia [Names of Pogosts and the Origins of the Term Pogost in the Oikonymy of the Russian North: Chronology and Evolution]. *Voprosy onomastiki*, 20(2), 119–143. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2023.20.2.018

Matveyev, A. K. (2001). *Substratnaia toponimiia Russkogo Severa* [Substrate Toponymy of the Russian North] (Vol. 1). Ekaterinburg: Ural University Press.

Mullonen, I. I. (2019). *Bol'shie dvory – novgorodskoe nasledie v oikonimii Karelii* [*Bolshye dvory – Novgorod Heritage in the Oikonymy of Karelia*]. In V. L. Vasilyev (Ed.), *Onomastika Povolzh'ia: materialy XVII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii* [Onomastics of Volga Region: Proceedings of the XVII International Scholarly Conference] (pp. 235–240). Veliky Novgorod: Pechatnyi dvor. <https://doi.org/10.34680/2019.onomastics.235>

Nevolin, K. A. (1853). *O piatinakh i pogostakh novgorodskikh v XVI veke, s prilozheniem karty* [About the Pyatinas and Pogosts of Novgorod in the 16th Century]. St Petersburg: Tip. imp. Akad. Nauk.

Platonova, N. I. (1988). *Pogosty i formirovanie sistemy rasseleniia na severo-zapade Novgorodskoi zemli (po arkhologicheskim dannym)* [Pogosts and the Formation of the Settlement System in the Northwest of the Novgorod Land (According to Archaeological Data)] (Doctoral dissertation). Leningrad.

Platonova, N. I. (2012). Drevnerusskie pogosty – novaia staraia problema [Old Russian Pogosts – a New Old Problem]. In E. A. Melnikova (Ed.), *Drevneishie gosudarstva Vostochnoi Evropy: Predposylki i puti obrazovaniia Drevnerusskogo gosudarstva* [The Oldest States of Eastern Europe: The Ways of Formation of Old Rus] (pp. 328–388). Moscow: Russkii Fond Sodeistviia Obrazovaniiu i Nauke.

Shmelev, D. N. (1961). Zaimstvovaniia iz pribaltiisko-finskikh iazykov v staroruskikh pamiatnikakh pis'mennosti [Borrowings from the Finnic Languages in Old Russian Writing]. In *Voprosy slavianskogo iazykoznanii* (Iss. 5, pp. 191–199). Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR.

Varnikova, E. N. (2008). Ob odnom toponimicheskom protivostoianii na karte Vologodskoi oblasti [About One Toponymic Contradiction on the Map of Vologda Region]. In G. V. Sudakov (Ed.), *Slovo i tekst v kul'turnom soznanii epokhi* [Word and Text in the Cultural Consciousness of the Epoch: Collection of Scholarly Works] (Pt. 1, pp. 325–332). Vologda: VGPU.

Vasmer, M. (1996). *Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka* [Etymological Dictionary of the Russian Language] (Vols. 1–4). St Petersburg: Terra; Azbuka.

Yanin, V. L. (1978). Gramota Vsevoloda Mstislavicha na pogost Liakhovichi [The Letter of Vsevolod Mstislavich to the Lyakhovichi Pogost]. In *Vostochnaia Evropa v drevnosti i srednevekov'e* [Eastern Europe in Antiquity and the Middle Ages] (pp. 23–31). Moscow: Nauka.

Zakharova, E. V., & Krivonozhenko, A. F. (2023). "Iz griazi v kniazi": v poiskakh etimologicheskikh istokov toponima *Kniazhaia guba* [Exploring the Etymological Sources of the Place Name Knyazhaya guba]. *Voprosy onomastiki*, 20(3), 49–62. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2023.20.3.031

Бахтерева Анна Андреевна

кандидат филологических наук,

¹ старший научный сотрудник, заведующий

топонимической лабораторией кафедры

русского языка, общего языкознания

и речевой коммуникации

Уральский федеральный университет

620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51

² старший научный сотрудник

отдела этимологии и ономастики

Институт русского языка

им. В. В. Виноградова РАН

121019, Москва, Волхонка, 18/2

E-mail: toponimist@yandex.ru

Bakhtereva, Anna Andreevna

PhD (Philology),

¹ Senior Researcher,

Head of the Toponymic Laboratory

Department of Russian Language, General

Linguistics and Verbal Communication

Ural Federal University

51, Lenin Ave.,

620000 Ekaterinburg, Russia

² Senior Research Fellow

Department of Etymology and Onomastics

V. V. Vinogradov Russian Language Institute

of the RAS

18/2, Volkhonka St., 121019 Moscow, Russia

Email: toponimist@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3493-3282>

Scopus AuthorID: 57190252088

WoS ResearcherID: V-1779-2017

ИЗВЕСТИЯ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серия 2
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
2023. Т. 25. № 4

Редактор и корректор	<i>А. А. Бахтерева</i>
Редактор перевода	<i>Т. С. Кузнецова</i>
Компьютерная верстка	<i>Л. А. Хухаревой</i>

Свободная цена

Журнал не подлежит маркировке в соответствии с п. 2 ст. 1
Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
как содержащий научную информацию.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48320 от 27.01.12
Учредитель – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Дата выхода в свет 09.02.2024. Формат 70 × 100 ¹/₁₆
Уч.-изд. л. 25,08. Усл. печ. л. 24,86. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg
Печать офсетная. Тираж 300 экз. Заказ 14.

Издательство Уральского университета.
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4
Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ.
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 358-93-22
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru
<http://print.urfu.ru>